КОНСТАНТИН СИМОНОВ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья
Л. И. Лазарева

Составление, подготовка текста
и примечания
Т. А Бек

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1982

Р 2
С 37

Поэтическое наследие выдающегося советского писателя, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР К. М. Симонова (1915—1979) представлено в настоящем издании во всем своем тематическом, жанровом и стилистическом своеобразии. От ранних произведений середины тридцатых годов до широко известных стихотворений военной поры, от поэм, посвященных знаменитым деятелям и памятным датам русской истории («Суворов», «Ледовое побоище»), нашим современникам («Победитель», «Далеко на Востоке», «Пять страниц» и др.), до послевоенного цикла «Друзья и враги» и вьетнамских стихов 1970 года. В сборник включены также «вольные переводы» Симонова из азербайджанской, грузинской, узбекской, польской, чешской, английской поэзии.

Тексты произведений, вошедших в данное издание, проверены по всем прижизненным публикациям и сохранившимся автографам. В примечаниях использованы материалы из личного архива писателя.

С $\frac{4702010200-6}{083(02)-82}$ 422—82

ПОЭЗИЯ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

С поэзией связана главным образом первая половина творческого пути Константина Симонова. После выхода в свет сборника «Стихи 1954 года» и поэмы «Отец» (1956—1958) он за двадцать с лишним лет написал и напечатал, кроме цикла, составившего небольшую книжечку «Вьетнам, зима семидесятого...», едва ли два десятка стихотворений (все остальное, что сохранилось в архиве — тоже не так уж много, — писалось главным образом для «домашнего» употребления: шутливые стихотворные послания, экспромты — сатирические или иронические).

В 1964 году в предисловии к выходящему в Болгарии сборнику стихов Симонов писал: «Мне немножко неловко перед моими болгарскими читателями, что последние из включенных в эту книгу стихов имеют десятилетнюю давность, но, к сожалению, те стихи, что я от времени до времени писал после этого, кажутся мне хуже тех стихов, что я писал раньше, и, может быть, в этом причина того, что я почти не пишу больше стихов. Не стоит насиловать себя, когда не получается. И лучше начать догадываться об этом самому раньше, чем об этом начнут догадываться твои читатели» [1].

Отдав последнюю четверть века своей жизни — если не больше — почти целиком работе над прозаическими вещами о Великой Отечественной войне («Моя жизнь сейчас совсем в другом, в других делах, главным образом в истории войны» [2]), видя в этом смысл

[1] Архив К. М. Симонова, хранящийся в семье поэта.
[2] Архив К. М. Симонова. Письмо В. Зубкову от 5 января 1976 г.

своей литературной деятельности, считая прозу — художественную и документальную — для себя главным и истинным призванием,[1] Симонов судил о своих стихах (и о пьесах тоже) весьма решительно и далеко не всегда справедливо. Он вообще в самооценках — не делая исключения и для прозы — был склонен к очень строгому счету, в любом случае предпочитая умаление и даже самоуничижение самообольщению и самовосхвалению, которые представлялись ему одной из самых жалких и несносных человеческих слабостей, всегда был готов перегнуть и часто перегибал палку только в эту сторону. Вот характерное признание, сделанное в интервью, которое он неоднократно перепечатывал в своих книгах, — значит, это не случайное высказывание, не вдруг оброненная фраза: «У меня, честно говоря, нет ощущения, что есть поэзия Симонова. Есть некоторые более или менее популярные стихи. И есть стихи, которые я сам люблю. И есть несколько стихотворений, которые совмещают то и другое...»[2]

Конечно, это не так, конечно, Симонов не прав. Можно утверждать это с тем большей уверенностью, что главные достижения поэзии Симонова уже отделены от нас несколькими десятилетиями, — образовалась внушительная временная дистанция, возникла историко-литературная перспектива, столь необходимые для объективного суждения. Для современного читателя Симонов не только автор трилогии «Живые и мертвые» и книги дневников «Разные дни войны», появившихся в наше время, — он и поэт, написавший «Жди меня, и я вернусь...», «Если дорог тебе твой дом...», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Родину», «Словно смотришь в бинокль перевернутый...», «Майор привез мальчишку на лафете...» и многие другие стихи, сохранившие и ныне живую силу чувства и поэтическое обаяние...

Да, последние четверть века он почти не писал стихов для печати. Но не потому, что утратил поэтическое мировосприятие и остроту поэтического видения: сколько бы он ни убеждал в этом

---

[1] Читателя, который хотел бы получить более широкое представление о многожанровом, многообразном творчестве Константина Симонова, я отсылаю к критическим работам: Г. Белая, К. М. Симонов. — В кн.: «История русской советской литературы в трех томах», т. III, М., 1961, с. 393—412; И. Вишневская, Константин Симонов. Очерк творчества, М., 1966; С. Я. Фрадкина, Творчество Константина Симонова, М., 1968; Л. Лазарев, Военная проза Константина Симонова, М., 1974; Л. Финк, Константин Симонов. Творческий путь, М., 1979.

[2] К. Симонов, Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литературные заметки. О собственной работе, М., 1976, с. 557.

своих корреспондентов и прежде всего себя самого — это не так. Л. А. Жадова рассказывала: «...он жил поэзией и с поэзией, начиная с детства (сохранились его стихи, написанные в семилетнем возрасте) вплоть до самых последних дней жизни. ... Он был «человеком поэзии» в том самом прямом смысле, что, собственно говоря, писал стихи всегда в свободные, самому себе предоставленные часы, дни, месяцы... Стихи возникали как бы нечаянно, хотя работа над некоторыми из них иногда продолжалась довольно долго и имеются даже варианты. Стихи были и игрой, развлечением, и самым любимым делом — как бы подпочвой всего его творчества». [1]

Симонов не писал в последние годы стихов для печати, посчитав, что работа над прозой требует самоограничения, — он был человеком твердых решений. Но поэтическое чувство, не поглощавшееся целиком его прозаическими вещами, нет-нет и пробивало себе дорогу. Лучше всего, наверное, об этом говорят стихи, написанные во Вьетнаме в тревожную военную ночь:

...Не пишется проза, не пишется,
И, словно забытые сны,
Всё рифмы какие-то слышатся,
Оттуда, из нашей войны.

Прожектор, по памяти шарящий,
Как будто мне хочет помочь —
Рифмует «товарищ» с «пожарищем»
Всю эту бессонную ночь...

(«...Не пишется проза, не пишется...»)

Симонов начинал свой литературный путь как поэт и в литературу вошел стихами. Даже занявшись уже драматургией и прозой, он довольно долгое время считал себя — и читатели так его воспринимали — прежде всего поэтом, остальное было «сопутствующим», хотя и пьесы его, и рассказы, и повесть «Дни и ночи» имели успех, были очень популярны. Стихи и поэмы Симонова — ранние, довоенные — были довольно быстро замечены литературной критикой и любителями поэзии, оценившими то новое, что несли эти, не всегда совершенные строки, в которых обнаруживало себя еще неведомое поэзии, никак не освоенное ею время с его только вырисовывавшимися историческими задачами, тревогами, страстями. В стихах К. Симонова и его поэтических ровесников М. Алигер, Е. Долма-

---

[1] «Дружба народов», 1980, № 2, с. 25.

товского, М. Матусовского, А. Недогонова, А. Яшина заговорило в 30-е годы «племя младое, незнакомое».

А вскоре после начала Великой Отечественной войны стихи принесли Симонову не просто известность и популярность, а самую настоящую славу. Случай не частый в истории литературы, но можно даже назвать дату, когда это произошло: 14 января 1942 года «Правда» опубликовала стихотворение «Жди меня...» и Симонов сразу же стал обладателем одного из самых громких литературных имен. Это стихотворение (как и напечатанное в следующем месяце «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», и еще одно, появившееся еще через полгода, начинавшееся строкой «Если дорог тебе твой дом...») затем десятки, если не сотни, раз перепечатывалось во фронтовых и армейских газетах, выпускалось как листовка, постоянно читалось по радио и с эстрады. Его переписывали друг у друга, отсылая с фронта в тыл и из тыла на фронт, эти листочки хранили вместе с самыми дорогими реликвиями, — люди военного поколения отлично это помнят. Для многих из них появление симоновских стихотворений было событием — и не только литературным, а глубоко задевшим их лично, потому и врезалось навсегда в память. Вот что пишет в своих воспоминаниях маршал И. Х. Баграмян о стихотворении «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»: «В этом замечательном лирическом повествовании, столь кратком по количеству строк и столь емком по силе чувств и мыслей, говорилось о России, о русских женщинах, но я, армянин, отступавший по украинской земле, пережил совершенно те же чувства... Это лишний раз подтверждает ту простую и глубокую мысль, что истинно национальное одновременно и интернационально...».[1]

Если бы Симонов не написал ничего, кроме этих стихотворений, и то его имя вошло бы навсегда в историю отечественной поэзии...

Литература военных лет была не просто хроникой сражений и летописью пережитого, — она сама сражалась мужественно и беззаветно. Сегодня мы часто вспоминаем, что по горячим следам событий Симонов и Гроссман писали о стоявших насмерть защитниках Сталинграда, а Тихонов и Берггольц — о подвиге осажденного Ленинграда, и редко — во всяком случае реже, чем, наверное, следовало бы, — о том, чем были эти произведения для людей, сражавшихся и в Сталинграде, и в Ленинграде, и на всех других фронтах. Эдуардас Межелайтис вспоминает: «Каждый чувствовал, что он, как любимой, лишился родной земли. И каждый повторял: «Жди меня...» Но до этого никто не написал этих слов. Их напи-

[1] И. Баграмян, Одна беседа. — «Дружба народов», 1981, № 5, с. 236.

сал русский поэт. Угадал наши мысли... Если поэты угадывают эти мысли, они становятся пророками». [1]

К художественной литературе в те дни обращались не для того, чтобы скоротать свободное время — у кого оно было в такую пору, — от писателя ждали помощи, поддержки, его книги служили духовным оружием. Сейчас иногда рассказывают как об удивительном парадоксе, что фронтовики не жаловали фильмов про войну, — потому, мол, что войны им и без того хватало. На самом деле ничего парадоксального здесь не было и причина была в другом: во многих выпускаемых тогда лентах война мало походила на ту, какую они знали. Те же, в которых грозное время было запечатлено правдиво, смотрели с интересом.

И в литературе успехом пользовались лишь произведения, которые вобрали в себя реальный жизненный опыт жестокой битвы с фашистами. Признание читателя, очень чуткого к правде (он, хлебнувший на фронте, да и в тылу, горячего до слез, хорошо знал ей цену), дорогого стоит, редко он ошибался в оценке произведений, прочитанных только что на газетной полосе. И отсев, который потом всегда производит в искусстве время, эти четыре года дали куда меньше, чем любые другие. Все тогда было на последнем пределе: и напряжение духовной жизни, от которого зависит в конечном счете и уровень литературы, и взыскательность читателей. Вот почему литературные оценки того времени, опиравшиеся на читательское мнение, заслуживают внимания и доверия.

Как же относились тогда к стихам Симонова самые строгие ценители — поэты старшего поколения, разделяли ли они энтузиазм читателей? Несомненно.

В 1943 году Алексей Сурков, выступая со *своим* (хочу это особо подчеркнуть) творческим самоотчетом на заседании военной комиссии ССП, рассказывал о только что появившемся стихотворении К. Симонова: «Я в августе месяце 1942 г. приехал в порядке очередной командировки под Ржев. Тогда мы под Ржевом наступали. В двух с половиной километрах от переднего края наших войск, на развилке дорог, стоял столб. На столбе была огромная фанера, и на этом огромном фанерном щите были написаны четыре строки из стихов одного из наших советских поэтов, напечатанных три дня тому назад в газете «Красная звезда». Уже на этом щите были следы от минных осколков и пулевые следы. И когда я на этот щит посмотрел (мне об этих стихах в Москве говорили, что у них несовершенная рифма, что у них нет равновесия между первой и вто-

---

[1] Архив К. М. Симонова. Э. Межелайтис, «...И я вернусь», с. 3.

рой частью, что в них слишком много повторяется слово «убей»), когда я посмотрел на этот щит, я решил для себя: хорошо бы, если бы эти четыре строчки были мои».[1] Примечательна тут и почти мгновенная реакция читателей на только что появившееся стихотворение, она объясняется тем, что автор уже был очень популярен, к нему относились с особым вниманием, от него ожидали прямого разговора о самом важном.

Николай Тихонов, выступая в 1944 году, тоже говорил об огромном, поразительном читательском резонансе поэзии Симонова и одним из первых предсказал его стихам долгую жизнь: «Симонов написал стихи, которые солдаты и офицеры носят на груди, потому что эти стихи отвечают их чувствам. Стихи о любви: «Жди меня». Но есть другие стихи — их расклеивает аршинными буквами осажденный Ленинград, — это стихи о ненависти: «Убей его!» ...Поколение Симонова в окопах и в боях. Оно выиграет войну. И, вспоминая войну, оно вспомнит Симонова. Это много».[2]

Так оно и случилось. Имена некоторых писателей и названия лучших их произведений остались навсегда в нашей памяти, встали в ряд самых выразительных примет того времени — как тревожные сводки Совинформбюро, голос Левитана, читающего победные приказы, грозная мелодия «Священной войны», названия знаменитых сражений и имена прославленных военачальников. Среди них стихотворения Константина Симонова. Они были неотъемлемой частью великой войны, они заняли почетное место в ее славной истории.

Само собой разумеется, поэзия Симонова не ограничена годами войны и не исчерпывается ее темами. Но ее главное содержание и самые большие удачи (ведь место и значение творчества поэта определяются его вершинными завоеваниями) связаны именно с этими годами, с этим жизненным материалом. Впрочем, это была пора высочайшего творческого взлета не только в его судьбе. Отвечая на вопросы редакции одного зарубежного журнала — это было в декабре 1976 года, через тридцать с лишним лет после войны, время уже совершило свой отбор и выбор в поэзии, — Симонов заметил: «Если же говорить вообще о поэзии нашей времен войны, то по справедливости можно сказать, что многие поэты написали в ту пору самые лучшие свои стихи, и в этом нет ничего удивительного: сила отчаяния, сила надежды, огромность испытаний и тяжесть по-

---

[1] «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны», кн. 1. — «Литературное наследство», т. 78, М., 1966, с. 340.

[2] Н. Тихонов, Советская литература в дни Отечественной войны. — «Литература и искусство», 1944, 12 февраля.

трясений — все это отпечаталось в поэзии того времени — не только лирической, но и эпической. Достаточно вспомнить хотя бы „Василия Теркина“»[1]

Из произведений самого Константина Симонова мы немало узнали о том, какой была война, чего стоила, что принесла с собой. Но это еще не все, может быть, даже не самое главное. Они многое открыли нам в человеке, то, что прежде не бросалось в глаза, чего не знали и что могло проявиться только в неимоверно жестоких испытаниях кровавой войны, — это, наверное, еще важнее...

* * *

Константин Симонов в одном из писем как-то рассказал, что, когда ему приходится писать о каком-нибудь поэте, его больше всего интересует, с «какими событиями времени связаны те или иные стихи», «откуда они вышли и что было вокруг них, этих стихов, в жизни человека и в жизни общества»,[2] и это же привлекает его в посвященных поэзии статьях критиков и исследованиях литературоведов. В сущности, то был совет автору письма, занимавшемуся изучением поэзии военных лет. Стоит им воспользоваться: обратившись к биографии поэта, легче установить закономерности возникновения некоторых важных мотивов в его творчестве, их последовательность и эволюцию, источники его устойчивой привязанности к определенного склада человеческому характеру, его представления о том, что поэтично, а что поэтизироваться не должно...

Кирилл (Константин) Михайлович Симонов родился 28 ноября 1915 года в Петрограде в семье военного. Отец его погиб на фронте в первую мировую войну; вырастивший мальчика отчим Александр Григорьевич Иванишев был преподавателем тактики в военных училищах.

Симонов не любил распространяться о себе, считая, что о жизни писателя говорят главным образом его книги. Автобиография Симонова, которая помещена в этом томе, напоминает скорее лаконичную анкетную справку — факты, даты, названия, чем неторопливый писательский рассказ. Считанные разы он отступает от этого принципа — прежде всего там, где вспоминает о детстве, прошед-

---

[1] Архив К. М. Симонова.

[2] Архив К. М. Симонова. Письмо Л. А. Заманскому от 21 ноября 1969 г.

шем в Рязани и Саратове, о семье, быт которой был подчинен армейскому укладу жизни. Фундамент нравственных представлений — некоторые из них он пронес через всю жизнь — и созданного им поэтического мира [1] был вне всяких сомнений заложен тогда. «Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, где служил отец, породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединенную с уважением. Это детское, не вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь» [2] — так считал сам поэт.

Однако это чувство вовсе не сразу отозвалось в стихах молодого поэта (окончив школу и фабзавуч точной механики в Москве, Симонов стал работать токарем на авиационном заводе, а затем на кинофабриках «Межрабпомфильм» и «Ротфронт» — и тогда в семнадцать лет начал писать стихи). Поэтическое претворение казавшихся совершенно обыденными, ничем не примечательными впечатлений детства и юности было невозможно без соотнесения их с более широкой картиной действительности — проще говоря, чтобы постичь таившуюся в них поэзию, необходим был жизненный опыт, который, естественно, не вдруг приходит к молодому человеку. Не удивительно, что начинающие так часто направляются к уже протоптанной литературной тропе.

Первые стихи Симонова хотя и свидетельствовали о его поэтических способностях (поэтому к нему отнеслись со вниманием и интересом в литературной консультации Гослитиздата), были явно литературного или, если быть совсем точным, литературно-газетного происхождения. Это была поэма о строительстве Беломорканала — тема «перековки» не сходила тогда с газетных страниц, занимала многих писателей. В сущности, это было поэтическое сочинение на заданную себе без достаточно серьезных внутренних оснований расхожую тему, задача с заранее известным ответом. И то, что молодой поэт потом поехал в командировку на эту стройку, прожил там месяц, дало ему немало живых подробностей обстановки и быта, но не сделало осваиваемую тему ближе, о чем свидетельствуют цикл «Беломорские стихи» (он был напечатан в «Сборнике молодых поэтов» в 1935 году) и поэма «Павел Черный» (она тоже не сразу далась автору и вышла отдельной книжечкой только в 1938 году).

---

[1] Любопытно, что те первые детские стихи Симонова, сочиненные в семилетнем возрасте, о которых поминала Л. А. Жадова, были посвящены курсантам, их жизни. Интерес и любовь к литературе пробудила у будущего поэта мать, Александра Леонидовна Иванишева, она много читала и в юные и в зрелые годы сочиняла стихи.

[2] К. Симонов, Автобиография. — В кн.: К. Симонов, Сегодня и давно, М., 1980, с. 662. Перепечатана в наст. изд., с. 60—68. В дальнейшем цитируется без указания на источник.

Если все это и заслуживает упоминания в творческой биографии Симонова, то только потому, что уже тогда проявились присущие ему настойчивость и упорство, стремление во что бы то ни стало овладеть материалом, довести дело до конца, не бросив на полдороге. Никогда затем не перепечатывая своих самых ранних вещей, оценивая их без малейшей снисходительности, он вместе с тем говорил, что они научили его работать. И, добавлю, привели в Литературный институт имени Горького.

Начиная с 1936 года стихи Симонова стали появляться в журналах и газетах — на первых порах редко, затем чаще. Он писал о судьбе купеческой семьи в революции («О трех братьях»), о гражданской войне («Партизан», «Старуха», «Сундук», «Памятник Пархоменко»), о Пушкине («Три ночлега»), но все это было еще несамостоятельно, собственный голос молодого стихотворца заглушали заимствованные у самых разных поэтов интонации. В зрелые годы Симонов по разным поводам называл тех, у кого учился и кому подражал в ту пору, — это Маяковский, Багрицкий, Мандельштам, Тихонов, Сельвинский, Луговской, Антокольский и Киплинг, которого он переводил с большим увлечением. Что говорить, диапазон поэтических привязанностей обширен, но многие из них — кратковременные увлечения, не перераставшие в серьезное чувство. Но при всем том широта диапазона говорит и об общем уровне поэтической культуры. Симонов довольно легко в молодости «настраивался» даже на далеко отстоявшие друг от друга поэтические системы (и так же легко порывал с ними). Вот любопытный пример. В сборнике «Молодая Москва» две вещи Симонова, написанные в 1935 году: стихотворение «Новогодний тост», старательно воспроизводящее образный строй Маяковского (это был один из тех опытов, о которых автор писал впоследствии: «...в юности меня ошеломила и на какое-то время подмяла под себя форма: лесенка строк, разговорная интонация, гиперболы. Я начал писать стихи под Маяковского и прежде чем по-настоящему полюбил его и прежде чем по-настоящему его понял» [1]), и «повесть» — так определил жанр автор — «Дом», в которой безраздельно властвует поэтическая стихия Багрицкого. Даже странно, что эти стоящие рядом строки принадлежат одному поэту, — впрочем, в них так много Маяковского и Багрицкого, что почти не оставалось места для самого Симонова...

Подобного рода литературная учеба носила слишком общий характер, ей недоставало избирательности, целенаправленности, «специализации». Только с обретением молодым поэтом собственной, им самим открытой темы все, чему учился он, трансформиру-

---

[1] «Юность», 1973, № 7, с. 83.

ясь, видоизменяясь, стало усваиваться органически — постепенно у Симонова вырабатывался свой стиль, своя поэтическая манера.

Симонов в Автобиографии рассказывает, что родился как поэт, узнав о гибели в Испании Мате Залки, командовавшего там Интернациональной бригадой. Это кажется случайностью, хотя на самом деле здесь присутствовала закономерность. Написанные в том же 1937 году, и до и после посвященного Мате Залке «Генерала», «Новогодний тост» (последняя редакция), «Рассказ о глотке воды», «Рассказ о спрятанном оружии», «Сережин сон» тоже навеяны испанской войной. Для поколения, к которому принадлежал Симонов, фашистский мятеж в Испании и последовавшая за ним гражданская война, в которой приняли участие и советские добровольцы, были событием чрезвычайной важности, сыгравшим огромную роль в духовном развитии молодых людей 30-х годов. Неудивительно, что эта война, на которой Симонову не довелось побывать, хотя он страстно этого хотел, занимает такое место в его творчестве. Память о боях на испанской земле не затмила даже Отечественная война, а ведь она многое заставила забыть. Одно из лучших стихотворений Симонова военной поры («У огня») посвящено человеку, который «под Мадридом продырявлен в первый И под Сталинградом — в пятый раз». Уже в наши дни Симонов вместе с Романом Карменом сделает документальный фильм «Гренада, Гренада, Гренада моя».

Война с фашизмом, до франкистского мятежа воспринимавшаяся как неизбежность лишь умозрительно, в далекой перспективе, вдруг стала сегодняшней реальностью, отделенной только границами и расстоянием, стремительно приблизилась во времени, заставляя проверять себя: а ты готов к такому испытанию, хватит ли у тебя мужества? Эти вопросы таило в себе и стихотворение «Генерал». Об этом впрямую, с вызовом первая же строка последней редакции уже упоминавшегося стихотворения «Новогодний тост»: «Своей судьбе смотреть в глаза надо...» Своей военной судьбе — так это тогда читалось... Поэт предлагает «в первый раз» выпить «За тех, кому за пулемет браться, За тех, кому с винтовкой быть дружным», кому, быть может, следующий год придется встречать где-нибудь «в чужой земле и под чужим небом», сражаясь с фашистами. «Новогодний тост» получился еще во многом декларативным, угловато-неуклюжим, но рождено стихотворение искренним и горячим чувством, до испанских событий написать его было невозможно, мироощущение еще было иным... В этом можно убедиться, обратившись к первой редакции «Новогоднего тоста», написанной накануне 1936 года и опубликованной в сборнике «Молодая Москва». Здесь тоже возникает тема последнего, решительного боя,

но он некая историческая предопределенность, давно установленная и ясная, которая воспринимается поэтом вне связи с тем, что сегодня, сейчас происходит в мире. Не случайно исходной точкой для размышлений по этому поводу ему служит образ, почерпнутый в поэме Маяковского «150 000 000». Симонов пишет: «Есть на планете только два цвета, Других цветов планете не осталось». Это все и определяет: «И если так, то значит нет мира. Еще походным котелком грохать!»

В мирные, предвоенные годы Симонов чутко уловил тему, которую история выдвигала как главную. Он понял ее подлинное значение, ее жгучую актуальность раньше, чем многие другие. Острое чувство современности — органическое свойство таланта Симонова, проявившееся очень рано и многое определившее и в его писательской судьбе, и в характере его произведений разных жанров. Однако до поры до времени вовсе не так просто было молодому поэту найти жизненный материал для выражения не обманывавшего его предчувствия приближающейся роковой схватки двух миров — именно так воспринималась тогда будущая война. Она ведь еще обнаруживала себя главным образом в речах политиков и нотах дипломатов, таилась в конструкторских бюро, где создавались новые образцы военной техники, и в строго засекреченных планах генеральных штабов. Это хлеб для публициста, а не для художника. И в том, что писал тогда Симонов — и об Испании, и о гражданской войне у нас (он и Михаил Матусовский вместе сочинили на эту тему небольшую книжку стихов и прозы «Луганчане»), — немало литературных реминисценций.

Наверное, стихотворение «Генерал» оказалось лучшим из всего написанного им тогда потому, что поэтическая энергия здесь возникла от личного прикосновения к материалу (это для Симонова, как показала вся его дальнейшая работа, было в высшей степени важно). «...Сила чувства, которое было в моей душе, — писал поэт в Автобиографии, — сделала их, как мне кажется, моими первыми настоящими стихами». Оказалось, что легендарный командир Интербригады генерал Лукач, о котором тогда так много писали, был человеком, которого молодой поэт не раз видел и «еще год назад запросто встречал то в трамвае, то на улице». Выяснилось, что герой, которого Симонов, как каждый делающий первые шаги художник, настойчиво искал, был где-то совсем рядом, жил, что называется, по соседству. Это было тогда для Симонова серьезным открытием, но ведь требовалось еще найти этих хотя и живущих на соседних улицах, но неизвестных героев (а может быть, им вообще еще только предстояло стать героями), — задача непростая, нелегкая...

И героя поэмы «Победитель» (1937) автор отыскал не сам, он уже был хорошо известен, даже знаменит. Поэма представляет собой вольный стихотворный пересказ — немало подробностей принадлежит Симонову — последней части книги Николая Островского «Как закалялась сталь», пересказ взволнованный и одухотворенный. Но поэма все-таки светит отраженным светом, конечно, свет оригинала куда ярче — иначе и быть не могло, однако два момента в произведении заслуживают внимания. Это, во-первых, направление поисков героя — долгое время Симонова будут привлекать люди корчагинского склада, корчагинской закваски (из этого племени и Мате Залка), по симоновской формуле, «настоящие люди» — так он назвал свой сборник, в который вошли стихи 1937 года. Правда, позднее это будут уже в основном люди иного поколения, других биографий — ровесники Симонова, те, с кем, как писал поэт в стихотворении 1938 года «Однополчане», его сведет военная служба:

Но будет день — и по разверстке
В окоп мы рядом попадем,
Поделим хлеб и на завертку
Углы от писем оторвем.

Пустой консервною жестянкой
Воды для друга зачерпнем
И запасной его портянкой
Больную ногу подвернем.

Под Кенигсбергом на рассвете
Мы будем ранены вдвоем,
Отбудем месяц в лазарете,
И выживем, и в бой пойдем.

Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел, навсегда.

Это будет уже не подражанье, а возникающая сама собой, рожденная жизнью близость, не правильно выбранный литературный ориентир, а глубинная общность.

Второе, что вызывает интерес в поэме «Победитель», — резко выдвинутая на первый план тема приближающейся войны. «Пахло войной. В мембране привычной Тревожно и зло сотрясался металл» — таков лейтмотив последних глав поэмы, звучащий, чем ближе к финалу, все громче и тревожнее. И именно здесь, и только здесь, Симонов уже не перелагает популярную книгу, а ведет са-

мостоятельный разговор о своем времени. Вот почему, характеризуя те годы, полные «предгрозья холодного ощущенья», до сих пор так часто цитируют заключительные строки поэмы «Победитель»:

Слышишь, как порохом пахнуть стали
Передовые статьи и стихи?
Перья штампуют из той же стали,
Которая завтра пойдет на штыки.

Знаменитый образ Маяковского повернут стороной неожиданной, которую могло открыть именно то, уже предвоенное время. Сказано точно: книги тогда действительно стали пахнуть порохом. Симонов не просто утверждал свою тему, считая ее самой важной, что вполне естественно для каждого художника, речь шла о дающей уже себя знать тенденции литературного развития. В это время возникает вторая волна произведений о гражданской войне — в них рядом с темой революционного «разлома» общества возникает и выходит вперед тема защиты молодой республики Советов от нашествия 14 держав, тема патриотизма. Изменяется и тематика исторических произведений — здесь авторов тоже привлекают прежде всего патриотические традиции, героика военной истории нашего народа, ратная доблесть предков.

Всю жизнь Симонов увлекался историей, а писал на исторические темы только в те годы. В этом нет ничего удивительного, сама жизнь настойчиво толкала искусство к историческим темам. Потребность оглянуться на прошлое, чтобы увереннее глядеть в будущее, возникла тогда не у одного Симонова. На первый план выдвигались исторические события и герои, которые могли служить примером и духовной опорой в грядущих испытаниях. Все это носилось в воздухе. Чтобы не утомлять читателей перечнями названий и фамилиями авторов, приведу лишь один, имеющий прямое отношение к тому, что делал тогда Симонов, пример. Его поэма «Ледовое побоище» была напечатана в январской книжке журнала «Знамя» за 1938 год, а в предыдущем номере этот же журнал опубликовал сценарий П. Павленко «Русь», по которому С. Эйзенштейн вскоре снял фильм «Александр Невский» (в двух номерах подряд произведения на одном и том же материале — случай редкий, но редакцию это не остановило, потому что тема представлялась сверхважной); поэма «Суворов» тоже появилась в «Знамени» (1939, № 5—6), а в это же время, летом 1939 года, издательство «Искусство» выпустило в свет пьесу И. Бахтерева и А. Разумовского «Полководец Суворов», которую в Москве поставил Центральный театр Красной Армии.

Хотя в поэме Симонова описанию борьбы новгородцев и псковичей под водительством Александра Невского с псами-рыцарями, захватившими русские земли, уделено больше всего места и названа поэма «Ледовое побоище», авторская задача не сводится к воссозданию этого эпизода истории. Первая и последняя главы посвящены иному времени: 1918 год. Время иное, а ситуация сходная: оккупация кайзеровской армией Пскова и затем ее бегство под ударами красногвардейских отрядов. У Заключения поэмы третья дата: 1937 год — планирующие завоевательный поход «наци пальцами по картам Россию делят на куски». Все эти события разных эпох объединены мыслью о преемственности героических традиций нашего народа, с беззаветной стойкостью защищавшего родину, о том, что зарящихся на нашу землю захватчиков неминуемо ждет жалкая и позорная судьба их предшественников, которые «бежали с русских нив, Оружье на пути теряя И мертвецов не схоронив». Выступая на обсуждении «Ледового побоища», Симонов говорил: «Желание написать эту поэму у меня явилось в связи с ощущением приближающейся войны. Я хотел, чтоб прочитавшие поэму почувствовали близость войны и что за нашими плечами, за плечами русского народа, стоит многовековая борьба за свою независимость». [1]

Предчувствие не обманывало Симонова — грозные испытания были не за горами, задачу молодой поэт ставил перед собой значительную и актуальную, но решалась она в поэме публицистическим способом. С помощью монтажа автор стремился выявить в событиях далекого и близкого прошлого общую закономерность, служащую ключом к современности. По видимости это был путь прямой и простой, сразу приводящий к цели, но он таил опасности и не все из них удалось благополучно миновать автору. Чтобы при такой структуре исторические картины и лица не превратились в иллюстрации, они должны быть пронизаны лиризмом, растворены в лирическом потоке. Видно, автор с достаточной ясностью не отдавал себе в этом отчета. Правда, он пытается сделать повествователя как бы «причастным» к изображаемым событиям прошлого («Два дня, как Псков потерян *нами*...», «*Мы* перед боем руки грели...»), но делается это робко. Историческим главам явно недостает лирического напряжения, в полной мере оно проявилось в Заключении поэмы, где автор, размышляя о том, что «не нынче-завтра грохнет бой, Не нынче-завтра нас разбудит Горнист военною трубой», обращается к обнадеживающим урокам истории.

По-настоящему эту проблему (а она во всей сложности возникала каждый раз, когда Симонов брался за сюжетную поэму) он осознал, имея за спиной уже опыт работы над следующей поэмой —

[1] «Литературная учеба», 1938, № 3, с. 102.

«Суворов». Он писал тогда: «Сюжет в поэзии — это в большинстве случаев леса, необходимые для постройки дома, во всяком случае сюжет в подлинной поэзии — никогда не самоцель. Он служит канвой для развертывания лирических переживаний, он исчезает там, где в нем исчезла потребность, и появляется там, где он снова понадобился; часто сюжет в собственном смысле слова отсутствует. Но в поэзии с гораздо большей последовательностью и дисциплиной, чем в прозе, *всегда* (когда это настоящая поэзия) присутствует *внутренний* лирический сюжет, пружина действия — то нарастающее лирическое напряжение, система внутренних психологических ходов, на которых держится произведение. И именно этот *внутренний* сюжет диктует систему подбора фактов, упоминания и пропуски, узлы и перерывы в действии». [1]

Однако слабости «Ледового побоища» (а они не только в том, что автор не справился с внутренним, лирическим сюжетом, но и в той близости к излюбленным им классическим образцам, которая местами становится опасной, порождая цитаты: «Уже смешались люди, кони, Мечи, секиры, топоры. . .», «Бояре старые ворчали: „Иль меч у князя не остер? . .“») не затмевают достоинств поэмы. Прежде всего в ней отозвалась современность в самых глубинных и существенных проявлениях, и поэма нам сегодня интересна не столько картинами истории, сколько выражением мироощущения молодого человека 30-х годов, прозревающего ту тяжкую и ответственную задачу, которую ставит перед ним время. В критике тех лет особо отмечалось, что Симонов «одним из первых в советской поэзии указал на связь боевых традиций Красной Армии с героическим прошлым русского народа». [2] Теперь это может показаться само собой разумеющимся, общеизвестным, тогда это было открытием: заново осваивался материал, который в предыдущие два десятилетия не воспринимался как достойный поэтизации, и здесь автор «Ледового побоища» действительно был одним из первых. . .

Если бы Симонову представился случай рассказать о том, как он писал поэму «Суворов», наверное, он повторил бы то, что говорил о «Ледовом побоище»: «Желание написать эту поэму у меня явилось в связи с ощущением приближающейся войны». Импульс был один и тот же, общим был и пафос, а вот художественное решение, поэтический строй были существенно иными. Если в «Ледовом побоище» поэта занимали по преимуществу сами события, знаменитые баталии, так сказать, страницы истории («За годом год

---

[1] К. Симонов, Поэма О. Колычева «Щорс». — «Литературная газета», 1939, 5 августа.

[2] З. Кедрина, Герой справедливой войны. — «Октябрь», 1941, № 4, с. 222.

перелистаем», — говорилось в Заключении поэмы), главные герои поэмы — псковитянин Онцыфор и князь Александр — самоценного интереса не представляют, то в «Суворове» внимание автора сосредоточено на характере героя, вся образная система произведения «настроена» в соответствии с этим. Рассказывая о последних годах великого полководца — опале при Павле, легендарном походе через Альпы, болезни и смерти в Петербурге, — Симонов раскрывает его характер многосторонне и с изобретательностью опытного повествователя. Фигура героя вписана в быт, погружена в реалии той поры — он человек своей эпохи, своей среды, сотнями нитей он прочно связан с ними. Но при этом он возвышается над своим временем и своим кругом. И хоть велик, но не приподнят, не вознесен над обыденно-житейским.

Здесь уместно вспомнить Белинского, который писал, что «Державин не умел хвалить Суворова», «он хотел видеть своего героя в реторической апофеозе, и потому в его одах Суворов не возбуждает к себе никакого сочувствия».[1] Наблюдение проницательное, помогающее понять и некоторые особенности симоновской поэмы. И если говорить о литературной традиции, к которой восходит поэма Симонова, то это не державинские оды, а его «Снигирь», где Суворов не только «князь славы», «вождь бурь полночного народа» («На победы в Италии»), а живой человек, которому приходится «ездить на кляче, есть сухари», «спать на соломе, бдеть до зари», а из современников можно вспомнить «Суворова» Багрицкого, исторические стихи Антокольского (не зря Симонов ему посвятил поэму). На протяжении всего творческого пути риторика будет для Симонова постоянной — иногда прямой, открытой, иногда подразумевающейся — полемической целью, но началось это, определилось в поэме «Суворов». Да, ее герою не чужды человеческие слабости: он скуповат; он бывает излишне горяч и несносно нетерпелив; многократно воспетый поэтами, он все еще питает слабость к посвященным ему одам, прославленный, он все-таки жаждет славы и наград. Но не из милости, а за дело. Его странные эскапады и своенравие, ошарашивавшие порой современников, породившие множество анекдотов, истолкованы в поэме Симонова не как чудачества, не как экстравагантность — это вызов раболепию и лжи, издевка над скудоумием, утверждение своей независимости. Ракурсы изображения в поэме незаметно меняются — то повествование ведет автор, то он отступает в тень, и мы видим старого фельдмаршала глазами солдат, глазами его верного денщика Прошки, то разворачивается внутренний монолог самого Суворова. Образ становится объемным, характер Суворова обретает ту сложность, которая делает героя

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI, М., 1955, с. 648.

живым, вызывающим не только почтительное восхищение, но и горячее сочувствие.

Чувство любви к родине предстает в поэме как проявление высшего нравственного долга. Это то, что соединяет Суворова и его солдат. Это чувство дает силу переступить — им через свои беды (ведь дома солдат, сражающихся за тридевять земель от родного края, ждет не «теплый кров, Жена и дети, жар соломы, Березовое пенье дров! . .», а казарма, плац, палочная муштра), ему через свои обиды (Суворов не выносит насаждаемые Павлом в армии прусские порядки). Что бы ни выпало на твою долю — даже несправедливости, даже гонения, как бы тяжко тебе ни жилось на родной земле, этому долгу изменить нельзя (долг превыше всего — этот мотив возникает у Симонова и в стихотворениях 1939 года «Старик», «Поручик»). Сейчас нетрудно понять, что в поэме отозвались — конечно, не прямо и без авторского намерения — и некоторые сложные драматические коллизии второй половины 30-х годов, затем в военные годы отразившиеся в такой, например, пьесе, как «Нашествие» Л. Леонова.

Перечитывая довоенные стихи Симонова, мы то и дело обнаруживаем мотивы, ставшие затем сквозными в его творчестве. Самый глубокий из них, повлиявший на многие другие, связан с понятием и образом «малой» родины, которые в сознании читателей оформились и утвердились в немалой степени под прямым воздействием симоновских произведений. Стоит проследить, как выкристаллизовывалось это понятие, как поэт шел к этому образу. В стихотворении «Генерал» «родные венгерские липы» всюду, куда забрасывала героя судьба революционера-эмигранта, напоминали ему о родине, за свободу которой он сражается. В стихотворении «Изгнанник» «три лавровых листка» становятся символом того, что дороже всего на свете (презрев болезни и опасности, антифашист-эмигрант возвращается на родину, чтобы вести подпольную борьбу), — символом родины. Подобный же образ — только на отечественной основе — в «Суворове»:

Всё можно взять у человека:
Чины, награды, ордена,
Но та холодная страна,
Где прожил он две трети века,
И синие леса вдали,
И речки утренняя сырость,
И три аршина той земли,
Скупой и бедной, где он вырос,
Земли, в которую его
Вдвоем со шпагою положат, —

Ее ни месть, ни плутовство,
Ничто уже отнять не сможет!

Отсюда и те березы из стихотворения «Родина», которые, опять возникнув в «Русских людях» в монологе Вали, стали образом крылатым. Этот мотив земли, на которой жили и умирали твои деды и прадеды, которая ими тебе завещана, по-особому зазвучит в стихотворении «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», к нему Симонов обратится и в «Живых и мертвых», в эпизоде, где Синцов, увидев близ дороги старое сельское кладбище, пережил «острое и болезненное чувство родной земли».

Стоит, конечно, при этом вспомнить строки Жуковского: «Страна, где мы впервые Вкусили сладость бытия, Поля, холмы родные, Родного неба милый свет...», Пушкина: «Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам», «Люблю дымок спаленной жнивы, В степи ночующий обоз И на холме средь желтой нивы Чету белеющих берез» — Лермонтова. Но литературная родословная — даже такая блистательная, как у этого образа, — объясняет далеко не все. Здесь существеннее не поэтические, а жизненные истоки. Дело было не в счастливо найденном новом повороте традиционного образа-мотива, а в искавшем себе выхода, поэтического выражения новом мироощущении, новом восприятии родины, рожденном грозно нависшей военной опасностью. Симонов чувствовал ее особенно остро и очень рано начал осознавать. Но для большинства читателей это время было переломным: представления оставались прежними — они более устойчивы, а чувства, восприятие под давлением действительности незаметно менялись.

Стихотворение «Родина» Симонов опубликовал в 1940 году. Затем, уже в войну, в 1942 году, несколько сокращенное и отредактированное, оно было снова напечатано и воспринималось как только что написанное (первая редакция оказалась прочно забытой, сам автор датировал его сорок первым годом). Художественно новая редакция была более совершенной (хотя такой ценитель поэзии, как Анна Ахматова, с похвалой отозвалась о том небольшом — из трех стихотворений — довоенном цикле, в который входила «Родина»), но поэтическая мысль, поэтическое чувство остались нетронутыми, не изменились. Однако поразительное дело: тогда, до войны, мало кто обратил внимание на стихотворение (а не прошло и двух лет, как оно стало необычайно популярным), — читатели, видимо, еще не были готовы к восприятию нового образа родины, который столь резко отличался от утвердившегося.

Стихотворение (цитирую первую редакцию, так как речь идет о предвоенном мироощущении) начиналось строфой, словно бы

перелагающей написанную за пять лет до этого, в 1935 году, прекрасную песню Лебедева-Кумача, — тот же масштаб, то же присущее первой половине 30-х годов мировосприятие, тот же образ:

Дойдя до трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Вся в черных обручах меридианов
Огромная земля. Огромная вода.

Эта родина одаривает тебя — вместе со всеми — лучами своего величия и славы, ты за ней, огромной и могучей, как за каменной стеной. Но рядом у Симонова сразу же возникает иной образ родины:

Но есть еще, есть родина другая,
Боясь так громко называть ее,
От посторонних глаз оберегая,
Считаем мы за личное свое.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Здесь родина — это все, что окружало тебя с детства, что ты впитал с молоком матери, все, чем жил и что составляло твое счастье. И уже не бескрайние нивы, а «клочок земли» становится символом того, что тебе всего дороже. Что можешь сделать ты для «огромной земли» — очень немного, а тут, когда дело идет о «клочке», с которым ты неразрывно, кровно связан, ты полностью за него в ответе, ты, если придется, должен заслонить его от врага, защищать до последней капли крови. Тут все меняется местами: не ты находишься под покровительством родины, безмятежно и восторженно созерцая ее могучее величие, а она нуждается в тебе, в твоем покровительстве, в твоей заботе. Однако первые две строфы стихотворения выдают неуверенность поэта: поймет ли читатель его, сможет ли он увидеть в «горсти земли» приметы всей страны. От этой неуверенности Симонов избавится лишь в годы Великой Отечественной войны, убедившись, что читатель настроен на одну с ним эмоциональную ноту. Он выбросит из первоначальной редакции «Родины» вторую строфу, начинающуюся словами: «Но есть еще, есть родина другая. . .», ибо она растолковывала то, что читателю было ясно.

В стихах, сочиненных в годы войны, совершенно отпадает нужда в каких-либо такого рода оговорках — изменились и читательские

представления,[1] не было уже никакой нужды объяснять, что «есть родина другая», это читатель прекрасно знал и понимал; Симонов будет писать как о само собой разумеющемся: «Если дорог тебе твой дом...» или: «...проселки, что дедами пройдены, С простыми крестами их русских могил», потому что все это родина, разные ее лики...

Редактируя стихотворение — на это следует обратить внимание, — автор заменил строки: «Нам тут не обязательно родиться. Пусть мы, не тут родившись, тут нашли Ту горсточку, которая годится, Чтоб видеть в ней приметы всей земли» другими, иного смысла: «Вот где нам посчастливилось родиться, Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли...» Не потому, что в войну он изменил свой взгляд, он и тогда продолжал так думать — и этому нетрудно найти подтверждение в стихах:

Ты знаешь, наверное, все-таки родина
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

(«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»)

Мысль: «Нам тут не обязательно родиться» — не была для Симонова случайной. Она покоилась на убеждении, что «родина не там, где ты родился, а там, где будут помнить о тебе» (как писал он в первой редакции поэмы «Первая любовь»), — ее получают как бы в дар при рождении, но право на нее надо непременно подтвердить делами. Переделывая стихотворение, автор стремился к выражению общедоступного, первоначального, самого простого представления о родине, отбрасывая, минуя подробности и сложности своего собственного восприятия.

Обращение Симонова к истории в «Ледовом побоище» и «Суворове» не было делом случая. Но так же закономерно оно не могло быть продолжительным. Все-таки история была не лучшим материалом для художника, столь сосредоточенного на проблемах современности, столь близко принимающего их к сердцу. Впрочем, работа над «Ледовым побоищем» и «Суворовым» приучала мыслить исторически, проникать в логику исторических процессов, что много позже так или иначе сказалось в цикле романов о Великой Отечественной войне, потребовавших от автора историзма в освещении

[1] Об этом очень хорошо сказано в одной из статей (1943) Ильи Эренбурга: «Конечно, любовь к родине была и до войны, но это чувство тоже изменилось. Прежде его старались передать масштабами, говоря «от Тихого океана до Карпат». Россия, казалось, не помещалась на огромной карте. Но Россия стала еще больше, когда она поместилась в сердце каждого» (И. Эренбург, Летопись мужества, М., 1974, с. 262).

событий, очевидцем и участником которых он был сам. Но все это произойдет через много лет, а пока поэт снова погружается в мир сегодняшних волнений и тревог. Он хочет выяснить, крепок ли его ровесник на излом, способен ли выдерживать «перегрузки», готов ли к лишениям боевой, походной жизни. Он испытывает героя тяжким трудом, в рискованных экспедициях.

Да, прямо скажем, этот край
Нельзя назвать дорогой в рай.
Здесь жестко спать, здесь трудно жить,
Здесь можно голову сложить.

Это строки из поэмы «Мурманские дневники» (1938). Она посвящена мужеству. Вспоминая то время, Симонов писал: «Мужество казалось мне не просто прекрасным человеческим качеством, а еще и предметом первой необходимости».[1] Это мужество особого рода: лучше всего его характеризует слово, тогда еще не бывшее широко в ходу, — солдатское мужество. Перепечатывая поэму впоследствии, автор весьма существенно ее сократил, избавляясь от описательности, от повторов. Выпали и строки, которые я хочу привести, — выпали, вероятно, не зря, они прямолинейно-назидательны, общи, — но в них со всей определенностью отразилось тогдашнее умонастроение поэта:

...Так на войне
Товарища из-под огня
Солдат выносит на спине.
...Тогда мы знаем до конца,
Что значит воинская честь.

Воинская честь, солдатский долг — это основа тех нравственных понятий, которыми руководствуется герой симоновских «Дорожных стихов». Долгие командировки куда-то на край света, дальние и трудные дороги, суровый аскетический быт — «мужское беспокойное жилье», подвижническая самозабвенная работа, — вот чем заполнена его жизнь. В мирное время человек не военный, он живет, как солдат. И так привык к этому, что, когда летом 1939 года вспыхнули бои с японцами на Халхин-Голе, он поехал на войну, как в очередную командировку, — по-деловому, без лишних слов и напрасных волнений.

Не случайно разлука — главная тема симоновской любовной лирики. Как часто тут возникают и какое большое место занимают

---

[1] Архив К. М. Симонова. Письмо Л. А. Заманскому от 12 января 1968 г.

в жизни героев вокзалы, короткие минуты прощания, письма, которые идут издалека... Герой Симонова не принадлежит самому себе, в любой момент без долгих сборов ему приходится отправляться за тридевять земель навстречу опасностям и бедам, оставляя в тоске и тревоге близких. Эти расставания надолго были для Симонова не только особой приметой бытового уклада тех лет, но и свойством, характеризующим героическую действительность:

Наше время еще занесут на скрижали.
В толстых книгах напишут о людях тридцатых годов.
Удивятся тому, как легко мы от жен уезжали,
Как легко отвыкали от дыма родных городов.

(«Слишком трудно писать из такой оглушительной дали. . .»)

Вряд ли только «легко», хотя уезжали без сожаления, без колебаний, с мужественной решимостью. Странная для Симонова неточность — ведь вся его любовная лирика была опровержением этого «легко», которому немалую дань отдала поэзия тех лет. Это было даже не объективно возникшее противостояние, а осознанная полемика. Он сам указал на то, от чего отталкивался: «Какая-то робость в описании своих личных радости и горя, любви и страдания нередко приводила к тому, что все это бралось слишком поверхностно и общо. Неправильное представление о том, как сочетать личное с общественным, слишком часто приводило к неписаной скверной теории «равновесия», по которой в одном стихотворении чувство горя сейчас же спешили уравновесить чувством радости и рядом с ушедшей от поэта девушкой ставили бодро дымящие фабричные трубы».[1]

«Да, мне трудно уехать. Душою кривить не годится... Почему ж мне так грустно. . .» — эта нота звучит в финале поэмы «Пять страниц» (1938). Взаимоотношения героя и героини в симоновской лирике сложны и драматичны — не обошлось тут и без вмешательства житейской прозы: надо справиться с нелегким, плохо устроенным бытом, перешагнуть через порознь приобретенные привычки («..как недолго и просто влюбиться И как сложно с тобой с глазу на глаз нам век вековать»), но в их любовной драме — и это главное — незримо всегда присутствует время, так много тогда требовавшее от человека, так властно и безраздельно распоряжавшееся его судьбой, так мало считавшееся с обстоятельствами его личной жизни. Это был своеобразный любовный «треугольник», в котором время играло роль рокового соперника. Вот почему в финале поэмы

[1] К. Симонов, Настоящее начало. — «Литературная газета», 1938, 15 марта.

«Первая любовь» (1936—1941) возникает образ времени, жестко определяющего жизненный маршрут героя:

Сквозь время тоже ходят поезда,
Садимся без билетов и квитанций.
Кондуктор спросит: «Вам куда?» — «Туда».
И едем до своих конечных станций.

Такой уж путь. На счастье ль, на беду,
Но, выехав за первый дачный пояс,
Не выскочишь, раздумав, на ходу,
Не пересядешь на обратный поезд.

Этот мотив приобретает потом крайнее драматическое напряжение в известном цикле лирических стихов «С тобой и без тебя». История трудной любви, которая стала содержанием этого цикла, потому нашла такой горячий отклик у читателей, что для них, «третьим», вставшим между героями, был не «он» и не «она», а кровавое время, война. В житейской ситуации, когда он «бросил» или она «разлюбила», «ушел к другой» или «поменяла на другого», кто-то неизбежно обречен на сердечные муки и боль. И все-таки это не то, что война-разлучница, которая приносила в дом непоправимую беду и безутешное горе: жена становилась вдовой, а дети сиротами. Вовсе не каждого подстерегает в жизни сердечная драма, а война-разлучница не обошла никого. И когда Симонов писал: «Жди меня, и я вернусь...», или: «Выпили за свадьбы золотые, Может, еще будут чудеса...», или: «Как мелочно всё было это Перед лицом большой беды...» — это касалось всех, эту драму переживал каждый, — тема интимная, камерная оказывалась по-настоящему общезначимой...

Лирический цикл «С тобой и без тебя», начатый незадолго до войны и завершенный уже в послевоенные годы, имел необычайно широкий читательский резонанс. После Блока и Есенина, пожалуй, не было у нас поэта, в творчестве которого любовная тема занимала бы такое большое место и так бы задевала за живое читателей. Вспыхнули тотчас и споры, отразившие амплитуду разных отношений к симоновской лирике: от восторженного — как к откровению — до пренебрежительно-брюзгливого (показательна гулявшая тогда острота: «Надо было бы издать эти стихи в двух экземплярах — один для автора, второй для его музы»). Во многом споры эти были реакцией на откровенную автобиографичность стихов Симонова — у одних она подогревала интерес, других шокировала. Конечно, любовная лирика всегда автобиографична, вряд ли она может быть иной. Но у Симонова автобиографическая конкретность проступала очень явственно, и некоторым читателям,

воспитанным на чрезмерно пуританской поэзии 30-х годов, она и бросалась прежде всего в глаза.

Пуританство сквозило и в разговорах о том, что Симонов пишет «про это» слишком уж откровенно. На самом деле оснований тут для упреков не было никаких — это скорее достоинство симоновской лирики, не чуравшейся в изображении любви чувственного, «земного». И Симонову на этот счет приходилось слышать тогда не одни упреки, но и комплименты. Александру Фадееву, скажем, не очень понравилась поэма «Первая любовь», но удачное в ней он связывал с тем, как автор «изображает интимную сторону любви (очень целомудренно и в то же время с живою кровью)».[1] Алексей Толстой, прочитав «С тобой и без тебя», захотел познакомиться с поэтом, чтобы сказать ему добрые слова: «Вот пишут лирику, одни доводят дело до первого свидания, а другие, наоборот, главным образом вздыхают по поводу разлуки. А ваши стихи о любви — действительно стихи о любви, со всем, что в ней есть. Без стыдливых умолчаний, к которым мы привыкли в стихах».[2]

Прошли годы, и нынче автобиографические подробности симоновской лирики редко кого волнуют, да и тогда здесь было немало сенсационной пены, появление которой поэт предугадал, написав — «по всем московским сплетням и приметам» (так было в первой редакции). А стихи живут, сохранили притягательную силу благодаря тому, что автобиографическая конкретность поэтически претворена в них и в истории одной любви проступили вечные и всегда новые законы жизни человеческого сердца. Написанные как послания одному человеку, они с самого начала были письмами ко всем...

Я помянул Александра Блока в связи с циклом «С тобой и без тебя» не зря и не первый — об этой перекличке писали еще в войну, сразу после появления сборника стихов Симонова.[3] Она очевидна. Стоит только сопоставить блоковское: «Страстная, безбожная, пустая, незабвенная, прости меня!» и у Симонова: «Злую, ветреную, колючую, Хоть ненáдолго, да мою!», «Будь хоть бедой в моей судьбе, Но кто б нас ни судил, Я сам пожизненно к тебе Себя приговорил», точнее, то, что у Блока и Симонова стоит за этими цитатами. И все-таки эта близость (ее подтвердил и сам поэт: «Что до Блока, то о Блоке я думал тогда не меньше, чем сейчас. Он был

---

[1] А. Фадеев, За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве, М., 1957, с. 806.

[2] Архив К. М. Симонова. Письмо Д. Ортенбергу от 23 февраля 1972 г.

[3] См.: В. Александров, Письма в Москву. — «Знамя», 1943, № 1, с. 150—152.

одним из поэтов, которые жили для меня в годы войны»[1]) была не чисто литературного свойства. Тут от жизни идущее сходство характера, судьбы героини, отношения к ней окружающих, которым она кажется недостойной высокого чувства, не заслуживающей добра. Постоянный внутренний спор с ними (это и безотчетный спор с самим собой — тем он драматичнее) проходит через цикл «С тобой и без тебя», лирический герой упрямо защищает свое чувство (и от гложущих его самого сомнений — тем горячее, беззаветнее его защита). В этом, как говорили в былые времена, рыцарском отношении к даме сердца был один из источников поэтичности и привлекательности симоновской лирики.

Разыгравшаяся любовная драма — это была подлинная драма, а не случайные недоразумения (как казалось самим ее участникам) — возникла из-за глубоких различий, даже несовместимости нравственных представлений героя и героини. Это тогда было не так уж ясно, в чем здесь дело, нравственность казалась понятием эфемерно-абстрактным, старались отыскать — безуспешно, конечно, — социальную природу конфликта. Доходило до смешного. Противоречивый характер героини, в котором причудливо перемешались капризный эгоцентризм и внутренняя свобода от обывательских условностей и предрассудков, объясняли — даже такой тонкий критик, как В. Александров, — «пережитками прошлого»: «Все эти годы наша жизнь была достаточно занятой и очень серьезной. И уже давно и как-то сразу обнаружилось, что для произрастания и особенно для демонстрации таких причудливых и капризных черт требуются особые условия, которыми не все располагают. Совершенно несовместимы друг с другом это затейливое душевное устройство и такое житейское занятие, как стирка белья, например. Стирки белья никакой «демонизм» вынести не может. «Роковое» мгновенно отпадает, и перед нами или просто скверный характер, или хорошая женщина, которая была «роковой» по недоразумению и ради моды (не зная, что мода-то устарелая). Для «демонизма» необходимы по меньшей мере одна домработница и много свободного времени».[2] Стоит только чуть-чуть продолжить эту мысль критика — по его логике, обязательная для всех женщин стирка белья должна разрешить сердечные проблемы, а механические прачечные и свободная суббота могут пагубно сказаться на нравах, — как сразу же обнаруживается ее абсурдность. Разумеется, быт военных лет был невероятно тяжел, но, быть может, стихи Симонова привлекали тогда

---

[1] Архив К. М. Симонова. Письмо Л. А. Заманскому от 7 декабря 1972 г.

[2] В. Александров, Письма в Москву. — «Знамя», 1943, № 1, с. 151.

читателей и тем, что погружали в ту сферу человеческих отношений, где быт все-таки отходил на задний план.

Война, став третьим действующим лицом этой любовной драмы, не облегчила, не упростила ее, а принесла героям новые испытания. Но это уже были испытания, через которые проходили все. Они становятся для героя симоновской лирики главным содержанием жизни. Общность испытаний, бед, надежд — этот поэтический мотив имеет в «С тобой и без тебя» первостепенное значение. Он возникает всюду, возникает ненамеренно — личное вросло в общее, и герой то и дело ссылается на опыт, которым он владеет вместе и наравне с товарищами: «у солдат во все века, Что глаза у женщин — голубые, Принято считать издалека», «По праву тех, кто может не вернуться», «Мужская привычка — в тоскливые дни Показывать смятые карточки женщин...», «Когда придется, безымянным Разведчик должен умирать» и т. д. Вот так и в самых интимных стихах Симонова отразился народный характер войны...

Я без всякого перехода заговорил о стихах Симонова, написанных уже во время Великой Отечественной войны. Конечно, начатая фашистской Германией война была страшным рубежом всей нашей жизни. Была она, естественно, и крутым рубежом в литературе, в писательских судьбах — все перестраивалось на войну, все она подчиняла себе. Но дело в том, что Симонов стал военным писателем — в самом точном смысле этих слов — почти за два года до того, как разразилась Великая Отечественная. И для его биографии, и для его творчества очень важна еще одна дата — 1939 год...

«По самому характеру своего творчества, — писала З. Кедрина, — Константин Симонов является, быть может, наиболее подготовленным к созданию характера героя современной нам справедливой войны.., Это дало поэту возможность найти наиболее адекватные действенные средства для изображения войны и военного подвига. Черты характера героя справедливой войны были найдены Симоновым еще задолго до той войны... в которой поэту довелось принять непосредственное участие». [1]

Нет, это написано не во время Отечественной войны, а раньше, в дни, которые мы привычно называем мирными, и война, о которой здесь идет речь, — это вооруженный конфликт с японской армией, вторгнувшейся в районе Халхин-Гола на территорию Монголии. Симонов был в числе тех немногих писателей, для которых война началась уже тогда...

На Халхин-Голе Симонов, оказавшийся в районе боевых дей-

---

[1] З. Кедрина, Герой справедливой войны. — «Октябрь», 1941, № 4, с. 221.

ствий в качестве сотрудника газеты нашей группы войск «Героическая красноармейская», увидел лик современной войны. Газете, в которой уже работала группа опытных писателей — Владимир Ставский, Лев Славин, Борис Лапин, Захар Хацревин, понадобился свой поэт, и Политическое управление Красной Армии (ПУР) в срочном порядке отправило туда Симонова (разговор происходил в час дня, а выехал он поездом, уходившим в пять часов). Оперативно, в номер, поэт писал там стихотворные очерки, корреспонденции, портретные зарисовки героев боев — все, что требовалось газете. Симонов в Монголии не только впервые побывал под огнем и прошел начальную школу фронтового корреспондента,[1] которая так ему пригодилась в первые дни и недели Великой Отечественной войны, — все, что он затем писал почти в течение двух лет, до июня 1941 года, было так или иначе связано с увиденным и пережитым на Халхин-Голе.

Именно на Халхин-Голе перед Симоновым со всей остротой встал вопрос о том, как писать о войне. Впрочем, ответ на этот вопрос искал не он один, и предлагаемые ответы были прямо противоположного свойства. Об этом свидетельствует хотя бы тот острый спор, который там, на Халхин-Голе, произошел у Симонова со Ставским. «...Мне пришла в голову мысль, которую я сейчас же высказал Ставскому, — вспоминал Симонов, — что хорошо бы, когда кончится конфликт, вместо всяких обычных памятников поставить в степи на высоком месте один из погибших здесь танков, избитый осколками снарядов, развороченный, но победивший.

Ставский резко заспорил со мной, говоря, что зачем же как монумент победы ставить ржавое, разбитое, то есть потерпевшее поражение, железо! Раз танк был так или иначе разбит или поврежден, он не годится для монумента победы.

Мы довольно долго спорили, но так и не сошлись во взглядах. Потом, когда я написал и напечатал стихотворение «Танк», в котором говорилось об этом, мы со Ставским случайно встретились в Москве и опять поспорили. Он снова говорил, что я не прав».[2]

Конечно, памятник был лишь поводом для спора, хотя, наверное, стоит все-таки напомнить, что участвовавшие в боях танки и броневики поставлены на постаменты в нескольких местах на Халхин-Голе — и в госхозе, и в колхозе «Ялалт» («Победа»), и в пограничном отряде, и на Баин-Цагане, где сражались танкисты ком-

---

[1] Об этом подробно рассказывают и сам Симонов в халхингольских записках (см.: К. Симонов, Далеко на Востоке. Халхин-гольские записи, М., 1969) и редактор «Героической красноармейской» Д. Ортенберг в своих воспоминаниях (см.: Д. Ортенберг, Время не властно. Писатели на фронте, М., 1975, с. 7—43).

[2] К. Симонов, Далеко на Востоке, с. 27—28.

брига Яковлева, и что подобного рода памятники (не только танки, но и самолеты, орудия, торпедные катера) увековечивают и подвиги, совершенные в Великую Отечественную войну. А по сути спор шел о проблемах более общих и глубоких, столкнулись разные точки зрения на то, какой должна предстать война в искусстве (и, самое главное, какой она может быть в действительности).

Эти тенденции уже обозначились в литературе, для спора были серьезные основания. В одной из рецензий, написанной в январе 1941 года — уже позади был не только Халхин-Гол, но и трудная финская кампания, — Симонов, размышляя над этими проблемами, решительно выступает против «ложной романтики» в изображении войны: «Два-три года тому назад наша поэзия изобиловала стихами, кончающимися на «а если»: «если завтра бой», «если враг нападет». В этих стихах звучало законное чувство гордости за свою страну, за мощь своего народа. Но была в них некоторая доля непонимания того, какое трудное дело — война».[1] Так было не только в поэзии: «на чужой территории», «могучим молниеносным ударом», «и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим» — это стало бравурным лейтмотивом выходивших романов и повестей, это показывали в кино, пели по радио, записывали на пластинки. Конечно, сегодня, задним числом, полемика Симонова может показаться слишком мягкой, но я воспользовался для характеристики противоборствующих тенденций в литературе словами Симонова, сказанными тогда, чтобы не злоупотреблять преимуществами, которые нам сегодня дает знание событий Великой Отечественной войны.[2]

«Ложная романтика» — буду называть ее так, обратившись к формуле Симонова, — была отнюдь не безобидным заблуждением, она принесла ощутимый вред нашему искусству и, самое главное, мешала правильной духовной подготовке современника к суровым ратным испытаниям — это хорошо известно, и я поэтому просто сошлюсь на выступление Алексея Суркова на партсобрании московских писателей 22 мая 1942 года,[3] в котором подробно говори-

[1] К. Симонов, Правдивые стихи. — «Известия», 1941, 16 января.

[2] В послевоенные годы Симонов не раз говорил об этом куда резче. Приведу только одно — 1965 года — его высказывание: «...перед Великой Отечественной войной тоже были у нас и в литературе и в литературной критике такие лакировщики, которые вместо суровой правды требовали от писателей песнопений или сами писали такие песнопения. И с точки зрения готовности армии к войне, деятельность таких людей тогда ничего, кроме вреда, не принесла» (К. Симонов, Сегодня и давно, с. 604).

[3] А. Сурков, Стихи в строю. — В кн.: «Живая память поколений. Великая Отечественная война в советской литературе», М., 1965, с. 15—32.

лось о состоянии «оборонной» поэзии в предвоенные годы. И становление ряда наших писателей как писателей военных (назову кроме Симонова хотя бы еще Суркова и Твардовского, участвовавших в финской кампании и написавших правдивые стихи о «той войне незнаменитой») проходило, по словам Симонова, в «сознательной полемике с приподнятым романтизированным изображением войны» [1], которое было в предвоенные годы весьма влиятельной тенденцией литературного развития.

То, что Симонов увидел на Халхин-Голе, подтвердило и укрепило его позицию — война тяжела и страшна, хоть ты и защищаешь справедливое дело, неколебимо веришь в победу и счастлив оттого, что в полученном командировочном предписании сказано: «для выполнения возложенного на Вас особого задания» (с такими командировками отбывали военные на Халхин-Гол). И в памяти Симонова — он некоторое время пробыл на Халхин-Голе после прекращения военных действий — сохранилась и такая, проливающая свет на его мировосприятие картина (с командиром танкового батальона Героем Советского Союза Михайловым поэт поехал на место баинцаганского сражения, где наши танкисты одни, без поддержки пехоты, атаковали и уничтожили японскую дивизию): «Всюду по горе были расшвыряны гильзы, осколки, вдавленные котелки, а кое-где рядом с кусками железа в песке валялись кости.

Все-таки поле боя — всегда печальное зрелище, даже когда это победное поле, даже когда оно уже почти заросло травой и не являет своим видом ничего ужасного». [2] Эта картина открывает ту сторону войны, которая тогда для многих писателей словно бы и не существовала, казалось невозможным поставить рядом столь далекие по смыслу, по эмоциональному наполнению определения: «победный» — и «ужасный», «печальный».

А в цикле стихотворений «Соседям по юрте», написанном после Халхин-Гола, соединение подобного рода противоположных понятий и чувств оказалось не только возможным, но и необходимым для того, чтобы рассказать правду о войне. Внутренняя полемика с ходячими «литературными» представлениями о войне, о солдатской доблести, с глянцевыми картинками, с псевдоромантическими позами постоянно присутствует в этом цикле. И если в стихах Симонова возникает поле боя, то оно тоже не только «победное», но и «ужасное»:

---

[1] К. Симонов, Разговор с товарищами. Воспоминания. Статьи. Литературные заметки. О собственной работе, М., 1970, с. 306.

[2] К. Симонов, Далеко на Востоке, с. 109.

Еще вчера в батальные картины
Художники по памяти отцов
Вписали полунощные равнины
И стаи птиц над грудой мертвецов.

Но этот день я не сравню с вчерашним,
Мы, люди, привыкаем ко всему,
Но поле боя было слишком страшным:
Орлы боялись подлетать к нему.

(«Орлы»)

В другом стихотворении («Кукла»), вопреки батальной поэтике, не пленные, не разбитые траншеи, не «воронки в три сажени», не «бревен взорванные глыбы», а амулет на счастье — маленькая куколка, брошенная в штабной машине японскими офицерами, спасавшими свою жизнь поспешным бегством, — символизирует смятение и страх разгромленного врага.

Будничные приметы военного поражения японцев возникают и в другом стихотворении:

Никогда не забуду после боя палатку в тылу,
Между сумками, саблями и термосами,
В груде ржавых трофеев, на пыльном полу,
Фотографии женщин с чужими косыми глазами.

(«Фотография»)

Но этот эпизод автору дает лишь толчок для размышлений. Размышлений по тем временам, когда считалось, что враг обречен всегда и всюду терпеть поражения, а мы призваны одерживать молниеносные победы (напомню «Первый удар» Н. Шпанова, «На Востоке» П. Павленко, кинофильм «Если завтра война. . .»), поразительных по своей смелости, по стремлению смотреть суровой правде в глаза. Поэт исходит из того, что мы не застрахованы от неудач (кстати, на первых порах японцам на Халхин-Голе удалось нанести нам ряд чувствительных ударов и на земле и в воздухе), что военное счастье может улыбнуться и противнику.

Я не брал фотографий. В дороге на что они мне?
И опять не возьму их. А ты, не ревнуя,
На минуту попробуй увидеть, хотя бы во сне,
Пыльный пол под ногами, чужую палатку штабную.

(«Фотография»)

И в стихотворении «Танк» — том самом, которое родилось после спора со Ставским, — поэт утверждает, что не так просто дается в бою победа, что за нее порой приходится платить очень дорогой ценой и враг может быть не только вероломен, но и силен, не только коварен, но и отважен. Поэт уподобляет танк солдату, смертельно раненному в атаке, но выполнившему свой долг. Так доставалась победа — кровью, муками, тяжелыми жертвами. Да и могло ли вообще быть по-иному?..

Да, нам далась победа нелегко.
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.

Это сказано с полемическим вызовом, с той страстью, которой дано претворить публицистику в поэзию, — раскаляясь, публицистика оказывается способной к поэтическому «излучению».

Халхин-Гол, где боевые действия велись в очень тяжелых условиях, открыл поэту, что война — это не только кровь, но и пот, она требует не одной лишь доблести, но и изнурительного труда, не только отваги, но и выучки. И мужество нужно не только для того, чтобы, невзирая на страх и смертельную опасность, выполнить свой долг, но и для того, чтобы выдержать многокилометровый марш по пустыне в нестерпимую жару, без воды, чтобы вдали от родных мест не поддаться тоске и унынию, чтобы вынести долгую разлуку с близкими. Симонова занимают будни фронтовой жизни, быстро сложившийся быт действующей армии, он не проходит мимо незаметных тружеников войны, о которых, как правило, не пишут в газетах и которым не посвящают стихов: принято считать, что у них недостаточно «героическая» военная профессия, а между тем без их умения и самоотверженности не добиться победы. Симонов и здесь открыто полемичен.

Я знаю, что книгами и речами
Пилота прославят и без меня, —

так начинается стихотворение «Механик», в котором поэт воспевает тех, кто готовил и отправлял самолеты в боевой полет, кому приходилось, сжав зубы, ждать друзей — вернутся ли после боя, кто постиг на фронте подлинную «цену ожиданью». Другое стихотворение — «Тыловой госпиталь» — о военных врачах, которые отправились на передний край лишь тогда, когда все уже было кончено, — это напоминало экскурсию, им показывали окопы, вражеское оружие — впрочем, с его действием они были хорошо знакомы, потому что

у них, находившихся в армейском тылу, была своя, и очень нелегкая, война:

Всё лето кровь не сохла на руках.
С утра рубили, резали, сшивали.
Не сняв сапог, на куцых тюфяках
Дремали два часа, и то едва ли.

Увидев войну своими глазами, Симонов словно бы проверяет собственными впечатлениями батальные стереотипы, решительно отвергая все, что имело чисто литературное происхождение и существовало в отдалении от реальной действительности — в силу эстетической инерции.

Отталкивание от литературщины, от стертых и выцветших «поэтизмов» вело Симонова к прозаизации стиха, ощутимо сказывавшейся и в лексике, и в интонации — обыденной, разговорной. Вот начало одного из монгольских стихотворений: «Семь километров северо-западнее Баин-Бурта И семь тысяч километров юго-восточней Москвы...» Или другого: «У нас была юрта с дырявой крышей...» Или строки из третьего, уже цитировавшегося мною: «Я помню, как мы друзей провожали Куда-нибудь в летние отпуска...» Как принято сейчас говорить, вполне деловая информация. Или то, что Пушкин, бросая вызов поэтической гладкости и дистиллированности, называл в свое время «презренной прозой». Стремление переплавить в поэзию «презренную прозу», то, что по традиции не считалось поэтичным, очень многое определяет в образной системе симоновских стихов.

Уже в монгольском цикле проявилась в полной мере одна существенная особенность его поэтического дара. Симонов как будто бы не слишком заботится о том, что Маяковский называл «приемами обработки слов»,[1] вроде бы не отличаются у него особой свежестью и разнообразием рифмы — попадаются даже «тобой — мной», «других — твоих», «собой — тобой». Но при этом такой тонкий стилист, как Константин Паустовский, считал, что у Симонова «помимо большой поэтической одаренности есть еще одно ценное качество — органическое чувство языка»[2] (хочу подчеркнуть, что это говорилось в сущности еще о начинающем поэте — все большие удачи Симонова были впереди). Значит, то, что нередко ставилось поэту в укор, не от неумения или небрежности. Обманчиво впечатление, что он, не утруждая себя, пользуется тем, что лежит под руками. Скажем, в переводах и «домашних» стихах Симонов куда более

[1] В. Маяковский, Полн. собр. соч., т. 12, М., 1959, с. 87.
[2] К. Паустовский, Константин Симонов. — «Литературная газета», 1938, 30 октября.

изобретателен и по части рифмовки, и по части словесной инструментовки, он нередко демонстрирует самую изощренную поэтическую технику. Приведу, чтобы не быть голословным, хотя бы один пример:

«Сколько б раз ни публиковали вердикты вы, Сколько б лет ни ловили в поэзии блох, — От вердиктов рождаются Бенедиктовы, Но даже не зачинается Блок» («Ангелам критики»).

В тех же его стихах, о которых идет речь, поэтическая задача и установка иные — вот что следует иметь в виду. Отвечая на вопросы исследовательницы, занимающейся его творчеством, Симонов писал: «Я противник стилизации разговорной речи как в прозе, так и в стихах... Очевидно, различные разговорные интонации, по мере необходимости, проходят и через различные мои стихи, но я как-то никогда специально над этим не думал. Пользовался разговорной интонацией тогда, когда мне казалось, что это необходимо и что это к моменту. Больше, пожалуй, думал о простоте стихотворной речи...».[1]

Последнее очень важно: действительно, главная цель Симонова — простота. Любопытно, что еще в довоенную пору один из проницательных критиков упрекал Симонова не в небрежности, а в том, что «стремление к простоте», приводящее его к «рифмовке (и ассонированию) слов, образованных от одного и того же корня», «производит впечатление какой-то нарочитости».[2] Он понимал, что дело тут в осознанных автором и мотивированных художественных решениях, — это только кажется, что вместо них без особого труда можно предложить другие; как известно, простота обманчива. Попробуем — мысленно, разумеется, — в стихотворении «Если дорог тебе твой дом...» убрать или заменить часто повторяющееся слово «убей», и стихотворение лишится эмоциональной силы, его просто-напросто не будет. Для человека, владеющего версификацией даже на ремесленном уровне, ничего не стоит заменить банальную рифму «собой — тобой», но не обернется ли такое нехитрое «усовершенствование» утратой безыскусности, которая как раз и придает особое обаяние симоновским стихам?

Поэтике Симонова органически чуждо какое-либо щегольство, нет в ней ничего форсированного. И при этом он поэт с яркой индивидуальностью, его ни с кем не спутаешь — у него свой художественный мир, своя интонация, его лирический герой обладает самобытным характером. Симонов стремится к ясности выражения и

---

[1] К. Симонов, Заметки, рецензии, письма. — «Литературная Россия», 1979, 30 ноября (письмо Изабелле Рекель от 23 августа 1978 г.)

[2] В. Александров. «Ледовое побоище». — «Литературное обозрение», 1938, № 7, с. 24.

ясности самого чувства, избегая какой-либо экстравагантности — словесной и образной, остерегаясь, чтобы «обработка слов», метафоры не выпирали, не бросались в глаза, отвлекая читателя от сути. Симонов целиком полагается на силу поэтического чувства — от этого и зависит удача или неудача его стихотворений. Он стремится к воспроизведению тех обстоятельств, которые вызвали у него поэтическое переживание, без них для него чувство не чувство, оно блекнет, обесцвечивается. Обычно его стихотворение вырастает из какого-то жизненного эпизода, из каких-то реалий пережитого.

Публикуя через много лет после войны свои фронтовые дневники, Симонов писал в предисловии: «Мне остается честно предупредить тех из читателей, которые знают роман «Живые и мертвые» и примыкающие к этому роману повести «Из записок Лопатина», что они столкнутся здесь, в дневнике, с уже знакомыми им отчасти лицами и со многими сходными ситуациями и подробностями.

Это объясняется тем, что, когда пишешь повесть или роман о таком тяжком деле, как война, фантазировать и брать факты с потолка как-то не тянет. Наоборот, всюду, где это позволяет твой собственный жизненный опыт, стараешься держаться поближе к тому, что видел на войне своими глазами».[1] Это в равной мере относится и к симоновским стихам: читая его воспоминания о Халхин-Голе и дневники Великой Отечественной войны, то и дело натыкаешься на ситуации и подробности, которые воспринимаются как реальный комментарий к стихам. Примечательно, что Симонов не находит праздными, посягающими на свободу поэтического воображения вопросы некоторых своих корреспондентов, выясняющих, о смоленских или белорусских селах идет речь в одном из его стихотворений, на какой из улиц Вязьмы стоял дом, воспетый им в другом, действительно ли он видел в июле сорок первого артиллеристов из-под Бреста, которых поминает в третьем, и т. п. Поэт иного склада, наверное, просто не стал бы отвечать на подобные вопросы, сочтя их профанацией, — Симонова они не смущают.

Критики, писавшие до войны о стихах Симонова, неизменно отмечали в них повествовательные элементы, — иногда с одобрением, иногда с укоризной. Вот несколько примеров.

Б. Рунин: «Яркая, мгновенно впечатляющая образность часто подменяется в его творчестве подробным описанием деталей. Вот почему наибольшей удачи он достигает в таких произведениях, которые можно определить как рассказ в стихах».[2] Т. Хмельницкая:

---

[1] К. Симонов, Разные дни войны. Дневник писателя, т. 1. 1941 год, М., 1977, с. 4.

[2] Б. Рунин, Стихи Константина Симонова. — «Правда», 1939, 18 июля.

«...Симонов больше чем кто-либо из современных поэтов, оставаясь в традиционной форме стиха, уничтожает представление о поэзии как о специфическом виде искусства. В его стихах перестает ощущаться разница не только между поэзией и прозой, но и между поэзией и театральной пьесой и киносценарием».[1] Н. Степанов: «У Константина Симонова острота зрения и повадка прозаика. Он любит конкретную точность образа, мужественные черты своих героев, сюжетную прочность повествования».[2]

После Халхин-Гола, обрушившего на Симонова целый пласт новых впечатлений, ему стало тесно в поэзии. Он пробует свои силы в драме, а с началом Отечественной войны и в прозе — пишет очерки, рассказы, потом повесть. Как это ни странно, обращение к драматургии и прозе помогло Симонову точнее определиться в поэзии, осознать, что он лирик, отрешиться в стихах от повествовательных элементов — они были поглощены прозой. Характерно, что, задумав сначала о Сталинграде поэму, Симонов по зрелом размышлении от этой идеи отказывается и пишет повесть «Дни и ночи». Он рассказывал: «Все окружающее было полно такой суровой реальности, что первоначальная мысль — а может быть, все-таки поэму? — уходила все дальше и дальше. На смену ей пришло ощущение, что то, что я видел и пережил в Сталинграде, в стихи, в поэму не лезет. Надо писать прозу».[3] Вершинные достижения Симонова в поэзии принадлежат, несомненно, лирике, рассказ в стихах (назову в качестве примера «Сын артиллериста») становится у него редкостью и не приносит ему удовлетворения.

На Халхин-Голе для газеты «Героическая красноармейская» Симонов написал свыше десятка рифмованных корреспонденций и очерков, посвященных конкретным людям (Герою Советского Союза танкисту Михайлову, военному врачу Парамонову, посыльному, младшему командиру Ситниченко, который, несмотря на ранение, доставил по назначению пакет, и другим). Тогда считалось, что гражданственность в поэзии связана с кругом так называемых газетных тем, с оперативным откликом на злободневные события. Однако, как ни старались поэты, стихотворные корреспонденции не могли конкурировать с прозаическими очерками. Показательно, что многие очерки военных лет Симонов не раз затем перепечатывал — они того заслуживают, они и сейчас, через четыре десятка лет, инте-

---

[1] Т. Хмельницкая, Твердые строки (Поэзия Симонова). — «Литературный современник», 1940, № 2, с. 130.

[2] Н. Степанов, Константин Симонов. Стихи тридцать девятого года. — «Звезда», 1940, № 8-9, с. 309.

[3] К. Симонов, Первая проза. — «Вопросы литературы», 1980, № 5, с. 138.

ресны, а стихотворные корреспонденции канули в Лету, вместе с тем номером газеты, для которого предназначались.

Добросовестно и энергично делая на Халхин-Голе все, что требовалось в газете, Симонов, однако, не обольщался на этот счет, у него были уже серьезные сомнения в плодотворности подобного рода стихотворных сочинений («...это то, что я мог бы, в сущности, написать на газетную полосу и в прозе»[1] — так он относился к своей работе). Во всяком случае, написав по настоянию редакции в первые дни Отечественной войны две стихотворные корреспонденции, он, много и с азартом занимавшийся все эти четыре года журналистикой, никогда больше не писал таких газетных стихов, считая, что они не украшают не только поэзию, но и журналистику.

За всем этим стояло: как же писать о войне? — это был для поэтов с началом битвы с гитлеровской Германией вопрос первостепенной важности. Никогда, пожалуй, перед поэзией не возникали с такой остротой и настоятельной необходимостью пропагандистские задачи — в этом отдавали себе ясный отчет все. Но нащупать, выработать принципы истинно поэтического — не в ущерб искусству — решения этих задач было очень непросто. Нет ничего удивительного, что на первых порах — времени для долгих раздумий не было — выбирались пути «протоптанней и легче»: казалось, зарифмованная газетная информация о боевых действиях, описание в стихах героев сражений — вот кратчайшая и верная дорога к цели. Но уже в первые месяцы Отечественной войны многим поэтам стало ясно, что такого рода рифмованные сообщения и описания по-настоящему цели не достигают. Симонов был среди тех, кто еще до войны понял, что надо искать какой-то другой путь, — именно поэтому он не стал делать того, чем усердно занимался на Халхин-Голе...

В годы войны очень существенно изменялись представления о содержании таких понятий, как гражданское и интимное в поэзии, — их переставали воспринимать как противостоящие, полярные. И сама поэзия становилась в те дни не только суровее и строже, но и человечнее, теплее, она избавлялась от предубеждения к частному, «домашнему», хотя по довоенным нормам эти качества — общественное и частное, гражданственное и человечное — были очень далеко разведены друг от друга. Органическое их слияние стало возможным потому, что все чаще военная поэзия выступала как «души откровенный дневник» (С. Кирсанов), ломая искусственные перегородки. Но это был процесс трудный, и сами поэты (даже те, кто, как Симонов, лучше других были подготовлены к решению задач, поставленных войной перед искусством) нелегко

[1] Письмо Д. И. Ортенбергу от мая 1974 г. — «Литературная газета», 1980, 5 ноября.

расставались с упрощенными представлениями, с узкими «нормативами».

Сейчас, когда мы говорим о лучших произведениях поэзии военных лет, рядом с патетически-публицистической «Священной войной» без тени сомнения, ни на минуту не задумываясь, ставят интимнейшие «Землянку» и «Жди меня...». Но это сейчас... А тогда — не поразительно ли! — сами авторы не собирались печатать эти стихи, сыгравшие такую большую роль в духовном обеспечении солдата Великой Отечественной войны, — им казалось, что они камерны, лишены гражданского содержания, не представляют общественного интереса. «Я считал, что эти стихи — мое личное дело... — рассказывал Симонов осенью 1942 года в заметке, написанной для Совинформбюро. — Но потом, несколько месяцев спустя, когда мне пришлось быть на далеком севере и когда метели и непогода иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянке или в занесенном снегом бревенчатом домике, в эти часы, чтобы скоротать время, мне пришлось самым разным людям читать стихи. И самые разные люди десятки раз при свете керосиновой коптилки или ручного фонарика переписывали на клочке бумаги стихотворение «Жди меня», которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного человека. Именно этот факт, что люди переписывали это стихотворение, что оно доходило до их сердца, — и заставил меня через полгода напечатать его в газете». [1]

Впрочем, здесь рассказано не все: «Жди меня...» было отвергнуто в «Красной звезде», и Симонов ничуть этому не удивился, воспринял как должное; редактора «Правды» П. Н. Поспелова, попросившего его прочитать стихотворение, он вполне искренне счел нужным заранее предупредить: «...это стихи не для газеты». [2] Разумеется, это было не его собственное заблуждение (вот почему я рассказываю об обстоятельствах, сопутствующих появлению этого стихотворения) — такова была широко распространенная точка зрения...

И газеты с их вполне естественным прагматизмом тут ни при чем, ведь даже издательство в подготовленном Симоновым в начале 1942 года поэтическом сборнике намеревалось оставить всего лишь треть стихотворений, входивших в цикл «С тобой и без тебя», — только благодаря вмешательству А. С. Щербакова он был напечатан целиком. [3] Так что следует не укорять газеты той поры за робость и узость, а поражаться их широте и смелости — очень

---

[1] Архив К. М. Симонова.

[2] К. Симонов, Разные дни войны, т. 2. 1942—1945 годы, с. 40.

[3] Там же, с. 105—109.

часто они не считались с установившимися представлениями о том, что приличествует и не приличествует газетной полосе (появление «Жди меня...» в «Правде» лучше всего говорит об этом).

Когда-то цикл «С тобой и без тебя» имел подзаголовок — «Из лирического дневника». Незадолго до смерти, готовя первый том нового собрания сочинений, Симонов над военными стихами, не входившими в этот цикл, поставил заголовок — «Из дневника», в сущности и эти стихи тоже были частью его лирического дневника. И нет ничего удивительного в том, что некоторые стихи у Симонова так легко переходили из одного цикла в другой. И в том, что откровенно публицистическое «Если дорог тебе твой дом...» по образному строю, по типу лирического сюжета, по жанровой структуре очень близко интимному «Жди меня...». И то и другое написано как личное письмо, и там и там прямое обращение к читателю.

Симонов со свойственной ему чуткостью откликнулся на выявившуюся уже в первые месяцы войны острую *общественную* потребность в лирике, в задушевном — с глазу на глаз — разговоре поэта с читателем, объясняющую ошеломительный успех «Жди меня...» и других его стихотворений. Конечно, не он один это сначала почувствовал, а потом понял. Я уже говорил, что вершинные достижения многих наших поэтов приходятся на годы войны (потребовался бы очень длинный список, чтобы назвать все имена). Я хочу здесь привести слова Алексея Суркова, сказанные на исходе первого года войны и свидетельствующие о том, сколь уже осознанной поэтами была эта общественная потребность в лирике: «И эта война нам подсказала: «Не ори, говори тише!» Это одна из истин, забвение которой должно привести на войне или к срыву голоса, или к потере лица. На войне кричать не надо. Чем ближе стоит человек к смерти, тем больше раздражает его громогласная болтовня. На войне все на солдат кричат — и пушки, и пулеметы, и бомбы, и командиры, и все на это имеют право. Но нигде в уставах войн не записано, что поэт тоже имеет право оглушать солдата лозунговым пустозвонством. Воюющий человек любит прямое слово, раскрытое слово, прямо соответствующее его существованию на войне. Это есть в лучших стихах некоторых наших поэтов, написанных за войну. Эти стихи часто очень нервные, очень возвышенные по чувствам, но все они написаны без крика, проникновенным лирическим голосом». [1]

Этот эстетический принцип в годы войны выдерживается Симоновым очень последовательно — многие его стихотворения строятся на доверительном обращении к какому-то человеку, на место кото-

---

[1] «Живая память поколений», с. 25.

рого может себя поставить и читатель: «Опять мы отходим, товарищ...», «Не плачь! — Всё тот же поздний зной Висит над желтыми степями...», «Когда в последний путь Ты отправляешь друга...», «Когда ты входишь в город свой...» и т. д. Даже обличительные стихотворения представляют собой послание определенному лицу: «Я знаю, ты бежал в бою...», «Я вас обязан известить, Что не дошло до адресата Письмо...».

Но при этом накал чувства в них необычайно высок. Не случайно первый же слушатель, которому автор прочитал только что написанное «Жди меня...» — это был Лев Кассиль, — сказал, что стихотворение «немного похоже на заклинание».[1] Потом это и подобные ему определения — «клятва», «молитва» — множество раз повторялись устно и печатно. Они и в самом деле напрашиваются. И «Жди меня...», и «Если дорог тебе твой дом...» заключают в себе безоговорочный и поэтому равно обязательный и для поэта и для читателя этический принцип. И это равенство перед высшим нравственным законом при отсутствии экзальтации позволяет поэту вести разговор с читателем откровенно и тихим голосом...

В поэме «Далеко на Востоке» (1939—1941), посвященной халхин-гольским боям, есть такие строки:

И когда солдаты,
которым завтра в бой,
говорят не о торжестве идей,
а, грустя, вспоминают о доме,
о матери,
о родных,
то это тревожит только маленьких чернильных людей,
верящих громким словам,
но не верящих сердцу,
которого
нет у них самих.

Здесь с полемической заостренностью поэт заявляет свою эстетическую программу, которой он затем следовал все годы Отечественной войны. Но в самой поэме автор нет-нет и отступал от нее, прибегая к «громким словам», к торжественному пафосу. Может быть, это происходило потому, что он обращался к читателю, от которого война во всей ее суровой повседневной реальности была еще очень далеко, и боялся быть непонятым? А война с гитлеровской Германией была уже, как он потом напишет, «общей бедой на всех,

[1] К. Симонов, Разные дни войны, т. 1, с. 243.

на все четыре года». Это многое меняло самым существенным образом. Вот один пример.

Он лежит под землей на границе.
Но он сам — как граница.
Он лежит на орлином утесе.
Но он сам — как орлиный утес.

Он описан на книжных страницах,
но он сам — как живая страница.

Так с монументальным величием пишет о павших Симонов в поэме «Далеко на Востоке». И совсем по-иному — с горькой и страшной простотой — в стихах военных лет:

Днем, по капле нацедив во фляжки,
Сотый раз переходя в штыки,
Разодрав кровавые тельняшки,
Молча умирают моряки.

(«Я не помню, сутки или десять. . .»)

Или:

Как шел вперед, как умер на бегу,
Так и упал и замер на снегу.

(«Товарищ»)

Изменилось поэтическое решение, но это было следствием глубских перемен в мироощущении поэта. Впрочем, это опять касается не одного Симонова: если сравнить, скажем, стихи, написанные Твардовским во время финской кампании, и его замечательную «Книгу про бойца», вывод будет тот же. Никто из писателей представить себе не мог, что нам на самом деле предстоит, какой тяжкой, жестокой и кровавой будет эта война. Даже те, кто, как Симонов, Сурков, Твардовский, были лучше подготовлены к ее изображению, чем некоторые их коллеги, и стояли на верном пути. Но как бы далеко они ни продвинулись по этому пути, война с гитлеровской Германией, которая не была для них неожиданностью — они ее ждали, они к ней готовились, — поставила их перед проблемами, которые в голову никому не могли прийти, — она в очень важных вещах оказалась непохожей на те «малые» войны, в которых они участвовали. И здесь не было и не могло быть исключений — потребовалась перестройка сознания, восприятия, чтобы освоить так трагически изменившуюся действительность.

Уже после победы над гитлеровской Германией, вспоминая и сравнивая Халхин-Гол и Великую Отечественную войну, себя, каким

он был тогда, как воспринял эти события, Симонов сам рассказал о том, как изменилось его мироощущение: «...мои первые впечатления от боев на Халхин-Голе были еще очень далеки от всего того, что породила в моей душе война 1941 года.

То было громадное, вдруг обрушившееся несчастье, которое я сразу, буквально в первые дни ощутил как трагедию...

Там, на Халхин-Голе, все это у меня совершенно отсутствовало. Я ощущал тогда все происходившее там как войну, в которой были затронуты наши обязательства, наш престиж, наша гордость, затронуты мои представления о том, что наша армия лучше всех других. Там происходила проверка этих представлений, но при этой проверке еще никак не были затронуты самые большие трагические проблемы: судьбы родины, близких, наших городов, нашей земли — ничто это затронуто не было». [1]

«Малая» война, в которой Симонову довелось участвовать на Халхин-Голе, воспринималась им как опасная, но почетная командировка для немногих избранных, для особо отличившихся, способных выдержать то, что другим, может быть, и не под силу. О ней еще можно было сказать, как говорил Симонов: «...мне не повезло, я хотел, но не попал в Испанию, а здесь мне повезло, и я попал», [2] — к Отечественной войне это «повезло» или «не повезло» было совершенно неприменимо — она обрушилась на всех, навалилась на каждого.

В том, что писал Симонов о Халхин-Голе, был и такой пусть негромко звучащий, но все-таки различимый мотив: я это видел, я через это прошел, я это выдержал, а сумеете ли вы, это вам придется еще доказывать и себе и другим. Здесь слышны и киплинговские ноты (в молодости Симонов был горячим поклонником поэзии Киплинга, ему импонировало солдатское мужество его героев, увлекала киплинговская военная романтика). «Все это, — признавался он позже, — в 41-м году вдруг показалось далеким, маленьким и нарочито напряженным, похожим на ломающийся мальчишеский бас». [3]

Поэзия Симонова совершенно выходит из сферы эстетического притяжения Киплинга, не только в прозе, но и в стихах он ориентируется на Толстого, на его художественный опыт изображения народной войны, ее трагедии и величия. Это может показаться странным, натянутым — стихи и толстовская традиция, воздействие которой обычно рассматривается в связи с прозой! Но вот что пишет об этом сам Симонов — в его представлении наиболее существенные принципы изображения войны и в прозе и в поэзии едины, они об-

---

[1] К. Симонов, Далеко на Востоке, с. 47—48.
[2] Там же, с. 49.
[3] Там же, с. 50.

разуют общую традицию, специфическое для прозы и поэзии особой роли в данном случае не играет: «Главным уроком из Лермонтова для меня — и как для поэта и как для прозаика — был и остался «Валерик». Вообще-то главный урок для меня — это Лев Толстой. Но я почему-то думаю, что для самого этого недосягаемого учителя большинства русских прозаиков лермонтовский «Валерик» тоже был в свое время одним из первых уроков мастерства и правды.

Сколько бы я ни перечитывал Толстого — ранние его кавказские рассказы, «Севастопольские рассказы» или военные страницы «Войны и мира», — мне всегда вспоминается еще и «Валерик», как тот ручеек под Осташковом, с которого начинается Волга». [1]

Уроки лермонтовского «Валерика» наглядно проступают в стихотворении Симонова «Дожди». Оно тоже представляет собой послание женщине, находящейся далеко от войны и имеющей о ней смутные представления, послание, в котором рассказывается об одном боевом дне действующей армии. И рассказ этот, как и у Лермонтова, отличается, казалось бы, доступной только прозе точностью — в основе своей он даже документален. Исследователи установили, что нарисованная в «Валерике» картина боя совпадает — даже в деталях — с его описанием в «Журнале военных действий» отряда генерал-лейтенанта Галафеева, в котором во время похода в Чечню летом 1840 года служил Лермонтов. Точно так же фронтовые дневники Симонова свидетельствуют, сколь точно воспроизведены в «Дождях» реалии нашего неудачного наступления под Керчью в феврале 1942 года. И сам тон рассказа — непринужденного, но печального, сдержанного, но откровенно бесстрашного — в «Валерике» и «Дождях» очень близок.

Но столь же осязаемо обнаруживает себя в стихотворении Симонова и толстовское начало (тем более что в восприятии автора «Дождей» оно тесно связано с «Валериком»). Только после «Севастопольских рассказов» можно было отважиться написать о пехоте, наступающей по раскисшей от дождя земле, о мертвых, лежащих в непролазной грязи, о смерти, что косит и косит, как о чем-то обыденно-привычном, — ужасном и этой своей обыденностью. О Халхин-Голе Симонов писал еще по-иному — не потому, что меньше тогда ценил «Валерик» и «Севастопольские рассказы», а потому, что война была там другой. Подлинное значение, глубина и современность этой традиции открылись ему с осознанием обрушившейся в сорок первом на нашу страну страшной беды.

Оказавшись в первые дни Отечественной войны в Белоруссии, там, где гитлеровская армия наносила самый жестокий удар, осознав,

---

[1] К. Симонов, Сегодня и давно, с. 401.

что понадобятся неимоверные усилия и бесчисленные жертвы, чтобы выстоять, чтобы одолеть врага, Симонов словно бы подводит черту под недавним прошлым — и своими представлениями о войне, и своими эстетическими пристрастиями, и тем, что писал о ней:

Да, война не такая, какой мы писали ее, —
Это горькая штука...

(«Из дневника»)

Это чувство, эта мысль, что все изменилось, что былые мерки не годятся, мелки, не дают ему покоя, — снова и снова появляются в его стихах:

Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением.

(«Словно смотришь в бинокль перевернутый...»)

В этом написанном в самом начале войны стихотворении сразу же был определен поэтом тот новый нравственный счет, который стал глубинной основой его поэтического мироощущения. «Перед лицом большой беды» все видится теперь иначе: и жизнь («В ту ночь, готовясь умирать, Навек забыли мы, как лгать, Как изменять, как быть скупым, Как над добром дрожать своим»), и смерть («Да, мы живем, не забывая, Что просто не пришел черед, Что смерть, как чаша круговая, Наш стол обходит круглый год»), и родина («Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, Не той, что была по учебникам пройдена, А той, что пылала в глазах воспаленных, А той, что рыдала, — запомнил я Родину»), и дружба («Всё тяжелее груз наследства, Всё у́же круг твоих друзей. Взвали тот груз себе на плечи»), и любовь («Но в эти дни не изменить Тебе ни телом, ни душою»).

И себя Симонов уже не ощущает поэтом одного поколения, война сразу же стала всенародным делом и горем, стирая возрастную иерархию, различия поколений, в его стихах все сильнее проступает чувство всеобщности переживаемых испытаний. Это было естественное выражение накопленного им в те дни духовного опыта. А опыт этот был огромен. Куда только не бросала Симонова военная судьба, с кем только не сводила на фронтовых дорогах... Даже сухой перечень в Автобиографии его командировок в действующую армию раскрывает, как много он повидал тогда. Он знал войну вширь и вглубь. Знал, о чем думал, что было на сердце у фронтовика и в мрачное лето 41-го года, и в победную весну 45-го...

Читатель, который в те нелегкие дни обращался к поэзии, невольно искал в ней прежде всего хоть какого-то отзвука того, что он пережил на фронте, — и когда поднимался в атаку под огнем («Осталась только сила ветра, И грузный шаг по целине, И те последних тридцать метров, Где жизнь со смертью наравне!»), и когда пуля настигала того, кто был рядом с ним, с кем он только что выкурил — одну на двоих — закрутку махорки («За пять минут уж снегом талым Шинель запорошилась вся. Он на земле лежит, усталым Движеньем руку занеся»), и когда, не выдержав вражеского натиска, его полк уходил на восток («И смерть тебе меньшею мукой Казалась, чем этот позор»), и когда охватывала его тоска по дому, по любимой («Готовясь умереть в бою, Я все-таки с собой в кармане Нес фотографию твою»). Для такого читателя стихи Симонова были страстно ожидавшимся откровением. Читатель был покорен тем, что чувства поэта и его чувства совпадали, что пережитое им подтверждено поэзией.

Сегодня в этих стихах открывается и другое: человеческая душа в них «застигнута» поистине в минуты роковые, в обстоятельствах трагических, она проявляется и в любви, и в ненависти с напряжением и обнаженностью, неведомыми обычному течению жизни, все тут, перед лицом ежеминутно подстерегающей, никого не щадящей смерти, перед лицом народной беды, на самом крайнем пределе — и мужество, и боль, и сострадание, и слитность с общей судьбой. На том пределе, который вряд ли доступен человеку в повседневности и до которого поэзия поэтому редко добирается...

Это были годы невообразимых страданий. Сколько б ни писали, сколько б ни рассказывали о них тогда и потом, исчерпать это горе невозможно. В Белоруссии сложил голову каждый четвертый, из фронтовиков 1922, 1923, 1924 годов рождения в живых осталось три процента, в далеком от фронта вологодском городке Белозерске было две с половиной тысячи мужчин призывного возраста — не вернулось с войны восемьсот восемьдесят шесть. Двадцать миллионов погибших — страшная статистика крови и горя...

Однако это было время не только тяжелых потерь и жестоких испытаний, но и безоглядной самоотверженности, братской отзывчивости, душевного подъема. Иначе тогда не устоять бы, не выдержать натиска гитлеровцев. Многих людей могучая волна народной войны подняла на прежде им не доступную высоту, открыла окружающим, а порой и им самим, что в них таилось, какой запас мужества, благородства, доброты. Это был их «звездный час». Они впервые постигали — не умозрительно, а на своей собственной судьбе — сверхличный смысл индивидуального существования, это рождало чувство полноты бытия, окрыленности, пьянящей внутренней свободы.

В первую, самую жуткую зиму ленинградской блокады Ольга Берггольц писала в «Февральском дневнике»:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.

Те, кто этого не пережил, сегодня могут подумать: а нет ли здесь все-таки поэтического воспарения над реальностью? Но вот вполне будничное письмо Симонова матери (написанное тогда же), речь в нем идет в основном о житейской прозе, но и тут сквозит то же чувство, что в стихах Берггольц: «Настроение неплохое, как будто все идет удачно, и работа, и поездки, а из этих двух вещей в сущности ведь и состоит жизнь. Жизнь стала трудной, но интересной, иногда даже непонятно, как жил до этого и чем жил в той повседневности и отсутствии тревог и волнений, как это было до войны». [1]

В эти тяжкие дни в людях обнаруживалось то, что следовало бы всеми силами удержать, сохранить и на будущее, — подвижничество, справедливость, душевная щедрость. Это один из сквозных мотивов симоновской лирики военных лет. Иногда он выражается впрямую — поэт грозит отступникам, отвергнувшим или забывшим нравственный кодекс фронтового братства, очной ставкой с прошлым:

И если кто-нибудь из нас
Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,
Солжет, или изменит нам,

Иль, находясь в чинах больших,
Друзей забудет фронтовых,—

Мы суд солдатский соберем
И в этот дом его сошлем.

Пусть посидит один в дому,
Как будто утром в бой ему.

(*«Дом в Вязьме»*)

---

[1] Архив К. М. Симонова. Письмо А. Л. Иванишевой от конца марта 1942 г.

Иногда этот мотив звучит словно бы под сурдинку. Щемящая грусть стихотворения «Через двадцать лет» выдает страстное желание поэта сберечь память о том, «какими мы когда-то были», на что были способны, какой полной и самозабвенной жизнью тогда жили. Предчувствие будущей ностальгии по одухотворенности и чистоте того времени очень рано возникло у Симонова (он чувствовал, как трудно будет удержаться на этой высоте) — я поминал стихи 1942 и 1943 годов, но по-настоящему эта ностальгия настигнет его лет через десять после войны, сыграв решающую роль в дальнейшей жизненной и творческой судьбе писателя.

Отечественная война была для Симонова, как и для всех, кто прошел через ее испытания, ни с чем не сравнимым потрясением. Потом могло быть — и было — в жизни всякое: дурное и хорошее, радостное и печальное, успехи и неудачи, но равного с этим, даже близкого этому не было. Но чтобы осознать это, нужно было время. А жизнь не остановилась, она обрушивалась множеством забот, неотложных дел, не давала ни минуты покоя. Еще не возникла перспектива, не определился масштаб, недавнее прошлое заслонялось сегодняшним...

Когда кончилась война, Симонову еще не было тридцати. Все главное в жизни, казалось, впереди. Работавший всю войну, не зная отдыха и передышек, он и теперь не имеет времени, чтобы оглянуться, осмотреться, прислушаться к себе, — тоже не последнее дело для художника, для поэта. Мирное время сразу же навалилось новыми — большими и трудными — обязанностями: Симонов становится одним из руководителей Союза писателей, главным редактором «Нового мира», а затем «Литературной газеты», общественным деятелем. К этому прибавлялись следовавшие одна за другой зарубежные командировки: наиболее длительные и существенные для его творчества — в Японию (декабрь 1945 — апрель 1946), США (апрель 1946 — июнь 1946) и Китай (октябрь 1949 — декабрь 1949). На этой основе и сложилась книга стихов Симонова «Друзья и враги» (1948). Затем она еще в течение нескольких лет пополнялась новыми стихами.

Это было время «холодной» войны, начавшейся вскоре после победы над фашистской Германией и вызвавшей резкое ухудшение отношений недавних союзников по антигитлеровской коалиции. Ударной силой этой войны были средства массовой информации. Естественно, что Симонов, ездивший за рубеж большей частью в качестве корреспондента газет, сталкивался прежде всего с этой враждебной пропагандистской машиной.

Как известно, журналист сосредоточен главным образом на злободневном, на новостях — такова суть его деятельности. В этом его сила. И слабость: нередко сегодняшнее ему кажется более значи-

тельным, чем есть в действительности, — только потому, что в этот момент находится перед глазами, а прошлое соответственно уменьшается — ведь оно отодвинуто временем вдаль. Эта аберрация сказалась и в стихах Симонова: вольно или невольно дипломатические и газетные баталии «холодной» войны приравнены к кровавым сражениям недавно отгремевшей Отечественной. Корреспондентский клуб, в котором жили в Токио советские писатели и журналисты, видится поэту как «дом на передовой», зарубежные командировки воспринимаются как выполнение воинского долга: «просто за семь тыщ верст и еще три версты этой ночью мне вышло на пост заступать...» Все это, разумеется, расхожие сравнения, но и они выдают смещение перспективы.

Выражали ли они истинное душевное состояние поэта, трудно сказать, — он был человеком твердых решений и, раз решив, что писать нужно так и об этом, упорно гнул свою линию, даже когда для этого ему приходилось наступать на горло собственной песне. Вообще, это было для Симонова сложное, кризисное время — пройдут годы, и на своем пятидесятилетии он скажет: «...не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо, — я это понимаю, — не всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте человеческой».[1] Относилось это к тем послевоенным годам и не могло не иметь последствий для его творчества, в котором поэзия еще занимала большое место, во всяком случае была равнозначна прозе и драме (он признавался тогда в одной беседе: «...я как-то еще, как говорится, не определился, в каком жанре окончательно работать, и еще не знаю, когда определюсь»).[2] Из-за долгих поездок за рубеж многие «домашние» дела проходили мимо Симонова, не так его задевали, а может быть, это его отстранение от них было вызвано и несправедливой уничтожающей критикой повести «Дым отечества», в которой изображение послевоенной Смоленщины было сочтено слишком мрачным.

Но так или иначе Отечественная война возникала в симоновских стихах лишь для сравнения или уподобления битвам войны «холодной», а большинству его читателей военное лихолетье ежедневно и ежеминутно напоминало о себе неизбывным горем вдов и сирот, костылями инвалидов, разрухой, тяжелой работой и еще более тяжелым, скудным бытом. То, что поглощало тогда Симонова, что казалось ему самым важным в нашей жизни — ожесточившиеся ме-

---

[1] Архив К. М. Симонова. Стенограмма выступления на юбилейном вечере в ЦДЛ, посвященном 50-летию К. Симонова, 28 ноября 1965 г.

[2] Там же. Стенограмма беседы со студентами Литературного института им. Горького 31 мая 1951 г.

ждународные отношения, — конечно, их тоже интересовало, они с вниманием и тревогой следили за газетными сообщениями, но все-таки их повседневное существование, их насущные заботы были связаны с другим.

Впервые читатели и Симонов оказались настроены не на одну и ту же эмоциональную волну. Преодолеть этот возникший разрыв, сделать в стихах свои переживания общезначимыми было не так просто. И не всегда удавалось. Симонов уже хорошо знал, что подлинная публицистика требует лирического наполнения — иначе она становится ходульной. Но в искусстве нет раз и навсегда усвоенных решений, годных на все случаи, новый материал требует нового подхода. То, что в одном случае принесло успех, в другом может обернуться неудачей. Некоторые стихотворения в книге «Друзья и враги» Симонов строит на привычном ему доверительном обращении к какому-то конкретному лицу («В корреспондентском клубе», «Улица Сакко и Ванцетти», «Три точки», «Новогодняя ночь в Токио»). Но таких стихотворений немного — возникшее между поэтом и читателями расстояние не всегда преодолевалось с помощью лирического послания, пожалуй, лишь в двух — первом и последнем — эта форма органична, в остальных она оставляет ощущение необязательности, искусственности: доверительность вытеснена риторикой.

Как и прежде, у Симонова все зависело от глубины переживания, силы чувства. Одно из лучших стихотворений книги — «Военно-морская база в Майдзуре». Такая тут выражена сердечная тоска — от разлуки с родиной, с близкими, оттого, что вокруг чужая жизнь, от неотступно следующего за ним соглядатая из американской разведывательной службы, настолько герой стихотворения душевно сильнее, чище, выше наших противников, что вряд ли даже была нужда в заключительном публицистическом четверостишии, сводящем дело к общей формуле. Романтика интернационализма, революционной солидарности — то, что для Симонова всегда было окружено поэтическим ореолом, — одухотворяет такие стихи, как «Немец», как «Ночь перед бессмертьем». Здесь он тоже добивается успеха.

Но были в книге стихи (например, «Хлеб» или «История одной ошибки»), содержание которых, в общем, не выходит за рамки публицистической статьи или газетного очерка, — в них отсутствует поэтическое обобщение, они привязаны к одному событию и им исчерпываются. В сущности, в несколько ином виде, чем это было когда-то на Халхин-Голе в «Героической красноармейской», на другом уровне Симонов повторял ту же ошибку. Правда, ему казалось, что на этот раз, опираясь на опыт Маяковского, он сумеет извлечь из «простого газетного факта» поэзию. И все вроде должно было

получиться самым лучшим образом: Симонов любил и высоко ценил Маяковского, впечатления его от зарубежных поездок были сродни тем, что вынес Маяковский. Но не получилось, да и не могло получиться. Симонову, преклонявшемуся перед Маяковским, не был свойствен его открытый пафос, его громогласность, его способность художественно укрупнять факт. Там, где Маяковский претворял публицистику в поэзию, Симонову далеко не всегда удавалось добираться до поэзии; безоглядно и восхищенно следуя за Маяковским, он срывал голос, утрачивал собственную поэтическую интонацию, в которой в немалой степени и было заключено обаяние симоновских стихов.

Зависимость от Маяковского ощущается и в сатирических стихотворениях Симонова («Дружба — дружбой, а служба — службой...», «Жил да был человек осторожный...», «Улыбка»), посвященных уже «домашним» делам и вошедшим в сборник «Стихи 1954 года». Поэт обличает приспособленчество и трусость, выдающие себя за благоразумие и житейскую мудрость, казенное равнодушие, загримированное под идейную непримиримость. Объекты сатиры у него не то чтобы неизвестные, но взята под обстрел их самая современная модификация. Однако они недостаточно укрупнены, не доведены до гротеска, не выставлены в убийственно смешном виде — и в этом случае путь, по которому поэт двинулся вслед за Маяковским, был все же не по нему.

Но сам круг нравственных проблем, к которым он искал сатирические подходы, для него необычайно важен, задевает за живое. В его лирических стихах («Дом друзей», «Чужая душа», «Борису Горбатову», «Друг-приятель», «Анкета дружбы») дается более глубокий срез явления, чем в сатирических, оно приближено к читателю, раскрывается изнутри: и лирическому герою случалось отступать под натиском беспринципности, прикидывавшейся принципиальностью, и он шел на компромиссы, считая, что плетью обуха не перешибешь, и он не всегда вставал горой за друга, попавшего в беду, оскорбленного несправедливостью. Послевоенные годы омрачены и тем, что под ударами демагогов, «вертодоксов» колебались некоторые нравственные представления, еще недавно казавшиеся незыблемыми. Подверглись девальвации, а порой и извращались такие понятия, как дружба и друг, которым до войны и в войну в симоновской иерархии человеческих ценностей отводилось очень высокое место — для него это была святая святых. И суд его тем строже, что начинает он его с самого себя. В этом смысл концовки стихотворения «Друг-приятель», она заставляет вспомнить то место из речи Симонова на вечере, посвященном его пятидесятилетию, которое я цитировал.

Чтоб эти вытравить черты,
Пора в лицо смотреть им —
Случается,
что я и ты
Бываем этим —
третьим...

Многое сошлось здесь для Симонова. Потому что настоящая дружба покоится на принципиальности и человечности, твердости убеждений и душевной щедрости, верности и прямоте. Ее разъедает «эластичная» нравственность, потребительское отношение к жизни, она не может быть от сих до сих. Тема дружбы, обычно числящаяся по разряду так называемых личных, в стихах Симонова истолкована как принципиально гражданская. Она привлекла поэта и тем, что обнажала человеческий план наступивших перемен в общественном климате страны.

Эти годы были поворотными в духовном развитии Симонова. Он принадлежал к тем натурам, которые преподносимые им жизнью уроки усваивали раз и навсегда. Понятно, что поворот этот произошел под влиянием тех изменений, тех сдвигов в общественном сознании, которые знаменовал собой XX съезд КПСС. Для Симонова он означал еще и возвращение в творчестве к Великой Отечественной войне. И дело не в том только, что начиная с середины 50-х годов почти все, что написал Симонов в прозе, да и большинство стихов, к которым он, правда, обращается все реже и реже, — о войне. Более существенно другое. То фронтовое время — бескомпромиссное, не терпящее уклончивости, со всей беспощадностью проверявшее слово делом, а точнее сказать, готовностью отдать свою жизнь в бою, рискуя собой, спасти товарища, — становится снова фундаментом нравственных представлений Симонова, его взглядов на жизнь, его отношения к людям. Об этом в одном из самых сильных стихотворений Симонова, написанном в 1956 году, сказано с той убежденностью, которая укреплена преодолением и собственных заблуждений:

Не чтобы ославить кого-то,
А чтобы изведать до дна,
Зима сорок первого года
Нам верною меркой дана.

Пожалуй, и нынче полезно,
Не выпустив память из рук,
Той меркой, прямой и железной,
Проверить кого-нибудь вдруг!

(«Зима сорок первого года...»)

Что значит для Симонова эта мерка, можно судить хотя бы по тому, что в стихотворении, посвященном памяти погибших космонавтов, он сравнивает их трагически закончившийся полет с разведкой, отправленной в тыл врага, где кому-то придется сложить голову, — «...вновь та жизнь перед тобою — ее закон, ее устав...». Симонов будет свято чтить этот закон, этот устав, но движет им не элегическое чувство, а вера в то, что иначе нельзя жить и сегодня.

Эти перемены не означали, что все, что писал затем Симонов, непременно приносило ему успех, они были лишь одним из условий успеха. Из двух последних его поэм предпочтение надо отдать поэме «Отец». Она признание в любви человеку, заменившему автору отца, — ему он обязан тем хорошим, что находит в себе, в этом признании нет и намека на сентиментальность, одинаково невозможную для них, — один сдержан, другой даже суров. В «Отце» поэтизируется спартанское воспитание, благодаря которому человек обретает солдатское и гражданское мужество, — для Симонова они теперь неразделимы.

Другая поэма — «Иван-да-Марья» (1956—1958) — удалась меньше. Замешенная в сущности на тех же дрожжах, она о людях, с достоинством и мужеством проживших вместе нелегкую жизнь, выдержавших и безжалостные удары судьбы, и бытовое неустройство, и разлуки. Отличающаяся дотошным знанием военной среды, уклада армейской жизни, поэма своей художественной структурой напоминает рассказ или повесть. Ей недостает лирической окрыленности. Лирический сюжет то возникает, то надолго пропадает, вытесненный рассказом о жизненном пути героев, обстоятельными описаниями. Чувствуя это, автор, чтобы усилить лирическое начало, делает себя одним из действующих лиц произведения, обращает свой рассказ к героине поэмы, но в такого рода его присутствии нет необходимости, а однообразные обращения к героине становятся назойливыми — эти внешние приемы лирического претворения жизненного материала не достигают цели.

Так обстоит дело с последними поэмами.

Немногочисленные поздние стихи Симонова — во всяком случае немалая их часть — писались для себя, для близких. Если он в эту пору принимался сочинять стихи, то только потому, что у него возникало страстное желание излить душу. Некоторые из них и печатались далеко не сразу — лежали, дожидаясь какого-то случая, некоторые увидели свет только в первом томе нового собрания сочинений, а некоторые он не стал публиковать, хотя они мало чем отличаются от тех, что он отдал в печать.

В эти годы у Симонова преобладает медитативная лирика. Это размышления о жизни и смерти, о памяти — она одна сохраняет какую-то часть ушедших от нас, о войне — никогда не оставляющей нас Великой Отечественной и о войне во Вьетнаме, где довелось побывать Симонову, — на каждом шагу она заставляла вспоминать о пережитом на фронте четверть с лишком века назад. С годами все острее и острее осознает он трагическую сторону войны, неотступно думает об этом. Одному из своих корреспондентов он писал тогда: «... как бы ни были высоки наши побуждения, война все равно оставалась для нас человеческой трагедией от своего первого до своего последнего дня, и в дни поражений, и в дни побед. Она все равно оставалась противоестественным состоянием для каждого человека, не потерявшего людской облик».[1] Во вьетнамских стихах он находит для выражения этого поразительную по глубине поэтическую формулу:

Напоминает море — море.
Напоминают горы — горы.
Напоминает горе — горе;
Одно — другое.

Чужого горя не бывает,
Кто это подтвердить боится, —
Наверно, или убивает,
Или готовится в убийцы...

(*«Чужого горя не бывает...»*)

Среди последних стихов Симонова немало печальных — он много болел в эти годы и не мог не думать о приближающемся конце. Но печаль эта часто смягчается то улыбкой, то самоиронией, — не специально, не намеренно — это было естественным проявлением его характера, присущего ему мужества и жизнелюбия. Он любил жизнь — не гнулся под ее ударами, радовался ее дарам. Когда-то прозвучавшее в его стихах с молодой лихостью и беспечностью:

Ни любви, ни тоски, ни жалости,
Даже курского соловья,
Никакой, самой малой малости
На земле бы не бросил я, —

(*«Если бог нас своим могуществом...»*)

---

[1] К. Симонов, Сегодня и давно, М., 1974, с. 237.

на склоне дней не угасло в нем, не отступило под натиском болезней и предписаний врачей:

Осень, ветер, листья — буры.
Прочной хочется еды.
И кладут живот свой куры
На алтарь сковороды.

И к подливам алычовым
И к осеннему вину
Что добавить бы еще вам?
Лошадь? Женщину? Войну?

(«Осень, ветер, листья — буры. . .»)

И самое главное. С юных лет Симонов считал, что нет ничего важнее для человека, чем его дело, его призвание. Что бы ни было, как бы ни приходилось туго, какие бы препятствия или соблазны ни возникали на пути, он должен, невзирая ни на что, трудиться до седьмого пота, выполнить свой долг. Он утверждал это, когда ему едва перевалило за двадцать, — это было еще только намеченной жизненной программой:

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы. . .

(«Всю жизнь любил он рисовать войну. . .»)

В его поздних стихах это уже итог прожитой жизни:

Кто в будущее двинулся, держись,
Взад и вперед,
Взад и вперед до пота.
Порой подумаешь:
Вся наша жизнь
Сплошная ледокольная работа.

(«Кто в будущее двинулся, держись. . .»)

Такой ему представлялась настоящая жизнь. Так он и прожил свою. . .

* * *

Константин Михайлович Симонов умер в Москве 28 августа 1979 года.

Как он завещал, прах его развеян под Могилевом на Буйническом поле.

В фильме «Шел солдат...» снято это поле — лето, высокие хлеба, простор, на горизонте лес. И Симонов рассказывает: «Одному человеку этот, мирный сейчас, пейзаж ничего не говорит, а для другого — это поле боя...

Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но и у меня есть кусок земли, который мне век не забыть, — вот это поле за Могилевом, где я впервые видел в июле сорок первого, как наши сожгли тридцать девять немецких танков и бронетранспортеров». [1]

На всю жизнь запомнил он это поле и этот день. И потому, что после первых приводивших в отчаяние фронтовых впечатлений нашел наконец «точку опоры», увидел людей, которые остановили врага, выдержали его удар и нанесли ему ответный. И потому, что чудом оттуда выбрался. Едва покинув полк Кутепова, Симонов и его спутники снова оказались во власти неразберихи отступления, и поэт записал потом в дневнике: «У меня было единственное желание — поехать обратно в полк к Кутепову и остаться там до конца. Там, по крайней мере, был порядок, и думалось, что если умрешь там, то хоть с толком». [2] Но они не имели на это права, газета требовала материала, они должны были делать свое дело... Под носом немецких танков все-таки выскользнули из очередного окружения — повезло... Разве такое забудешь?.. «Места, где ты был тридцать лет назад, иногда совершенно не узнаешь, а иногда узнаешь сразу, — писал Симонов. — Приехав в Могилев и бродя по местам боев сорок первого года, я совершенно точно вспоминал, где что было... Неподалеку при дороге стоит теперь обелиск с надписью, говорящей о том, что 388-й стрелковый полк в июле 1941 года «с беспримерной стойкостью» отбивал здесь атаки немецких танков. Имен погибших на обелиске нет, да в данном случае вряд ли и возможно написать их все; 388-й полк лег здесь, в боях за Могилев, почти целиком». [3] В каких-то ста метрах от этого обелиска стоит теперь у той же дороги валун, на котором высечено: «Константин Симонов». И в Могилеве улица Константина Симонова пересекает улицу полковника Кутепова.

---

[1] К. Симонов, Шел солдат... М., 1976, с. 129.
[2] К. Симонов, Разные дни войны, т. 1, с. 142.
[3] Там же, с. 128—129.

Почти все, что написал Константин Симонов — в стихах, в прозе, для театра и кино, — о войне. В этом он видел свой долг перед павшими. И жил он все эти годы с чувством, которое выразил в одном из поздних стихотворений. Стихотворение это о войне:

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

(«Тот самый длинный день в году. . .»)

Он ощущал неразрывную связь с теми, кому судьба не подарила, как ему, этих послевоенных лет, кто навеки остался на поле боя, как мог бы остаться там и он. Прах его смешался с прахом погибших в сорок первом году. Он вернулся к ним — навсегда...

Л. Лазарев

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в 1915 году в Петрограде, а детство провел в Рязани и Саратове. Моя мать работала то машинисткой, то делопроизводителем, а отчим, в прошлом участник японской и германской войн, был преподавателем тактики в военном училище.

Наша семья жила в командирских общежитиях. Военный быт окружал меня, соседями были тоже военные, да и сама жизнь училища проходила на моих глазах. За окнами, на плацу, производились утренние и вечерние поверки. Мать участвовала вместе с другими командирскими женами в разных комиссиях содействия; приходившие к родителям гости чаще всего вели разговоры о службе, об армии. Два раза в месяц я, вместе с другими ребятами, ходил на продсклад получать командирское довольствие.

Вечерами отчим сидел и готовил схемы к предстоящим занятиям. Иногда я помогал ему. Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому бы то ни было слово требовалось держать, всякая, даже самая маленькая, ложь презиралась.

Так как и отец и мать были люди служащие, в доме существовало разделение труда. Лет с шести-семи на меня были возложены посильные, постепенно возраставшие обязанности. Я вытирал пыль, мел пол, помогал мыть посуду, чистил картошку, следил за керосинкой, если мать не успевала — ходил за хлебом и молоком. Времени, когда за меня стелили постель или помогали мне одеваться, — не помню.

Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, где служил отец, породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединенную с уважением. Это детское, не

вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь.

Весной 1930 года, окончив в Саратове семилетку, я вместо восьмого класса пошел в фабзавуч учиться на токаря. Решение принял единолично, родители его поначалу не особенно одобряли, но отчим, как всегда сурово, сказал: «Пусть делает, как решил, его дело!»

Вспоминая теперь это время, я думаю, что были две серьезные причины, побудившие меня поступить именно так, а не иначе. Первая и главная — пятилетка, только что построенный недалеко от нас, в Сталинграде, тракторный завод и общая атмосфера романтики строительства, захватившая меня уже в шестом классе школы. Вторая причина — желание самостоятельно зарабатывать. Мы жили туго, в обрез, и тридцать семь рублей в получку, которые я стал приносить на второй год фабзавуча, стали существенным вкладом в наш семейный бюджет.

В ФЗУ мы четыре часа в день занимались теорией, а четыре часа работали, сначала в учебных мастерских, а потом на заводах. Мне пришлось работать в механическом цеху завода «Универсаль», выпускавшего американские патроны для токарных станков.

Поздней осенью 1931 года я вместе с родителями переехал в Москву и весной 1932 года, кончив фабзавуч точной механики и получив специальность токаря 4-го разряда, пошел работать на авиационный завод, а потом в механический цех кинофабрики «Межрабпомфильм».

Руки у меня были отнюдь не золотые, и мастерство давалось с великим трудом; однако постепенно дело пошло на лад, через несколько лет я уже работал по седьмому разряду.

В эти же годы я стал понемногу писать стихи. Мне случайно попалась книжка сонетов французского поэта Эредиа «Трофеи» в переводах Глушкова-Олерона. Затрудняюсь объяснить теперь, почему эти холодновато-красивые стихи произвели на меня тогда настолько сильное впечатление, что я написал в подражание им целую тетрадку собственных сонетов. Но, видимо, именно они побудили меня к первым пробам пера. Вскоре, после того как я одним духом одолел всего Маяковского, родилось мое новое детище — поэма в виде длиннейшего разговора с памятником Пушкину. Вслед за ней я довольно быстро сочинил другую поэму, из времен гражданской войны, и постепенно пристрастился к сочинению стихов, — иногда они получались звучные, но в большинстве были подражательные. Стихи нравились моим родным и товарищам по работе, но я сам не придавал им серьезного значения.

Осенью 1933 года под влиянием статей о Беломорстрое, которыми тогда были полны все газеты, я написал длинную поэму под названием «Беломорканал». В громком чтении она производила впечатле-

ние на слушателей. Кто-то посоветовал сходить с ней в литературную консультацию — а вдруг возьмут и напечатают?

Не особенно в это веря, я, однако, не удержался от соблазна и пошел на Большой Черкасский переулок, где на четвертом этаже, в тесной, заставленной столами комнате, помещалась литературная консультация Гослитиздата. Заведовал ею Владимир Иосифович Зеленский, писавший когда-то в «Правде» под псевдонимом Леонтий Котомка, а консультантами работали Анатолий Константинович Котов, Сергей Васильевич Бортник и Стефан Юрьевич Коляджин. Это были тогда еще молодые люди, энтузиасты, увлеченные своим делом — кропотливой и далеко не всегда благодарной работой с начинающими. Я пришел вовремя — литконсультация Гослитиздата выпускала очередной, второй сборник произведений молодых авторов под названием «Смотр сил». Прочитав мое творение, Коляджин сказал, что я не лишен способностей, но предстоит еще много работы. И я стал работать: в течение полугода, чуть ли не каждые две недели заново переписывая поэму, я приносил ее Коляджину, а он вновь заставлял переделывать. Наконец, весной, решив, что мы оба совершили с поэмой все, что могли, Коляджин понес ее Василию Васильевичу Казину, который редактировал в Гослитиздате поэзию. Казин тоже признал мои способности, но поэму как таковую отверг, сказав, что из нее можно выбрать лишь отдельные удачные места, или, как он выразился, фрагменты. И вот эти-то фрагменты, после того как я над ними еще поработаю, наверно, можно будет включить в сборник «Смотр сил».

Всю весну и начало лета каждый день, приходя с работы, я допоздна сидел и корпел над фрагментами. И когда я вконец изнемог под грузом поправок, Казин, казавшийся мне очень строгим человеком, вдруг сказал: «Ладно, теперь можно — в набор!» Сборник «Смотр сил» ушел в типографию. Оставалось ждать его выхода.

Летом, получив отпуск, я решил поехать на Беломорканал, чтобы увидеть своими глазами то, о чем я писал стихи, пользуясь чужими газетными статьями. Когда я робко заговорил об этом в консультации Гослитиздата, меня неожиданно поддержали не только морально, но и материально. В секторе культмассовой работы нашлись деньги для этой поездки, и через несколько дней, получив триста рублей и добавив их к своим отпускным, я поехал в Медвежью Гору, где помещалось управление так называемого Белбалтлага, занимавшегося достройкой ряда сооружений канала. В кармане у меня лежала справка, в которой значилось, что Симонов К. М. — молодой поэт с производства — направляется для сбора материала о Беломорканале и что культмассовый сектор Гослитиздата просит оказать означенному поэту всяческое содействие.

На Беломорканале я пробыл месяц. Большую часть времени жил

на одном из лагерных пунктов неподалеку от Медвежьей Горы. Мне было девятнадцать лет, и в том бараке, где я пристроился в каморке лагерного воспитателя (тоже, как и все остальные, заключенного), никто, конечно, не принимал меня всерьез за писателя. Персона моя никого не интересовала и не стесняла, и поэтому люди оставались сами собой. Когда я рассказывал о себе и о том, что хочу написать поэму про Беломорканал (а я действительно хотел написать вместо прежней новую), к этому относились с юмором и сочувствием, хлопали по плечу, одобряли: «Давай пробивайся!»

Вернувшись в Москву, я написал эту новую поэму. Называлась она «Горизонт», стихи были по-прежнему неудобоваримыми, но за ними стояло уже реальное содержание — то, что я видел и знал. В консультации мне посоветовали пойти учиться в открывшийся недавно по инициативе А. М. Горького Вечерний рабочий литературный университет и даже написали рекомендацию.

В начале сентября 1934 года, сдав приемные испытания, я нашел свою фамилию в длинном списке принятых, вывешенном в коридорах знаменитого «Дома Герцена». В этом списке было много фамилий людей, так никогда и не ставших писателями, но и немало ныне известных в поэзии. Среди них имена Сергея Смирнова, Сергея Васильева, Михаила Матусовского, Виктора Бокова, Ольги Высотской, Яна Сашина.

Учиться первые полтора года было трудно: я продолжал работать токарем, сначала в «Межрабпомфильме», а потом на кинофабрике «Техфильм». Жил я далеко, за Семеновской заставой, работал на Ленинградском шоссе, вечерами бежал на лекции, а по ночам продолжал писать и переписывать свою поэму о Беломорканале, которая чем дальше, тем делалась все длиннее. Времени на сон практически не оставалось, а тут еще выяснилось, что я гораздо меньше начитан, чем мне это казалось раньше. Пришлось, в срочном порядке, громадными порциями глотать литературу.

На втором курсе стало ясно, что делать сразу три дела — работать, учиться и писать — я больше не могу. Мне скрепя сердце пришлось оставить работу и перебиваться случайными заработками, потому что стипендий нам не давали, а стихов моих еще не печатали.

Вспоминая свои молодые годы, не могу не упомянуть о моих руководителях в поэтическом семинаре Литературного института Илье Дукоре и Леониде Ивановиче Тимофееве и моих поэтических наставниках тех лет Владимире Луговском и Павле Антокольском, сыгравших немалую роль в моей писательской судьбе. К этим людям я до сих пор испытываю огромную благодарность.

В 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны мои первые стихи, а в 1938 году под названием «Павел

Черный» наконец вышла из печати, отдельной книжкой, та самая поэма о Беломорканале, с первым вариантом которой я пять лет назад обратился в литконсультацию. Своим выходом в свет она не принесла мне радости, но, пока я ее писал и переписывал, научила меня работать.

Однако не публикация стихов и не выход первой моей книжки стали для меня той ступенью, шагнув на которую я почувствовал, что становлюсь поэтом.

Это чувство точно и определенно связано у меня с одним днем и одним стихотворением.

Вскоре после того как газеты напечатали известие о гибели под Уэской в Испании командира Интернациональной бригады генерала Лукача, я вдруг узнал, что легендарный Лукач — это писатель Мате Залка — человек, которого я не раз видел и которого еще год назад запросто встречал то в трамвае, то на улице. В тот же вечер я сел и написал стихотворение «Генерал».

В нем говорилось о судьбе Мате Залки — генерала Лукача, но внутренне с юношеской прямотой и горячностью я отвечал сам себе на вопрос — какой должна быть судьба моего поколения в наше революционное время? С кого лепить жизнь?

Да, именно так, как Мате Залка, мне хочется прожить и свою собственную жизнь. Да, именно за это мне будет не жаль отдать ее!

В стихах «Генерал» хромали рифмы и попадались неуклюжие строчки; но сила чувства, которое было в моей душе, сделала их, как мне кажется, моими первыми настоящими стихами. На этом, собственно, и пора поставить точку, рассказывая о том, как ты начинал.

Свою дальнейшую биографию — профессионального литератора, принятого в 1938 году в члены Союза писателей, — я изложу лишь в самых общих чертах. Если о времени, когда ты не печатался или только начинал печататься, можешь рассказать только ты сам, то обо всем последующем в жизни писателя говорят главным образом его книги.

Поэтому все дальнейшее в этой автобиографии будет лишь кратким комментарием к наиболее существенному — к книгам.

Осенью 1938 года, закончив Литературный институт имени А. М. Горького, я поступил учиться в аспирантуру ИФЛИ. Летом 1939 года сдал первые три экзамена кандидатского минимума. В августе того же года, по предписанию Политуправления Красной Армии, уехал на Халхин-Гол, в Монголию, в качестве военного корреспондента газеты «Героическая красноармейская». Более к занятиям в ИФЛИ я уже не возвращался.

После Халхин-Гола, во время финской войны, закончил двухмесячные курсы военных корреспондентов при Академии имени Фрунзе. Но на фронт не попал — война уже кончилась.

В 1940 году я написал первую свою пьесу — «История одной любви», в конце этого же года поставленную на сцене Театра имени Ленинского комсомола. А вслед за этим написал и вторую — «Парень из нашего города», — поставленную в том же театре уже в канун войны.

С осени 1940 года по июнь 1941-го учился на курсах военных корреспондентов при Военно-политической академии. Окончил их в середине июня 1941 года, получив воинское звание интенданта второго ранга.

В июне 1941 года я стал кандидатом партии. 24 июня 1941 года был призван из запаса и с предписанием Политуправления Красной Армии выехал для работы в газете «Боевое знамя» Третьей армии в район Гродно. В связи со сложившейся на фронте обстановкой до места назначения не добрался и был назначен в редакцию газеты Западного фронта «Красноармейская правда». Работал там до 20 июля 1941 года. Одновременно как нештатный корреспондент посылал военные корреспонденции в «Известия». С 20 июля 1941 года был переведен военным корреспондентом в «Красную звезду», где служил до осени 1946 года.

В июне 1942 года я был принят в члены партии.

В 1942 году мне было присвоено звание старшего батальонного комиссара. В 1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника.

В 1942 году я был награжден орденом боевого Красного Знамени, а в 1945 году — двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, чехословацким Военным крестом и орденом Белого Льва. После войны, за участие в боях на Халхин-Голе, — монгольским орденом Сухэ-Батора.

За заслуги в области литературы награжден в 1939 году орденом «Знак Почета», в 1965 году — орденом Ленина, в 1971 году — вторично орденом Ленина.

Большая часть моих корреспонденций, печатавшихся в годы войны в «Красной звезде», «Известиях» и «Правде», составила четыре книги «От Черного до Баренцева моря», книги «Югославская тетрадь» и «Письма из Чехословакии», многое осталось только в газетах. В годы войны я написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи» (1943—1944 годы) и две книги стихов — «С тобой и без тебя» и «Война», а сразу после войны пьесу «Под каштанами Праги».

Почти весь материал — для книг, написанных во время войны, и для большинства послевоенных — мне дала работа корреспондентом на фронте.

В связи с этим, пожалуй, стоит дать представление о том, как

складывалась в годы войны география этой работы. По долгу службы я в разное время находился на следующих фронтах:

1941 год: июнь — июль — Западный фронт; август — сентябрь — Южный фронт, Приморская армия — Одесса, Особая Крымская армия — Крым, Черноморский флот; октябрь и ноябрь — Мурманское направление Карельского фронта, Северный флот; декабрь — Западный фронт.

1942 год: январь — Закавказский фронт (Новороссийск, Феодосия); январь — февраль — Западный фронт; февраль — март — Керченский полуостров; апрель — май — Мурманское направление Карельского фронта; июль — август — Брянский фронт, Западный фронт; август — сентябрь — Сталинградский фронт; ноябрь — Мурманское направление Карельского фронта; декабрь — Западный фронт.

1943 год: январь — февраль — март — Северокавказский и Южный фронты; апрель — Южный фронт; май — июнь — отпуск, полученный от редакции для написания «Дней и ночей» (жил эти месяцы в Алма-Ате и вчерне написал почти всю книгу); июль — Курская дуга; август — октябрь — несколько поездок в армии Центрального фронта; декабрь — корреспондент «Красной звезды» на Харьковском процессе над немцами, организаторами массовых убийств населения.

1944 год: март — апрель — Первый и Второй Украинские фронты; май — Второй Украинский фронт; июнь — Ленинградский фронт, от начала прорыва линии Маннергейма до взятия Выборга; июль — август — Первый Белорусский фронт, Люблин, Майданек; август — сентябрь — в частях Второго и Третьего Украинских фронтов в период наступления от Ясс до Бухареста, затем в Болгарии, Румынии и Югославии; октябрь — в Южной Сербии у югославских партизан. После освобождения Белграда — полет в Италию на нашу авиационную базу в Бари.

1945 год: январь — апрель — Четвертый Украинский фронт, Закарпатская Украина, Южная Польша, Словакия, в наших частях и в частях Чехословацкого корпуса; конец апреля — Первый Украинский фронт, встреча с американцами в Торгау. Последние дни боев за Берлин — в частях Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов. Присутствовал при подписании капитуляции германской армии в Карлсхорсте. 10 мая был в Праге.

После войны мне пришлось в общей сложности около трех лет пробыть в многочисленных зарубежных командировках. Наиболее длительными и значительными для меня были поездки, непосредственно связанные с корреспондентской и писательской работой: поездка в Японию (декабрь 1945 — апрель 1946 года), США (апрель 1946 — июнь 1946); Китай (октябрь 1949 — декабрь 1949) — большую часть

этой последней поездки я совершил в качестве военного корреспондента «Правды» при 4-й Полевой Китайской армии в Южном Китае.

С 1958 по 1960 год я жил в Ташкенте, работал разъездным корреспондентом «Правды» по республикам Средней Азии. На эти годы приходятся многие поездки на Тянь-Шань, на Памир, в Голодную степь, в Каршинскую степь, в Кызылкумы, в Каракумы, по трассам строящихся газопроводов.

1963—1967 годы — я, тоже в качестве специального корреспондента «Правды», ездил в Монголию, на Таймыр, в Якутию, Красноярский край, Иркутскую область, на Кольский полуостров, в Казахстан, в Хабаровский край, в Приморье, на Камчатку, в Магадан, на Чукотку. В 1970 году был во Вьетнаме.

Моя общественная деятельность в послевоенные годы складывалась так. С 1946 по 1950 год и с 1954 по 1958 — главный редактор журнала «Новый мир». С 1950 по 1953 — главный редактор «Литературной газеты». С 1946 по 1959 и с 1967 года по настоящее время — секретарь Правления Союза писателей СССР. С 1946 по 1954 год — депутат Верховного Совета СССР. С 1955 по 1959 — депутат Верховного Совета РСФСР. С 1952 по 1956 год — кандидат в члены ЦК КПСС. С 1956 по 1961 — член Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Избирался делегатом XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС. На XXV съезде КПСС был избран членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.

За период моей литературной деятельности мне было присуждено шесть Государственных премий СССР — за пьесы «Парень из нашего города», «Русские люди», «Русский вопрос», «Чужая тень», за книгу стихов «Друзья и враги»; за повесть «Дни и ночи», а также Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых по кинематографии — за фильм «Живые и мертвые».

В 1974 году мне было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а за трилогию «Живые и мертвые» присуждена Ленинская премия.

В 1966 году я был избран членом-корреспондентом Академии искусств Германской Демократической Республики.

В послевоенное время я продолжал работать в поэзии и драматургии, написал несколько пьес, среди которых «Русский вопрос» и «Четвертый» считаю более удачными, чем другие. Выпустил три книги новых стихов — «Друзья и враги», «Стихи 1954 года» и «Вьетнам, зима семидесятого...», довольно много занимался поэтическими переводами.

Однако больше всего писал прозу. В пятидесятые годы вышли в свет роман «Товарищи по оружию», повесть «Дым отечества», книга повестей «Из записок Лопатина».

С 1956 до 1970 года я работал над книгами «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето», которые теперь, после завершения работы, составили единый роман с общим заглавием — «Живые и мертвые».

Последние по времени написанные мною повести «Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой» завершают работу над прозаическим циклом «Из записок Лопатина».

В 1977 году вышел из печати мой двухтомный дневник «Разные дни войны». Начало работы над этой книгой следует отнести к 1941 году, когда были сделаны первые из вошедших в нее записей.

Вскоре после выхода этого двухтомника военных дневников вышла моя другая дневниковая книга, «Япония. 46», почти примыкающая к нему по времени действия.

Несколько последних лет, помимо чисто литературной работы, я занимался еще и кино- и теледокументалистикой. При моем участии были сделаны кинофильмы «Если дорог тебе твой дом», «Гренада, Гренада, Гренада моя», «Чужого горя не бывает», «Шел солдат...», «Маяковский делает выставку» и телевизионные фильмы «Солдатские мемуары», «Александр Твардовский», «Какая интересная личность!».

1978



СТИХОТВОРЕНИЯ

1936—1939

1. РАССКАЗ О СПРЯТАННОМ ОРУЖИИ

Им пятый день давали есть
Соленую треску.
Тюремный повар вырезал
Им лучшие куски —
На ужин, завтрак и обед
По жирному куску
Отборной, розовой, насквозь
Просоленной трески.
Начальник клялся, что стократ
Сытнее всех его солдат
Два красных арестанта
В его тюрьме едят.
А если им нужна вода,
То это блажь и ерунда:
Пускай в окно на дождик,
Разиня рот, глядят.

Они валялись на полу,
Холодном и пустом.
Две одиночки дали им,
Двоим на всю тюрьму,
Чтоб в одиночестве они
Припомнили о том,
Известном только им двоим
И больше никому...
А чтоб помочь им вспоминать,
Пришлось топтать их и пинать,
По спинам их гуляли
Дубинки и ремни,

К ним возвращалась память, но
Они не вспомнили одно:
Где спрятано оружье —
Не вспомнили они.

Однажды старшего из них
Под вечер взял конвой.
Он шел сквозь двор и жадным ртом
Пытался дождь глотать.
Но мелкий дождик пролетал,
Крутясь над головой,
И пересохший рот не мог
Ни капельки поймать.
Его втолкнули в кабинет.
«Ну как, припомнил или нет?» —
Спросил его начальник.
А посреди стола,
Зовя его ответить «да»,
Стояла свежая вода
За ледяною стенкой
Вспотевшего стекла.

Сухие губы облизав,
Он выговорил: «Да,
Я вспомнил. Где-то под землей
Его зарыли мы,
Одно не помню только: где?»
А чертова вода
Над ним смеялась со стола
Начальника тюрьмы.
Начальник, прекратив допрос,
Ему стакан воды поднес
К сухим губам вплотную
И... выплеснул в окно!
«Забыл? Но через пять минут
Сюда другого приведут.
Не ты, так твой товарищ
Припомнит всё равно!»

Начальник вышел. Арестант
Услышал скрип дверной,
И в дверь ввалился тот, другой,
Оковами звеня.

Со стоном прислонясь к стене
Распухшею спиной,
Он прошептал: «Я не могу...
Они ведь бьют меня...
Я скоро сдамся, и тогда
Язык мой сам подскажет «да»...
Я знаю: в сером доме,
В подвале, в глубине...»
— «Молчи!» — «Еще молчу... пока...»
А двери скрипнули слегка,
И в них вошел начальник:
«Ну, кто ж расскажет мне?»

И старший арестант шепнул
С усмешкою кривой:
«Черт с ним, с оружьем! Всё равно
Дела к концу идут.
Я всё скажу вам, но пускай
Сначала ваш конвой
Того, другого, уведет:
Он будет лишним тут».
Солдаты, отодрав с земли
Того, другого, унесли,
Локтями молча тыча
В его кричащий рот.
Тот ничего не понял, но
Кричал и рвался; всё равно
Он знал, что снова будут
Бить в ребра и в живот.

«Кричит!» — заметил арестант
И, побледнев едва,
За всё, что выдаст, попросил
Себе награды три:
Стакан воды сейчас же — раз,
Свободу завтра — два,
И сделать так, чтоб тот, другой,
Молчал об этом, — три.
Начальник рассмеялся: «Мы
Его не пустим из тюрьмы.
И, слово кабальеро,
Что завтра к двум часам...»
— «Нет, я хочу не в два, не в час —
Пускай он замолчит сейчас!

Я на слово не верю,
Я должен видеть сам».

Начальник твердою рукой
Придвинул телефон:
«Алло! Сейчас же номер семь
Отправить в карцер, но
Весьма возможно, что бежать
Пытаться будет он...
Тогда стреляйте так, чтоб я
Видал через окно...»
Он с маху бросил трубку: «Ну?»
И арестант побрел к окну
И толстую решетку
Тряхнул одной рукой.
Тюремный двор и гол и пуст,
Торчит какой-то жалкий куст,
А через двор понуро
Плетется тот, другой.

Конвой отстал на пять шагов.
Настала тишина.
Уже винтовки поднялись,
А тот бредет сквозь двор...
Раздался залп. И арестант
Отпрянул от окна:
«Вам про оружье рассказать,
Не правда ли, сеньор?
Мы спрятали его давно.
Мы двое знали, где оно.
Товарищ мог бы выдать
Под пыткой палачу.
Ему, который мог сказать,
Мне удалось язык связать.
Он умер и не скажет.
Я жив, и я молчу!»

1936

2. ГЕНЕРАЛ

Памяти Мате Залки

В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем.

В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Давно уж он в Венгрии не был —
С тех пор, как попал на войну,
С тех пор, как он стал коммунистом
В далеком сибирском плену.

Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад, к горящей отчизне,
Мадьяр повезли поезда.

Зачем в Будапешт он вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы,
Бежать за границу опять?

Он этот приезд не считает,
Он помнит все эти года,
Что должен задолго до смерти
Вернуться домой навсегда.

С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнем,
В Чапее о нем говорили,
В Хараме слыхали о нем,

Давно уж он в Венгрии не был,
Но где бы он ни был — над ним
Венгерское синее небо,
Венгерская почва под ним.

Венгерское красное знамя
Его освящает в бою.
И где б он ни бился — он всюду
За Венгрию бьется свою.

Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражен.

Но я никому не поверю:
Он должен еще воевать,
Он должен в своем Будапеште
До смерти еще побывать.

Пока еще в небе испанском
Германские птицы видны,
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.

Он жив. Он сейчас под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Июль 1937

3. НОВОГОДНИЙ ТОСТ

Своей судьбе смотреть в глаза
надо
И слушать точки и тире
раций.
Как раз сейчас, за тыщу верст,
рядом,

За «Дранг нах Остен» — пиво пьют
наци.
Друзья, тревожиться сейчас
стоит,
Республика опять в кольце
волчьем.
Итак, поднимем этот тост
стоя
И выпьем нынче в первый раз
молча,
За тех, кому за пулемет
браться,
За тех, кому с винтовкой быть
дружным,
За всех, кто знает, что глагол
«драться» —
Глагол печальный, но порой
нужный.
За тех, кто вдруг, из тишины
комнат,
Пойдет в огонь, где он еще
не был.
За тех, кто тост мой через год
вспомнит
В чужой земле и под чужим
небом!

1937

4. ОДНОПОЛЧАНЕ

Как будто мы уже в походе,
Военным шагом, как и я,
По многим улицам проходят
Мои ближайшие друзья;

Не те, с которыми зубрили
За партой первые азы,
Не те, с которыми мы брили
Едва заметные усы.

Мы с ними не пивали чая,
Хлеб не делили пополам,
Они, меня не замечая,
Идут по собственным делам.

Но будет день — и по разверстке
В окоп мы рядом попадем,
Поделим хлеб и на завертку
Углы от писем оторвем.

Пустой консервною жестянкой
Воды для друга зачерпнем
И запасной его портянкой
Больную ногу подвернем.

Под Кенигсбергом на рассвете
Мы будем ранены вдвоем,
Отбудем месяц в лазарете,
И выживем, и в бой пойдем.

Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел, навсегда.

1938

5. ПОРТРЕТ

В одной новгородской деревне,
На печке засев, как сверчок,
Живет по годам уже древний,
Но крепкий еще старичок.

Пусть раненный трижды и старый —
Он ходит с прямою спиной,
Василий Семеныч Назаров,
Сибирский стрелок отставной.

С ним рядом в солдатской квартире
Живет супостатам на страх
Фельдмаршал Суворов в мундире
При шпаге и всех орденах.

Об этом портрете у деда
Спросите хоть ночью, хоть днем,
Ручаюсь — до ночи беседа
Зайдет у вас с дедом о нем.

Усы он закрутит седые,
С усмешкою скажет: «Небось
Не видели вы, молодые,
Того, что мне видеть пришлось.

От павших твердынь Порт-Артура,
С кровавых маньчжурских полей
Я, весь поседевший и хмурый,
Добрел до деревни своей.

Жена моя плакала с горя,
Рычал, не узнав меня, пес,
Три раны сквозных да «егорий»
С маньчжурских полей я принес.

Подметки у нас отлетали,
Снаряды у нас не рвались,
Мы всё на себе испытали,
Покуда с японцем дрались.

В окопах случалось нам часто
Без корочки хлеба страдать.
Будь прокляты царь и начальство!
Но крепость обидно отдать.

И если бы, подлая шкура,
Не предал нас сам генерал,
То этих твердынь Порт-Артура
Солдат бы японцам не сдал.

Проклятую ту оборону
Мы долго забыть не могли,
Об землю, как марш похоронный,
Стучали мои костыли.

Домой возвратился больной я,
Ходил, подпираясь клюкой...
Однажды в деревню весною
Забрел к нам разносчик псковской.

В кошелке шнурки с поясками,
Да трубки, да шитый кисет,
Да рядом с дрянными часами
Суворовский грозный портрет.

Разносчик был парень толковый —
Полтинник он мне уступил,
Я этот портрет за целковый
Себе в утешенье купил.

Хоть бабы за трату ругали,
Прибил я портрет на стене.
Не счесть на мундире регалий,
Клинок на потертом ремне.

Сам стар, а не кажется старым,
Глаза под бровями горят,
Такие, что веришь — недаром
О нем старики говорят,

Что спал он в солдатских палатках,
Солдатскую кашу жевал,
Что старый мундирчик в заплатках
В поход на себя надевал,

Что выше чинов, эполетов
Солдатскую сметку ценил,
Что царь в наказанье за это
Под старость его притеснил.

Как вспомню напрасные раны,
Японскую вспомню войну,
У стенки навытяжку встану,
Портрету в глаза загляну.

Не всё же гнилые шинели,
Не всё же солдат продавать,
И мы ведь, бывало, умели
Не хуже других воевать.

К лицу ль нам показывать пятки,
К лицу ль нам сдаваться в полон?
Не всё ж генерал Куропаткин
Да Стессель — японский шпион!

За всё разочтемся мы скоро!
Взгляну я в упор на портрет,
И старый фельдмаршал Суворов
Кивнет головою в ответ,





Так в эти давнишние годы,
Оставшись с ним с глазу на глаз,
Солдатские наши невзгоды
Ему поверял я не раз.

. . . .

С тех пор мои дети поднялись
И внуки стоят на постах,
Уже мы давно поравнялись
С фельдмаршалом старым в летах.

На дальней восточной границе
Мой внук был изранен в бою.
И мне, отставному, всё снится,
Что вновь я в строю состою.

Подуют ветра с океана,
Опять зашумят про войну,
У стенки навытяжку встану,
Портрету в глаза загляну!

Мы внуков кормили, растили,
Пусть нынче послужат в полку;
Скажи, Александр Васильич,
По правде ответь старику:

Дойдет до военного спора —
Врагов мы возьмем в переплет?
И старый фельдмаршал Суворов
В ответ головою кивнет».

. . . .

Живет на солдатской квартире,
Глядит супостатам на страх
Фельдмаршал Суворов в мундире
При шпаге и всех орденах.

1938

6. СЕРЕЖИН СОН

Уже за окнами светало...
Завесив лампочку платком,
Ночь напролет тайком читал он
Журнал с «Испанским дневником».

Читаешь днем — родные рады.
А чуть поздней — не жди добра:
«Мальчишке в школу завтра надо,
Мальчишке спать давно пора!»

И забывают, что мальчишке
Не спать пора, а жить пора,
Что не беда такую книжку
Читать до самого утра.

И если даже не доспит он,
То этой книгой будет он
Как первым порохом пропитан,
Как первой пулей окрещен.

Пускай ее читают дети,
Она сурова и честна,
Пусть с детства знают, что на свете,
К несчастью, есть еще война.

Но вот дочитаны страницы
И наконец погашен свет.
Сережа спит. Сереже снится,
Что вырос он на десять лет.

Что он танкист, что добровольцем
Он мимо Корсики плывет,
И, завивая воду в кольца,
Железный винт в воде ревет.

Вода в стекло колотит градом,
В борта валы морские бьют,
В каюте тесной, сидя рядом,
Ребята русские поют.

О том, как вместе мы шатались,
Как обнимала нас гроза
И как сквозь дым нам улыбались
Ее знакомые глаза.

Напоминая дом на Бронной,
Далекой Родины кусок,
Им подпевает патефонный,
Охрипший на море басок.

Пока под звуки патефона
Чай по-московски пьют они,
Корабль несется в Барселону,
На мачтах потушив огни.

Тревожны берега Европы, —
Корабль идет на полный ход,
Пиратских лодок перископы
Шныряют вдоль испанских вод.

Всё небо в клочьях туч угрюмых,
И волны день и ночь ворчат,
Сереже снится, в недрах трюмов
Брезенты жесткие торчат.

Крупнокалиберные пушки
Из башен высунули рты.
Стоят железные игрушки —
Тяжелых гусениц ряды.

Ребята сходят вниз по трапу,
Вокруг машин своих снуют,
И, кажется, им танки лапы,
Как псы, послушно подают.

А пароход опять качнулся,
Вода хлестнула через край...
Сережа вздрогнул и проснулся,
На улице гремел трамвай.

Он принял этот гром трамвая
За грозный шум морских валов.
Всё только сон. Вон мостовая,
Ряды асфальтовых котлов.

Идут машины всё теснее...
Москва... И только на стене
Большая карта Пиренеев
Мешает позабыть о сне.

Светло — но только полседьмого,
В такую пору встать ленясь,
Глядишь — Сережа дремлет снова,
Рукой от света заслонясь.

Ему опять чужбина снится:
Еще не занялась заря,
Мрачна испанская столица
В ночь на седьмое ноября.

Пустынно в министерских зданьях:
Одни бумаги на полу,
Да телефон почти с рыданьем
Всю ночь кричит в пустом углу.

Уже готовятся доносы,
Уже о том, что взят Мадрид,
Фашистский диктор из Бургоса,
Поторопившись, говорит.

Уже получено известье,
Что Иностранный легион
Вступает с запада в предместье,
За батальоном батальон.

Чтоб до прихода подкреплений
Сдержать непрошеных гостей,
Сюда б пяток подразделений
Бывалых танковых частей.

Их нет.
Но ведь во сне бывает
То, что не снится наяву:
Мотор ночную глушь взрывает
И фары режут синеву.

С востока, в улицы ночные,
Асфальт суставами давя,
Влетают танки головные,
На первой скорости ревя.

Чужая улица теснится
За узким броневым окном.
Сережа спит. Сереже снится,
Что он водитель в головном.

В Мадрид хозяйскою походкой
Фашистский входит легион,
По горло африканской водкой
Для куража накачан он.

Идут фашисты, фалангисты,
Севильский сброд, христова рать.
Уже готовятся горнисты
Вступление в Мадрид играть.

Но вдруг по уличной панели,
По самой гуще их фаланг,
Прямой наводкою, шрапнелью
Стреляет с ходу первый танк.

Гремя, вращаются турели,
И пулеметные стволы
Свинцовой поливают трелью
Все подворотни и углы.

Сереже сквозь бойницу видно,
Как залегли остатки рот,
Но застревать ему обидно,
Он прорывается вперед!

Уже фашистские солдаты
Бьют, бьют из пушки полевой
И, пачками связав гранаты,
Воронки рвут на мостовой.

Но танк стреляет с разворота,
Всё дальше продвигая бой,
Республиканскую пехоту
Ведя на приступ за собой!

Сквозь щель осколки просвистели,
Водитель вскрикнул и не смог
Подняться. Каждый мускул в теле
Был словно заперт на замок.

Ударившись о край постели,
Сережа вскрикнул и не смог
Проснуться. Каждый мускул в теле
Был словно заперт на замок.

Сон не пускал его обратно.
Кровать. Походный лазарет.
Прибит на стенке аккуратно
Пасионарии портрет.

Врач незнакомый наклонялся,
Его ладонь держал в руке
И с ним о чем-то объяснялся
На незнакомом языке.

Больной окреп. Врачу приятно
Его улыбку заслужить
На всех наречиях понятной
Хорошей фразой: «Будешь жить!»

Он окончательно проснулся,
Вскочил, ботинки завязал,
С будильником переглянулся
И ранец свой под мышку взял.

На улице сухое лето,
В Москве мадридская жара.
Хвосты дежурят за газетой
Чуть не с восьми часов утра.

Весь город привела в волненье
Одна газетная строка:
«Республиканские войска
Вновь переходят в наступленье».

1938

7—15. *ДОРОЖНЫЕ СТИХИ*

1

ОТЪЕЗД

Когда садишься в дальний поезд
И едешь на год или три,
О будущем не беспокоясь,
Вещей ненужных не бери.

Возьми рубашек на две смены,
Расческу, мыло, порошок,
И если чемодан не полон,
То это даже хорошо,

Чтоб он, набитый кладью вздорной,
Не отдувался, не гудел.
Чтоб он, как ты, дышал просторно
И с полки весело глядел.

Нам всем, как хлеб, нужна привычка
Других без плача провожать,
И весело самим прощаться,
И с легким сердцем уезжать.

2

ЧЕМОДАН

Как много чемодан потертый может
Сказать нам о хозяине своем,
Где он бывал и как им век свой прожит,
Тяжел он или легок на подъем!

Мы в юности отправились в дорогу,
Наш чемодан едва набит на треть,
Но стоит нам немного постареть,
Он начинает пухнуть понемногу.

Его мы всё нежнее бережем,
Мы обрастаем и вторым и третьим,
В окно давно уж некогда смотреть нам,
Нам только б уследить за багажом.

Свистят столбы, летят года и даты.
Чужие лица, с бляхой на груди,
Кряхтя, за нами тащат позади
Наш скарб, так мало весивший когда-то.

3

ТЕЛЕГРАММА

Всегда назад столбы летят в окне.
Ты можешь уезжать и возвращаться,
Они опять по той же стороне
К нам в прошлое обратно будут мчаться.

Я в детстве мог часами напролет
Смотреть, как телеграммы пролетают:
Телеграфист их в трубочку скатает,
На провод их наденет и пошлет.

В холодный тамбур выйдя нараспашку,
Я и теперь, смотря на провода,
Слежу, как пролетает иногда
Закрученная в трубочку бумажка.

4

НОМЕРА В «МЕДВЕЖЬЕЙ ГОРЕ»

«Какой вам номер дать?» — «Не всё ль равно,
Мне нужно в этом зимнем городке —
Чтоб спать — тюфяк, чтобы дышать — окно,
И ключ, чтоб забывать его в замке».

Я в комнате, где вот уж сколько лет
Все оставляют мелкие следы:
Кто прошлогодний проездной билет,
Кто горстку пепла, кто стакан воды.

Я сам приехал, я сюда не зван.
Здесь полотенце, скрученное в жгут,
И зыбкий стол, и вытертый диван
Наверняка меня переживут.

Но все-таки, пока я здесь жилец,
Я сдвину шкаф, поставлю стол углом
И даже дыма несколько колец
Для красоты развешу над столом.

А если без особого труда
Удастся просьбу выполнить мою, —
Пусть за окном натянут провода,
На каждый посадив по воробью.

5

ТОСКА

«Что ты затосковал?»
— «Она ушла».
— «Кто?»
— «Женщина.
И не вернется,
Не сядет рядом у стола,
Не разольет нам чай, не улыбнется;
Пока не отыщу ее следа —
Ни есть, ни пить спокойно не смогу я...»
— «Брось тосковать!
Что за беда?
Поищем —
И найдем другую».
. . . .
«Что ты затосковал?»
— «Она ушла!»
— «Кто?»
— «Муза.
Всё сидела рядом.
И вдруг ушла и даже не могла
Предупредить хоть словом или взглядом.
Что ни пишу с тех пор — всё бестолочь, вода,
Чернильные расплывшиеся пятна...»
— «Брось тосковать!
Что за беда?
Догоним, приведем обратно».
. . . .
«Что ты затосковал?»
— «Да так...
Вот фотография прибита косо.
Дождь на дворе,
Забыл купить табак,
Обшарил стол — нигде ни папиросы.
Ни день, ни ночь —
Какой-то средний час.
И скучно, и не знаешь, что такое...»
— «Ну что ж, тоскуй.
На этот раз
Ты пойман настоящею тоскою...»

6

ВАГОН

Есть у каждого вагона
Свой тоннаж и габарит,
И таблица непреклонно
Нам об этом говорит.

Но в какие габариты
Влезет этот груз людской,
Если, заспаны, небриты,
Люди едут день-деньской?

Без усушки, без утруски
Проезжают города,
Море чаю пьют по-русски,
Стопку водки иногда.

Много ездив по отчизне,
Мы вагоном дорожим,
Он в пути, подобно жизни,
Бесконечно растяжим.

Вот ты влез на третью полку
И забился в уголок,
Там, где ехал втихомолку
Слезший ночью старичок;

Коренное населенье
Проявляет к тем, кто влез, —
К молодому пополненью —
Свой законный интерес.

А попутно с этим, если
Были люди хороши,
Тех, кто ехали и слезли,
Вспоминают от души.

Ты знакомишься случайно,
Поделившись табаком,
У соседа просишь чайник
И бежишь за кипятком.

Ты чужих детей качаешь,
Книжки почитать даешь,
Ты и сам не замечаешь,
Как в дороге устаешь.

Люди сходят понемногу,
Сходят каждый перегон,
Но, меняясь всю дорогу,
Не пустеет твой вагон.

Ты давно уже не знаешь,
Сколько лет в пути прожил,
И соседей вспоминаешь,
Как заправский старожил.

День темнеет. Дело к ночи.
Скоро — тот кусок пути,
Где без лишних проволочек
Предстоит тебе сойти.

Что ж, возьми пожитки в руки,
По возможности без слез,
Слушай, высадившись, стуки
Убегающих колес.

И надейся, что в вагоне
Целых пять минут подряд
На дорожном лексиконе
О тебе поговорят.

Что, проездивший полвека,
Непоседа и транжир,
Всё ж хорошим человеком
Был сошедший пассажир.

7

«КАЗБЕК»

Я наконец приехал на Кавказ,
И моему неопытному взору
В далекой дымке в первый раз
Видны сто раз описанные горы.

Но где я раньше видел эти две
Под самым небом сросшихся вершины,
Седины льдов на старой голове,
И тень лесов, и ледников плешины?

Я твердо помню — та же крутизна,
И те же льды, и так же снег не тает.
И разве только черного пятна
Посередине где-то не хватает.

Все те места, где я бывал, где рос,
Я в памяти перебираю робко...
И вдруг, соскучившись без папирос,
Берусь за папиросную коробку,

Так вот оно, пятно! На фоне синих гор,
Пришпорив так, что не угнаться,
На черном скакуне во весь опор
Летит джигит за три пятнадцать.

Как жаль, что часто память в нас живет
Не о дорогах, тропах, полустанках,
А о наклейках минеральных вод,
О марках вин и о консервных банках...

8

В КОМАНДИРОВКЕ

Он, мельком оглядев свою каморку,
Создаст командировочный уют.
На стол положит старую «Вечерку»,
На ней и чай, а то и водку пьют.

Открыв свой чемоданчик из клеенки,
Пришпилит кнопкой посреди стены
Большую фотографию ребенка
И маленькую карточку жены.

Не замечая местную природу,
Скупой на внеслужебные слова,
Не хныча, проживет он здесь полгода,
А если надо, так и год и два.

Пожалуй, только письма бы почаще,
Да он ведь терпеливый адресат.
Должно быть, далеко почтовый ящик,
И сына утром надо в детский сад...

Всё хорошо, и разве что с отвычки
Затосковав под самый Новый год,
В сенях исчиркав все, что были, спички,
Он москвича другого приведет.

По чайным чашкам разольет зубровку,
Покажет гостю карточку — жена,
Сам понимаешь, я в командировках...
А все-таки хорошая она.

И, хлопая друг друга по коленям,
Припомнят Разгуляй, Коровий брод,
Две комнаты — одну в Кривоколенном,
Другую у Кропоткинских ворот.

Зачем-то вдруг начнут считать трамваи,
Все станции метро переберут,
Друг друга второпях перебивая,
Заведомо с три короба наврут.

Тайком от захмелевшего соседа
Смахнут слезу без видимых причин.
Смешная полунощная беседа
Двух очень стосковавшихся мужчин.
. . . .

Когда-нибудь, отмеченный в приказе,
В последний раз по россыпи снежка
Проедет он на кашляющем «газе»
По будущим проспектам городка.

Другой москвич зайдет в его каморку,
Займет ее на месяц или год,
На стол положит старую «Вечерку»
И над кроватью карточки прибьет.

9

СЕВЕРНАЯ ПЕСНЯ

Мужчине — на кой ему черт порошки,
Пилюли, микстуры, облатки.
От горя нас спальные лечат мешки,
Походные наши палатки.

С порога дорога идет на восток,
На север уходит другая,
Собачья упряжка, последний свисток —
Но где ж ты, моя дорогая?

Тут нету ее, нас не любит она.
Что ж делать, не плакать же, братцы!
Махни мне платочком хоть ты, старина, —
Так легче в дорогу собраться.

Как будто меня провожает жена,
Махни мне платочком из двери,
Но только усы свои сбрей, старина,
Не то я тебе не поверю.

С порога дорога идет на восток,
На север уходит другая,
Собачья упряжка, последний свисток.
Прощай же, моя дорогая!

1938—1939

16. ИЗГНАННИК

Испанским республиканцам

Нет больше родины. Нет неба, нет земли.
Нет хлеба, нет воды. Всё взято.
Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли
Припасть к ней пересохшим ртом солдата.

Чужое море билось за кормой,
В чужое небо пену волн швыряя.
Чужие люди ехали «домой»,
Над ухом это слово повторяя.

Он знал язык. Его жалели вслух
За костыли и за потертый ранец,
А он, к несчастью, не был глух,
Бездомная собака, иностранец.

Он высадился в Лондоне. Семь дней
Искал он комнату. Еще бы!
Ведь он искал чердак, чтоб был бедней
Последней лондонской трущобы.

И наконец нашел. В нем потолки текли,
На плитах пола промокали туфли,
Он на ночь у стены поставил костыли —
Они к утру от сырости разбухли.

Два раза в день спускался он в подвал
И медленно, скрывая нетерпенье,
Ел черствый здешний хлеб и запивал
Вонючим пивом за два пенни.

Он по ночам смотрел на потолок
И удивлялся, ничего не слыша:
Где «юнкерсы», где неба черный клок
И звезды сквозь разодранную крышу?

На третий месяц здесь, на чердаке,
Его нашел старик, прибывший с юга;
Старик был в штатском платье, в котелке,
Они едва смогли узнать друг друга.

Старик спешил. Он выложил на стол
Приказ и деньги — это означало,
Что первый час отчаянья прошел,
Пора домой, чтоб всё начать сначала.

Но он не может. «Слышишь, не могу!» —
Он показал на раненую ногу.
Старик молчал. «Ей-богу, я не лгу,
Я должен отдохнуть еще немного».

Старик молчал. «Еще хоть месяц так,
А там — пускай опять штыки, застенки, мавры».
Старик с улыбкой расстегнул пиджак
И вынул из кармана ветку лавра.

Три лавровых листка. Кто он такой,
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой,
Губами осторожно трогал.

Как он посмел забыть? Три лавровых листка.
Что может быть прочней и проще?
Не всё еще потеряно, пока
Там не завяли лавровые рощи.

Он в полночь выехал. Как родина близка,
Как долго пароход идет в тумане...
. . . .
Когда он был убит, три лавровых листка
Среди бумаг нашли в его кармане.

1939

17. СТАРИК

Памяти Амундсена

Весь дом пенькой проконопачен прочно,
Как корабельное сухое дно,
И в кабинете — круглое нарочно —
На океан прорублено окно.

Тут всё кругом привычное, морское,
Такое, чтобы, вставши на причал,
Свой переход к свирепому покою
Хозяин дома реже замечал.

Он стар. Под старость странствия опасны,
Король ему назначил пенсион,
И с королем на этот раз согласны
Его шофер, кухарка, почтальон.

Следят, чтоб ночью угли не потухли,
И сплетничают разным докторам,
И по утрам подогревают туфли,
И пива не дают по вечерам.

Все подвиги его давно известны,
К бессмертной славе он приговорен,
И ни одной душе не интересно,
Что этой славой недоволен он.

Она не стоит одного ночлега
Под спальным шерстью пахнущим мешком,
Одной щепотки тающего снега,
Одной затяжки крепким табаком.

Ночь напролет камин ревет в столовой,
И, кочергой помешивая в нем,
Хозяин, как орел белоголовый,
Нахохлившись, сидит перед огнем.

По радио всю ночь бюро погоды
Предупреждает, что кругом шторма, —
Пускай в портах швартуют пароходы
И запирают накрепко дома.

В разрядах молний слышимость всё глуше,
И вдруг из тыщеверстной темноты
Предсмертный крик: «Спасите наши души!» —
И градусы примерной широты.

В шкафу висят забытые одежды —
Комбинезоны, спальные мешки...
Он никогда бы не подумал прежде,
Что могут так заржаветь все крючки...

Как трудно их застегивать с отвычки!
Дождь бьет по стеклам мокрою листвой.
В резиновый карман — табак и спички,
Револьвер — в задний, компас — в боковой.

Уже с огнем забегали по дому,
Но, заревев и прыгнув из ворот,
Машина по пути к аэродрому
Давно ушла за первый поворот.

В лесу дубы под молнией, как свечи,
Над головой сгибаются, треща,
И дождь, ломаясь на лету о плечи,
Стекает в черный капюшон плаща.

. . . .

Под осень, накануне ледостава,
Рыбачий бот, уйдя на промыслы,
Найдет кусок его бессмертной славы —
Обломок обгоревшего крыла.

1939

18. МАЛЬЧИК

Когда твоя тяжелая машина
Пошла к земле, ломаясь и гремя,
И черный столб взбешенного бензина
Поднялся над кабиною стоймя,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Разбитый и притиснутый к земле,
Конечно, ты не думал о мальчишке,
Который жил в Клину или Орле;
Как ты, не знавший головокруженья,
Как ты, он был упрям, драчлив и смел,
И самое прямое отношенье
К тебе, в тот день погибшему, имел.

Пятнадцать лет он медленно и твердо
Лез в небеса, упрямо сжав штурвал,
И все тобой не взятые рекорды
Он дерзкою рукой завоевал.
Когда его тяжелая машина
Перед посадкой встала на дыбы
И, как жестянка, сплющилась кабина,
Задев за телеграфные столбы,
Сжимая руль в огне последней вспышки,
Придавленный к обугленной траве,
Он тоже не подумал о мальчишке,
Который рос в Чите или в Москве...

Когда уже известно, что в газетах
Назавтра будет черная кайма,
Мне хочется, поднявшись до рассвета,
Врываться в незнакомые дома,
Искать ту неизвестную квартиру,
Где спит, уже витая в облаках,
Мальчишка — рыжий маленький задира,
Весь в ссадинах, веснушках, синяках.

1939

19. ПОРУЧИК

Уж сотый день врезаются гранаты
В Малахов окровавленный курган,
И рыжие британские солдаты
Идут на штурм под хриплый барабан.

А крепость Петропавловск-на-Камчатке
Погружена в привычный мирный сон.
Хромой поручик, натянув перчатки,
С утра обходит местный гарнизон.

Седой солдат, откозыряв неловко,
Трет рукавом ленивые глаза,
И возле пушек бродит на веревке
Худая гарнизонная коза.

Ни писем, ни вестей. Как ни проси их,
Они забыли там, за семь морей,
Что здесь, на самом кончике России,
Живет поручик с ротой егерей...

Поручик, долго щурясь против света,
Смотрел на юг, на море, где вдали —
Неужто нынче будет эстафета? —
Маячили в тумане корабли.

Он взял трубу. По зыби, то зеленой,
То белой от волнения, сюда,
Построившись кильватерной колонной,
Шли к берегу британские суда.

Зачем пришли они из Альбиона?
Что нужно им? Донесся дальний гром,
И волны у подножья бастиона
Вскипели, обожженные ядром.

Полдня они палили наудачу,
Грозя весь город обратить в костер.
Держа в кармане требованье сдачи,
На бастион взошел парламентер.

Поручик, в хромоте своей увидя
Опасность для достоинства страны,

Надменно принимал британца, сидя
На лавочке у крепостной стены.

Что защищать? Заржавленные пушки,
Две улицы то в лужах, то в пыли,
Косые гарнизонные избушки,
Клочок не нужной никому земли?

Но все-таки ведь что-то есть такое,
Что жаль отдать британцу с корабля?
Он горсточку земли растер рукою:
Забытая, а все-таки земля.

Дырявые, обветренные флаги
Над крышами шумят среди ветвей...
«Нет, я не подпишу твоей бумаги,
Так и скажи Виктории своей!»
. . . .

Уже давно британцев оттеснили,
На крышах залатали все листы,
Уже давно всех мертвых схоронили,
Поставили сосновые кресты,

Когда санкт-петербургские курьеры
Вдруг привезли, на год застряв в пути,
Приказ принять решительные меры
И гарнизон к присяге привести.

Для боевого действия к отряду
Был прислан в крепость новый капитан,
А старому поручику в награду
Был полный отпуск с пенсиею дан!

Он всё ходил по крепости, бедняга,
Всё медлил лезть на сходни корабля...
Холодная казенная бумага,
Нелепая любимая земля...

1939

20. АНГЛИЙСКОЕ ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ В СЕВАСТОПОЛЕ

Здесь нет ни остролистника, ни тиса.
Чужие камни и солончаки,
Проржавленные солнцем кипарисы
Как воткнутые в землю тесаки.

И спрятаны под их худые кроны
В земле, под серым слоем плитняка,
Побатальонно и поэскадронно
Построены британские войска.

Шумят тяжелые кусты сирени,
Раскачивая неба синеву,
И сторож, опустившись на колени,
На а́нглийский манер стрижет траву.

К солдатам на последние квартиры
Корабль привез из Англии цветы,
Груз красных черепиц из Девоншира,
Колючие терновые кусты.

Солдатам на чужбине лучше спится,
Когда холмы у них над головой
Обложены английской черепицей,
Обсажены английскою травой.

На медных досках, на камнях надгробных,
На пыльных пирамидах из гранат
Английский гравер вырезал подробно
Число солдат и номера бригад.

Но прежде чем на судно погрузить их,
Боясь превратностей чужой земли,
Все надписи о горестных событьях
На русский второпях перевели.

Бродяга-переводчик неуклюже
Переиначил русские слова,
В которых о почтенье к праху мужа
Просила безутешная вдова:

«Сержант покойный спит здесь. Ради бога,
С почтением склонись пред этот крест!»

Как много миль от Англии, как много
Морских узлов от жен и от невест.

В чужом краю его обидеть могут,
И землю распахать, и гроб сломать.
Вы слышите! Не смейте, ради бога!
Об этом просят вас жена и мать!

Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам.

1939

21. ЧАСЫ ДРУЖБЫ

Недавно тост я слышал на пиру,
И вот он здесь записан на бумагу.
«Приснилось мне, — сказал нам тамада, —
Что умер я, и все-таки не умер,
Что я не жив, и все-таки лежит
Передо мной последняя дорога.
Я шел по ней без хлеба, без огня,
Кругом качалась белая равнина,
Присевшие на корточки холмы
На согнутых хребтах держали небо.
Я шел по ней, весь день я не видал
Ни дыма, ни жилья, ни перекрестка,
Торчали вместо верстовых столбов
Могильные обломанные плиты —
Я надписи истертые читал,
Здесь были похоронены младенцы,
Умершие, едва успев родиться.
К полуночи я встретил старика,
Седой, как лунь, сидел он у дороги
И пил из рога черное вино,
Пахучим козьим сыром заедая.
«Скажи, отец, — спросил я у него, —
Ты сыр жуешь, ты пьешь вино из рога,
Как дожил ты до старости такой
Здесь, где никто не доживал до года?»
Старик, погладив мокрые усы,
Сказал: „Ты ошибаешься, прохожий,

Здесь до глубокой старости живут,
Здесь сверстники мои лежат в могилах,
Ты надписи неправильно прочел —
У нас другое летоисчисленье:
Мы измеряем, долго ли ты жил,
Не днями жизни, а часами дружбы“».
И тамада поднялся над столом:
«Так выпьем же, друзья, за годы дружбы!»
Но мы молчали. Если так считать —
Боюсь, не каждый доживет до года!

1939

СОСЕДЯМ ПО ЮРТЕ

22. ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

У этого поезда плакать не принято. Штраф.
Я им говорил, чтоб они догадались повесить.
Нет, не десять рублей. Я иначе хотел, я был прав, —
Чтобы плачущих жен удаляли с платформы за десять. . .

Понимаете вы, десять самых последних минут,
Те, в которые что ни скажи — недослышат,
Те, в которые жены перчатки отчаянно мнут,
Бестолковые буквы по стеклам навыворот пишут.

Эти десять минут взять у них, пригрозить, что возьмут,
Они насухо вытрут глаза еще дома, в передней.
Может, наше тиранство не все они сразу поймут,
Но на десять минут подчинятся нам все до последней.

Да, пускай улыбнется! Она через силу должна,
Чтоб надолго запомнить лицо ее очень спокойным.
Как охранная грамота, эта улыбка нужна
Всем, кто хочет привыкнуть к далеким дорогам и войнам.

Вот конверты, в пути пожелтевшие, как сувенир, —
Над почтовым вагоном семь раз изменялась погода, —
Шахматисты по почте играют заочный турнир,
По два месяца ждут от партнера ответного хода.

Надо просто запомнить глаза ее, голос, пальто —
Всё, что любишь давно, пусть хоть даже ни за что ни про что,
Надо просто запомнить и больше уже ни за что
Не ворчать, когда снова застрянет в распутицу почта.

И, домой возвращаясь, считая все вздохи колес,
Чтоб с ума не сойти, сдав соседям себя на поруки,
Помнить это лицо без кровинки, зато и без слез,
Эту самую трудную маску спокойной разлуки.

На обратном пути будем приступом брать телеграф.
Сыпать молнии на Ярославский вокзал, в управленье.
У этого поезда плакать не принято. Штраф.
«Мы вернулись! Пусть плачут. Снимите свое объявленье».

1939

23. МЕХАНИК

Я знаю, что книгами и речами
Пилота прославят и без меня.
Я лучше скажу о том, кто ночами
С ним рядом просиживал у огня,

Кто вместе с пилотом пил спирт и воду,
Кто с ним пополам по Москве скучал,
Кто в самую дьявольскую погоду
Сто раз провожал его и встречал.

Я помню, как мы друзей провожали
Куда-нибудь в летние отпуска;
Как были щедры мы, как долго держали
Их руки в своих до второго звонка.

Но как прощаться, когда по тревоге
Машина уходит в небо винтом?
И, руки раскинув, расставив ноги,
В степи остаешься стоять крестом.

Полнеба окинув усталым взглядом,
Ты молча ложишься лицом в траву;
Тут всё наизусть, тут давно не надо
Смотреть в надоевшую синеву.

Ты знаешь по опыту и по слуху:
Сейчас за грядой песчаных горбов
С ударами, еле слышными уху,
Обрушилось десять черных столбов.

Чья мать потеряет сегодня сына?
Чей друг заночует в палатке один?
С одинаковым дымом горит резина,
Одинаково вспыхивает бензин.

Никогда еще в небе так поздно он не был...
Сквозь палатку зажегся первый огонь.
Ты, как доктор, угрюмо слушаешь небо,
Трубкой к нему приложив ладонь.

Нет, когда мы справлялись об опозданье,
Выходили встречать к «Полярной стреле»,
Нет, мы с вами не знали цены ожиданья —
Ремесла остающихся на земле.

1939

24. ОРЛЫ

Там, где им приказали командиры,
С пустыми карабинами в руках
Они лежали мертвые, в мундирах,
В заморских неуклюжих башмаках.

Еще отбой приказом отдан не был,
Земля с усталым грохотом тряслась,
Ждя похорон, они смотрели в небо;
Им птицы не выклевывали глаз.

Тень от крыла орлиного ни разу
Еще по лицам мертвых не прошла.
Над всею степью, сколько видно глазу,
Я не встречал ни одного орла.

Еще вчера в батальные картины
Художники по памяти отцов
Вписали полунощные равнины
И стаи птиц над грудой мертвецов.

Но этот день я не сравню с вчерашним,
Мы, люди, привыкаем ко всему,
Но поле боя было слишком страшным:
Орлы боялись подлетать к нему.

У пыльных юрт второго эшелона,
Легко привыкнув к тыловым огням,
На вешках полевого телефона
Они теперь сидят по целым дням.

Восточный ветер, вешками колыша,
У них ерошит перья на спине,
И кажется: орлы дрожат, заслыша
Одно напоминанье о войне.

1939

25. ДЕРЕВЬЯ

У нас была юрта с дырявой крышей,
с поющим в щели сверчком.
Мы сидели в ней в полдень
и пили дымную воду
с консервированным молоком.
Пятую ночь дует ветер с Хингана,
наступают осенние дни. . .
«Я так давно не видел деревьев!
Расскажи мне, какие они?»
— «Они очень, очень высокие,
они выше этой травы,
ни один двугорбый верблюд не дотянется
до их шумящей листвы».
— «Листва!
Но я сам забыл ее шелест,
скитаясь по этим степям;
большие и маленькие
кусочки зеленого,
прицепленные к ветвям. . .
Деревья — их не с чем здесь сравнить,
они огромные, как облака,
они зеленые, как монгольский закат,
и шумные, как река.

А если их много,
целая роща,
зеленое море огня,
зеленое утром,
черное ночью,
синее на исходе дня. . .»
Но, прервав наши речи на полуслове,
грохот
донесся из-за реки,
как будто по очень глубоким ухабам
проехали грузовики.
И сразу на желтом пустом горизонте,
в белой степной пыли,
круглая темно-синяя роща
выросла из-под земли.
Она выросла сразу.
Она выросла молча.
Она выросла как стена —
красивая темно-синяя роща,
синяя дочерна.
Ну что же, смотри на нее, любуйся,
ты забыл здесь шелест листвы. . .
Но тот, кто давно не видел деревьев,
не повернул головы,
он только поглубже надвинул каску:
«Весь день облака и ветра,
опять эти рощи на горизонте.
Опять бомбежка с утра. . .»

1939

26. СВЕРЧОК

Мы довольно близко видели смерть
и, пожалуй, сами могли умереть,
мы ходили везде, где можно ходить,
и смотрели на всё, на что можно смотреть.
Мы влезали в окопы,
пропахшие креозотом
и пролитым в песок сакэ,
где только что наши
кололи тех
и кровь не засохла еще на штыке,

Мы напрасно искали домашнюю жалость,
забытую нами у очага,
мы здесь привыкали,
что быть убитым —
входит в обязанности врага.
Мы сначала взяли это на веру,
но вера вошла нам в кровь и плоть;
мы так и писали:
«Если он не сдается —
надо его заколоть!»

И, честное слово, нам ничего не снилось,
когда, свернувшись в углу,
мы дремали в летящей без фар машине
или на твердом полу.

У нас была чистая совесть людей,
посмотревших в глаза войне.
И мы слишком много видели днем,
чтобы видеть еще во сне.
Мы спали, как дети,
с открытыми ртами,
кое-как прикорнув на тычке. . .
Но я хотел рассказать не об этом.
Я хотел рассказать о сверчке.
Сверчок жил у нас под самою крышей
между войлоком и холстом.
Он был рыжий и толстый,
с большими усами
и кривым, как сабля, хвостом.

Он знал, когда петь и когда молчать,
он не спутал бы никогда;
он молча ползал в жаркие дни
и грустно свистел в холода.
Мы хотели поближе его разглядеть
и утром вынесли за порог,
и он, как шофер, растерялся, увидев
сразу столько дорог.
Он удивленно двигал усами,
как и мы, он не знал, почему
большой человек из соседней юрты
подошел вплотную к нему.

Я повторяю:
сверчок был толстый,
с кривым, как сабля, хвостом,
но всего его, маленького,
можно было
накрыть дубовым листом.
А сапог был большой —
сорок третий номер,
с гвоздями на каблуке,
и мы не успели еще подумать,
как он стоял на сверчке.

Мы решили, что было б смешно сердиться,
и завели разговор о другом,
но человек из соседней юрты
был молча объявлен нашим врагом.

Я, как в жизни, спутал в своем рассказе
и важное, и пустяки,
но товарищи скажут,
что всё это правда
от первой и до последней строки.

1939

27

Слишком трудно писать из такой оглушительной дали.
Мать придет и увидит конвертов клочки:
«Всё ли есть у него, всё ли зимнее дали?» —
И, на счастье твое, позабудет очки.

Да, скажи ей — всё есть. Есть белье из оранжевой байки.
Как в Москве — если болен — по вызову ездят врачи,
Под шинель в холода есть у нас забайкальские майки —
Меховые жилеты из монгольской каракульчи.

Есть столовка в степи, иногда вдруг запляшет посуда,
Когда близко бомбежка. . . Но подробности ей не нужны.
Есть простудные ветры. Но московское слово «простуда»
Ей всегда почему-то казалось страшнее войны.

Впрочем, всё хорошо, пусть посылки не собирает.
Но тебе я скажу: в этой маминой мирной стране,

Где приезжие вдруг от внезапных простуд умирают,
Есть не всё, что им надо, не всё, что им снится во сне.

Не хватает им малости: комнаты с темною шторой,
Где сидеть бы сейчас, расстояния все истребя.
Словом, им не хватает той самой, которой...,
Им — не знаю кого. Мне — тебя.

Наше время еще занесут на скрижали.
В толстых книгах напишут о людях тридцатых годов.
Удивятся тому, как легко мы от жен уезжали,
Как легко отвыкали от дыма родных городов.

Всё опишут, как было... Вот только едва ли
Они вспомнят, что мы, так легко обходясь без жены,
День за днем, как мальчишки, нелепо ее ревновали,
Ночь за ночью видали всё те же тревожные сны.

1939

28. ФОТОГРАФИЯ

Е. Л.

Я твоих фотографий в дорогу не брал:
Всё равно и без них — если вспомним — приедем.
На четвертые сутки, давно переехав Урал,
Я в тоске не показывал их любопытным соседям.

Никогда не забуду после боя палатку в тылу,
Между сумками, саблями и термосами,
В груде ржавых трофеев, на пыльном полу,
Фотографии женщин с чужими косыми глазами.

Они молча стояли у картонных домов для любви,
У цветных абажуров с черным чертиком, с шелковой рыбкой:
И на всех фотографиях, даже на тех, что в крови,
Снизу вверх улыбались запоздалой бумажной улыбкой.

Взяв из груды одну, равнодушно сказать: «Недурна»,
Уронить, чтоб опять из-под ног, улыбаясь, глядела.
Нет, не черствое сердце, а просто война:
До чужих сувениров нам не было дела.

Я не брал фотографий. В дороге на что они мне?
И опять не возьму их. А ты, не ревнуя,
На минуту попробуй увидеть, хотя бы во сне,
Пыльный пол под ногами, чужую палатку штабную,

1939

29. КУКЛА

Мы сняли куклу со штабной машины.
Спасая жизнь, ссылаясь на войну,
Три офицера — храбрые мужчины —
Ее в машине бросили одну.

Привязанная ниточкой за шею,
Она, бежать отчаявшись давно,
Смотрела на разбитые траншеи,
Дрожа в своем холодном кимоно.

Земли и бревен взорванные глыбы;
Кто не был мертв, тот был у нас в плену.
В тот день они и женщину могли бы,
Как эту куклу, бросить здесь одну...

Когда я вспоминаю пораженье,
Всю горечь их отчаянья и страх,
Я вижу не воронки в три сажени,
Не трупы на дымящихся кострах, —

Я вижу глаз ее косые щелки,
Пучок волос, затянутый узлом,
Я вижу куклу, на крученом шелке
Висящую за выбитым стеклом.

1939

30. ТАНК

Вот здесь он шел. Окопов три ряда.
Цепь волчьих ям с дубовою щетиной.
Вот след, где он попятился, когда
Ему взорвали гусеницы миной.

Но под рукою не было врача,
И он привстал, от хромоты страдая,
Разбитое железо волоча,
На раненую ногу припадая.

Вот здесь он, всё ломая, как таран,
Кругами полз по собственному следу
И рухнул, обессилевший от ран,
Купив пехоте трудную победу.

. . . .

Уже к рассвету, в копоти, в пыли,
Пришли еще дымящиеся танки
И сообща решили в глубь земли
Зарыть его железные останки.

Он словно не закапывать просил,
Еще сквозь сон он видел бой вчерашний,
Он упирался, он что было сил
Еще грозил своей разбитой башней.

Чтоб видно было далеко окрест,
Мы холм над ним насыпали могильный,
Прибив звезду фанерную на шест —
Над полем боя памятник посильный.

. . . .

Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне,
Я б на гранитной тесаной стене
Поставил танк с глазницами пустыми;

Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, в листах железа рваных, —
Невянущая воинская честь
Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах.

На постамент взобравшись высоко,
Пусть как свидетель подтвердит по праву:
Да, нам далась победа нелегко.
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.

1939





31. САМЫЙ ХРАБРЫЙ

Самый храбрый — не тот, кто, безводьем измученный,
Мимо нас за водою карабкался днем,
И не тот, кто, в боях к равнодушью приученный,
Семь ночей продержался под нашим огнем.

Самый храбрый солдат — я узнал его осенью,
Когда мы возвращали их пленных домой
И за цепью барханов, за дальнею просинью
Виден был городок с гарнизонной тюрьмой.

Офицерскими долгими взглядами встреченный,
Самый храбрый солдат — здесь нашелся такой,
Что печально махнул нам в бою искалеченной,
Нашим лекарем вылеченною рукой.

1939

32. ТЫЛОВОЙ ГОСПИТАЛЬ

Всё лето кровь не сохла на руках.
С утра рубили, резали, сшивали.
Не сняв сапог, на куцых тюфяках
Дремали два часа, и то едва ли.

И вдруг пустая тишина палат,
Который день на фронте нет ни стычки.
Всё не решались снять с себя халат
И руки спиртом мыли по привычке.

Потом решились, прицепили вдруг
Всё лето нам мешавшие наганы.
Ходили в степи слушать, как вокруг
Свистели в желтых травах тарбаганы.

Весь в пене, мотоцикл приткнув к дверям,
Штабной связист привез распоряженье
Отбыть на фронт, в поездку, лекарям —
Пускай посмотрят на поля сраженья.

Вот и они, те дальние холмы,
Где день и ночь дырявили и рвали
Всё, что потом с таким терпеньем мы
Обратно, как портные, зашивали.

Как смел он, этот ржавый миномет,
С хромою сошкою, чтоб опираться,
Нам стоить стольких рваных ран в живот,
И стольких жертв, и стольких операций?

Как гальку на прибрежной полосе,
К ногам осколки стали прибивает.
Как много их! Как страшно, если б все..,
Но этого, по счастью, не бывает.

Вот здесь в окоп тяжелый залетел,
Осколки с треском разошлись кругами,
Мы только вынимали их из тел,
Мы первый раз их видим под ногами.

Шофер нас вез обратно с ветерком,
И все-таки, вся в ранах и увечьях,
Степь пахла миром, диким чесноком,
Ночным теплом далеких стад овечьих.

1939

33

Куда ни глянешь — без призора,
Чуть от дороги шаг ступи,
Солончаковые озера
Как полотно лежат в степи.

В степной жаре, как будто рядом,
Их набеленные холсты.
Но ты, семь раз отмерив взглядом,
Отрежешь лишних две версты.

Пока до них дойдешь усталый
И там, где ждал глотка воды,
Найдешь соленые кристаллы,
Волн затвердевшие ряды.

Но рядом будет так похоже,
Что там глубокая вода...
Тебе придется лезть из кожи,
Чтоб как-нибудь попасть туда.

Ты час пройдешь и два и разве
Под вечер, вымокший и злой,
В конце концов найдешь над грязью
Воды в два пальца светлый слой.

Кто раз пошел — себя жестоко
Лишил покоя на земле,
Где всё так близко и далеко,
Почти как в нашем ремесле.

1939

34. ОСЕНЬ

Когда в монгольские закаты,
Плывущие вдоль берегов,
Взлетают красные халаты
Зажженных солнцем облаков,

Когда в минуту безнадежно
Дождь заряжает на два дня,
Единственное, что возможно, —
Закрыться и добыть огня.

И быть как дома, быть как дома,
Обманно сделать вид такой,
Как будто всё давно знакомо
И выключатель под рукой.

И благо пятый день затишье —
Раз в сутки громыхнет едва, —
Поверить, что за круглой крышей,
За толстым войлоком — Москва,

Что где-то есть на свете прочный,
Без юрт, без полок, без кают,
С ключами в скважине замочной,
По нас тоскующий уют.

Уже сорвало войлок с крыши,
Водой хлестнув из-под полы,
И надо лезть как можно выше,
Вязать размокшие узлы.

Но шут с ним, с новым всплеском грома,
С дождем, упавшим на кровать.
Мы целый вечер были дома, —
Теперь — хоть зиму зимовать!

1939

35

Д. Ортенбергу

Семь километров северо-западнее Баин-Бурта
И семь тысяч километров юго-восточней Москвы,
Где вчера еще били полотняными крыльями юрты, —
Только снег заметает обгорелые стебли травы.

Степи настежь открыты буранам и пургам.
Где он, войлочный город, поселок бессонных ночей,
В честь редактора названный кем-то из нас Ортенбургом,
Не внесенный на карты недолгий приют москвичей?

Только круглые ямы от старых бомбежек,
Только сломанный термос, забытый подарок жены;
Волки нюхают термос, находят у снежных дорожек
Пепел писем, которые здесь сожжены.

Полотняный и войлочный, как же он сдался без бою,
Он, так гордо, как парусник, плывший сквозь эти пески?
Может, мы, уезжая, и город забрали с собою,
Положили его в вещевые мешки?

Нам труднее понять это в людных, огромных, —
Как возьмешь их с собою — дома, магазины, огни.
Да, и все-таки мы, уезжая, с собою берем их
И, вернувшись, их ставим не так, как стояли они.

Тут, в степи, это легче, тут всё исчезает и тает,
След палатки с песчаным, травой зарастающим швом,
Может, в этом и мужество — знать, что следы заметает,
Что весь мир умещается в нашем мешке вещевом?

1939

<Дополнение>

36. ПОЕЗДКА НА ОЗЕРО БУИР-НУР

Это было, как осенью выезд на дачу;
Предпоследнее солнце машину пекло,
Мы, продравшись сквозь заросли наудачу,
Прямо въехали в брызнувшее стекло.

Между трав, между странных цветов козодоя,
Кто, чей рот в старину от жары пересох,
Приказал принести эту чашу с водою
И зарыть до краев ее в медный песок?

От войны только час по хорошей дороге.
Но ты входишь сюда и снимаешь наган,
И хозяева, встретив тебя на пороге,
Таз холодной воды придвигают к ногам;

Он огромный и синий, весь в ивовых рощах,
В пестрых косах песка и прибрежных камней.
Плеск воды и листвы чем обычней и проще,
Тем оглохшему уху их слышать странней.

Час назад еще чудилось, что невозможно
Снова ноги засунуть в горячий песок,
Слышать выстрелы щучьи и гомон дорожный
Диких уток, летящих за дальний мысок.

На заставе нас ждали от чистого сердца,
Был с картошкою подан баран молодой,
Миска воздух сжигавшего красного перца
И бутыль с голубой буир-нурской водой.

Так был шумен мужской наш обед без хозяйки,
Словно мы на мальчишник собрались сюда;
Так лениво машины паслись на лужайке,
Так спокойно плескалась о берег вода,

Что, когда за сигналом воздушной тревоги
Треск чужого мотора дошел до земли,
Мы не встали. Нас было приподняли ноги, —
Мы узлом под скамейками их заплели.

Так бывает, что надо любою ценою
Нам еще хоть минуту прожить в тишине.
Мы упрямо сидели, пока стороною
Самолет мимо нас не прошел в вышине.

А теперь хоть и в путь! Ни короткой, ни долгой
Мы и даром не просим теперь тишины. . .
Сколько уток вокруг! Надо будет с двустволкой
Заглянуть в эти заводи после войны.

1939

37

Всю жизнь любил он рисовать войну.
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.

Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав еще мальчишкою с «ньюпора»,
Он в сорок лет разбился, до конца
Не испытав последнего мотора.

Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы...

1939

1941—1954

ИЗ ДНЕВНИКА

38. ИЗ ДНЕВНИКА

Июнь. Интендантство.
Шинель с непривычки длинна.
Мать застыла в дверях. Что это значит?
Нет, она не заплачет. Что же делать — война!
«А во сколько твой поезд?»
И всё же заплачет.
Синий свет на платформах.
Белорусский вокзал.
Кто-то долго целует.
«Как ты сказал?
Милый, потише...»
И мельканье подножек.
И ответа уже не услышать.
Из объятий, из слез,
Из недоговоренных слов
Сразу в пекло, на землю.
В заиканье пулеметных стволов.
Только пыль на зубах.
И с убитого каска: бери!
И его же винтовка: бери!
И бомбежка — весь день,
И всю ночь, до рассвета.
Неподвижные, круглые,
Желтые, как фонари,
Над твоей головою — ракеты...
Да, война не такая, какой мы писали ее, —
Это горькая штука...

1941

39

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.

4

Ты помнишь Алеша дороги Смоленщины 5
Как шли бесконечные злые дожди
Как кринки несли нам усталые женщины
Прижав от дождя их к уставшей груди.

Как слезы они вытирали украдкою
Как вслед нам шептали: Господь вас спаси
И снова себя называли солдатками
Как встарь повелось на великой Руси

Слезами измеряны, больше чем верстами
Шел тракт на пригорках скрываясь из глаз
Деревни деревни, деревни с погостами
Словно
Как будто на них вся Россия сошлась
И нам показалось
Как будто за каждою русской околицей
Крестом своих рук ограждая живых
Всем миром сойдясь наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих

Ты знаешь
Наверное все таки родина
Не дом городской, где я празднично жил
А эти проселки, что дедами пройдены
С простыми крестами их русских могил
по русским
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоскою от села до села
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941

40. РОДИНА

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Всё, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

1941

41

Словно смотришь в бинокль перевернутый —
Всё, что сзади осталось, уменьшено.
На вокзале, метелью подернутом,
Где-то плачет далекая женщина.

Снежный ком, обращенный в горошину, —
Ее горе отсюда невидимо;
Как и всем нам, войною непрошено,
Мне жестокое зрение выдано.

Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением.

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся.
Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.

Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение.
И обратно не всё увеличится
В нашем горем испытанном зрении.

1941

42

Мы не увидимся с тобой,
А женщина еще не знала;
Бродя по городу со мной,
Тебя живого вспоминала.

Но чем ей горе облегчить,
Когда солдатскою судьбою
Я сам назавтра, может быть,
Сравняюсь где-нибудь с тобою?

И будет женщине другой —
Всё повторяется сначала —
Вернувшийся товарищ мой,
Как я, весь вечер лгать устало.

Печальна участь нас, друзей,
Мы всё поймем и не осудим
И все-таки о мертвом ей
Напоминать некстати будем.

Ее спасем не мы, а тот,
Кто руки на плечи положит,
Не зная мертвого, придет
И позабыть его поможет.

1941

43. ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Меня просил попутчик мой и друг, —
А другу дважды не дают просить, —
Не видя ваших милых глаз и рук,
О вас стихи я должен сочинить.

В зеленом азиатском городке,
По слухам, вы сейчас влачите дни,
Там, милый след оставив на песке,
Проходят ваши легкие ступни.

За друга легче женщину просить,
Чем самому припасть к ее руке.
Вы моего попутчика забыть
Не смейте там, в зеленом городке.

Он говорил мне, что давно, когда
Еще он вами робко был любим,
Взошедшая Полярная звезда
Вам назначала час свиданья с ним.

Чтоб с ним свести вас, нет сейчас чудес,
На край земли нас бросила война,
Но всё горит звезда среди небес,
Вам с двух сторон земли она видна.

Она сейчас горит еще ясней,
Попутчик мой для вас ее зажег,
Пусть ваши взгляды сходятся на ней,
На перекрестках двух земных дорог.

Я верю вам, вы смотрите сейчас,
Пока звезда горит — он будет жить,
Пока с нее не сводите вы глаз,
Ее никто не смеет погасить.

Где юность наша? Где забытый дом?
Где вы, чужая, нежная? Когда,
Чтоб мертвых вспомнить, за одним столом
Живых сведет Полярная звезда?

1941
Рыбачий

44. ТОВАРИЩ

Вслед за врагом пять дней за пядью пядь
Мы по пятам на Запад шли опять.

На пятый день под яростным огнем
Упал товарищ, к Западу лицом.

Как шел вперед, как умер на бегу,
Так и упал и замер на снегу.

Так широко он руки разбросал,
Как будто разом всю страну обнял.

Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей.

Но сыну было — пусть узнает мать —
Лицом на Запад легче умирать.

1941

45

Я знаю, ты бежал в бою
И этим шкуру спас свою.

Тебя назвать я не берусь
Одним коротким словом: трус.

Пускай ты этого не знал,
Но ты в тот день убийцей стал.

В окоп, что бросить ты посмел,
В ту ночь немецкий снайпер сел.

За твой окоп другой боец
Подставил грудь под злой свинец.

Назад окоп твой взяв в бою,
Он голову сложил свою.

Не смей о павшем песен петь,
Не смей вдову его жалеть.

1942

46. АТАКА

Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Готовясь броситься в атаку,
Винтовку вскинул на бегу,

Какой уютной показалась
Тебе холодная земля,
Как всё на ней запоминалось:
Примерзший стебель ковыля,

Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть рассыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.

Казалось, чтобы оторваться,
Рук мало — надо два крыла.
Казалось, если лечь, остаться —
Земля бы крепостью была.

Пусть снег метет, пусть ветер гонит,
Пускай лежать здесь много дней.
Земля. На ней никто не тронет.
Лишь крепче прижимайся к ней.

Ты этим мыслям жадно верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка.

Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неуловимый миг
Уже тяжелою походкой
Бежал по снегу напрямик.

Осталась только сила ветра,
И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне!

1942

47. ПЕХОТИНЕЦ

Уже темнеет. Наступленье,
Гремя, прошло свой путь дневной,
И в нами занятом селенье
Снег смешан с кровью и золой.

У журавля, где как гостинец
Нам всем студеная вода,
Ты сел, усталый пехотинец,
И всё глядишь назад, туда,

Где в полверсте от крайней хаты
Мы, оторвавшись от земли,
Под орудийные раскаты,
Уже не прячась, в рост пошли.

И ты уверен в эту пору,
Что раз такие полверсты
Ты смог пройти, то, значит, скоро
Пройти всю землю сможешь ты.

1942

48. СЛАВА

За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся.

Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти.

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

1942

49. ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Пожар стихал. Закат был сух.
Всю ночь, как будто так и надо,
Уже не поражая слух,
К нам долетала канонада.

И между сабель и сапог,
До стремени не доставая,
Внизу, как тихий василек,
Бродила девочка чужая.

Где дом ее, что сталось с ней
В ту ночь пожара — мы не знали.
Перегибаясь к ней с коней,
К себе на седла поднимали.

Я говорил ей: «Что с тобой?» —
И вместе с ней в седле качался.
Пожара отсвет голубой
Навек в глазах ее остался.

Она, как маленький зверек,
К косматой бурке прижималась,
И глаза синий уголек
Всё догореть не мог, казалось.

. . . .

Когда-нибудь в тиши ночной
С черемухой и майской дремой,
У женщины совсем чужой
И всем нам вовсе незнакомой,

Заметив грусть и забытье
Без всякой видимой причины,
Что с нею, спросит у нее
Чужой, не знавший нас, мужчина.

А у нее сверкнет слеза,
И, вздрогнув, словно от удара,
Она поднимет вдруг глаза
С далеким отблеском пожара:

«Не знаю, милый». — А в глазах
Вновь полетят в дорожной пыли
Кавалеристы на конях,
Какими мы когда-то были.

Деревни будут догорать,
И кто-то под ночные трубы
Девчонку будет поднимать
В седло, накрывши буркой грубой.

1942

50. СМЕРТЬ ДРУГА

Памяти Евгения Петрова

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет.

В землянке, занесен метелью,
Застольной не поет с тобой
И рядом, под одной шинелью,
Не спит у печки жестяной.

Но всё, что между вами было,
Всё, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься вместе не смогло.

Упрямство, гнев его, терпенье —
Ты всё себе в наследство взял,
Двойного слуха ты и зренья
Пожизненным владельцем стал.

Любовь мы завещаем женам,
Воспоминанья — сыновьям,
Но по земле, войной сожженной,
Идти завещано друзьям.

Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Всё тяжелее груз наследства,
Всё уже круг твоих друзей.

Взвали тот груз себе на плечи,
Не оставляя ничего,
Огню, штыку, врагу навстречу
Неси его, неси его!

Когда же ты нести не сможешь,
То знай, что, голову сложив,
Его всего лишь переложишь
На плечи тех, кто будет жив.

И кто-то, кто тебя не видел,
Из третьих рук твой груз возьмет,
За мертвых мстя и ненавидя,
Его к победе донесет.

1942

51

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком
Где ты, в люльке качаясь, плыл;

Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;

Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть,

Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;

Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,

Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,

Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел — так ее любил, —

Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;

Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Всё, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что родиной мы зовем, —

Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.

И пока его не убил,
Помолчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.

Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед. —
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.

За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят,
Раз фашиста убил твой брат, —
Это он, а не ты, солдат.

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина, —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

1942

52. БЕЗЫМЕННОЕ ПОЛЕ

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.

Мы мертвым глаза не закрыли,
Придется нам вдовам сказать,
Что мы не успели, забыли
Последнюю почесть отдать.

Не в честных солдатских могилах —
Лежат они прямо в пыли.
Но, мертвых отдав поруганью,
Зато мы — живыми пришли!

Не правда ль, мы так и расскажем
Их вдовам и их матерям:
Мы бросили их по дороге,
Зарыть было некогда нам.

Ты, кажется, слушать не можешь?
Ты руку занес надо мной...
За слов моих страшную горечь
Прости мне, товарищ родной,

Прости мне мои оскорбленья,
Я с горя тебе их сказал,
Я знаю, ты рядом со мною
Сто раз свою грудь подставлял.

Я знаю, ты пуль не боялся
И жизнь, что дала тебе мать,
Берег ты с мужскою надеждой
Ее подороже продать.

Ты, верно, в сорочке родился,
Что всё еще жив до сих пор,
И смерть тебе меньшею мукой
Казалась, чем этот позор.

Ты можешь ответить, что мертвых
Завидуешь сам ты судьбе,
Что мертвые сраму не имут, —
Нет, имут, скажу я тебе.

Нет, имут. Глухими ночами,
Когда мы отходим назад,
Восставши из праха, за нами
Покойники наши следят.

Солдаты далеких походов,
Умершие грудью вперед,
Со срамом и яростью слышат
Полночные скрипы подвод.

И, вынести срама не в силах,
Мне чудится в страшной ночи —
Встают мертвецы всей России,
Поют мертвецам трубачи.

Беззвучно играют их трубы,
Незримы от ног их следы,
Словами беззвучной команды
Их ротные строят в ряды.

Они не хотят оставаться
В забытых могилах своих,
Чтоб вражеских пушек колеса
К востоку ползли через них.

В бело-зеленых мундирах,
Павшие при Петре,
Мертвые преображенцы
Строятся молча в каре.

Плачут седые капралы,
Протяжно играет рожок,
Впервые с Полтавского боя
Уходят они на восток.

Из-под твердынь Измаила,
Не знавший доселъ ретирад,
Понуро уходит последний
Суворовский мертвый солдат.

Гремят барабаны в Карпатах,
И трубы над Бугом поют,
Сибирские мертвые роты
У стен Перемышля встают.

И на истлевших постромках
Вспять через Неман и Прут
Артиллерийские кони
Разбитые пушки везут.

Ты слышишь, товарищ, ты слышишь,
Как мертвые следом идут,
Ты слышишь: не только потомки,
Нас предки за это клянут.

Клянемся ж с тобою, товарищ,
Что больше ни шагу назад!
Чтоб больше не шли вслед за нами
Безмолвные тени солдат.

Чтоб там, где мы стали сегодня —
Пригорки да мелкий лесок,
Куриный ручей в пол-аршина,
Прибрежный отлогий песок, —

Чтоб этот досель неизвестный
Кусок нас родившей земли
Стал местом последним, докуда
Последние немцы дошли.

Пусть то безыменное поле,
Где нынче пришлось нам стоять,
Вдруг станет той самой твердыней,
Которую немцам не взять.

Ведь только в Можайском уезде
Слыхали названье села,
Которое позже Россия
Бородином назвала.

Июль 1942

53. В ЗАВОЛЖЬЕ

Не плачь! — Всё тот же поздний зной
Висит над желтыми степями.
Всё так же беженцы толпой
Бредут; и дети за плечами...

Не плачь! Покуда мимо нас
Они идут из Сталинграда,
Идут, не подымая глаз, —
От этих глаз не жди пощады.

Иди, сочувствием своим
У них не вымогая взгляда.
Иди туда, навстречу им —
Вот всё, что от тебя им надо.

1942

54. ПЕСНЯ О ВЕСЕЛОМ РЕПОРТЕРЕ [1]

Оружием обвешан,
Подкравшись по тропе,
Неукротим и бешен,
Он штурмом взял КП.

Был комиссарский ужин
Им съеден до конца.
Полковник был разбужен
И побледнел с лица.

Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда»,
И «Красная звезда».

О взятии плацдарма,
Что только в полдень пал,
Он раньше командарма
На полчаса узнал.

Во избежанье спора
Напоен был пилот,
У генерал-майора
Был угнан самолет.

Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда»,
И «Красная звезда».

В блокноте есть три факта,
Что потрясут весь свет,
Но у Бодо контакта
Всю ночь с Москвою нет;

Он, чтобы в путь неблизкий
Отправить этот факт,
Всю ночь с телеграфисткой
Налаживал контакт.

---

[1] Написано вместе с А. Сурковым.

Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда»,
И «Красная звезда».

Под Купянском, в июле,
В полынь, в степной простор
Упал, сраженный пулей,
Веселый репортер.

Блокнот и «лейку» друга
В Москву, давясь от слез,
Его товарищ с юга
Редактору привез.

Но вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда»,
И «Красная звезда».

1942

55. ФЛЯГА

Когда в последний путь
Ты отправляешь друга,
Есть в дружбе, не забудь,
Посмертная услуга:

Оружье рядом с ним
Пусть в землю не ложится,
Оно еще с другим
Успеет подружиться.

Но флягу, что с ним дни
И ночи коротала,
Над ухом ты встряхни,
Чтоб влага не пропала,

И коль ударит в дно
Зеленый хмель солдатский —
На два глотка вино
Ты раздели по-братски.

Один глоток отпей,
В земле чтоб мертвым спалось
И дольше чтоб по ней
Живым ходить осталось.

Оставь глоток второй
И, прах предав покою,
С ним флягу ты зарой,
Была чтоб под рукою.

Чтоб в день победы смог
Как равный вместе с нами
Он выпить свой глоток
Холодными губами.

1943

56. КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли,
С «лейкой» и с блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.

Без глотка, товарищ,
Песню не заваришь,
Так давай по маленькой хлебнем!
Выпьем за писавших,
Выпьем за снимавших,
Выпьем за шагавших под огнем.

Есть, чтоб выпить, повод —
За военный провод,
За «У-2», за «эмку», за успех...
Как пешком шагали,
Как плечом толкали,
Как мы поспевали раньше всех.

От ветров и водки
Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто упрекнет:

«С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год».

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет — не беда.
Но на «эмке» драной
И с одним наганом
Мы первыми въезжали в города.

Помянуть нам впору
Мертвых репортеров.
Стал могилой Киев им и Крым.
Хоть они порою
Были и герои,
Не поставят памятника им.

Так выпьем за победу,
За свою газету,
А не доживем, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой.

Припев:

Жив ты или помер —
Главное, чтоб в номер
Материал успел ты передать.
И чтоб, между прочим,
Был фитиль всем прочим,
А на остальное — наплевать!

1943

57. СКАЗКА О ГОРОДЕ ПРОПОЙСКЕ

Когда от войны мы устанем,
От грома, от пушек, от войск,
С друзьями мы денег достанем
И выедем в город Пропойск.

Должно быть, название это
Недаром Пропойску дано,

Должно быть, и зиму, и лето
Там пьют беспробудно вино.

Должно быть, в Пропойске по-русски
Грешит до конца человек,
И пьет, как в раю, — без закуски,
Под дождик, под ветер, под снег.

Мы будем — ни слуху ни духу —
Там жить, пока нас не найдут.
Когда же по винному духу
Нас жены отыщут и тут —

Под нежным влиянием женским
Мы всё до конца там допьем
И город Пропойск — Протрезвенском,
На радость всех жен, назовем.

Домой увозимые ими,
Над городом милым взлетим
И новое трезвое имя,
Качаясь, начертим над ним.

Но буквы небесные тленны,
А змий-искуситель — силен!
Надеюсь, опять постепенно
Пропойском окрестится он.

Такое уж русское горе:
Как водка на память придет,
Так даже Каспийское море
Нет-нет и селедкой пахнет.

1943

58. СТАРАЯ СОЛДАТСКАЯ

Как служил солдат
Службу ратную,
Службу ратную,
Службу трудную.
Двадцать лет служил,
Да еще пять лет, —
Генерал-аншеф
Ему отпуск дал.

Как пришел солдат
Во родимый дом,
Вся-то грудь в крестах,
Сам седой как лунь,
На крыльце стоит
Молода жена —
Двадцати годов
Словно не было.

Ни морщинки нет
На щеках ее,
Ни сединки нет
В косах девичьих,
Посмотрел солдат
На жену свою,
И сказал солдат
Слово горькое:

«Видно, ты, жена,
Хорошо жила,
Хорошо жила,
Не состарилась!»
Как в ответ с крыльца
Говорит она,
Говорит она,
Сама плачет вся:

«Не жена твоя
Я законная,
А я дочь твоя,
Дочь сиротская.
А жена твоя
Пятый год лежит
Во сырой земле
Под березонькой».

Как вошел в избу,
Сел за стол солдат,
Зелена вина
Приказал подать.
Пьет всю ночь солдат.
По седым усам
То ль вино течет,
То ли слезоньки.

1943

59. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД

Когда ты входишь в город свой
И женщины тебя встречают,
Над побелевшей головой
Детей высоко поднимают, —

Пусть даже ты героем был,
Но не гордись — ты в день вступленья
Не благодарность заслужил
От них, а только лишь прощенье.

Ты только отдал страшный долг,
Который сделал в ту годину,
Когда твой отступивший полк
Их на год отдал на чужбину.

1943

60. СЛЕПЕЦ

На виды видевшей гармони,
Перебирая хриплый строй,
Слепец играл в чужом вагоне
«Вдоль по дороге столбовой».

Ослепнувший под Молодечно
Еще на той, на той войне,
Из лазарета он, увечный,
Пошел, зажмурясь, по стране.

Сама Россия положила
Гармонь с ним рядом в забытьи
И во владенье подарила
Дороги длинные свои.

Он шел, к увечью привыкая,
Струились слезы по лицу.
Вилась дорога столбовая,
Навеки данная слепцу.

Все люди русские хранили
Его, чтоб был он невредим,
Его крестьяне подвозили,
И бабы плакали над ним.

Проводники вагонов жестких
Через Сибирь его везли.
От слез засохшие полоски
Вдоль черных щек его легли.

Он слеп, кому какое дело
До горестей его чужих?
Но вот гармонь его запела,
И кто-то первый вдруг затих.

И сразу на сердца людские
Печаль, сводящая с ума,
Легла, как будто вдруг Россия
Взяла их за руки сама.

И повела под эти звуки
Туда, где пепел и зола,
Где женщины ломают руки
И кто-то бьет в колокола.

По деревням и пепелищам,
Среди нагнувшихся теней.
«Чего вы ищете?» — «Мы ищем
Своих детей, своих детей...»

По бедным, вымершим равнинам,
По желтым волчьим огонькам,
По дымным заревам, по длинным
Степным бесснежным пустырям,

Где со штыком в груди открытой
Во чистом поле, у ракит,
Рукой родною не обмытый,
Сын русской матери лежит.

Где, если будет месть на свете,
Нам по пути то там, то тут
Непохороненные дети
Гвоздикой красной прорастут,

Где ничего не напророчишь
Черней того, что было там...
. . . .
«Стой, гармонист! Чего ты хочешь?
Зачем ты ходишь по пятам?

Свое израненное тело
Уже я нес в огонь атак.
Тебе Россия петь велела?
Я ей не изменю и так.

Скажи ей про меня: не станет
Солдат напрасно отдыхать,
Как только раны чуть затянет,
Пойдет солдат на бой опять.

Скажи ей: не ища покоя,
Пройдет солдат свой крестный путь.
Ну, и сыграй еще такое,
Чтоб мог я сердцем отдохнуть...»
. . . .

Слепец лады перебирает,
Он снова только стар и слеп.
И раненый слезу стирает
И режет пополам свой хлеб.

1943

61. ТРИ БРАТА

Россия, Родина, тоска...
Ты вся в дыму, как поле боя.
Разломим хлеб на три куска,
Поделимся между собою.

Нас трое братьев. Говорят,
Как в сказке, мы неодолимы.
Старшой, меньшой и средний брат —
Втроем идем мы в дом родимый.

Идем, не прячась непогод.
Идем, не ждя, чтоб даль светала.
Мы путники. Уж третий год
Нам посохом винтовка стала.

Наш дом еще далек, далек...
Он там, за боем, там, за дымом,

Он там, где тлеет уголек
На пепелище нелюдимом.

Он там, где, нас уставши ждать,
Босая на жнивье колючем
Всё плачет, плачет, плачет мать,
Всё машет нам платком горючим.

Как снег, был бел ее платок,
Но путь наш долог, враг упорен,
И стал от пыли тех дорог,
Как скорбь, он черен, черен, черен...

Нас трое братьев. Кто дойдет?
Кто счет сведет долгам и ранам?
Один из нас в бою падет,
Как сноп, сражен железом бранным.

Второй, израненный врагом,
Окровавлен, в пути отстанет
И битв былых слепым певцом,
Быть может, вдохновенно станет.

Но невредимым третий брат
Придет домой, и дверь откроет,
И материнский черный плат
В крови врага стократ омоет.

1943

62. У ОГНЯ

Кружится испанская пластинка.
Изогнувшись в тонкую дугу,
Женщина под черною косынкой
Пляшет на вертящемся кругу.

Одержима яростною верой
В то, что он когда-нибудь придет,
Вечные слова «Yo te quiero» [1]
Пляшущая женщина поет.

---

[1] «Я тебя люблю» (исп.). — *Ред.*

В дымной, промерзающей землянке,
Под накатом бревен и земли,
Человек в тулупе и ушанке
Говорит, чтоб снова завели.

У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас,
Под Мадридом продырявлен в первый
И под Сталинградом — в пятый раз.

Он глаза устало закрывает,
Он да песня — больше никого...
Он тоскует? Может быть. Кто знает?
Кто спросить посмеет у него?

Проволоку молча прогрызая,
По снегу ползут его полки.
Южная пластинка, замерзая,
Делает последние круги.

Светит догорающая лампа,
Выстрелы да снега синева...
На одной из улочек Дель-Кампо
Если ты сейчас еще жива,

Если бы неведомою силой
Вдруг тебя в землянку залучить,
Где он, тот голубоглазый, милый,
Тот, кого любила ты, спросить?

Ты, подняв опущенные веки,
Не узнала б прежнего, того,
В грузном поседевшем человеке,
В новом, грозном имени его.

Что ж, пора. Поправив автоматы,
Встанут все. Но, подойдя к дверям,
Вдруг он вспомнит и мигнет солдату:
«Ну-ка, заведи вдогонку нам».

Тонкий луч за ним блеснет из двери,
И метель их сразу обовьет.
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина вослед им запоет.

Потеряв в снегах его из виду,
Пусть она поет еще и ждет:
Генерал упрям, он до Мадрида
Всё равно когда-нибудь дойдет.

1943

63. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Женщине из г. Вичуга

Я вас обязан известить,
Что не дошло до адресата
Письмо, что в ящик опустить
Не постыдились вы когда-то.

Ваш муж не получил письма,
Он не был ранен словом пошлым,
Не вздрогнул, не сошел с ума,
Не проклял всё, что было в прошлом.

Когда он поднимал бойцов
В атаку у руин вокзала,
Тупая грубость ваших слов
Его, по счастью, не терзала.

Когда шагал он тяжело,
Стянув кровавой тряпкой рану,
Письмо от вас еще всё шло,
Еще, по счастью, было рано.

Когда на камни он упал
И смерть оборвала дыханье,
Он всё еще не получал,
По счастью, вашего посланья.

Могу вам сообщить о том,
Что, завернувши в плащ-палатки,
Мы ночью в сквере городском
Его зарыли после схватки.

Стоит звезда из жести там
И рядом тополь — для приметы...
А впрочем, я забыл, что вам,
Наверно, безразлично это.

Письмо нам утром принесли...
Его, за смертью адресата,
Между собой мы вслух прочли —
Уж вы простите нам, солдатам.

Быть может, память коротка
У вас. По общему желанью,
От имени всего полка
Я вам напомню содержанье.

Вы написали, что уж год,
Как вы знакомы с новым мужем,
А старый, если и придет,
Вам будет всё равно не нужен.

Что вы не знаете беды,
Живете хорошо. И кстати,
Теперь вам никакой нужды
Нет в лейтенантском аттестате.

Чтоб писем он от вас не ждал
И вас не утруждал бы снова...
Вот именно: «не утруждал»...
Вы побольней искали слова.

И всё. И больше ничего.
Мы перечли их терпеливо,
Все те слова, что для него
В разлуки час в душе нашли вы.

«Не утруждай». «Муж». «Аттестат»...
Да где ж вы душу потеряли?
Ведь он же был солдат, солдат!
Ведь мы за вас с ним умирали.

Я не хочу судьею быть,
Не все разлуку побеждают,
Не все способны век любить, —
К несчастью, в жизни всё бывает.

Но как могли вы, не пойму,
Стать не страшась причиной смерти,
Так равнодушно вдруг чуму
На фронт отправить нам в конверте?

Ну хорошо, пусть не любим,
Пускай он больше вам не нужен,
Пусть жить вы будете с другим,
Бог с ним там, с мужем ли, не с мужем.

Но ведь солдат не виноват
В том, что он отпуска не знает,
Что третий год себя подряд,
Вас защищая, утруждает.

Что ж, написать вы не смогли
Пусть горьких слов, но благородных.
В своей душе их не нашли —
Так заняли бы где угодно.

В отчизне нашей, к счастью, есть
Немало женских душ высоких,
Они б вам оказали честь —
Вам написали б эти строки;

Они б за вас слова нашли,
Чтоб облегчить тоску чужую.
От нас поклон им до земли,
Поклон за душу их большую.

Не вам, а женщинам другим,
От нас отторженным войною,
О вас мы написать хотим,
Пусть знают — вы тому виною,

Что их мужья на фронте, тут,
Подчас в душе борясь с собою,
С невольною тревогой ждут
Из дома писем перед боем.

Мы ваше не к добру прочли,
Теперь нас втайне горечь мучит:
А вдруг не вы одна смогли,
Вдруг кто-нибудь еще получит?

На суд далеких жен своих
Мы вас пошлем. Вы клеветали
На них. Вы усомниться в них
Нам на минуту повод дали.

Пускай поставят вам в вину,
Что душу птичью вы скрывали,
Что вы за женщину, жену,
Себя так долго выдавали.

А бывший муж ваш — он убит.
Всё хорошо. Живите с новым.
Уж мертвый вас не оскорбит
В письме давно ненужным словом.

Живите, не боясь вины, —
Он не напишет, не ответит
И, в город возвратясь с войны,
С другим вас под руку не встретит.

Лишь за одно еще простить
Придется вам его — за то, что,
Наверно, с месяц приносить
Еще вам будет письма почта.

Уж ничего не сделать тут —
Письмо медлительнее пули.
К вам письма в сентябре придут,
А он убит еще в июле.

О вас там каждая строка,
Вам это, верно, неприятно —
Так я от имени полка
Беру его слова обратно.

Примите же в конце от нас
Презренье наше на прощанье.
Не уважающие вас
Покойного однополчане.

По поручению офицеров полка
К. Симонов

1943

64. ЖЕНЫ

Последний кончился огарок,
И по невидимой черте
Три красных точки трех цигарок
Безмолвно бродят в темноте.

О чем наш разговор солдатский?
О том, что нынче Новый год,
А света нет, и холод адский,
И снег, как каторжный, метет.

Один сказал: «Моя сегодня
Полы помоет, как при мне.
Потом детей, чтоб быть свободней,
Уложит. Сядет в тишине.

Ей сорок лет — мы с ней погодки.
Всплакнет ли, просто ли вздохнет,
Но уж, наверно, рюмкой водки
Меня по-русски помянет...»

Второй сказал: «Уж год с лихвою
С моей война нас развела.
Я, с молодой простясь женою,
Взял клятву, чтоб верна была.

Я клятве верю, — коль не верить,
Как проживешь в таком аду?
Наверно, всё глядит на двери,
Всё ждет сегодня — вдруг приду...»

А третий лишь вздохнул устало:
Он думал о своей — о той,
Что с лета прошлого молчала
За черной фронтовой чертой...

И двое с ним заговорили,
Чтоб не грустил он, про войну,
Куда их жены отпустили,
Чтобы спасти его жену.

1943

65. ДОМ В ВЯЗЬМЕ

Я помню в Вязьме старый дом.
Одну лишь ночь мы жили в нем.

Мы ели то, что бог послал,
И пили, что шофер достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.
Кто был в ту ночь, иных уж нет.

Но знаю я, что в смертный час
За тем столом он вспомнил нас.

В ту ночь, готовясь умирать,
Навек забыли мы, как лгать,

Как изменять, как быть скупым,
Как над добром дрожать своим.

Хлеб пополам, кров пополам —
Так жизнь в ту ночь открылась нам.

Я помню в Вязьме старый дом.
В день мира прах его с трудом

Найдем средь выжженных печей
И обгорелых кирпичей,

Но мы складчи́ну соберем
И вновь построим этот дом,

С такой же печкой и столом
И накрест клеенным стеклом.

Чтоб было в доме всё точь-в-точь,
Как в ту нам памятную ночь.

И если кто-нибудь из нас
Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,
Солжет, или изменит нам,

Иль, находясь в чинах больших,
Друзей забудет фронтовых, —

Мы суд солдатский соберем
И в этот дом его сошлем.

Пусть посидит один в дому,
Как будто утром в бой ему,

Как будто, если лжет сейчас,
Он, может, лжет в последний раз,

Как будто хлеба не дает
Тому, кто к вечеру умрет,

И палец подает тому,
Кто завтра жизнь спасет ему.

Пусть вместо нас лишь горький стыд
Ночь за столом с ним просидит.

Мы, встретясь, по его глазам
Прочтем: он был иль не был там.

Коль не был, — значит, неспроста,
Коль не был — совесть нечиста.

Но если был, мы ничего
Не спросим больше у него.

Он вновь по гроб нам будет мил,
Пусть честно скажет: «Я там был».

1943

66. НОЧНОЙ ПОЛЕТ

Мы летели над Словенией,
Через фронт, наперекрест,
Над ночным передвижением
Немцев, шедших на Триест.

Словно в доме перевернутом,
Так, что окна под тобой,
В люке, инеем подернутом,
Горы шли внизу гурьбой.

Я лежал на дне под буркою,
Словно в животе кита,
Слыша, как за переборкою
Леденеет высота.

Ночь была почти стеклянная,
Только выхлопов огонь,
Только трубка деревянная
Согревала мне ладонь.

Ровно сорок на термометре.
Ртути вытянулась нить.
Где-то на шестом километре
Ни курить, ни говорить.

Тянет спать, как под сугробами,
И сквозь сон нельзя дышать.
Словно воздух весь испробован
И другого негде взять.

Хорошо, наверно, летчикам;
Там, в кабине, кислород —
Ясно слышу, как клокочет он,
Как по трубкам он течет.

Чувствую по губ движению,
Как хочу их умолять,
Чтоб и мне, хоть на мгновение,
Дали трубку — подышать.

Чуть не при смерти влетаю я,
Сбив растаявшую слезу,
Прямо в море, в огни Италии,
Нарастающие внизу.

. . . .

А утром просто пили чай
С домашнею черешнею,
И кто-то бросил невзначай
Два слова про вчерашнее.

Чтобы не думать до зари,
Вчера решили с вечера:
Приборов в самолете три,
А нас в полете четверо;

Стакнулся с штурманом пилот
До вылета, заранее,
И кислород не брали в рот
Со мною за компанию.

Смеялся летный весь состав
Над этим приключением,
Ему по-русски не придав
Особого значения.

Сидели дачною семьей,
Московскими знакомыми,
Пилот, радист и штурман мой
Под ветками с лимонами.

Пусть нам сопутствует в боях
И в странствиях рискованных
Богатство лишь в одном — в друзьях,
Вперед не приготовленных,

Таких, чтоб верность под огнем
И выручка соседская,
Таких, чтоб там, где вы втроем,
Четвертой — Власть Советская.

Таких, чтоб нежность — между дел
И дружба не болтливая,
Таких, с какими там сидел
На берегу залива я.

Далеко мир. Далеко дом,
И Черное, и Балтика...
Лениво плещет за окном
Чужая Адриатика.

1944

67. ВСТРЕЧА НА ЧУЖБИНЕ

Фронтовой бригаде Театра
имени Ленинского комсомола

Пускай в Москве иной ворчлив и сух,
Другого осуждают справедливо
За то, что он бранил кого-то вслух,
Кого-то выслушал нетерпеливо;

А третий так делами осажден,
Что прячется годами от знакомых,
И старый лгун охрипший телефон,
Как попугай, твердит всё: «Нету дома»,

Да ты и сам, на чей-то строгий взгляд,
Уж слишком тороплив и озабочен,
А главное, как люди говорят,
Когда-то лучше был, — как все мы, впрочем!

Но вдруг в чужой земле, куда войной
Забросило тебя, как в преисподню,
Вдруг скажет кто-то, встретившись с тобой,
О москвичах, приехавших сегодня.

Ты с ними был в Москве едва знаком —
Кивок, два-три случайных разговора, —
Но здесь, не будь машины, хоть пешком...
«Где, где они?» — И, разбудив шофера,

Ты оглашаешь ночь сплошным гудком,
Ты гонишь в дождь свой прыгающий «виллис»
В немецкий город, в незнакомый дом,
Где, кажется, они остановились.

Ты долго светишь фарой на дома,
Чужую тарабарщину читаешь.
Прохожих нет, и, хоть сойди с ума,
Где этот дом, ты сам не понимаешь.

Костел, особняки, еще костел,
Пустых домов визжащие ворота.
Но вот ты наконец нашел, нашел,
Тебя по-русски окликает кто-то.

И открывают дверь и узнают,
Как, может быть, в Москве бы не узнали.
«Ну как вы тут?» — «А вы, давно вы тут?
А мы как раз сегодня вспоминали...»

Тот сумасшедший русский разговор
С радушьем, шумом, добрыми словами.
Как странно, что в Москве мы до сих пор,
Я и они, мы не были друзьями.

А женщины уж в кухне жгут костер.
«Нет, с нами ужинать, а то еще уедем!» —
И пожилой, с одышкою, актер
Бегом бежит за водкою к соседям.

Кого-то будят, чтоб и он пришел.
Да чтоб с гитарой. «Будем петь. Хотите?»
— «Как не хотеть!» — «Ну, а пока за стол,
За стол, за стол скорее проходите!»

И мы сидим у сдвинутых столов,
И тесно нам, и водка в чашках чайных,
И я ищу каких-то новых слов,
Каких-то слов совсем необычайных,

Чтоб им сказать, что я не тот, не тот,
Каким они меня в Москве видали,
Что я — другой. И кто из нас поймет,
Как раньше мы друг друга не узнали!

Еще кого-то будят и зовут.
«Пусть все придут, мы можем потесниться.
Мы всех усадим, потому что тут —
Россия, а за дверью — заграница».

Приходит женщина, совсем со сна,
На босу ногу туфли — и с гитарой.
И вот уже поет, поет она,
Начав с какой-то песни, самой старой.

Про дом, про степь, про снег, про ямщика.
Она щемит и сердце рвет на части.
Но это ж наша, русская, тоска,
А на чужбине и она — как счастье.

Лишь домом бы пахнуло, лишь бы речь
Дохнула русской акающей лаской.
Скажи, ты будешь эту ночь беречь,
Как матерью рассказанную сказку?

Скажи, скажи, ты не забудешь их,
С кем ночь тебя свела своею волей,
Совсем родных тебе, совсем чужих
И наших, наших аж до слез, до боли?

Ты ведь не будешь там, в Москве, опять
Забывчивым, ты сердца не остудишь?
Нет, обещай! Ты должен обещать!
Скажи, не будешь? Ну, скажи, не будешь?

Как знать? В Москве, быть может, через год
Друг друга встретим мы кивком, как прежде?
Скорей всего, что так, что он кивнет
И ты кивнешь. И вот конец надежде.

А все-таки сквозь старость и метель
Мелькнут в душе неясные картины:
Гитара, ночь и русская артель
Средь ледяного холода чужбины.

1945
Германия

68

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок,
Не той, что была по учебникам пройдена,
А той, что пылала в глазах воспаленных,
А той, что рыдала, — запомнил я Родину.

И вижу ее, накануне победы,
Не каменной, бронзовой, славой увенчанной,
А очи проплакавшей, идя сквозь беды,
Всё снесшей, всё вынесшей русскою женщиной.

1945

69. СЫНОВЬЯМ

В разлуке были. Смерть видали.
Привыкли к скрипу костылей.
Свой дом своей рукой сжигали.
В последний путь несли друзей.

Того, кем путь наш честно прожит,
Согнуть труднее, чем сломать.
Чем, в самом деле, жизнь нас может,
Нас, всё видавших, испугать?

И если нет других путей,
Мы сами вновь пойдем в сраженья,
Но наших судеб повторенья
Не будет в судьбах сыновей!

1945

70. ГОЛОС ДАЛЕКИХ СЫНОВЕЙ

Метель о бревна бьется с детским плачем,
И на море, вставая как стена,
Ревет за полуостровом Рыбачьим
От полюса летящая волна.

Бьют сквозь метель тяжелые орудья,
И до холодной северной зари
Бойцы, припав ко льду и камню грудью,
Ночуют в скалах Муста-Тунтури.

Чадит свеча, оплывшая в жестянке,
И, согревая руки у свечи,
В полярной, в скалы врубленной землянке,
Мы эту ночь проводим, москвичи.

Здесь край земли. Под северным сияньем
Нам привелось сегодня ночевать.
Но никаким ветрам и расставаньям
Нас от тебя, Москва, не оторвать!

В антенну бьет полярным льдом и градом.
Твой голос нам подолгу не поймать,
И все-таки за тыщу верст — мы рядом
С тобой, Москва, отчизна наша, мать!

Вот снова что-то в рупоре сказали,
И снова треск, и снова долго ждем, —
Так, сыновья твои, из страшной дали
Мы материнский голос узнаем.

Мы здесь давно, но словно лишь вчерашним
Днем от своей Москвы отделены,
Видны Кремля нам вековые башни
И площади широкие видны.

Своих друзей московских узнаем мы;
Без долгих слов, в руках винтовки сжав,
Они выходят в эту ночь из дома,
Мы слышим шаг их у твоих застав.

Мы видим улицы, где мы ходили,
И школы — в детстве мы учились в них, —
Мы видим женщин тех, что мы любили,
Мы видим матерей своих седых.

Москва моя, военною судьбою
Мать и сыны сравнялись в грозный час,
Ты в эту ночь, как мы, готова к бою,
Как ты, всю ночь мы не смыкаем глаз.

Опять всю ночь над нами крутит вьюга,
И в скалах эхо выстрелов гремит.
Но день придет: от Севера до Юга
Крылатая победа пролетит!

Мы верим, что среди друзей московских
Еще пройдем по площадям твоим,
В молчании еще у стен кремлевских
Мы, слушая куранты, постоим.

В твоих стенах еще, сойдясь с друзьями,
Победный тост поднимем над столом
И павших, тех, что нет уже меж нами,
Мы благодарным словом помянем!

Мы верим в это! Мы сидим в землянке,
Снег заметает мерзлую траву.
Нам не до сна. Свеча чадит в жестянке.
Мы слушаем по радио Москву...

1941

71. МОРСКАЯ ПЕХОТА

Есть приказ для маскировки
Нам бушлаты снять.
К новой форме без сноровки
Трудно привыкать.
Гимнастерки, скатки, фляжки.
Но, суля грозу,
Черноморские тельняшки
Подо всем внизу.
Как рванешь в атаке ворот,
Тельник бьет в глаза,

Словно защищает город
Моря полоса.
Восемь раз я всем отрядом
В бой водил ребят.
На девятый — где-то рядом
Угодил снаряд.
Я вперед рванулся телом,
Но в глазах темно,
На тельняшке синей с белым
Красное пятно.
Пусть пройдет в последнем взоре
Всё, что знал моряк, —
Белый свет, да сине море,
Да багровый стяг.
Я лежу в бинтах у хаты,
Рана жжет меня,
Но вперед идут ребята,
Не боясь огня,
И врагам моим на горе
Белый свет стоит,
И вверху над синим морем
Красный флаг шумит.

1941
Одесса

72. ТАНК НА ВЫСТАВКЕ ТРОФЕЕВ

Вот этот гусеничный зверь,
В заводских выкормленный безднах,
Безвредно замерший теперь
На позвонках своих железных,
Он, у кого в железном лбу,
На морде, шириною в сажень,
Есть след, куда в его судьбу,
Как волчья дробь, снаряд наш всажен,
Он волчьим чучелом стоит,
Наш беспощадный враг вчерашний,
И мальчик на него глядит,
И трогает рукою башню,
И спрашивает: «Где же дверь?»
Не знает он, к броне склоненный,
Того, что этот черный зверь,

Тремя зверями населенный,
На перекрестке двух дорог
Его отца примял пятою,
Быть сиротой его обрек
И мать его назвал вдовою.
Не знает мальчик ничего,
Он перед танком, хмуря брови,
По-детски трогает его,
Не видя капель отчей крови.
Но мы давно не дети. Нам
Известна истина простая:
Здесь чучело молчит, — но там
Еще завоет волчья стая!
И мы еще вперед пойдем,
Их вою дальнему навстречу,
И волчий голос оборвем
Своих орудий русской речью.

1943

73. МАТВЕЕВ КУРГАН

Забравшись к отцу в кабинет,
Под пыли слежавшейся горсткой
Однажды найдешь ты планшет
Со старою картой-двухверсткой.

На ней ни долгот, ни широт,
Ни Рака, ни Козерога...
Лишь узкая речка течет,
Деревня, лесок и дорога.

Начавший уже собирать
Красивые южные марки,
Ты будешь весь мир узнавать
От Персии до Ямайки.

Индийского моря лазурь,
Плывущие в рифах медузы,
Пустыня Сахара, мыс Бурь,
Холодный пролив Лаперуза.

И будет тебе невдомек,
Зачем твой отец терпеливо
Хранит этой карты листок,
Где нет ни пустынь, ни проливов;

Зачем, когда гости к отцу
Придут, те, что редко бывают,
И близится вечер к концу,
И мать им вина подливает, —

Зачем им отец принесет
Ту неинтересную карту
И все, кто в тот вечер придет,
Склонятся над ней, как за партой.

И вместо полуденных стран
Вдруг вспомнят про Старую Руссу,
Какой-то Матвеев Курган,
Какую-то речку Миусу.

Подкравшись к отцу своему,
Вдруг спросишь ты, всеми забытый:
«Матвеев Курган. Почему?
Лежит богатырь там убитый?»

Мелькнет в его взоре печаль,
И скажет он голосом странным:
«Да, там богатырь. Только жаль,
Что он не один под курганом».

Потом, проводивши гостей,
На стенах окинет он глазом
Портреты усатых людей,
Что ты не встречал здесь ни разу.

И вдруг, чтоб не видела мать,
Обычно такой непреклонный,
Свой старый наган поиграть
Он даст тебе, вынув патроны.

1943

74. СЧАСТЬЕ

Мальчиком он был. Его спросили:
«Что ты хочешь, чтобы быть счастливым?»
— «Я хочу поехать на лошадке
И подуть в солдатскую трубу».

Юношей он стал. Его спросили:
«Что ты хочешь, чтобы быть счастливым?»
— «Я хочу весь белый свет объехать
И, не старясь, до ста лет прожить».

Стал солдатом он. Его спросили:
«Что ты хочешь, чтобы быть счастливым?»
— «Я хочу, раз выбирать уж надо,
Умереть, чтоб родину спасти».

Умер он. Его вдову спросили:
«Что ты хочешь, чтоб не быть несчастной?»
— «Я хочу, коль он уж не воскреснет,
Чтоб мой сын хотел того ж, что он».

1943

75. ШОФЕРСКАЯ

Когда дорога словно скатерть,
Гони хоть восемьдесят миль,
Когда, гудя на новых скатах,
Летит в тылу автомобиль, —
Подумаешь, крутить баранку,
Ты не видал еще дорог,
Как ни газуй на всю жестянку —
Ты не шофер еще, браток.
Ты еще похвалы
Заслужить не успел,
Чтоб сказали мы, встретясь с тобой:
«Он в воде не тонул,
Он в огне не горел —
Настоящий шофер фронтовой!»
Но если ты, ведя колонну,
Под бомбами, не дуя в ус,
За перегоном перегоны
Гнал фронту драгоценный груз

И если ты в сплошной трясине
Свой «додж» тяжелый, как трамвай,
Сто верст толкал по Украине:
«А ну плечом, а ну давай», —
    Значит, был ты и смел
    И вернуться сумел,
    Значит, скажем мы, встретясь с тобой:
    «Он в воде не тонул,
    Он в огне не горел —
    Настоящий шофер фронтовой!»
Когда всю ночь во тьму и вьюгу
Ты по дороге фронтовой,
Осколком мины ранен в руку,
Машину вел одной рукой,
Когда дорогами такими,
Где даже леший не бывал,
Сто тысяч на своей машине
Ты на спидометр намотал, —
    Значит, был ты и смел
    И вернуться сумел,
    Значит, скажем мы, встретясь с тобой:
    «Он в воде не тонул,
    Он в огне не горел —
    Настоящий шофер фронтовой!»

1944

С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ

76

Плюшевые волки,
Зайцы, погремушки.
Детям дарят с елки
Детские игрушки.

И, состарясь, дети
До смерти без толку
Все на белом свете
Ищут эту елку.

Где жар-птица в клетке,
Золотые слитки,

Где висит на ветке
Счастье их на нитке.

Только дед-мороза
Нету на макушке,
Чтоб в ответ на слезы
Сверху снял игрушки.

Желтые иголки
На пол опадают...
Всё я жду, что с елки
Мне тебя подарят.

Май 1941

77

Я много жил в гостиницах,
Слезал на дальних станциях,
Что впереди раскинется —
Всё позади останется.

Я не скучал в провинции,
Довольный переменами,
Все мелкие провинности
Не называл изменами.

Искал хотя б прохожую,
Далекую, неверную,
Хоть на тебя похожую...
Такой и нет, наверное,

Такой, что вдруг приснится мне;
То серые, то синие
Глаза твои с ресницами
В ноябрьском первом инее.

Лицо твое усталое,
Несхожее с портретами,
С мороза губы талые,
От снега мной согретые,

И твой лениво брошенный
Взгляд, означавший искони:
Не я тобою прошенный,
Не я тобою исканный,

Я только так, обласканный
За то, что в ночь с порошею,
За то, что в холод сказкою
Согрел тебя хорошею.

И веришь ли, что странною
Мечтой себя тревожу я:
И ты не та, желанная,
А только так, похожая.

Май 1941

78

Когда со мной страданьем
Поделятся друзья,
Их лишним состраданьем
Не обижаю я.

Я их лечу разлукой
И переменой мест,
Лечу дорожной скукой
И сватовством невест.

Учу, как чай в жестянке
Заваривать в пути,
Как вдруг на полустанке
Красавицу найти,

Чтоб не скучать по году
О той, что всех милей,
Как разложить колоду
Из дам и королей

И, назло той, упрямой,
Наоборот, не в масть,
Найдя в колоде даму,
У короля украсть.

Но всю свою науку
Я б продал за совет,
Как самому мне руку
Не дать тебе в ответ,

Без губ твоих, без взгляда
Как выжить мне полдня,
Пока хоть раз пощады
Запросишь у меня.

Май 1941

79

Тринадцать лет. Кино в Рязани,
Тапер с жестокою душой,
И на заштопанном экране
Страданья женщины чужой;

Погоня в Западной пустыне,
Калифорнийская гроза,
И погибавшей героини
Невероятные глаза.

Но в детстве можно всё на свете,
И за двугривенный в кино
Я мог, как могут только дети,
Из зала прыгнуть в полотно.

Убить врага из пистолета,
Догнать, спасти, прижать к груди.
И счастье было рядом где-то,
Там, за экраном, впереди.

Когда теперь я в темном зале
Увижу вдруг твои глаза,
В которых тайные печали
Не выдаст женская слеза,

Как я хочу придумать средство,
Чтоб счастье было впереди,
Чтоб хоть на час вернуться в детство,
Догнать, спасти, прижать к груди. . .

Май 1941

80

Пускай она поплачет.
Ей ничего не значит.

Лермонтов

Если родилась красивой,
Значит, будешь век счастливой.

Бедная моя, судьбою горькой,
Горем, смертью — никакою силой
Не поспоришь с глупой поговоркой,
Сколько б ни молила, ни просила!

Всё, что сердцем взято будет,
Красоте твоей присудят.

Будешь нежной, верной, терпеливой,
В сердце всё равно тебе откажут —
Скажут: нету сердца у счастливой,
У красивой нету сердца, — скажут.

Что любима ты, услышат —
Красоте опять припишут.

Выйдешь замуж — по расчету, значит:
Полюбить красивая не может.
Всё добро на зло переиначат
И тебе на плечи переложат.

Если будешь гордой мужем —
Скажут: потому что нужен.

Как других, с ним разлучит могила —
Всем простят, тебя возьмут в немилость.
Позабудешь — скажут: не любила,
Не забудешь — скажут: притворилась.

Скажут: пусть она поплачет,
Ей ведь ничего не значит.

Если напоказ им не рыдала,
Даже не заметят, как страдала,
Как тебя недетские печали
На холодной площади встречали.

Как бы горе ни ломало,
Ей, красивой, горя мало.

Нет, я не сержусь, когда, не веря
Даже мне, ты вдруг глядишь пытливо.
Верить только горю да потерям
Выпало красивой и счастливой.

Если б наперед всё знала,
В детстве бы дурнушкой стала.

Может, снова к счастью добредешь ты,
Может, снова будет смерть и горе,
Может, и меня переживешь ты,
Поговорки злой не переспоря:

Если родилась красивой,
Значит, будешь век счастливой...

Май 1941

81

Я очень тоскую,
Я б выискать рад
Другую такую,
Чем ехать назад.

Но где же мне руки
Такие же взять,
Чтоб так же в разлуке
Без них тосковать?

Где с тою же злостью
Найти мне глаза,
Чтоб редкою гостьей
Была в них слеза?

Чтоб так же смеялся
И пел ее рот,
Чтоб век я боялся,
Что вновь не придет.

Где взять мне такую,
Чтоб всё ей простить,
Чтоб жить с ней, рискуя
Недолго прожить?

Чтоб с каждым рассветом,
Вставая без сна,
Таким же отпетым
Бывать, как она.

Чтоб, встретясь с ней взглядом
В бессонной тиши,
Любить в ней две рядом
Живущих души.

Не знать, что стрясется
С утра дотемна,
Какой обернется
Душою она.

Я, с нею измучась,
Не зная, как жить,
Хотел свою участь
С другой облегчить.

Но чтобы другою
Ее заменить,
Вновь точно такою
Должна она быть;

А злой и бесценной,
Проклятой, — такой
Нет в целой вселенной
Второй под рукой.

1941

82

Я, верно, был упрямей всех,
Не слушал клеветы
И не считал по пальцам тех,
Кто звал тебя на «ты».

Я, верно, был честней других,
Моложе, может быть,
Я не хотел грехов твоих
Прощать или судить.

Я девочкой тебя не звал,
Не рвал с тобой цветы,
В твоих глазах я не искал
Девичьей чистоты.

Я не жалел, что ты во сне
Годами не ждала,
Что ты не девочкой ко мне,
А женщиной пришла.

Я знал, честней бесстыдных снов,
Лукавых слов честней
Нас приютивший на ночь кров,
Прямой язык страстей.

И если будет суждено
Тебя мне удержать,
Не потому, что не дано
Тебе других узнать.

Не потому, что я — пока,
А лучше — не нашлось,
Не потому, что ты робка
И так уж повелось...

Нет, если будет суждено
Тебя мне удержать,
Тебя не буду всё равно
Я девочкою звать.

И встречусь я в твоих глазах
Не с голубой, пустой,
А с женской, в горе и страстях
Рожденной чистотой.

Не с чистотой закрытых глаз,
Неведеньем детей,
А с чистотою женских ласк,
Бессонницей ночей...

Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но кто б нас ни судил,
Я сам пожизненно к тебе
Себя приговорил.

Июнь 1941

83

Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.

Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим,
Но я не верил по ночам
Твоим ночным словам незрячим.

Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело.

Но утром, в трезвый час, когда
Душа опять сильна, как прежде,
Ты хоть бы раз сказала «да»
Мне, ожидавшему в надежде.

И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.

Вдруг вечер без надежд на ночь,
На счастье, на тепло постели.
Как крик: ничем нельзя помочь! —
Вкус поцелуя на шинели.

Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.

Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки:
Люблю, люблю... ночной вокзал,
Холодные от горя руки.

1941

84

В. С.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

85

Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой...
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой...

Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За всё, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

1941

ПРАВДА



Действующая армия. Конники 3-й Гвардейской кавалерийской дивизии идут в атаку.

в лошадке,
чтобы глот-
п дух, чтобы
.тье.
м. Это каза-
. Но это бы-
овску, отваж-
мания, побе-
сторвителиков,

беспамятстве,
удивлением,
глядели на
ниу).
испела она,
рише, запек-
пройдет. Я
якогда.
зии, большим-
ами.
всех пятна-
гашила в ло-
сную оружу,
альную боль

ЖДИ МЕНЯ

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера,
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь.
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди, и с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям на зло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: повезло.
Не понять не ждавшим, им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,—
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Константин СИМОНОВ.

От дальних
сложено ост
и до самого
ко уже пр
Калинина, ед
тым русским
наешь родного
То там, то
той морозным
вздымающей
розового дыма
чей да заснц
ными поляна
молнией раст
валилах древ
рик, зияя вы
среди груды
можно увидет
флагом, оче
ского тела,
города.

Стремительные и неуловимые

(От специальных военных корреспондентов «Правды»)

Я не помню, сутки или десять
Мы не спим, теряя счет ночам.
Вы в похожей на Мадрид Одессе
Пожелайте счастья москвичам.

Днем, по капле нацедив во фляжки,
Сотый раз переходя в штыки,
Разодрав кровавые тельняшки,
Молча умирают моряки.

Ночью бьют орудья корпусные...
Снова мимо. Значит, в добрый час.
Значит, вы и в эту ночь в России —
Что вам стоит — вспомнили о нас.

Может, врут приметы, кто их знает!
Но в Одессе, люди говорят:
Тех, кого в России вспоминают,
Пуля трижды бережет подряд.

Третий раз нам всем еще не вышел,
Мы под крышей примостились спать.
Не тревожьтесь — ниже или выше,
Здесь ведь всё равно не угадать.

Мы сегодня выпили, как дома,
Коньяку московский мой запас;
Здесь ребята с вами незнакомы,
Но с охотой выпили за вас.

Выпили за свадьбы золотые,
Может, еще будут чудеса...
Выпили за ваши голубые,
Дай мне бог увидеть их, глаза.

Помню, что они у вас другие,
Но ведь у солдат во все века,
Что глаза у женщин — голубые,
Принято считать издалека.

Мы вас просим, я и остальные, —
Лучше, чем напрасная слеза, —

Выпейте вы тоже за стальные
Наши, смерть видавшие, глаза.

Может быть, они у нас другие,
Но ведь у невест во все века,
Что глаза у всех солдат — стальные,
Принято считать издалека.

Мы не все вернемся, так и знайте,
Но ребята просят — в черный час
Заодно со мной их вспоминайте,
Даром, что ли, пьют они за вас!

1941

87

Над черным носом нашей субмарины
Взошла Венера — странная звезда,
От женских ласк отвыкшие мужчины,
Как женщину, мы ждем ее сюда.

Она, как ты, восходит всё позднее,
И, нарушая бег небесных тел,
Другие звезды всходят рядом с нею,
Гораздо ближе, чем бы я хотел.

Они горят трусливо и бесстыже.
Я никогда не буду в их числе,
Пускай они к тебе на небе ближе,
Чем я, тобой забытый на земле.

Я не прощусь с опасностью земною,
Чтоб в мирном небе зябнуть, как они,
Стань лучше ты падучею звездою,
Ко мне на землю руки протяни.

На небе любят женщину от скуки
И отпускают с миром, не скорбя...
Ты упадешь ко мне в земные руки.
Я не звезда. Я удержу тебя.

1941

88

Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным имуществом,
Если скажет он: выбирай?

Мне не надо в раю тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,
Я бы взял с собой в рай такую же,
Что на грешной земле жила, —

Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненáдолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю.

В рай, наверно, таких отчаянных
Мало кто приведет с собой,
Будут праведники нечаянно
Там подглядывать за тобой.

Взял бы в рай с собой расстояния,
Чтобы мучиться от разлук,
Чтобы помнить при расставании
Боль сведенных на шее рук.

Взял бы в рай с собой все опасности,
Чтоб вернее меня ждала,
Чтобы глаз своих синей ясности
Дома трусу не отдала.

Взял бы в рай с собой друга верного,
Чтобы было с кем пировать,
И врага, чтоб в минуту скверную
По-земному с ним враждовать.

Ни любви, ни тоски, ни жалости,
Даже курского соловья,
Никакой, самой малой малости
На земле бы не бросил я.

Даже смерть, если б было мыслимо,
Я б на землю не отпустил,

Всё, что к нам на земле причислено,
В рай с собою бы захватил.

И, за эти земные корысти
Удивленно меня кляня,
Я уверен, что бог бы вскорости
Вновь на землю столкнул меня.

1941

89

Не сердитесь — к лучшему,
Что, себя не мучая,
Вам пишу от случая
До другого случая.

Письма пишут разные:
Слезные, болезные,
Иногда прекрасные,
Чаще — бесполезные.

В письмах всё не скажется
И не всё услышится,
В письмах всё нам кажется,
Что не так напишется.

Коль вернусь — так суженых
Некогда отчитывать,
А убьют — так хуже нет
Письма перечитывать.

Чтобы вам не бедствовать,
Не возить их тачкою,
Будут путешествовать
С вами тонкой пачкою.

А замужней станете,
Обо мне заплачете —
Их легко достанете
И легко припрячете.

От него, ревнивого,
Затворившись в комнате,
Вы меня, ленивого,
Добрым словом вспомните.

Скажете, что к лучшему,
Память вам не мучая,
Он писал от случая
До другого случая.

1941

90

В домотканом, деревянном городке,
Где гармоникой по улицам мостки,
Где мы с летчиком, сойдясь накоротке,
Пили спирт от непогоды и тоски;

Где, как черный хвост кошачий, не к добру,
Прямо в небо дым из печи над трубой,
Где всю ночь скрипучий флюгер на ветру
С петушиным криком крутит домовой;

Где с утра ветра, а к вечеру дожди,
Где и солнца-то не видно из-за туч,
Где, куда ты ни поедешь, так и жди —
На распутье встретишь камень бел-горюч, —

В этом городе пять дней я тосковал.
Как с тобой, хотел — не мог расстаться с ним,
В этом городе тебя я вспоминал
Очень редко добрым словом, чаще — злым.

Этот город весь как твой большой портрет,
С суеверьем, с несчастливой ворожбой,
С переменчивой погодою чуть свет,
По ночам, как ты, с короной золотой,

Как тебя, его не видеть бы совсем,
А увидев, прочь уехать бы скорей,
Он, как ты, вчера не дорог был ничем,
Как тебя, сегодня нет его милей,

Этот город мне помог тебя понять,
С переменчивою северной душой,
С редкой прихотью неласково сиять
Зимним солнцем над моею головой.

Заметает деревянные дома,
Спят солдаты, снег валит через порог. . .
Где ты плачешь, где поешь, моя зима?
Кто опять тебе забыть меня помог?

1941

91

Я помню двух девочек, город ночной. . .
В ту зиму вы поздно спектакли кончали.
Две девочки ждали в подъезде со мной,
Чтоб вы, проходя, им два слова сказали.
Да, я провожал вас. И все-таки к ним,
Пожалуй, щедрей, чем ко мне, вы бывали.
Двух слов они ждали. А я б и одним
Был счастлив, когда б мне его вы сказали.

Я помню двух девочек: странно сейчас
Вдруг вспомнить две снежных фигурки у входа. . .
Подъезд театральный надолго погас.
Вам там не играть в зиму этого года.
Я очень далеко. Но, может, они
Вас в дальнем пути без меня провожают
И с кем-то другим в эти зимние дни,
Совсем как со мной, у подъезда скучают.

Я помню двух девочек. Может, живым
Я снова пройду вдоль заснеженных улиц
И, девочек встретив, поверю по ним,
Что в старый наш город вы тоже вернулись,
Боюсь, что мне незачем станет вас ждать,
Но будет всё снежная, та же погода,
И девочки будут стоять и стоять,
Как вечные спутницы ваши, у входа. . .

1941

92

На час запомнив имена, —
Здесь память долгой не бывает, —
Мужчины говорят: «Война...» —
И наспех женщин обнимают.

Спасибо той, что так легко,
Не требуя, чтоб звали милой,
Другую, ту, что далеко,
Им торопливо заменила.

Она возлюбленных чужих
Здесь пожалела, как умела,
В недобрый час согрела их
Теплом неласкового тела.

А им, которым в бой пора
И до любви дожить едва ли,
Всё легче помнить, что вчера
Хоть чьи-то руки обнимали.

Я не сужу их, так и знай.
На час, позволенный войною,
Необходим нехитрый рай
Для тех, кто послабей душою.

Пусть будет всё не так, не то,
Но вспомнить в час последней муки
Пускай чужие, но зато
Вчерашние глаза и руки.

В другое время, может быть,
И я бы прожил час с чужою,
Но в эти дни не изменить
Тебе ни телом, ни душою.

Как раз от горя, оттого
Что вряд ли вновь тебя увижу,
В разлуке сердца своего
Я слабодушьем не унижу.

Случайной лаской не согрет,
До смерти не простясь с тобою,
Я милых губ печальный след
Навек оставлю за собою.

1941

93

Мне хочется назвать тебя женой
За то, что так другие не назвали,
Что в старый дом мой, сломанный войной,
Ты снова гостьей явишься едва ли.

За то, что я желал тебе и зла,
За то, что редко ты меня жалела,
За то, что, просьб не ждя моих, пришла
Ко мне в ту ночь, когда сама хотела.

Мне хочется назвать тебя женой
Не для того, чтоб всем сказать об этом,
Не потому, что ты давно со мной,
По всем досужим сплетням и приметам.

Твоей я не тщеславлюсь красотой,
Ни громким именем, что ты носила,
С меня довольно нежной, тайной, той,
Что в дом ко мне неслышно приходила.

Сравнятся в славе смертью имена,
И красота, как станция, минует,
И, постарев, владелица одна
Себя к своим портретам приревнует.

Мне хочется назвать тебя женой
За то, что бесконечны дни разлуки,
Что слишком многим, кто сейчас со мной,
Должны глаза закрыть чужие руки.

За то, что ты правдивою была,
Любить мне не давала обещанья
И в первый раз, что любишь, — солгала
В последний час солдатского прощанья.

Кем стала ты? Моей или чужой?
Отсюда сердцем мне не дотянуться. . .
Прости, что я зову тебя женой
По праву тех, кто может не вернуться.

1941

Я пил за тебя под Одессой в землянке,
В Констанце под черной румынской водой,
Под Вязьмой на синем ночном полустанке,
В Мурманске под белой Полярной звездой.

Едва ль ты узнаешь, моя недотрога,
Живые и мертвые их имена,
Всех добрых ребят, с кем меня на дорогах
Короткою дружбой сводила война.

Подводник, с которым я плавал на лодке,
Разведчик, с которым я к финнам ходил,
Со мной вспоминали за рюмкою водки
О той, что товарищ их нежно любил.

Загадывать на год война нам мешала,
И даже за ту, что, как жизнь, мне мила,
Сегодня я пил, чтоб сегодня скучала,
А завтра мы выпьем, чтоб завтра ждала.

И кто-нибудь, вспомнив чужую, другую,
Вздохнув, мою рюмку посмотрит на свет
И снова нальет мне: «Тоскуешь?» — «Тоскую».
— «Красивая, верно?» — «Жаль, карточки нет».

Должно быть, сто раз я их видел, не меньше,
Мужская привычка — в тоскливые дни
Показывать смятые карточки женщин,
Как будто и правда нас помнят они.

Чтоб всех их любить, они стоят едва ли,
Но что с ними делать, раз трудно забыть!
Хорошие люди о них вспоминали,
И, значит, дай бог им до встречи дожить.

Стараясь разлуку прожить без оглядки,
Как часто, не веря далекой своей,
Другим говорил я: «Всё будет в порядке,
Она тебя ждет, не печалься о ней».

Нам легче поверить всегда за другого,
Как часто, успев его сердце узнать,
Я верил: такого, как этот, такого
Не смеет она ни забыть, ни продать.

Как знать, может, с этим же чувством знакомы
Все те, с кем мы рядом со смертью прошли,
Решив, что и ты не изменишь такому,
Без спроса на верность тебя обрекли.

1941

95

Я, перебрав весь год, не вижу
Того счастливого числа,
Когда всего верней и ближе
Со мной ты связана была.

Я помню зал для репетиций
И свет, зажженный как на грех,
И шепот твой, что не годится
Так делать на виду у всех.

Твой звездный плащ из старой драмы
И хлыст наездницы в руках,
И твой побег со сцены прямо
Ко мне на легких каблуках.

Нет, не тогда. Так, может, летом,
Когда, на сутки отпуск взяв,
Я был у ног твоих с рассветом,
Машину за ночь доконав.

Какой была ты сонной-сонной,
Вскочив с кровати босиком,
К моей шинели пропыленной
Как прижималась ты лицом!

Как бились жилки голубые
На шее под моей рукой!
В то утро, может быть, впервые
Ты показалась мне женой.

И всё же не тогда, я знаю,
Ты самой близкой мне была.
Теперь я вспомнил: ночь глухая,
Обледенелая скала...

Майор, проверив по карманам,
В тыл приказал бумаг не брать;
Когда придется, безымянным
Разведчик должен умирать.

Мы к полночи дошли и ждали,
По грудь зарытые в снегу.
Огни далекие бежали
На том, на русском, берегу...

Теперь я сознаюсь в обмане:
Готовясь умереть в бою,
Я все-таки с собой в кармане
Нес фотографию твою.

Она под северным сияньем
В ту ночь казалась голубой,
Казалось, вот сейчас мы встанем
И об руку пойдем с тобой.

Казалось, в том же платье белом,
Как в летний день снята была,
Ты по камням оледенелым
Со мной невидимо прошла.

За смелость не прося прощенья,
Клянусь, что, если доживу,
Ту ночь я ночью обрученья
С тобою вместе назову.

1941

96. ХОЗЯЙКА ДОМА

Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой,
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,
Как в дни войны, придут слуга покорный твой
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.

Хочу, чтоб ты и в эту ночь была
Опять той женщиной, вокруг которой
Мы изредка сходились у стола
Перед окном с бумажной синей шторой.

Басы зениток за окном слышны,
А радиола старый вальс играет,
И все в тебя немножко влюблены,
И половина завтра уезжает.

Уже шинель в руках, уж третий час,
И вдруг опять стихи тебе читают,
И одного из бывших в прошлый раз
С мужской ворчливой скорбью вспоминают.

Нет, я не ревновал в те вечера,
Лишь ты могла разгладить их морщины.
Так краток вечер, и пора! Пора! —
Трубят внизу военные машины.

С тобой наш молчаливый уговор —
Я выходил, как равный, в непогоду,
Пересекал со всеми зимний двор
И возвращался после их ухода.

И даже пусть догадливы друзья —
Так было лучше, это б нам мешало.
Ты в эти вечера была ничья.
Как ты права — что прав меня лишала!

Не мне судить, плоха ли, хороша,
Но в эти дни лишений и разлуки
В тебе жила та женская душа,
Тот нежный голос, те девичьи руки,

Которых так недоставало им,
Когда они под утро уезжали
Под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым.
Им девушки платками не махали,

И трубы им не пели, и жена
Далеко где-то ничего не знала.
А утром неотступная война
Их вновь в свои объятья принимала.

В последний час перед отъездом ты
Для них вдруг становилась всем на свете,
Ты и не знала страшной высоты,
Куда взлетала ты в минуты эти.

Быть может, не любимая совсем,
Лишь для меня красавица и чудо,
Перед отъездом ты была им тем,
За что мужчины примут смерть повсюду, —

Сияньем женским, девочкой, женой,
Невестой — всем, что уступить не в силах,
Мы умираем, заслонив собой
Вас, женщин, вас, беспомощных и милых.

Знакомый с детства простенький мотив,
Улыбка женщины — как много и как мало. . .
Как ты была права, что, проводив,
При всех мне только руку пожимала.

. . . .

Но вот наступит мир, и вдруг к тебе домой,
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,
Как в дни войны, придут слуга покорный твой
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.

Они придут еще в шинелях и ремнях
И долго будут их снимать в передней —
Еще вчера война, еще всего на днях
Был ими похоронен тот, последний,

О ком ты спросишь — что ж он не пришел?
И сразу оборвутся разговоры,
И все заметят, как широк им стол,
И станут про себя считать приборы.

А ты, с тоской перехватив их взгляд,
За лишние приборы в оправданье,
Шепнешь: «Я думала, что кто-то из ребят
Издалека приедет с опозданьем. . .»

Но мы не станем спорить, мы смолчим,
Что все, кто жив, пришли, а те, что опоздали,
Так далеко уехали, что им
На эту землю уж поспеть едва ли.

Ну что же, сядем... Сколько нас всего?
Два, три, четыре... Стулья ближе сдвинем,
За тех, кто опоздал на торжество,
С хозяйкой дома первый тост поднимем.

Но если опоздать случится мне
И ты, меня коря за опозданье,
Услышишь вдруг, как кто-то в тишине
Шепнет, что бесполезно ожиданье, —

Не отменяй с друзьями торжество.
Что из того, что я тебе всех ближе,
Что из того, что я любил, что из того,
Что глаз твоих я больше не увижу?

Мы собирались здесь, как равные, потом
Вдвоем — ты только мне была дана судьбою,
Но здесь, за этим дружеским столом,
Мы были все равны перед тобою.

Потом ты можешь помнить обо мне,
Потом ты можешь плакать, если надо,
И, встав к окну в холодной простыне,
Просить у одиночества пощады.

Но здесь не смей слезами и тоской
По мне по одному лишать последней чести
Всех тех, кто вместе уезжал со мной
И кто со мною не вернулся вместе.

Поставь же нам стаканы заодно
Со всеми! Мы еще придем нежданно.
Пусть кто-нибудь живой нальет вино
Нам в наши молчаливые стаканы.

Еще вы трезвы. Не пришла пора
Нам приходить, но мы уже в дороге,
Уж била полночь... Пейте ж до утра!
Мы будем ждать рассвета на пороге.

Кто лгал, что я на праздник не пришел?
Мы здесь уже. Когда все будут пьяны,
Бесшумно к вам подсядем мы за стол
И сдвинем за живых бесшумные стаканы.

1942

97

Когда на выжженном плато
Лежал я под стеной огня,
Я думал: слава богу, что
Ты так далеко от меня,
Что ты не слышишь этот гром,
Что ты не видишь этот ад,
Что где-то в городе другом
Есть тихий дом и тихий сад,
Что вместо камня — там вода,
А вместо грома — кленов тень
И что со мною никогда
Ты не разделишь этот день.

Но стоит встретиться с тобой —
И я хочу, чтоб каждый день,
Чтоб каждый час и каждый бой
За мной ходила ты, как тень.
Чтоб ты со мной делила хлеб,
Делила горести до слез.
Чтоб слепла ты, когда я слеп,
Чтоб мерзла ты, когда я мерз,
Чтоб страхом был твоим — мой страх,
Чтоб гневом был твоим — мой гнев,
Мой голос — на твоих губах
Чтоб был, едва с моих слетев,

Чтоб не сказали мне друзья,
Всё разделявшие в судьбе:
«Она вдали, а рядом — я,
Что́ эта женщина тебе?
Ведь не она с тобой была
В тот день в атаке и пальбе.
Ведь не она тебя спасла, —
Что эта женщина тебе?
Зачем теперь всё с ней да с ней.
Как будто, в горе и беде
Всех заменив тебе друзей,
Она с тобой была везде?»

Чтоб я друзьям ответить мог:
«Да, ты не видел, как она
Лежала, съежившись в комок,
Там, где огонь был как стена.

Да, ты забыл, она была
Со мной три самых черных дня,
Она тебе там помогла,
Когда ты вытащил меня.
И за спасение мое,
Когда я пил с тобой вдвоем,
Она — ты не видал ее —
Сидела третьей за столом».

1942

98

Твой голос поймал я в Смоленске,
Но мне, как всегда, не везло —
Из тысячи слов твоих женских
Услышал я только: алло!

Рвалась телефонная нитка
На слове три раза подряд,
Оглохшая телефонистка
Устало сказала: «Бомбят».

А дальше летели недели,
И так получилось само —
Когда мы под Оршей сидели,
Тебе сочинил я письмо.

В нем много написано было,
Теперь и не вспомнишь всего.
Ты б, верно, меня полюбила,
Когда б получила его.

В ночи под глухим Могилевом —
Уж так получилось само,
Иначе не мог я — ну, словом,
Пришлось разорвать мне письмо.

Всего, что пережито было
В ту ночь, ты и знать не могла.
А верно б, меня полюбила,
Когда бы там рядом была.

Но рядом тебя не случилось,
И порвано было письмо,
И всё, что могло быть, — забылось,
Уж так получилось само.

Нарочно писать ведь не будешь,
Раз горький затеялся спор;
Меня до сих пор ты не любишь,
А я не пишу до сих пор.

1942

99

Пусть прокляну впоследствии
Твои черты лица,
Любовь к тебе — как бедствие,
И нет ему конца.

Нет друга, нет товарища,
Чтоб среди бела дня
Из этого пожарища
Мог вытащить меня.

Отчаявшись в спасении
И бредя наяву,
Как при землетрясении,
Я при тебе живу.

Когда ж от наваждения
Себя освобожу,
В ответ на осуждения
Я про тебя скажу:

Зачем считать грехи ее?
Ведь, не добра, не зла,
Не женщиной — стихиею
Вблизи она прошла.

И, грозный шаг заслыша, я
Пошел грозу встречать,
Не став, как вы, под крышею
Ее пережидать.

1942

100

Был у меня хороший друг —
Куда уж лучше быть, —
Да всё, бывало, недосуг
Нам с ним поговорить.

То уезжает он, то я.
Что сделаешь — война. . .
Где настоящие друзья —
Там дружба не видна.

Такой не станет слезы лить,
Что не видал давно,
При всех не будет громко пить
Он за меня вино.

И на пирушке за столом
Не расцелует вдруг. . .
Откуда ж знать тебе о нем,
Что он мой лучший друг?

Что с ним видали мы беду
И расквитались с ней,
Что с ним бывали мы в аду.
А рай — не для друзей.

Но встретится в Москве со мной —
Весь разговор наш с ним:
«Еще живой?» — «Пока живой».
— «Когда же посидим?

Опять не можешь, сукин сын,
Совсем забыл друзей!
Шучу, шучу, ведь я один,
А ты, наверно, — к ней.

К ней? Может, завтра среди дня
Зайду к вам. Или нет,
Вам хорошо и без меня,
Передавай привет.

А впрочем, и привет не шли,
С тобою на войне
Мы спелись от нее вдали,
Где ж знать ей обо мне?»

Да, ты не знаешь про него
Почти что ничего,
Ни слов его, ни дел его,
Ни верности его.

Но он, он знает о тебе
Всех больше и верней,
Чем стать могла в моей судьбе
И чем не стала в ней.

Всех мук и ревностей моих
Лишь он свидетель был,
И, правду говоря, за них
Тебя он не любил.

. . . .

Был у меня хороший друг —
Куда уж лучше быть, —
Да всё, бывало, недосуг
Нам с ним поговорить.

Давай же помянем о нем
Теперь с тобой вдвоем
И горькие слова запьем,
Как он любил, вином.

Тем самым, что он мне принес,
Когда недавно был.
Ну и не надо слез. Он слез
При жизни не любил.

1942

101. КАРЕТНЫЙ ПЕРЕУЛОК

За окном пепелища, дома чернореберные,
Снова холод, война и зима. . .
Написать тебе что-нибудь доброе-доброе?
Чтобы ты удивилась сама.

До сих пор я тебя добротою не баловал,
Не умел ни жалеть, ни прощать,
Слишком горькие шутки в разлуке откалывал.
Злом на зло привыкал отвечать.

Но сегодня тебя вдруг не злой, не упрямою,
Словно при смерти вижу, родной,
Словно это письмо вдруг последнее самое,
Словно кончил все счеты с тобой.

Начинаются русские песни запевочкой.
Ни с того ни с сего о другом:
Я сегодня хочу увидать тебя девочкой
В переулке с московским двором.

Увидать не любимой еще, не целованной,
Не знакомою, не женой,
Не казнимой еще и еще не балованной
Переменчивой женской судьбой.

Мы соседями были. Но знака секретного
Ты мальчишке подать не могла:
Позже на пять минут выходил я с Каретного,
Чем с Садовой навстречу ты шла.

Каждый день пять минут; то дурными, то добрыми
Были мимо летевшие дни.
Пять минут не могла подождать меня вовремя.
В десять лет обернулись они.

Нам по-взрослому любится и ненавидится,
Но, быть может, все эти года
Я бы отдал за то, чтоб с тобою увидеться
В переулке Каретном тогда.

Я б тебя оберег от тоски одиночества,
От измены и ласки чужой. . .
Впрочем, всё это глупости. Просто мне хочется
С непривычки быть добрым с тобой.

Даже в горькие дни на судьбу я не сетую.
Как заведено, будем мы жить. . .
Но семнадцатилетним я всё же советую
Раньше на пять минут выходить.

1942

102. ДОЖДИ

Опять сегодня утром будет
Почтовый самолет в Москву.
Какие-то другие люди
Летят. А я всё здесь живу.

Могу тебе сказать, что тут
Всё так же холодно и скользко,
Весь день дожди идут, идут,
Как растянувшееся войско.

Всё по колено стало в воду,
Весь мир покрыт водой сплошной.
Такой, как будто бог природу
Прислал сюда на водопой.

Мы только полчаса назад
Вернулись с рекогносцировки,
И наши сапоги висят
У печки, сохнут на веревке.

И сам сижу у печки, сохну.
Занятье глупое: с утра
Опять поеду и промокну —
В степи ни одного костра.

Лишь дождь, как будто он привязан
Навеки к конскому хвосту,
Да свист снаряда, сердце разом
Роняющего в пустоту.

А здесь, в халупе нашей, всё же
Мы можем сапоги хоть снять,
Погреться, на соломе лежа.
Как видишь — письма написать.

Мое письмо тебе свезут
И позвонят с аэродрома,
И ты в Москве сегодня ж дома
Его прочтешь за пять минут.

Увидеть бы лицо твое,
Когда в разлуке вечерами
Вдруг в кресло старое мое
Влезаешь, как при мне, с ногами.

И, на коленях разложив
Бессильные листочки писем,
Гадаешь: жив или не жив,
Как будто мы от них зависим.

Во-первых, чтоб ты знала: мы
Уж третий день как наступаем,
Железом взрытые холмы
То вновь берем, то оставляем.

Нам в первый день не повезло:
Дождь рухнул с неба, как назло,
Лишь только, кончивши работу,
Замолкли пушки и пехота
Пошла вперед. А через час,
Среди неимоверной, страшной
Воды увязнувший по башню,
Последний танк отстал от нас.

Есть в неудачном наступленье
Несчастный час, когда оно
Уже остановилось, но
Войска приведены в движенье.

Еще не отменен приказ,
И он с жестоким постоянством
В непроходимое пространство,
Как маятник, толкает нас.

Но разве можно знать отсюда —
Вдруг эти наши три версты,
Две взятых кровью высоты
Нужны за двести верст, где чудо

Прорыва будет завтра в пять,
Где уж в ракетницах ракеты.
Москва запрошена. Ответа
Нет. Надо ждать и наступать.

Все свыклись с этой трудной мыслью:
И штаб, и мрачный генерал,
Который молча крупной рысью
Поля сраженья объезжал.

Мы выехали с ним верхами
По направленью к Джантаре,
Уже синело за холмами,
И дело близилось к заре.

Над Акмонайскою равниной
Шел зимний дождь, и всё сильней,
Всё было мокро, даже спины
Понуро несших нас коней.

Однообразная картина
Трех верст, что мы прошли вчера,
В грязи ревущие машины,
Рыдающие трактора.

Воронок черные болячки.
Грязь и вода, смерть и вода.
Оборванные провода
И кони в мертвых позах скачки.

На минном поле вперемежку
Тела то вверх, то вниз лицом,
Как будто смерть в орла и решку
Играла с каждым мертвецом.

А те, что при дороге самой,
Вдруг так похожи на детей,
Что, не поверив в смерть, упрямо
Всё хочется спросить: «Ты чей?»

Как будто их тут не убили,
А ехали из дома в дом
И уронили и забыли
С дороги подобрать потом.

А дальше мертвые румыны,
Где в бегстве их застиг снаряд,
Как будто их толкнули в спину,
В грязи на корточках сидят.

Среди развалин Джантары,
Вдоль южной глиняной ограды,
Как в кегельбане для игры,
Стоят забытые снаряды.

Но словно всё кругом обман,
Когда глаза зажмуришь с горя,
Вдруг солью, рыбой сквозь туман
Нет-нет да и потянет с моря.

И снова грязь из-под копыт,
И слух, уж сотый за неделю,
О ком-то, кто вчера убит,
И чей-то возглас: «Неужели?»

Однако мне пора кончать.
Ну что ж, последние приветы,
Пока фельдъегеря печать
Не запечатала пакеты.

Еще одно. Два дня назад,
Как в детстве, подогнувши ноги,
Лежал в кювете у дороги
И ждал, когда нас отбомбят.

Я, кажется, тебе писал,
Что под бомбежкой, свыкшись с нею,
Теперь лежу там, где упал,
И вверх лицом, чтобы виднее.

Так я лежал и в этот раз.
Грязь, прошлогодняя осока,
И бомбы прямо и высоко,
И, значит, лягут сзади нас.

Я думал о тебе сначала,
Потом привычно о войне,
Что впереди зениток мало,
Застряли где-то в глубине.

Что танки у села Корпеча
Стоят в грязи, а дождь всё льет.
Потом я вспомнил нашу встречу
И ссору в прошлый Новый год.

Был глупый день и злые споры,
Но до смешного, как урок,
Я, в чем была причина ссоры,
Пытался вспомнить и не мог.

Как мелочно всё было это
Перед лицом большой беды,
Вот этой каторжной воды,
Нас здесь сживающей со света.

Перед лицом того солдата,
Что здесь со мной атаки ждет
И молча мокрый хлеб жует,
Прикрыв полой ствол автомата.

Нет, в эти долгие минуты
Я, глядя в небо, не желал
Ни обойтись с тобою круто,
Ни попрекнуть тем, что я знал.
Ни укорить и ни обидеть,
А, ржавый стебель теребя,
Я просто видеть, видеть, видеть
Хотел тебя, тебя, тебя,
Без ссор, без глупой канители,
Что вспомнить стыдно и смешно.

А бомбы не спеша летели,
Как на замедленном кино. . .

Всё. Даль над серыми полями
С утра затянута дождем,
Бренча тихонько стременами,
Скучают кони под окном.

Сейчас поедем. Коноводы,
Собравшись в кучу у крыльца,
Устало матерят погоду
И курят, курят без конца.

1942
Крым

103

Не раз видав, как умирали
В боях товарищи мои,
Я утверждаю: не витали
Над ними образы ничьи.

На небе, средь дымов сраженья,
Над полем смерти до сих пор
Ни разу женского виденья
Нежданно мой не встретил взор.

И в миг кровавого тумана,
Когда товарищ умирал,
Воздушною рукою раны
Ему никто не врачевал.

Когда он с жизнью расставался,
Кругом него был воздух пуст
И образ нежный не касался
Губами холодевших уст.

И если даже с тайной силой
Вдали, в предчувствии, в тоске
Она в тот миг шептала: «Милый» —
На скорбном женском языке,

Он не увидел это слово
На милых дрогнувших губах,
Всё было дымно и багрово
В последний миг в его глазах.

. . . .

Со мной прощаясь на рассвете
Перед отъездом, раз и два
Ты повтори мне все на свете
Неповторимые слова.

Я навсегда возьму с собою
Звук слов твоих, вкус губ твоих.
Пускай не лгут. На поле боя
Ничто мне не напомнит их.

1943

104. ДАЛЕКОМУ ДРУГУ

И этот год ты встретишь без меня.
Когда б понять ты до конца сумела,
Когда бы знала ты, как я люблю тебя,
Ко мне бы ты на крыльях долетела.

Отныне были б мы вдвоем везде,
Метель твоим бы голосом мне пела,
И отраженьем в ледяной воде
Твое лицо бы на меня смотрело.

Когда бы знала ты, как я тебя люблю,
Ты б надо мной всю ночь, до пробужденья,
Стояла тут, в землянке, где я сплю,
Одну себя пуская в сновиденья.

Когда б одною силою любви
Мог наши души поселить я рядом,
Твоей душе сказать: приди, живи,
Бесплотна будь, будь недоступна взглядам,

Но ни на шаг не покидай меня,
Лишь мне понятным будь напоминаньем:
В костре — неясным трепетом огня,
В метели — снега голубым порханьем.

Незримая, смотри, как я пишу
Листки своих ночных нелепых писем,
Как я слова беспомощно ищу,
Как нестерпимо я от них зависим.

Я здесь ни с кем тоской делиться не хочу,
Свое ты редко здесь услышишь имя.
Но если я молчу — я о тебе молчу,
И воздух населен весь лицами твоими.

Они кругом меня, куда ни кинусь я,
Всё ты в мои глаза глядишь неутомимо.
Да, ты бы поняла, как я люблю тебя,
Когда б хоть день со мной тут прожила незримо.

. . . .

Но ты и этот год встречаешь без меня...

1943

105

Первый снег в окно твоей квартиры
Заглянул несмело, как ребенок,
А у нас лимоны по две лиры,
Красный перец на стенах беленых.

Мы живем на вилле ди Веллина,
Трое русских, три недавних друга.
По ночам стучатся апельсины
В наши окна, если ветер с юга.

На березы вовсе не похожи —
Кактусы под окнами маячат,
И, как всё кругом, чужая тоже,
Женщина по-итальянски плачет.

Пароходы грустно, по-собачьи
Лают, сидя на цепи у порта.
Продают на улицах рыбачки
Осьминога и морского черта.

Юбки матерей не отпуская,
Бродят черные, как галки, дети. . .
Никогда не думал, что такая
Может быть тоска на белом свете.

1944
Бари

106

Вновь тоскую последних три дня
Без тебя, мое старое горе.
Уж не бог ли, спасая меня,
Затянул пеленой это море?

Может, в нашей замешан судьбе,
Чтобы снова связать нас на годы,
Этот бог для полета к тебе
Не дает мне попутной погоды.

Каждым утром рассвет, как слеза,
Мне назавтра тебя обещает,
Каждой полночью божья гроза
С полдороги меня возвращает.

Хорошо, хоть не знает пилот,
Что я сам виноват в непогоде,
Что вчера был к тебе мой полет
Просто богу еще неугоден.

1944
Бари

107. ЛЕТАРГИЯ

В детстве быль мне бабка рассказала
Об ожившей девушке в гробу,
Как она металась и рыдала,
Проклиная страшную судьбу,

Как, услышав неземные звуки,
Сняв с усопшей тяжкий гнет земли,
Выраженье небывалой муки
Люди на лице ее прочли.

И в жару, подняв глаза сухие,
Мать свою я трепетно просил,
Чтоб меня, спася от летаргии,
Двадцать дней никто не хоронил.

. . . .

Мы любовь свою сгубили сами,
При смерти она, из ночи в ночь
Просит пересохшими губами
Ей помочь. А чем нам ей помочь?

Завтра отлетит от губ дыханье,
А потом, осенним мокрым днем,
Горсть земли ей бросив на прощанье,
Крест на ней поставим и уйдем.

Ну, а вдруг она, не как другие,
Нас навеки бросить не смогла,
Вдруг ее не смерть, а летаргия
В мертвый мир обманом увела?

Мы уже готовим оправданья,
Суетные круглые слова,
А она еще в жару страданья
Что-то шепчет нам, полужива.

Слушай же ее, пока не поздно,
Слышишь ты, как хочет она жить,
Как нас молит — трепетно и грозно —
Двадцать дней ее не хоронить!

1944

108—110. *МУЗЫКА*

1

Я жил над школой музыкальной,
По коридорам, подо мной,
То скрипки плавно и печально,
Как рыбы, плыли под водой,
То, словно утром непогожим
Дождь, ударявший в желоба,
Вопила всё одно и то же,
Одно и то же всё — труба.
Потом играли на рояле:
До-си! Си-до! Туда-сюда!
Как будто чью-то выбивали
Из тела душу навсегда.

2

Когда изобразить я в пьесе захочу
Тоску, которая, к несчастью, не подвластна
Ни нашему армейскому врачу,
Ни женщине, что нас лечить согласна,
Ни даже той, что вдалеке от нас,
Казалось бы, понять и прилететь могла бы,
Ту самую тоску, что третий день сейчас
Так властно на меня накладывает лапы, —
Моя ремарка будет коротка:
Семь нот эпиграфом поставивши вначале,
Я просто напишу: «Тоска,
Внизу играют на рояле».

3

Три дня живу в пустом немецком доме,
Пишу статью, как будто воз везу,
И нету никого со мною, кроме
Моей тоски да музыки внизу.

Идут дожди. Затишье. Где-то там
Раз в день лениво вспыхнет канонада.
Шофер за мною ходит по пятам:
«Машина не нужна?» — «Пока не надо».

Шофер скучает тоже. Там, внизу,
Он на рояль накладывает руки
И выжимает каждый день слезу
Одной и той же песенкой — разлуки.

Он предлагал, по дружбе, — перестать:
«Раз грусть берет, так в пол бы постучали. . .» —
Но эта песня мне сейчас под стать
Своей жестокой простотой печали.

Уж, видно, так родились мы на свет,
Берет за сердце самое простое.
Для человека — университет
В минуты эти ничего не стоит.

Он слушает расстроенный рояль
И пение попутчика-солдата.
Ему себя до слез, ужасно жаль.
И кажется, что счастлив был когда-то.

И кажется ему, что он умрет,
Что всё, как в песне, непременно будет,
И пуля прямо в сердце попадет,
И верная жена его забудет.

Нет, я не попрошу здесь: «Замолчи!»
Здесь власть твоя. Услышь из страшной дали
И там сама тихонько постучи,
Чтоб здесь играть мне песню перестали.

1945

111

Над сном монастыря деви́чьего
Всё тихо на сто верст окрест.
На высоте полета птичьего
Над крышей порыжелый крест.

Монашки ходят, в домотканое
Одетые, как век назад,
А мне опять, как окаянному,
Спешить куда глаза глядят.

С заиндевевшими шоферами
Мне к ночи где-то надо быть,
Кого-то мучить разговорами,
В землянке с кем-то водку пить.

Как я бы рад, сказать по совести,
Вдруг ни к кому и никогда,
Вдруг, как в старинной скучной повести,
Жить как стоячая вода.

Описывать чужие горести,
Мечтать, глядеть тебе в глаза.
Нельзя, как в дождь на третьей скорости
Нельзя нажать на тормоза.

1945

112

Да, мы живем, не забывая,
Что просто не пришел черед,
Что смерть, как чаша круговая,
Наш стол обходит круглый год.

Не потому тебя прощаю,
Что не умею помнить зла,
А потому, что круговая
Ко мне всё ближе вдоль стола.

1945

113

Мы оба с тобою из племени,
Где если дружить — так дружить,
Где смело прошедшего времени
Не терпят в глаголе «любить».

Так лучше представь меня мертвого,
Такого, чтоб вспомнить добром,
Не осенью сорок четвертого,
А где-нибудь в сорок втором.

Где мужество я обнаруживал,
Где строго, как юноша, жил,
Где, верно, любви я заслуживал
И все-таки не заслужил.

Представь себе Север, метельную
Полярную ночь на снегу,
Представь себе рану смертельную
И то, что я встать не могу;

Представь себе это известие
В то трудное время мое,
Когда еще дальше предместия
Не занял я сердце твое,

Когда за горами, за долами
Жила ты, другого любя,
Когда из огня да и в полымя
Меж нами бросало тебя.

Давай с тобой так и условимся:
Тогдашний — я умер. Бог с ним.
А с нынешним мной — остановимся
И заново поговорим.

1945

114

В чужой земле и в городе чужом
Мы наконец живем почти вдвоем,
Без званых и непрошеных гостей,
Без телефона, писем и друзей,

Нам с глазу на глаз можно день прожить,
И, слава богу, некому звонить.
Сороконожкой наша жизнь была,
На сорока ногах она ползла.

Как грустно — так куда-нибудь звонок,
Как скучно — мигом гости на порог,
Как ссора — невеселый звон вина,
И легче помириться вполпьяна.

В чужой земле и в городе чужом
Мы наконец живем почти вдвоем.
Как на заре своей, сегодня вновь
Беспомощно идет у нас любовь.

Совсем одна от стула до окна,
Как годовалая, идет она.
И смотрим мы, ее отец и мать,
Готовясь за руки ее поймать.

1945

115

До утра перед разлукой
Свадьба снилась мне твоя.
Паперть... Сон, должно быть, в руку:
Ты — невеста. Нищий — я.

Пусть случится всё, как снилось,
Только в жизни обещай —
Выходя, мне, сделай милость,
Милостыни не давай.

1945

116

Стекло тысячеверстной толщины
Разлука вставила в окно твоей квартиры,
И я смотрю, как из другого мира,
Мне голоса в ней больше не слышны.

Вот ты прошла, присела на окне,
Кому-то улыбнулась, встала снова,
Сказала что-то... Может, обо мне?
А что? Не слышу ничего, ни слова...

Какое невозможное страданье
Опять, уехав, быть глухонемым!
Но что, как вдруг дана лишь в оправданье
На этот раз разлука нам двоим?

Ты помнишь честный вечер объясненья,
Когда, казалось, смеем всё сказать...
И вдруг — стекло. И только губ движенье,
И даже стука сердца не слыхать.

1946

117

Я в эмигрантский дом попал
В сочельник, в рождество.
Меня почти никто не знал,
Я мало знал кого.

Хозяин дома пригласил
Всех, кого мог созвать, —
Советский паспорт должен был
Он завтра получать.

Сам консул был. И, как ковчег,
Трещал японский дом:
Хозяин — русский человек, —
Последний рубль ребром.

Среди рождественских гостей,
Мужчин и старых дам,
Наверно, люди всех мастей
Со мной сидели там:

Тут был игрок, и спекулянт,
И продавец собак,
И просто рваный эмигрант,
Бедняга из бедняг.

Когда вино раз пять сквозь зал
Прошлось вдоль всех столов,
Хозяин очень тихо встал
И так стоял без слов.

В его руке бокал вина
Дрожал. И он дрожал:
«Россия, господа... Она...
До дна!..» — И зарыдал.

И я поверил вдруг ему,
Хотя, в конце концов,
Не знал, кто он и почему
Покинул край отцов.

Где он скитался тридцать лет,
Чем занимался он,
И справедливо или нет
Он был сейчас прощен?

Нет, я поверил не слезам, —
Кто ж не прольет слезы! —
А старым выцветшим глазам,
Где нет уже грозы,

Но, как обрывки облаков,
Грозы последний след,
Иных полей, иных снегов
Вдруг отразился свет;

Прохлада волжского песка,
И долгий крик с баржи,
Неумолимая тоска
По василькам во ржи.

По песне, петой где-то там,
Уже бог весть когда,
А всё бредущей по пятам
В Харбин, в Шанхай, сюда.

Так плакать бы, закрыв лицо,
Да не избыть тоски,
Как обручальное кольцо,
Что уж не снять с руки.

. . . .

Всё было дальше, как всегда,
Стук вилок и ножей,
И даже слово «господа»
Не странно для ушей.

И сам хозяин, как ножом
Проткнувший грудь мою,
Стал снова просто стариком,
Всплакнувшим во хмелю.

Еще кругом был пир горой,
Но я сидел в углу,
И шла моя душа босой
По битому стеклу

К той женщине, что я видал
Всегда одну, одну,
К той женщине, что покидал
Я, как беглец страну,

Что недобра была со мной,
Любила ли — бог весть...
Но нету родины второй,
Одна лишь эта есть.

А может, просто судеб суд
Есть меж небес и вод,
И там свои законы чтут
И свой законов свод.

И на судейском том столе
Есть век любить закон
Ту женщину, на чьей земле
Ты для любви рожден.

И всё на той земле не так,
То холод, то пурга...
За что ж ты любишь, а, земляк,
Березы да снега?

. . . .

А в доме открывался бал;
Влетев во все углы,
За вальсом вальс уже скакал,
Цепляясь за столы.

Давно зарывший свой талант,
Наемник за сто иен,
Тапер был старый музыкант —
Комок из вспухших вен.

Ночь напролет сидел я с ним,
Лишь он мне мог помочь,
Твоим видением томим
Я был всю эту ночь.

Был дом чужой, и зал чужой,
Чужой и глупый бал,
А он всю ночь сидел со мной
И о тебе играл.

И, как изгнанник, слушал я,
Упав лицом на стол,
И видел дальние края
И пограничный столб.

И там, за ним, твое лицо
Опять, опять, опять...
Как обручальное кольцо,
Что уж с руки не снять.

Я знаю, ты меня сама
Пыталась удержать,
Но покаянного письма
Мне не с кем передать.

И, всё равно, до стран чужих
Твой не дойдет ответ,
Я знаю, консулов твоих
Тут не было и нет.

Но если б ты смогла понять
Отчаянье мое,
Не откажись меня принять
Вновь в подданство твое.

1946

Трубка после обеда,
Конец трудового дня.
Тихая победа
Домашнего огня.

Крыши над головою,
Рук веселых твоих —
Над усталой толпою
Всех скитаний моих.

Дров ворчанье,
Треск сучков,
Не обращай вниманья,
Я здоров.

Просто я по привычке —
Это сильней меня —
Смотрю на живые стычки
Дерева и огня.

Огонь то летит, как бедствие,
То тянется, как лишение,
Похожий на путешествие,
А может быть, на сражение.

Похожий на чьи-то странствия,
На трепет свечи в изгнании,
Похожий на партизанские
Костры на скалах Испании.

Дров ворчанье,
Треск сучков,
Не обращай вниманья,
Я здоров.
Я просто смотрю, как пылают дрова.
А впрочем, да, ты права.
Сейчас я не здесь, я где-то
У другого огня,
У костра.
Ну, а если как раз за это
Ты и любишь меня. А?

1947

119

Как говорят, тебя я разлюбил,
И с этим спорить скучно и не надо.
Я у тебя пощады не просил,
Не буду и у них просить пощады.

Пускай доводят дело до конца
По всем статьям, не пожалев усердья,
Пусть судят наши грешные сердца,
Имея сами только так — предсердья.

1947

120

Я схоронил любовь и сам себя обрек
Быть памятником ей. Над свежею могилой
Сам на себе я вывел восемь строк,
Посмертно написав их через силу.

Как в марафонском беге, не дыша,
До самого конца любовь их долетела.
Но отлетела от любви душа,
А тело жить одно не захотело.

Как камень, я стою среди камней,
Прося лишь об одном: «Не трогайте руками
И посторонних надписей на мне
Не делайте... Я все-таки не камень».

1948

121

Я не могу писать тебе стихов
Ни той, что ты была, ни той, что стала.
И, очевидно, этих горьких слов
Обоим нам давно уж не хватало.

За всё добро — спасибо! Не считал
По мелочам, покуда были вместе,
Ни сколько взял его, ни сколько дал,
Хоть вряд ли задолжал тебе по чести.

А всё то зло, что на меня, как груз,
Навалено твоей рукою было,
Оно мое! Я сам с ним разберусь,
Мне жизнь недаром шкуру им дубила.

Упреки поздно на ветер бросать,
Не бойся разговоров до рассвета.
Я просто разлюбил тебя. И это
Мне не дает стихов тебе писать.

1954

<Дополнения>

122

Когда ей что б ни подарить,
Страсть или муку, —
Как из руки переложить
В другую руку.

Когда на боль обречь ее
Иль на мученье, —
Как в зеркале толкнуть свое
Изображенье.

Когда пылинкой упрекнуть
Ее всю в белом, —
Как самого себя швырнуть
На камни телом.

Когда уже ее любить
Не просто счастье —
А молчаливо с нею быть
Друг друга частью, —

Вдвоем на честный суд любви
Представши с нею,
Со всем бесстрашьем назови
Ее — своею.

1944

123. СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА

На годовщине свадьбы был
Я у друзей, что издавна
Я больше всех других любил,
Как книгу, что не издана.

Был чай у круглого стола,
И сад в июльском шелесте.
Хозяйка мне была мила
Той поздней женской прелестью,

Той чуть усталой красотой,
Где молодость кончается,
Но за щемящею чертой
Где всё еще случается,

И той страстей сберегшей след
Особенной улыбкою,
Когда прожить и двадцать лет
Не будет с ней ошибкою.

Я вспоминал про нас с тобой,
Про наши опасения
Вдруг разлученными судьбой
Быть в наши дни осенние,

Как, вздумав вдруг меня корить,
Страшась за расстояния,
Боясь разлюбленною быть,
Ты сердишься заранее.

Но боже, как мне всех милей
Хозяйка дома этого,

Как жадно я слежу за ней,
Что не одни мы, сетуя.

Как знаю я давным-давно
Ее ночные лепеты
И как не в силах всё равно
Следить за ней без трепета.

Но не ревнуй к ней, ангел мой,
Моя вина уменьшена
Тем, что рассказ — про нас с тобой,
Что ты и есть та женщина,

Какой еще ни белый свет,
Ни я тебя не видывал,
Какой вперед на двадцать лет
Тебя сейчас я выдумал.

1945

124

Не странно ль, веря в то, что есть рассвет,
Вдруг усомниться, что закат наступит,
Что из спокойной скорости планет
Никто нам ни минуты не уступит.

Что ж делать нам со словом «навсегда»?
Ты говорила мне его с рассветом.
Но солнце ты, и та же череда
Присуждена тебе, что всем планетам.

Что ж делать нам? Скажи, что ж делать нам?
Как дальше жить, скажи мое светило, —
На север чувств уехать, чтобы там
Ты весь полярный день не заходила?

Нет, я придумал: я останусь там,
Где жил, на той же южной параллели,
Где целый день казался полднем нам,
Где времени считать мы не умели,

Где добр, как все влюбленные, я был,
И слеп, как все незрячие, и жаден,
Как все счастливые, где я тебя любил,
Всю, вплоть до солнечных родимых пятен.

И где так неожиданен закат,
Дня в ночь мгновенно так передвиженье,
Что в темноту, как в смерть свою солдат, —
Я не поверю до ее мгновенья.

1946

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

125. В КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ КЛУБЕ

Опять в газетах пишут о войне,
Опять ругают русских и Россию,
И переводчик переводит мне
С чужим акцентом их слова чужие.

Шанхайский журналист, прохвост из «Чайна Ньюс»,
Идет ко мне с бутылкою, наверно,
В душе мечтает, что я вдруг напьюсь
И что-нибудь скажу о «кознях Коминтерна».

Потом он сам напьется и уйдет.
Всё как вчера. Терпенье, брат, терпенье!
Дождь выступает на стекле, как пот,
И стонет паровое отопленье.

Что ж мне сказать тебе, пока сюда
Он до меня с бутылкой не добрался?
Что я люблю тебя? — Да.
Что тоскую? — Да.
Что тщетно я не тосковать старался?

Да. Если женщину уже не ранней страстью
Ты держишь спутницей своей души,
Не легкостью чудес, а трудной старой властью,
Где, чтоб вдвоем навек, — все средства хороши,

Когда она — не просто ожиданье
Чего-то, что еще, быть может, вздор,
А всех разлук и встреч чередованье,
За жизнь мою любви с войною спор,

Тогда разлука с ней совсем трудна,
Платочком ей ты не помашешь с борта,
Осколком памяти в груди сидит она,
Всегда готовая задеть аорту.

Не выслушать... В рентген не разглядеть...
А на чужбине в сердце перебои.
Не вынуть — смерть всегда таскать с собою,
А вынуть — сразу умереть.

Так сила всей по родине тоски,
Соединившись по тебе с тоскою,
Вдруг грубо сердце сдавит мне рукою.
Но что бы делал я без той руки?

«Хелло! Не помешал вам? Как дела?
Что пьем сегодня — виски, ром?» — «Любое».
Сейчас под стол свалю его со зла,
И мы еще договорим с тобою!

1948

126. ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА В МАЙДЗУРЕ

Бухта Майдзура. Снег и чайки
С неба наискось вылетают,
И барашков белые стайки
Стайки птиц на себе качают.

Бухта длинная и кривая,
Каждый звук в ней долог и гулок;
Словно в каменный переулок,
Я на лодке в нее вплываю.

Эхо десять раз прогрохочет,
Но еще умирать не хочет,
Словно долгая жизнь людская
Всё еще шумит, затихая.

А потом тишина такая,
Будто слышно с далекой кручи,
Как, друг друга под бок толкая,
Под водой проплывают тучи.

Небо цвета пепла, а горы
Цвета чуть разведенной туши.
Надоели чужие споры,
Надоели чужие уши.

Надоел лейтенант О'Квисли
Из разведывательной службы,
Под предлогом солдатской дружбы
Выясняющий наши мысли.

Он нас бьет по плечам руками,
Хвалит русские папиросы
И, считая нас дураками,
День-деньской задает вопросы.

Утомительное условье —
Каждый день, вот уже полгода,
Пить с разведчиком за здоровье
«Представляемого им народа».

До безумия осточертело
Делать это с наивным видом,
Но О'Квисли душой и телом
Всем нам предан. Вернее, *придан.*

Он нас будет травить вниманьем
До отплытия парохода
И в последний раз с содроганьем
Улыбнется нам через воду.

Бухта Майдзура. Птичьи крики,
Снег над грифельными горами,
Мачты, выставленные, как пики,
Над японскими крейсерами.

И немецкая субмарина,
Обогнувшая шар когда-то,
Чтоб в последние дни Берлина
Привезти сюда дипломата.

Волны, как усталые руки,
Тихо шлепают в ее люки.

Где теперь вы, наш провожатый,
Джеймс О'Квисли, наш добрый гений,
Славный малый и аккуратный
Собиратель всех наших мнений?

Как бы, верно, вас удивила
Моя клятва спустя два года,
Что мне в Майдзуре нужно было
Просто небо и просто воду,

Просто пасмурную погоду,
Просто северную природу,
Просто снега хлопья косые,
Мне напомнившие Россию.

Угадав этот частный случай,
Чем скитаться со мною в паре,
Вы могли бы гораздо лучше
Провести свое время в баре.

Ну, а в общем-то — дело скверно,
Успокаивать вас не буду:
Коммунизм победит повсюду!
Тут предчувствие ваше — верно!

1948

127. МИТИНГ В КАНАДЕ

Я вышел на трибуну, в зал,
Мне зал напоминал войну,
А тишина — ту тишину,
Что обрывает первый залп.
Мы были предупреждены
О том, что первых три ряда
Нас освистать пришли сюда
В знак объявленья нам войны.
Я вышел и увидел их,
Их в трех рядах, их в двух шагах,
Их — злобных, сытых, молодых,

В плащах, со жвачками в зубах,
В карман — рука, зубов оскал,
Подошвы — на ногу нога...
Так вот оно, лицо врага!
А сзади только черный зал,
И я не вижу лиц друзей,
Хотя они, наверно, есть,
Хотя они, наверно, здесь.
Но их ряды — там, где темней,
Наверно там, наверно так,
Но пусть хоть их глаза горят,
Чтоб я их видел, как маяк!
За третьим рядом полный мрак,
В лицо мне курит первый ряд.
Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь.
Ее начало — как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
«Россия, Сталин, Сталинград!»
Три первые ряда молчат.
Но где-то сзади легкий шум,
И, прежде чем пришло на ум,
Через молчащие ряды,
Вдруг, как обвал, как вал воды,
Как сдвинувшаяся гора,
Навстречу рушится «ура»!
Уж за полночь, и далеко,
А митинг всё еще идет,
И зал встает, и зал поет,
И в зале дышится легко.
А первых три ряда молчат,
Молчат, чтоб не было беды,
Молчат, набравши в рот воды,
Молчат — четвертый час подряд!
. . . .

Но я конца не рассказал,
А он простой: теперь, когда
Войной грозят нам, я всегда
Припоминаю этот зал.
Зал!
        А не первых три ряда.

1948

128. КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

Мне в этот день была обещана
Поездка в черные кварталы,
Прыжок сквозь город, через трещину,
Что никогда не зарастала,
Прикрыта, но не зарубцована
Ни повестями сердобольными,
Ни честной кровью Джона Броуна,
Ни Бичер-Стоу, ни Линкольнами.
Мы жили в той большой гостинице
(И это важно для рассказа),
Куда не каждый сразу кинется
И каждого не примут сразу,
Где ежедневно на рекламе,
От типографской краски влажной,
Отмечен номерами каждый,
Кто осчастливлен номерами;
Конечно — только знаменитый,
А знаменитых тут — засилие:
Два короля из недобитых,
Три президента из Бразилии,
Пять из подшефных стран помельче
И, уж конечно, мистер Черчилль.

И в этот самый дом-святилище,
Что нас в себя, скривясь, пустил еще,
Чтобы в Гарлем везти меня,
За мною среди бела дня
Должна
заехать
негритянка.
Я предложил: не будет лучше ли
Спуститься — ей и нам короче.
Но мой бывалый переводчик
Отрезал — что ни в коем случае,
Что это может вызвать вздорную,
А впрочем — здесь вполне обычную,
Мысль, что считаю неприличным я,
Чтоб в номер мой входила черная.
«Но я ж советский!» — «Что ж, тем более,
Она поднимется намеренно,
Чтоб в вас, советском, всею болью
Души и сердца быть уверенной».

И я послушно час сидел еще,
Когда явилась провожатая,
Немолодая, чуть седеющая,
Спокойная, с губами сжатыми.
Там у себя — учитель в школе,
Здесь — и швейцар в дверях не сдвинется,
Здесь — черная, лишь силой воли
Прошедшая сквозь строй гостиницы.

Лифт занят был одними нами.
Чтоб с нами сократить общение,
Лифтер летел, от возмущения
Минуя цифры с этажами.

Обычно шумен, но не весел,
Был вестибюль окутан дымом
И ждал кого-то в сотнях кресел,
Не замечая шедших мимо.
Обычно.
                Но на этот раз
Весь вестибюль глазел на нас.

Глазел на нас, вывертывая головы,
Глазел, сига́р до рта не дотащив,
Глазел, как вдруг на улице на голого,
Как на возникший перед носом взрыв.

Мы двое были белы цветом кожи,
А женщина была черна,
И всё же с нами цветом схожа
Среди всех них
                              была одна она.
Мы шли втроем навстречу глаз свинцу,
Шли взявшись под руки, через расстрел их,
Шли трое красных
                              через сотни белых,
Шли как пощечина по их лицу.

Я шкурой знал, когда сквозь строй прошел там,
Знал кожей сжатых кулаков своих:
Мир неделим на черных, смуглых, желтых,
А лишь на красных — нас,
                                        и белых — их.
На белых — тех, что, если приглядеться,

Их вид на всех материках знаком,
На белых — тех, как мы их помним с детства,
В том самом смысле. Больше ни в каком.

На белых — тех, что в Африке ль, в Европе
Мы, красные, в пороховом дыму
В последний раз прорвем на Перекопе
И сбросим в море с берега в Крыму!

1948

129. ТИГР

Я вдруг сегодня вспомнил Сан-Франциско,
Банкет на двадцать первом этаже
И сунутую в руки мне записку,
Чтоб я с соседом был настороже.

Сосед — владелец здешних трех газет —
Был тигр, залезший телом в полосатый
Костюм из грубой шерсти рыжеватой,
Но то и дело из него на свет
Вдруг вылезавший вычищенной пастой
Тигриною улыбкою зубастой
И толстой лапой в золотой шерсти,
Подпиленной на всех когтях пяти.

Наш разговор с ним, очень длинный, трезвый,
Со стороны, наверно, был похож
На запечатанную пачку лезвий,
Где до поры завернут каждый нож.

В том, как весь вечер выдержал он стойко
Со мной на этих вежливых ножах,
Была не столько трезвость, сколько стойка
Перед прыжком в газетных камышах;
Недаром он приполз на мягких лапах
На красный цвет и незнакомый запах!

И сколькими б кошачьими кругами
Беседа всех углов ни обошла,
Мы молча встали с ним из-за стола
Тем, кем и сели за него, — врагами.

. . . .

И все-таки я вспомнил через год
Ничем не любопытный этот вечер, —
Не потому ли, что до нашей встречи
Я видел лишь последний поворот

Тигриных судеб на людских судах,
Где, полиняв и проиграв все игры,
Шли за решетку пойманные тигры,
Раздавливая ампулы в зубах!

А он был новый, наглый, молодой.
Наверно, и они такими были,
Когда рейхстаг зажгли своей рукой
И в Лейпциге Димитрова судили.

Горит, горит в Америке рейхстаг,
И мой сосед в нем факельщик с другими,
И чем пожар сильней, тем на устах
Всё чаще, чаще слышно его имя.

Когда, не пощадив ни одного,
Народов суд их позовет к ответу,
Я там, узнав его при встрече этой,
Скажу: я помню молодость его!

1948

130. УЛИЦА САККО И ВАНЦЕТТИ

Ты помнишь, как наш город бушевал,
Как мы собрались в школе на рассвете,
Когда их суд в Бостоне убивал —
Антифашистов Сакко и Ванцетти;

Как всем фашистам отомстить за них
Мы мертвым слово пионеров дали
И в городе своем и в ста других
Их именами улицы назвали.

Давным-давно в приволжском городке
Табличку стерло, буквы откололо,
Стоит всё так же там, на уголке,
На Сакко и Ванцетти наша школа.

Но бывшие ее ученики
В Берлине, на разбитом в пыль вокзале,
Не долго адрес школы вспоминали,
Углом сложили дымные листки
И «Сакко и Ванцетти» надписали.

Имперской канцелярии огнем
Недаром мы тот адрес освещали;
Два итальянских слова... Русский дом...
Нет, судьи из Америки едва ли
Дождутся, чтоб мы в городке своем
Ту улицу переименовали!

. . . .

Я вспомнил об этом в Италии,
Когда, высоко над горами,
Мы ночью над ней пролетали,
Над первых восстаний кострами.
Будь живы они, по примете,
Повсюду, где зарева занялись,
Мы знали б, что Сакко с Ванцетти
Там в скалах уже партизанили!

И снова я вспомнил про это,
Узнав в полумертвом Берлине,
Что ночью в Италии где-то
Народом казнен Муссолини.

Когда б они жили на свете,
Всегда впереди, где опасней,
Наверно бы Сакко с Ванцетти
Его изловили для казни!

Я вспомнил об этом сегодня,
Когда в итальянской палате
Христьянский убийца и сводник
Стрелял в коммуниста Тольятти.

Нет, черному делу б не сбыться,
Будь там он в мгновения эти, —
Наверно под локоть убийцу
Толкнул бы товарищ Ванцетти!

Предвидя живое их мужество,
Я в мертвых ошибся едва ли, —
Ведь их, перед будущим в ужасе,
Назад двадцать лет убивали!

Ведь их для того и покруче
В Бостоне судили заранее,
Чтоб сами когда-нибудь дуче
Они не судили в Милане.

И на электрическом стуле
Затем их как раз и казнили,
Чтоб, будь они живы, от пули
Тольятти не заслонили.
. . . .

У нас, коммунистов, хорошая память
На всё, что творится на свете;
Напрасно убийца надеяться станет
За давностью быть не в ответе...

И сами еще мы здоровия стойкого,
И в школу идут по утрам наши дети
По улице Кирова,
Улице Войкова,
По улице Сакко — Ванцетти.

1948

131. ТРИ ТОЧКИ

Письмо в Нью-Йорк, товарищу...

Мой безымянный друг, ну как вы там?
Как дышится под статуей Свободы?
Кто там за вами ходит по пятам,
Вас сторожит у выходов и входов?

В какой еще вы список внесены
По вздорным обвинениям в изменах,
Сержант пехоты, ветеран войны
С крестом за храбрость в битве при Арденнах?

Где вы живете? В том же уголке
Нью-Йорка, на своем 105-м стрите?

Или, ища работы, налегке
Из Балтиморы в Питсбург колесите?

Кто в стекла там влепляет бледный нос,
Когда звоните вы из автоматов?
Кто вслед за вами звездный шлет донос
Под звезды всех Соединенных Штатов?

А может, вас уж спрятала тюрьма,
Но, и одна оставшись, мать не плачет, —
Ни жалобы, ни просьбы, ни письма;
Мать коммуниста — что-нибудь да значит.

Как я желал бы знать, что в этом так
И что не так! Что с вами вот сегодня?
Пришлите мне хоть, что вы живы, знак,
Что вы свободны, если вы свободны.

Ну, голубя нельзя за океан,
Так выдумайте что-нибудь, пришлите
Какой-нибудь журнал или роман
И слово «free» [1] в нем ногтем подчеркните!

Простого факта, что у вас есть друг
В Москве, достаточно врагам в Нью-Йорке,
Чтоб вас травить, ругая на все корки,
Всю залежь клеветы сбывая с рук.

Мы — коммунисты. В этом тайны нет.
Они — фашисты. В этом тайны нет.
Без всяких тайн, что мы воюем с ними,
Они же объявили на весь свет.
Пусть тайной будет только ваше имя.

Как им его хотелось бы узнать!
В моем письме увидеть бы воочью...
Но я пока стихи пошлю в печать,
Им назло имя скрыв под многоточьем.

Я знаю, как вы любите Нью-Йорк
С его Гудзоном, авеню, мостами,
Таким, как есть, но главный ваш восторг
Ему — тому, каким еще он станет.

---

[1] Свободен (англ.). — *Ред.*

Каким он хочет, может, должен быть —
Дверь в будущее, а не сейфов двери.
К нему б вам только руки приложить!
А вы еще приложите! Я верю.

Тогда я вам на новый адрес ваш
Пошлю письмо и в нем, взяв карандаш,
На ваше имя громкое исправлю
Три точки, что пока я молча ставлю.

1948

132. БАЛЛАДА О ТРЕХ СОЛДАТАХ

Около монастыря Кассино
Подошли ко мне три блудных сына,

В курточках английского покроя,
Опаленных римскою жарою.

Прямо англичане — да и только,
Всё различье — над плечами только,

Буквы «Poland» вышиты побольше.
По-английски «Poland» значит — Польша.

Это — чтоб не спутать, чтобы знать,
Кого в бой перед собой толкать.

Посмотрели на мои погоны,
На звезду над козырьком зеленым,

Огляделись и меня спросили:
«Пан полковник, верно, из России?»

«Нет, — сказал я, — я приехал с Вислы,
Где дымы от выстрелов повисли,

Где мы днем и ночью переправы
Под огнем наводим у Варшавы

И где бранным полем в бой идут поляки
Без нашивок «Poland» на английском хаки».

И один спросил: «Ну, как там, дома?»
И второй спросил: «Ну, как там, дома?»

Третий только молча улыбнулся,
Словно к дому сердцем дотянулся.

«Будь вы там, — сказал я, — вы могли бы
Видеть, как желтеют в рощах липы,

Как над Вислой чайки пролетают,
Как поляков матери встречают.

Только это вам не интересно —
В Лондоне ваш дом, как мне известно,

Не над синей Вислой, а над рыжей Темзой,
На английских скалах, вычищенных пемзой».

Так сказал я им нарочно грубо.
От обиды дрогнули их губы.

И один сказал, что нету дольше
Силы в сердце жить вдали от Польши,

И второй сказал, что до рассвета
Каждой ночью думает про это.

Третий только молча улыбнулся
И сквозь хаки к сердцу прикоснулся.

Видно, это сердце к тем английским скалам
Не прибить гвоздями будет генералам.

Офицер прошел щеголеватый,
Молча козырнули три солдата

И ушли под желтым его взглядом,
Обеспечены тройным нарядом.

В это время в своем штабе в Риме
Андерс с генералами своими

Составлял реляцию для Лондона:
Сколько польских душ им черту продано,

Сколько их готово на скитания
За великобританское питание.

День считал и ночь считал подряд,
Присчитал и этих трех солдат.

Так, бывало, хитрый старшина
Получал на мертвых душ вина.

. . . .

Около монастыря Кассино
Подошли ко мне три блудных сына,

Три давно уж в глубине души
Мертвые для Лондона души.

Где-нибудь в Варшаве или Познани
С ними еще встретиться не поздно мне.

1944—1948

133. НЕМЕЦ

В Берлине, на холодной сцене,
Пел немец, раненный в Испании,
По обвинению в измене
Казненный за глаза заранее,
Пять раз друзьями похороненный,
Пять раз гестапо провороненный,
То гримированный, то в тюрьмах ломанный,
То вновь иголкой в стог оброненный.

Воскресший, бледный, как видение,
Стоял он, шрамом изуродованный,
Как документ Сопротивления,
Вдруг в этом зале обнародованный.
Он пел в разрушенном Берлине
Всё, что когда-то пел в Испании,
Всё, что внутри, как в карантине,
Сидело в нем семь лет молчания.

Менялись оболочки тела,
Походки, паспорта и платья.

Но, молча душу сжав в объятья,
В нем песня еле слышно пела,
Она охрипла и болела,
Она в жару на досках билась,
Она в застенках огрубела
И в одиночках простудилась.

Она явилась в этом зале,
Где так давно ее не пели.
Одни, узнав ее, рыдали,
Другие глаз поднять не смели.
Над тем, кто предал ее на муки,
Она в молчанье постояла
И тихо положила руки
На плечи тех, кого узнала.

Все видели, она одета
Из-под Мадрида, прямо с фронта:
В плащ и кожанку с пистолетом
И тельманку с значком Рот-Фронта.
А тот, кто пел ее, казалось,
Не пел ее, а шел в сраженье,
И пересохших губ движенье,
Как ветер боя, лиц касалось.
. . . .

Мы шли с концерта с ним, усталым,
Обнявшись, как солдат с солдатом,
По тем разрушенным кварталам,
Где я шел в мае в сорок пятом.
Я с этим немцем шел, как с братом,
Шел длинным каменным кладбищем,
Недавно — взятым и проклятым,
Сегодня — просто пепелищем.

И я скорбел с ним, с немцем этим,
Что, в тюрьмы загнан и поборот,
Давно когда-то, в тридцать третьем,
Он не сумел спасти свой город.

1948

134. НЕТ!

Отбыв пять лет, последним утром он
В тюремную контору приведен.

Там ждет его из Токио пакет,
Где в каждом пункте только «да» и «нет».

Признал ли он божественность микадо?
Клянется ль впредь не преступать закон?
И, наконец, свои былые взгляды
Согласен ли проклясть публично он?

Окно открыто. Лепестки от вишен
Летят в него, шепча, что спор излишен.
Тюремщик подал кисточку и тушь
И молча ждет — ловец усталых душ.

Но, от дыханья воли только вздрогнув,
Не глядя на летящий белый цвет,
Упрямый каторжник рисует: «Нет!» —
Спокойный, как железо, иероглиф
Рисует. И уходит на пять лет.

И та же вновь тюремная контора,
И тот тюремщик — только постарел,
И те же вишни, лепесток с которых
На твой халат пять лет назад присел.

И тот же самый иероглиф: «Нет!»,
Который ты рисуешь раз в пять лет.

И до конца войны за две недели,
О чем, конечно, ты не можешь знать,
Ты и тюремщик — оба поседели —
В конторе той встречаетесь опять.

Твои виски белы, как вишен цвет,
Но той же черной тушью: «Нет» и «Нет»!
. . . .

Я увидал товарища Токуда
На митинге в токийских мастерских,
В пяти минутах от тюрьмы, откуда
Он вышел сквозь пятнадцать лет своих.

Он был неговорливый и спокойный;
Усталый лоб, упрямый рот,
Пиджак, в который, разбросав конвойных,
Его одели прямо у ворот,
И шарф на шее, старый, шерстяной,
Повязанный рабочею рукой.

Наверно, он в минуту покушенья,
Всё в тот же самый свой пиджак одет,
Врагам бросал всё то же слово: «Нет!
Нет! Нет! И нет!» —
Как все пятнадцать лет
От заключенья до освобожденья.

И смерть пошла у ног его кружить
Не просто прихотью безумца злого,
А чтоб убить с ним вместе это слово,
Как будто можно Коммунизм убить.

1948

135. НОЧЬ ПЕРЕД БЕССМЕРТИЕМ

Умер парень где-то
    на земле Яванской
В душный и дождливый
    зимний день январский,
Умер, не покаявшись,
    не сказав ни звука,
У стены тюремной
    из старого бамбука.
Умер с ясным взглядом,
    умер с сердцем чистым,
Умер, как положено
    это коммунистам.
А в тюремной камере
    в ночь перед расстрелом
Он увидел землю
    в оперенье белом;
Белые, как хлопок,
    елей вереницы;
Серые, как порох,
    от страданья лица.
Он увидел Горки —
    русское селенье,

Где в январский снежный
день скончался Ленин.
Парень видел это
сердцем, а не глазом,
Потому что снега
не встречал ни разу,
Никогда не видел,
как качались ели,
Но он знал, что люди
там над гробом пели.
Он не знал по-русски,
по-явански знал он:
Род людской воспрянет
с Интернационалом.
Ленин был всю ночь с ним;
он не знал по-нашему,
По-явански Ленина
он всю ночь расспрашивал.
И когда товарищ
Ленин, всё ответив,
Из тюремной камеры
вышел на рассвете,
В кандалах поднявшись
с пола на колени,
На стене он кровью
нацарапал: «Ленин».
Это было зимним
утром, на рассвете,
В камере на Яве
в ночь перед бессмертьем.
Потому бессмертьем,
что бессмертье это
Есть не только в буквах,
видных всему свету,
У стены Кремлевской
перед нами прямо
Врезанных навеки
там в гранит и мрамор,
Но и в этих буквах,
после утра пыток
На стене бамбуковой
завтра же замытых.

1949

136. В ГОСТЯХ У ШОУ

Мы хозяина, кажется, утомили...
Пора уезжать — бьют часы на камине.
Надо встать и проститься,
и долгие мили
вновь считать на английской зеленой равнине.
Нас сначала сюда
и пускать не хотели,
мы уже тут встречались с подобными штуками:
«Мистер Шоу не сможет»,
«Мистер Шоу в постели» —
так гласил их отказ,
на машинке отстуканный.

Но потом
вдруг по почте —
письмо от руки
с приглашеньем,
со схемой,
как ехать получше нам,
с тем особым педантством,
с каким в этих случаях
пишут великие старики,
зная цену себе, но, от многих в отличие,
не меняя привычек с приходом величия.
И вот мы доехали —
за три часа —
от дымного Лондона
до этого домика,
где на полках, как мертвых друзей голоса,
собрались порыжелые, старые томики,
где усопший давно
девятнадцатый век
еще бродит по тихим коврам в кабинете
и стоит у камина
седой человек,
самый старый писатель
на целой планете.

Он и сам —
на столетье чем-то похожий.
И конца ему нет —
такой он высокий.

Голубые глаза
и веселые щеки,
сто лукавых морщинок на старческой коже.
Шевеля над улыбкой усами добрыми,
отбросив привычной иронии стрелы,
он смотрит на нас
глазами, которыми
на родину нашу
когда-то смотрел он;
они всё мягче,
добрее,
шире,
как будто теплом ее дальним лучатся.
Наверное, здесь,
в им осмеянном мире,
такими
глаза его видят не часто!
Он вспоминает,
как ехал в Союз,
репортеров
ответом
огрев, как плетью:
чтоб там,
только там
отметить свою
дату
семидесятипятилетья!
И как,
если он
доживет до ста лет
(он смягчает улыбкою эту дату),
он снова в страну нашу
купит билет,
как в юности,
в семьдесят пять, когда-то.
И снова уедет,
хлопнувши дверью,
в наш
не напичканный шутками горькими,
в наш новый мир,
в который он верит
чем дальше,
тем с меньшими оговорками.

Он говорит о Стране Советов
с такой
на него непохожей
нежностью...
Он совсем не насмешлив сегодня,
этот
старик,
знаменитый своей насмешливостью.
В этот дом,
где гости
давно не бывали,
мы пришли не писателями,
не поэтами,
наших книг не читал он,
и знал нас едва ли,
и позвал нас к себе
совсем не поэтому:
он нас звал,
чтоб глаза
перед смертью увидели
в этом мире злодейств,
чистогана
и прибылей
двух
другой половины земли
представителей,
двух советских людей,
кто б они ни были.
И поэтому
пусть нам будет простительно,
что старик
провожать нас
идет к воротам,
словно целый народ
был его посетителем —
и он
прощается с этим народом.
Как ни просим, ни молим его мы, двое,
напрасны наши все уговоры.
Под дождем,
с непокрытою головою,
упрямой походкой
идет через двор он,
бурча, что это — ирландский обычай,

что погода здесь
бывает и хуже,
и сердито носами ботинок тыча
во все попадающиеся лужи.
У самых ворот,
пресекая споры,
нагибается,
нас отстранив руками,
вынимает из гнезд
два толстых запора
и ногою сдвигает
приваленный камень.
Нам вовсе не до того,
чтоб гордиться.
Мы знаем одно лишь чувство простое:
мы спешим уехать,
чтоб простудиться
он не успел,
под дождем тут стоя.
Но он,
как будто его не трогает
ни этот дождь,
ни мартовский ветер,
выходит за нами вслед на дорогу,
словно остался
один на свете,
словно о чем-то
еще жалея,
словно что-то
договорить осталось...
Никогда не забуду этой аллеи,
длинной, как жизнь,
одинокой, как старость.
Не забуду, как, выехав к повороту,
мы увидели
с нежностью
и печалью,
как всё еще
стоит у ворот он,
высоко
руку
подняв на прощанье.

1954

137. ПИСЬМО ИЗ АРГЕНТИНЫ

Пришло письмо из Аргентины
несчастной матери от сына.

Рассказывать ли всё сначала,
как в муках мать его рожала,
как колыбель его качала,
как утром в школу провожала...

Иль прямо начинать с той ночи,
что всех ночей была короче:
когда с улыбкою печальной
он заглянул в родные очи
и в бой пошел, как мы с тобою,
в тот, первый, что мы проиграли,
и ранен был на поле боя,
и мы его не подобрали.

(Теперь отыщутся, пожалуй,
такие, что поправить рады:
мол, на войне так не бывало...
Нет, так бывало, — лгать не надо!)

Он в плен попал не на коленях,
он сдался не по доброй воле,
а потому, что отступленье
таких, как он, бросало в поле.

В бою не отступив ни шагу,
он, раненный, пропал под Оршей.
И я до самого рейхстага,
что сталось с ним, не слышал больше,
не знал — и до сих пор не знаю, —
в каких он лагерях скитался,
как он лежал, от ран стеная,
как умирал, как жив остался;
какие он хлебал помои,
какие получал побои,
пока почти четыре года
мы до Берлина шли с тобою.

За Эльбой, в мае было дело:
нас служба привела и случай

в тот самый лагерь, где сидел он
за проволокою колючей.

Я по дороге проезжал там
с американским провожатым
и вдруг увидел странный лагерь:
как кровь — на проволоке — флаги;
на вышках, по углам квадрата,
там, где эсэсовцы когда-то,
наверно, день и ночь сидели,
американские солдаты
разгуливали и свистели.

Я настоял на том, что надо
заехать нам туда сейчас же.
И вот — уже мы за оградой,
среди стоящих, и сидящих,
и прямо на полу лежащих,
дошедших до изнеможенья
людей советских, в плен попавших
в том — сорок первом — в окруженьях.

Погоны наши им вначале
узнать своих в нас помешали.
Но вот вскочили, вот догнали,
спросили, вскрикнули, узнали!
И я, чтоб было всем виднее,
руками вскинутый на бочку,
кричу, от счастья сам бледнея,
что бедам и разлукам — точка!

Я говорил, что без изъятья
всем, кто в плену был долгу верен,
откроет родина объятья,
жена и мать откроют двери!
Как после долгого мороза,
людей оттаивали лица.
Из глаз их брызнувшие слезы
и в смертный час мне будут сниться!

Счастливей нет и нету горше
тех лиц, еще с печатью ада,
и взгляда — вдруг, среди всех взглядов, —
его, пропавшего под Оршей,
его, стоявшего тут рядом!

«Когда, — глазами ждал ответа, —
домой?» Душа его летела.
Я дам присягу, видев это,
что он был наш душой и телом,
что, взятый в плен на поле боя,
пройдя фашистские застенки, —
хоть вешайте, хоть ставьте к стенке! —
остался он самим собою.

«Когда домой?» — меня устало
он спрашивал со всеми вместе.
А было их там — тыща двести,
и столько ж матерей их ждало.

И три советских офицера —
мы говорили, веря в это:
«Американцы примут меры,
чтоб всех вернуть в Страну Советов,
что так записано в условьях,
никто не вправе задержать их!»

И всё кивал, при каждом слове,
американский провожатый...

Пускай теперь меня осудят,
но в этот день, в том сорок пятом,
я был уверен — так и будет! —
не зная, что я лгу ребятам!
Хотя лишь сотня километров
в тот день ему до нас осталась
и, как листок с попутным ветром,
к нам долететь он мог, казалось,
но мать ждала его напрасно.
Ни в этот майский вечер ясный,
ни через день, ни через годы
он грудью не вдохнул свободы!

Пришло письмо из Аргентины
несчастной матери от сына.

Что было с ним за эти восемь
лет, за часы и дни без счета,
еще с кого-нибудь мы спросим
еще когда-нибудь отчета.

Я все те мытарства едва ли
за все те годы перечислю:
как проверяли его мысли,
как его письма в клочья рвали,
как в карцеры таскали — было,
и как ласкали — тоже было,
и как бесстыдно уверяли,
что родина о нем забыла.

Как от запросов материнских
его по лагерям скрывали,
как после всех похлебок свинских
вдруг для соблазна жрать давали;
как все профессора измены
и все доценты шпионажа
над ним работали в три смены,
чтоб вытравить закваску нашу!

Когда же он не стал шпионом —
как ни ласкали, как ни гнули, —
они на родину его нам
и тут, конечно, не вернули!

Он знал и видел слишком много.
Они его, полубольного,
еще, еще в одну дорогу
отправить поспешили снова.
Он по Атлантике угрюмой,
полубезумный и голодный,
плыл три недели в недрах трюма,
вконец от всех надежд свободный.

Подписан с ним контракт кабальный
с условьем на пять лет остаться
в чащобах сахарных плантаций
в стране чужой, в стране печальной.

Пришло письмо из Аргентины
несчастной матери от сына...

1954

138. ЛЮБОВЬ

Случается, в стране чужой
Среди людей сидишь, как свой,
Не важно — ты или другой,
Сидишь до слез им дорогой
За то, что ты — не просто ты, —
Есть люди лучше и умней, —
За то, что есть в тебе черты
Далекой родины твоей!

С тобою люди говорят
Так,
и в глаза твои глядят
Так,
и ответный ловят взгляд —
Так —
будто не с тобой сидят,
Так —
будто не один до дна
Ты всей душою им открыт,
А будто вся твоя страна
В гостях в их комнате сидит.

И если в домике простом
Последний грош идет ребром,
Чтоб только угостить тебя, —
И будь что будет там потом;
И если среди ночи двух
Своих детей разбудит мать,
Чтобы твое пожатье рук
Потом не раз им вспоминать;

И если с митинга сквозь строй
Фашистской молодой шпаны
Ведут тебя, прикрыв собой,
Три парня, словно три стены, —
Себе не вздумай, не присвой
Всей силы этих чувств людских:
Знай твердо, что виновник их
Не ты — народ великий твой.

В любви к тебе был виноват
И бородатый тот солдат,

Что с пулеметом Зимний брал,
Когда в пеленках ты орал,
И тот селькор, что за колхоз
Пошел бесстрашно под обрез,
И тот, кто строил Днепрогэс,
Когда еще ты в школе рос,
И тот боец в донских степях,
Что пал лицом на дымный снег,
И пленный тот, что в лагерях
Семь наций поднял на побег.

И если выпадает честь
Тебе в чужой стране, вдали,
Принять всю разом, всю, что есть,
Любовь, что люди берегли, —
Быть почтальоном для нее
И то неслыханный почет.
Пусть в сердце малое твое,
Как в сумку, вся она втечет, —
Ни капли не присвоив сам —
Ты человек, а не страна, —
Доставь ее по адресам,
Куда отправлена она!

1954

139. НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ТОКИО

Новогодняя ночь,
новогодняя ночь!
Новогодняя — первая после войны.
Как бы дома хотел я ее провести,
чтобы — я,
чтобы — ты,
чтоб — друзья...
Но нельзя!
И ничем не помочь,
и ничьей тут вины:
просто за семь тыщ верст
и еще три версты
этой ночью мне вышло на пост заступать,
есть и пить,
и исправно бокал поднимать,

и вставать,
и садиться,
и снова вставать
на далекой, как Марс, неуютной земле.
«Мистер Симонов» — карточка там на столе,
чтоб средь мистеров прочих
нашел свой прибор,
чтобы с кем посадили —
с тем и вел разговор.
И сидит он, твой снова уехавший муж,
и встает он, твой писем не пишущий друг,
за столом, среди чуждых ему тел и душ,
оглядев эти пьющие души вокруг,
и со скрипом на трудном, чужом языке
краткий спич произносит с бокалом в руке.
Пьют соседи, тот спич разобрав приблизительно.
А за окнами дождик японский, пронзительный,
а за окнами Токио в щебне и камне...
Как твоя бы сейчас пригодилась рука мне —
просто тихо пожать,
просто знать, что вдвоем.
Мол, не то пережили, —
и это переживем...
А вообще говоря — ничего не случилось;
просто думали — вместе, и не получилось!
Я сижу за столом,
не за тем, где мне были бы рады,
а за этим,
где мне
никого ровным счетом не надо:
ни вот этого рыжего, как огонь,
истукана,
что напротив, как конь,
пьет стакан за стаканом,
ни соседа — майора, жующего
с хрустом креветки,
ни того вон, непьющего
парня из ихней разведки,
ни второго соседа,
он, кажется, тоже — оттуда
и следит всю беседу,
чтобы моя не пустела посуда;
даже этого, ласкового,
с нашивкой «Морская пехота»,

что всё время вытаскивает
разные детские фото, —
и его мне не надо,
хоть, кажется, он без затей —
и, по первому взгляду,
действительно любит детей.
До того мне тут пусто,
до того — никого,
что в Москве тебе чувства
не понять моего!
А в остальном с моею персоной
тут никаких не стрясется страстей.
Новый год. В клубе местного гарнизона
пьют здоровье русских гостей;
у нас в порядке и «пассы» и визы,
и Берлин еще слишком недавно взят,
и полковник,
прикрыв улыбкою вызов,
как солдат,
пьет за нас —
за бывших солдат!
Это завтра они нам палки в колеса
будут совать изо всех обочин!
Это завтра они устроят допросы
говорившим со мной японским рабочим,
это завтра они, чтоб не ехал на шахту,
не продадут мне билета на поезд.
Это завтра шпиков трехсменную вахту
к нам приставят,
«за нашу жизнь
беспокоясь»!
Насуют провожатых, как в горло кости,
чтоб ни с кем не встречались, — дадут нам бой!
Всё это — завтра!
А пока — мы гости:
— «Хелс ту ю!»
— «Рашен солджерс!»
— «Рашен фрэндс!»
— «Рашен бойс!» [1]

. . . .

[1] «Ваше здоровье!», «Русские солдаты!», «Русские друзья!», «Русские парни!» (Англ.). — *Ред.*

Новогодняя ночь,
новогодняя ночь!
Не была ль ты поверкою после войны,
как мы в силах по дому тоску превозмочь
и как правилам боя остались верны
на пороге «холодной войны»?
Нам мечталась та ночь
вся в огнях,
в чудесах,
вся одетая в русской зимы красоту,
а досталось ту ночь
простоять на часах,
под чужими дождями,
на дальнем посту!
Ни чудес, ни огней,
ничего —
разводящим видней,
где поставить кого.

1954

140. ХИБАЧИ

В тонком доме над рекою
У хибачи греем руки.
Спросишь, что это такое,
Ты об этой штуке.
Это — лакированный горшок
С медью красною внутри,
Сверху — пепла на вершок,
А под ним — углей на три.
На циновках мы сидим
Босиком вокруг горшка,
Руки греем и молчим
По незнанью языка.
Впрочем, это даже лучше —
Никому не отвечать
И иметь удобный случай
Помолчать.
В доме холодно, спасенья
Нет.
Потому что отопленья
Нет.

Дорогого,
Дарового,
Дровяного,
Парового —
Никакого
Нет.
Говорят, что потепленье
В феврале.
А пока всё отопленье
Тут, в золе.
Под золой три угля тлеют,
Легкий чад.
Трое русских руки греют,
Молчат.
Впрочем, говорят, не для обиды
Бедных
Нас
Сделан этот деревом обитый
Медный
Таз.
Не из прихоти он скован,
Не с отчаянья,
А нарочно, для мужского
Молчания.
Чтоб всю ночь над ним
Сидеть,
Молчать,
Не говорить,
Только уголь брать,
Чтоб прикурить,
Да смотреть, как под золой
Огонь
Пролетит, как голубой
Конь.

1946
Япония

141. ФУТОН

Чтоб ты знала жестокие
Наши мучения,
Хоть мысленно съезди в Токио
Для их изучения.

Живем в японской скворешне,
Среди пожарища,
Четверо: я, грешный,
И три товарища.

На слово нам поверя,
Войди в положение:
Надпись над нашей дверью —
Уже унижение.

Иероглифами три имени,
Четвертое — мое,
Но так и не знаем именно,
Где — чье?

Где вы: Аз, Буки, Веди?
Забыли мы обо всем.
Живем, как зимой медведи,
Лапы сосем.

У каждого есть берлога,
Холодная, как вокзал.
Вот, не верили в бога —
Он нас и наказал.

Но чтобы тепла лишение
Не вызвало общий стон,
Как половинчатое решение
Принят у нас футон.

Футоном называется
Японское одеяло,
Которое отличается
От нашего очень мало.

Просто немножко короче,
Примерно наполовину;
Закроешь ноги и прочее —
Откроешь спину...

А в общем, если по совести
Этот вопрос исследовать, —
Футон, он вроде повести,
Где «продолжение следует».

Конечно, в сравнении с вечностью,
Тут не о чем говорить,
Но просто, по-человечеству,
Хочется поскулить.
Особенно если конечности
Мерзнут до бесконечности.

Мы вспомнить на расстоянии
Просим жен
О нашем существовании,
Положенном под футон,

Где тело еще отчасти
Согреется как-нибудь,
Но у души, к несчастью,
Ноги не подогнуть.

1946
Япония

142. ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

Рядом с кухней отеля «Миако»,
Где нас кормят морской капустой,
Есть пруд и рыбы. Однако
Их никто не ест, — будь им пусто!

Потому что это не просто,
А золотые, священные рыбы,
Стой над ними, считай хоть до ста,
И за то спасибо.

Они плавают с сытыми мордами,
Раздувая хвосты,
Очевидно, дьявольски гордые
Независимостью от плиты.

Они очень надменны, ибо
Презирают до содрогания
Прочую просто рыбу,
Предназначенную для питания.

Они держатся даже в воде
Друг с другом несколько сухо,
Оттого что они — в пруде
Аристократия духа.

Так изысканно и рассеянно
Живут они всю неделю,
Но каждое воскресение
Приходит повар отеля.

И, принеся извинения
Всем предкам на случай уж
Чертовского совпадения
С переселением душ,

В кимоно с двумя поясами
Он стоит над водой и в ней
Долго ищет глазами,
Которая пожирней.

Потом с ужасной улыбкой,
Взмахнув сачком, как ужаленный,
Берет золотую рыбку
И делает ее жареной.

Другие рыбы потопчутся,
Поспорят, посокрушаются
И расплывутся. В обществе
Рыб это наблюдается.

А может, пруда население
Тоже не без идей
И верит в переселение
Своих душ в людей.

И в этом есть вероятие.
Разве мы не могли бы
Сказать об одном приятеле,
Что в нем душа рыбы?

1946
Япония

143

Бывает иногда мужчина —
Всех женщин безответный друг,
Друг бескорыстный, беспричинный,
На всякий случай, словно круг,
Висящий на стене каюты.
Весь век он старится и ждет,
Потом в последнюю минуту
Его швырнут — и он спасет.
. . . .
Неосторожными руками
Меня повесив где-нибудь,
Не спутай. Я не круг. Я камень.
Со мною можно потонуть.

1946

144

Чтобы никогда не думала,
Что ты связан с ней порукою,
Чтоб нет-нет да вдруг и дунуло
Неожиданной разлукою.

Чтобы так и не увидела
Расставанья невозможности,
Чтобы никогда не выдала
Аттестат благонадежности.

Чтоб ты был тропою около,
А не мостовою хоженой,
Чтоб могла держать, как сокола,
Лишь на рукавице кожаной.

Чтоб с тобой, сдержав дыхание,
Шла, как со свечой рискованной,
Чтобы было это здание
От огня не застраховано.

1947

145

Барашек родился хмурым осенним днем
И свежим апрельским утром стал шашлыком,
Мы обвили его веселым желтым огнем
И запили его черным кизлярским вином.

Мы обложили его тархуном — грузинской
травой —
И выжали на него целый лимон.
Он был так красив, что даже живой
Таким красивым не мог быть он.

Мы пили вино, глядя на горы и дыша
Запахом уксуса, перца и тархуна,
И, кажется, после шестого стакана вина
В нас вселилась его белая прыгающая душа.

Нам хотелось скакать по зеленым горам,
Еще выше, по синим ручьям, по снегам,
Еще выше, над облаками,
Проходившими под парусами.

Вот как гибельно пить бывает вино,
Вот до чего нас доводит оно,
А особенно, если баклажка
Упраздняется под барашка.

Но женщина, бывшая там со мной,
Улыбалась одними глазами,
Твердо зная, что только она виной
Всему, что творилось с нами.

Это так, и в этом ни слова лжи,
У нее были волосы цвета ржи
И глаза совершенно зеленые,
Совершенно зеленые
И немножко влюбленные.

1947

146. ДОМ ДРУЗЕЙ

Дом друзей, куда можно зайти безо всякого,
Где и с горя и с радости ты ночевал,
Где всегда приютят и всегда одинаково,
Под шумок, чем найдут, угостят наповал.

Где тебе самому руку стиснут до хруста,
А подарок твой в угол засунут, как хлам;
Где бывает и густо, бывает и пусто,
Чего нет — того нет, а что есть — пополам.

Дом друзей, где удач твоих вовсе не ценят
И где счет неудачам твоим не ведут;
Где, пока не изменишься сам, — не изменят,
Что бы ни было — бровью не поведут!

Где, пока не расскажешь, допросов не будет,
Но попросишь суда — прям, как штык, будет суд;
Где за дерзость — простят, а за трусость — засудят,
И того, чтобы нос задирал, не снесут!

Дом друзей — в нем свои есть заботы, потери —
Он в войну и с вдовством и с сиротством знаком,
Но в нем горю чужому открыты все двери,
А свое, молчаливое, — век под замком.

Сколько раз в твоей жизни при непогоде
Он тебя пригревал — этот дом, сколько раз
Он бывал на житейском большом переходе
Как энзэ — как неприкосновенный запас!

Дом друзей! Чем ему отплатить за щедроты?
Всей любовью своей или памятью всей?
Или проще — чтоб не был в долгу у него ты,
Сделать собственный дом тоже домом друзей?

Я хотел посвятить это стихотворенье
Той семье, что сейчас у меня на устах,
Но боюсь, — там рассердятся за посвященье,
А узнать себя — верно, узнают и так!

1954

147. СЫН

Был он немолодой, но бравый;
Шел под пули без долгих сборов,
Наводил мосты, переправы,
Ни на шаг от своих саперов;

И погиб под самым Берлином,
На последнем на поле минном,
Не простясь со своей подругой,
Не узнав, что родит ему сына.

И осталась жена в Тамбове.
И осталась в полку саперном
Та, что стала его любовью
В сорок первом, от горя черном;

Та, что думала без загада:
Как там, в будущем, с ней решится?
Но войну всю прошла с ним рядом,
Не пугаясь жизни лишиться...

Ничего от него не хотела,
Ни о чем для себя не просила,
Но, от пуль закрыв своим телом,
Из огня его выносила

И выхаживала ночами,
Не беря с него обещаний
Ни жениться, ни разводиться,
Ни писать для нее завещаний.

И не так уж была красива,
Не приметна женскою статью.
Ну, да, видно, не в этом сила.
Он ее и не видел в платьях,

Больше всё в сапогах кирзовых,
С санитарной сумкой, в пилотке,
На дорогах войны грозовых,
Где орудья бьют во всю глотку.

В чем ее красоту увидел?
В том ли, как вела себя смело?
Или в том, как людей жалела?
Или в том, как любить умела?

А что очень его любила,
Жизнь ему отдав без возврата, —
Это так. Что было, то было...
Хотя он не скрыл, что женатый.

Получает жена полковника
Свою пенсию за покойника;
Старший сын работает сам уже,
Даже дочь уже год как замужем...

Но живет еще где-то женщина,
Что звалась фронтовой женой.
Не обещано, не завещано
Ничего только ей одной.

Только ей одной да мальчишке,
Что читает первые книжки,
Что с трудом одет без заплаток
На ее, медсестры, зарплату.

Иногда об отце он слышит,
Что был добрый, храбрый, упрямый.
Но фамилии его не пишет
На тетрадках, купленных мамой.

Он имеет сестру и брата,
Ну, а что ему в том добра-то?
Пусть подарков ему не носят,
Только маму пусть не поносят.

Даже пусть она виновата
Перед кем-то, в чем-то, когда-то,
Но какой ханжа озабочен —
Надавать ребенку пощечин!

Сплетней душу ему не троньте!
Мальчик вправе, он должен знать,
Что отец его пал на фронте
И два раза ранена мать.

Есть над койкой его на коврике
Снимок одерской переправы,
Где с покойным отцом, полковником,
Мама рядом стоит по праву.

Незабывшая, незамужняя,
Никому другому не нужная,
Она молча несет свою муку.
Поцелуй, как встретишь, ей руку!

1954

148. ЧУЖАЯ ДУША

Дурную женщину любил,
А сам хорошим парнем был,
С врагами — не застенчивым;
К друзьям — не переменчивым;

Умел приехать к другу,
Подать в несчастье руку,
Поднять в атаку роту,
Стать грудью в непогоду!

Был и умен, и добр, и смел,
И верен был отчизне,
И одного лишь не умел
В своей короткой жизни:

Взять отодвинуть взглядом
И рассмотреть как следует
Ту, что живет с ним рядом,
Что спит с ним и обедает;

Ту, что с их первой встречи
Была с ним всех короче,
И жизнь его калеча,
И честь его пороча...

А эта, с кем он жил, она —
Могу ручаться смело, —
Что значит слово-то «жена»,
Понятья не имела.

Свои лишь ручки, ноженьки
Любила да жалела,
А больше ничегошеньки
На свете не умела:

Ни сеять, ни пахать, ни жать,
Ни думать, ни детей рожать,
Ни просидеть сиделкою,
Когда он болен, ночь,
Ни самою безделкою
В беде ему помочь.

Как вспомнишь — так в глазах темно, —
За жизнь у ней лишь на одно
Умения хватило —
Свести его в могилу!

А где же были мы — друзья?
Тут виноват и ты и я!
Молчали, замечали
Да головой качали:

Мол, вроде неприлично
Касаться жизни личной.
Да так и не коснулись,
Как умер лишь — проснулись!

1954

149—151. *БОРИСУ ГОРБАТОВУ*

1

Умер друг у меня — вот какая беда...
Как мне быть — не могу и ума приложить.
Я не думал, не верил, не ждал никогда,
Что без этого друга придется мне жить.
Был в отъезде, когда схоронили его,
В день прощанья у гроба не смог постоять.
А теперь вот приеду — и нет ничего;
Нет его. Нет совсем. Нет. Нигде не видать.
На квартиру пойду к нему — там его нет.
Есть та улица, дом, есть подъезд тот и дверь,
Есть дощечка, где имя его — и теперь.
Есть на вешалке палка его и пальто,
Есть налево за дверью его кабинет...
Всё тут есть. Только всё это вовсе не то,
Потому что он был, а теперь его нет!
Раньше как говорили друг другу мы с ним?
Говорили: «Споем», «Посидим», «Позвоним»,
Говорили: «Скажи», говорили: «Прочти»,
Говорили: «Зайди ко мне завтра к пяти».
А теперь привыкать надо к слову: «Он был».
Привыкать говорить про него: «Говорил»,
Говорил, приходил, помогал, выручал,
Чтобы я не грустил — долго жить обещал,

Еще в памяти все твои живы черты,
А уже не могу я сказать тебе «ты».
Говорят, раз ты умер — таков уж закон, —
Вместо «ты» про тебя говорить надо: «он»,
Вместо слов, что люблю тебя, надо: «любил»,
Вместо слов, что есть друг у меня, надо: «был».
Так ли это? Не знаю. По-моему — нет!
Свет погасшей звезды еще тысячу лет
К нам доходит. А что ей, звезде, до людей?
Ты добрей был ее, и теплей, и светлей,
Да и срок невелик — тыщу лет мне не жить,
На мой век тебя хватит — мне по дружбе светить.

2

Умер молча, сразу, как от пули,
Побледнев, лежит — уже ничей.
И стоят в почетном карауле
Четверо немолодых людей.

Четверо, не верящие в бога,
Провожают раз и навсегда
Пятого в последнюю дорогу,
Зная, что не встретят никогда.

А в глазах — такое выраженье,
Словно верят, что еще спасут,
Словно под Москвой из окруженья,
На шинель подняв, его несут.

3

Дружба настоящая не старится,
За небо ветвями не цепляется, —
Если уж приходит срок, так валится
С грохотом, как дубу полагается.
От ветров при жизни не качается,
Смертью одного из двух кончается.

1954

152

«Дружба — дружбой, а служба —
службой» —
Поговорка-то золотая,
Да бывает так, что без нужды
Изо рта она вылетает.

Чуть ругнут тебя на все корки,
Гром — за дело ль, без дела ль — грянет,
Под удобную поговорку,
Как под крышу, спрячутся дряни.

Как под зонтиком в непогоду,
Будут ждать под ней хоть полгода,
С бывшим другом играя в прятки,
Пока вновь не будешь «в порядке».

Упрекнешь их — ответят тут же:
«Дружба — дружбой, а служба — службой».
Срам прикроют листиком шутки
И пойдут, встряхнувшись как утки.

Снова — ты им за дорогого,
Снова — помнят дорогу к дому.
Долго ль, коротко ль? — До другого
Им послышавшегося грома.

Не в одной лишь дружбе накладны
Эти маленькие иуды;
Что дружить не умеют — ладно.
Да ведь служат-то тоже худо!

1954

153. ЖИЛ ДА БЫЛ ЧЕЛОВЕК ОСТОРОЖНЫЙ...

Жил да был человек осторожный,
Осторожный
до невозможности,
С четырех сторон огороженный
Своей собственной
осторожностью.

В частокол им
для безопасности,
Словно гвозди, фразы
насованы:
«В этом деле пока нет ясности...»,
«Это дело — не согласовано...».
А вокруг
каждой этой фразы —
Битых стекол
мелкие жала:
«Поглядим...»,
«Возможно...»,
«Пожалуй...»,
«Не вполне...»,
«Не время...»,
«Не сразу...» —
До того хороша ограда,
Будто так для людей и надо!
Будто то,
что всего дороже нам,
Этой изгородью
огорожено.
Полно, так ли?
А мне сдается,
Мы за изгородь
глянуть можем:
Кто же это
за ней пасется?
Сам собою,
как конь, стреножен,
Чтоб случайно
не разбежаться,
Чтоб от «да»
и «нет»
воздержаться!
Вдруг все страсти его мордасти —
Не для пользы
Советской власти?
Не затем,
ничего подобного!
А затем,
чтоб ему удобнее!

Подозренья
имею веские,
Слыша,
как он там
сыто ржет,
Что он вовсе
не власть Советскую —
Сам себя
от нас бережет.

1954

154. УЛЫБКА

Бывает — живет человек
и не улыбается
И думает, что так ему, человеку,
и полагается,
Что раз у него, у человека,
положение,
То положено ему
к положению —
и лица выражение.
Не простое —
золотое,
ответственное!
Тому — кто я
и что я —
соответственное.
Иногда уж
вот-вот улыбнется, спасует...
И ему ведь трудно
порой удержаться!
Но улыбку
сам с собой
согласует,
Проголосует
И решит большинством голосов —
воздержаться.
И, откуда-то взявши,
что так вот и надо
Чуть ли не для пользы революции,

Живет в кабинете
с каменным взглядом,
С выражением лица —
как резолюция!
Даже людей великих
портреты
Заказал —
посуровей
для кабинета,
Чтобы было всё
без ошибок!
Чтобы были все
без улыбок!
Сидит под ними
шесть дней недели, —
Глаза бы их
на него не глядели!
И лишь в воскресенье,
на лоно природы,
На отдых выехав, на рыбалку,
На рыбок
с улыбкою
смотрит в воду.
Для них
улыбки
ему не жалко.
Никто не заметит
улыбку эту,
Не поведет удивленно
бровью,
Хоть весь день,
без подрыва авторитета,
Сиди,
улыбайся себе на здоровье!
И сидит человек
и улыбается,
Как ему,
человеку,
и полагается.
Его за воскресное это
безделье,

За улыбки рыбкам
судить не будем...
Эх, кабы
в остальные
шесть дней недели
Эту б улыбку
не рыбкам —
людям!

1954

155. ДРУГ-ПРИЯТЕЛЬ

Едва ошибся человек,
Как сразу — им в привычку —
Уж тянут, тянут руки вверх
Его друзья — в кавычках.

Один — чтоб первым осудить
На первом же собрании,
Другой — чтоб всех предупредить,
Что он всё знал заранее...

Что говорить об этих двух?
Из сердца сделай вычерк!
Но вот сидит твой третий друг —
Как будто без кавычек.

Он и сегодня, как вчера,
Рубашкою поделится,
Проутешает до утра:
Что всё это безделица
И скоро перемелется...

С тобой душой не покривит:
Что можно, да и нужно
Тебе за грех твой дать на вид,
А больше не положено!
А больше не заслужено!
Но, не потупивши глаза
И медный голос выковав,
Его подаст он всё же — за
Тот самый строгий выговор,
Что хоть и не положен
И всё тому подобное...

Но раз уже предложен,
То против — неудобно!
Потом с собрания к нему
Зайдешь — затащит силой,
Чтоб объясниться, что к чему:
Что не тебе, брат, одному,
А и ему, а и ему —
Да-да! — не просто было!
Что он тебя всегда любил,
И все об этом знают;
Случалось, вместе водку пил,
И это тоже знают;
Вдобавок вы с ним земляки,
И нету человека,
Чтобы не знал, как вы близки
С ним чуть не четверть века.

В твою защиту выступить —
Как напоказ всё выставить!
Вдруг раздались бы реплики:
Мол, время зря не тратили,
Мол, уж не слишком крепко ли
Спаялись вы, приятели?
Кому же это нужно-то!
Ведь было б только хуже — да?
А так —
ну что ж, ну строго,
Ну перегнули малость,
За выговор, ей-богу,
Рука не подымалась!

«А всё же поднял?» — «Поднял.
Так это ведь — сегодня,
Но есть еще райком,
горком,
Поговорят,
протрут с песком,
Дадут на вид, пожалуй,
А выговор — обжалуй!

И я, как вызовут, скажу,
Что в этом отношении

Я слишком строгим нахожу
Первичное решение.
Дерись, обжалуй!
                                        А пока,
Коль доведется туго,
Вот, брат, тебе моя рука,
А если надо — угол,
Бывает, брат, и хуже,
Давай садись за ужин,
Беда — бедой,
                        еда — едой!»

И смотришь на него, как он
Всё ходит, суетится,
И добрый он,
И славный он,
И чуть собой гордится,
Накормит и напоит,
Спать у себя положит...
А большего не стоит
И спрашивать, быть может?

Но вдруг
            совсем простой
                                    вопрос:
«Постой, постой,
                        что он тут нес?
И почему же, собственно,
Не мог он на собрании
Сказать о мненье собственном
Перед голосованием?

Что вы не просто с ним дружки,
Что вы врагов с ним били,
Что в жизни не одни вершки —
И труд и бой делили;

Что не слепою верою —
В делах дурной попутчицей, —
Что всею жизни мерою
Он за тебя поручится!»

Его ты вправе упрекнуть,
Хоть люди есть и хуже...

Всё дело в том,
как тут взглянуть:
Пошире?
Иль поуже?
Поуже — что ж, всё ничего,
Он парень неплохой,
Не требуй лишнего с него —
Спасибо, что такой.
Пошире взгляд жесток, увы, —
С ним не были друзьями вы!

Тех двух, с кого я начал речь,
Их просто от себя отсечь.
Но с этим третьим — сложно,
Заколебаться можно...
Чтоб эти вытравить черты,
Пора в лицо смотреть им —
Случается,
что я и ты
Бываем этим —
третьим...

1954

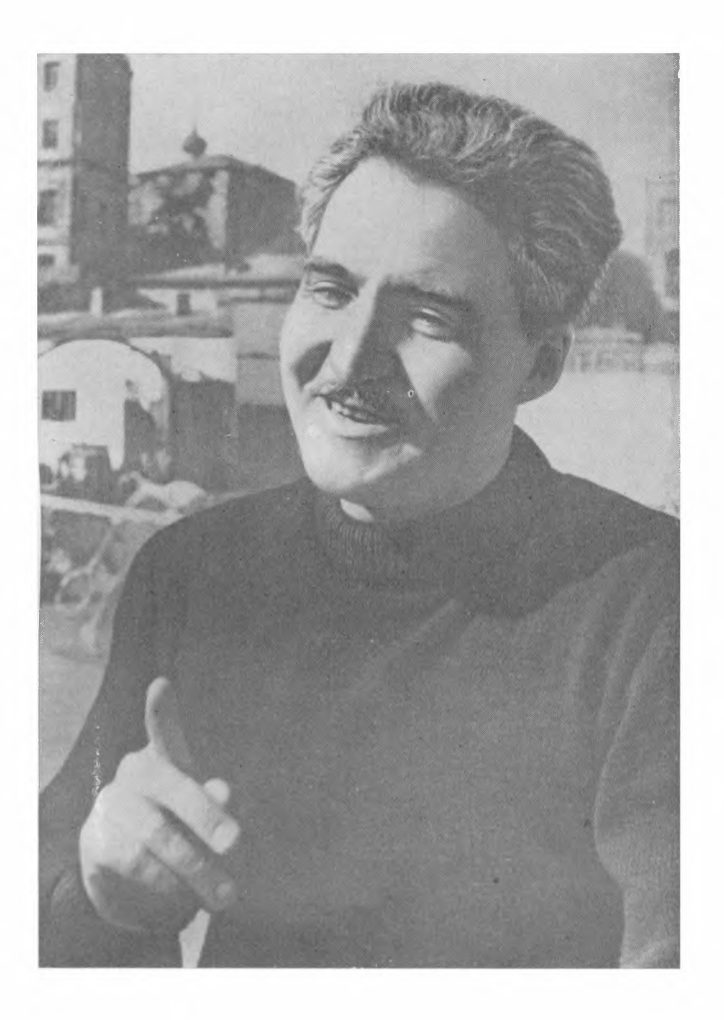
⟨Дополнения⟩

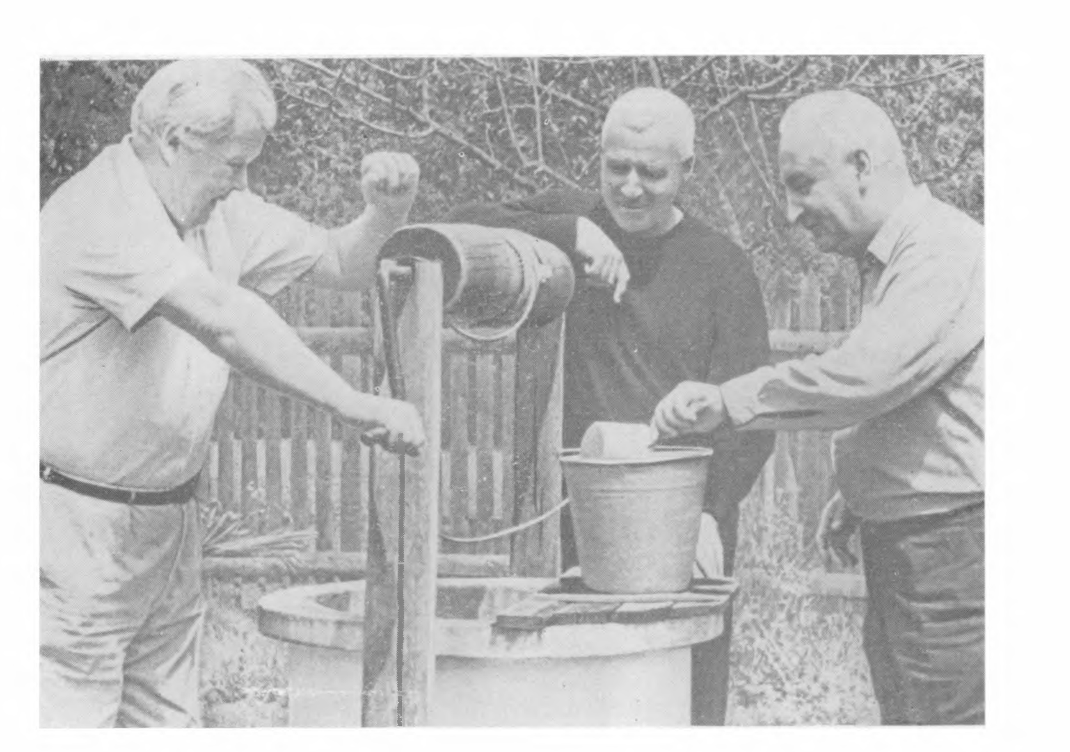
156

Предчувствие любви страшнее
Самой любви. Любовь — как бой,
Глаз на глаз ты сошелся с нею.
Ждать нечего, она с тобой.

Предчувствие любви — как шторм,
Уже чуть-чуть влажнеют руки,
Но тишина еще, и звуки
Рояля слышны из-за штор.

А на барометре к чертям
Всё вниз летит, летит давленье,
И в страхе светопреставленья
Уж поздно жаться к берегам.





Нет, хуже. Это как окоп,
Ты, сидя, ждешь свистка в атаку,
А там, за полверсты, там знака
Тот тоже ждет, чтоб пулю в лоб...

1946

157. ДОМ НА ПЕРЕДОВОЙ

Уже японских ползимы
В корреспондентском клубе мы

Живем почти как дипломаты,
Живем, обложенные ватой

Чужих вопросов и речей,
Чужих опасных мелочей

И, ждущих от тебя ошибок,
Чужих внимательных улыбок.

Смертельно вежливым огнем
Окружены мы день за днем.

Зато я снюсь себе ночами
С мешком и скаткой за плечами,

Покинув этот чертов дом,
Я обхожу весь мир пешком.

Похожий на тире и точки,
Звук дальней пулеметной строчки

Почти неслышною рукой
Меня ведет туда, где бой,

Туда, где, землю огибая,
В дыму идет передовая.

Начавшись у воды в упор,
Она идет меж рыжих гор,

И вьется из-за Пиренеев
Пороховой дымок над нею.

Она идет через Париж
Траншеей меж домов и крыш,

Безмолвно, но неотвратимо
Проходит посредине Рима

И с «Партизанской» на устах
Гремит на греческих холмах.

То вся в огне, в аду, то в дымке,
То на виду, то невидимкой,

То в свисте бомб и громе танков,
То в катакомбах и землянках,

Она идет сквозь сорок стран —
То молча, то под барабан,

Под «Марсельезу» с «Варшавянкой»,
Под «Пролетарии всех стран!»,

Теряясь, но не пропадая,
Она идет к полям Китая,

Туда, где на передовой
Сейчас всего слышнее бой.

К земле прикладывая ухо,
Я приближаюсь к ней по слуху,

За ночью ночь иду туда,
Где в вспышках горная гряда,

Где на дороги ледяные
В бессмертье падают живые

И, душу придержав рукой,
Дают посмертный выстрел свой.

Идет, идет передовая
Через жару и снег Китая.

Она, как битва под Москвой,
Владеет всей моей душой.

Она проходит под паркетом
Всех комнат даже в доме этом,

Где месяц мы едим и пьем
С врагами за одним столом;

Через беседы и обеды,
Через вопросы и ответы,

Стол разрубая пополам,
Она проходит по пятам,

Вдруг о себе напоминая
То журналистом из Шанхая,

Который врет про вас везде,
Что он вас видел у Чжу Дэ,

То шпиком, лезущим в доверье,
То ухом в скважине за дверью,

То в чемодане под замком
Вдруг перевернутым бельем.

Когда-нибудь, когда нас спросят
Друзья: «Откуда эта проседь?» —

Мы вспомним дом, где той зимой
Мы жили на передовой.

1948

1956—1976

158. АНКЕТА ДРУЖБЫ

По-разному анкеты
На дружбу заполняют
И на себя за это
Потом пусть не пеняют.

Иной, всего превыше
Боясь толчка под ребра,
Такого друга ищет,
Чтоб был, как вата, добрый.

Другой друзей находит,
Чтоб зажигали спички,
Чтобы за ним в походе
Несли его вещички.

Чем в друге ошибиться,
Поверивши в улыбки,
Уж лучше ушибиться
Об друга по ошибке.

Друг — не клавиатура,
Чтоб пробежать руками,
Углы его натуры
Обследуют боками.

Пусть как обрывы Ужбы
Характер тот отвесен,
Пускай до вашей дружбы
Был путь не так уж весел,

Пусть надо с ледорубом
Идти до той вершины,
Где называют другом
Друг друга два мужчины.

Где не спьяна казалось:
Ты, я да мы с тобою!
А где вас смерть касалась
Одним крылом обоих!

Дороги к дружбе нету
Другой, чем восхожденье.
Я в дружбе — за анкету
С таким происхожденьем!

1956

159. ТОСТ, УСЛЫШАННЫЙ В ДАГЕСТАНЕ

Мы не боимся сутки
Подряд пропить до новых.
Здоровые рассудки
Живут в делах здоровых.

Кто пьет — пусть не тощает,
Уж лучше пусть толстеет,
А тот, кто угощает,
Пусть честно богатеет.

А кто, наперекор нам,
Вдруг встанет на дороге,
Пусть, как завистник черный,
Скорей уносит ноги!

Пусть те, кого мы любим,
Живут, как мы желаем!
И те, кого не любим,
Живут, как мы желаем!

1956

160

Зима сорок первого года —
Тебе ли нам цену не знать!
И зря у нас вышло из моды
Об этой цене вспоминать.

А всё же, когда непогода
Забыть не дает о войне,
Зима сорок первого года,
Как совесть, заходит ко мне.

Хоть шоры на память наденьте!
А всё же поделишь порой
Друзей — на залегших в Ташкенте
И в снежных полях под Москвой.

Что самое главное — выжить
На этой смертельной войне, —
Той шутки бесстыжей не выжечь,
Как видно, из памяти мне.

Кто жил с ней и выжил, не буду
За давностью лет называть...
Но шутки самой не забуду,
Не стоит ее забывать.

Не чтобы ославить кого-то,
А чтобы изведать до дна,
Зима сорок первого года
Нам верною меркой дана.

Пожалуй, и нынче полезно,
Не выпустив память из рук,
Той меркой, прямой и железной,
Проверить кого-нибудь вдруг!

1956

В ту зиму

Под горькую песню свои
Как вспоминаю своих довоенных друзей
Что мертвы
Мелькнет, что — Могли отсчитать до конца
Что с нем живой — Зима сорок первого года
Что если зимою под Москвой
Зимою сорок первого

Своих довоенных друзей

Зима сорок первого года

Одних вспоминаю немало

Как в старом медальоне лиц
Я вынес их много подряд
И тех, что спасались в
Заледенев в тамбурах
И ... заняты ... Москвы

Друзей

Заледенелых в ту пору в тамбурах
И в снежных полях под Москвой

В ту зиму сорок первого года
Под горькую песню свою
С радостью и с неохотой
Узнавал друзей

Своих довоенных друзей

Я с радостью и с неохотой
Друзей узнавал до конца

161. СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

(Из пьесы «Четвертый»)

К тебе в постель попав юнцом,
Пять лет я сплю с тобой — война!
Пять лет ревнуют мать с отцом,
Пять лет ревнуют мать с отцом
И, может быть, жена.

Всё может быть,
Всё может быть,
Всё очень может быть.
Ну, а пока,
Ну, а пока,
Ребята, где б нам раздобыть
Хоть на затяжку табака?

Когда меня, в конце концов,
Живым швырнет домой война,
При встрече вздрогнут мать с отцом,
При встрече вздрогнут мать с отцом
И, может быть, жена.

Всё может быть,
Всё может быть,
Всё очень может быть.
Ну, а пока,
Ну, а пока,
Ребята, где б нам раздобыть
Хоть на затяжку табака?

А если мне свинцом в лицо
В последний день хлестнет война,
Ослепнут с горя мать с отцом,
Ослепнут с горя мать с отцом
И, может быть, жена.

Всё может быть,
Всё может быть,
Всё очень может быть.
Ну, а пока,
Ну, а пока,
Ребята, где б нам раздобыть
Хоть на затяжку табака?

1961

162. НАШ ПОЛИТРУК

Я хочу рассказать сегодня
О политруке нашей роты.
Он войну начинал на границе
И погиб, в первый раз, под Смоленском.
В черном небе, когда умирал он,
Не было и проблеска победы.

«В бой за Родину! — крикнул он хрипло. —
В бой за Ста...» — так смерть обрубила.
Сколько б самой горькой и страшной
С этим именем связанной правды
Мы потом ни брали на плечи,
Это тоже было правдой в то время.
С ней он умер, пошел под пули.

Он второй раз погиб в Сталинграде
В первый день, в первый час прорыва,
Не увидев, как мы фашистам
Начинаем платить по счету.
Умирая, другие люди
Шепчут: «Мама» — и стонут: «Больно».
Он зубами скрипнул: «Обидно!» —
Видно, больше всего на свете
Знать хотел он: как будет дальше?

В третий раз он умер под Курском,
Когда мы им хребет ломали.
День был жарким-жарким. А небо —
Синим-синим. На плащ-палатке
Мы в тени сожженного «тигра»
Умирающего положили.
Привалившись к земле щекою,
Он лежал и упрямо слушал
Уходивший на запад голос
Своего последнего боя.

А в четвертый раз умирал он
За днепровскою переправой,
На плацдарме, на пятачке.
Умирал от потери крови.
Он не клял судьбу, не ругался.

Мы его не могли доставить
Через Днепр обратно на левый.
Он был рад, что, по крайней мере,
Умирает на этом, правом,
Хотя Днепр увидел впервые
В это утро, в день своей смерти,
Хотя родом на этот раз он
Был не киевский, не полтавский,
А из дальней Караганды.

У него было длинное имя,
У политрука нашей роты,
За четыре кровавых года
Так война его удлинила,
Что в одну строку не упишешь:
Иванов его было имя,
И Гриценко, и Кондратович,
Акопян, Мурадов, Долидзе,
И опять Иванов, и Лацис,
Тугельбаев, Слуцкий, и снова
Иванов, и опять Гриценко...

На политрука нашей роты
Наградных написали гору.
Раза три-четыре успели
Наградить его перед строем,
Ну, а чаще не успевали
Или в госпиталях вручали.
Две награды отдали семьям,
А одна, — говорят, большая, —
Его так до сих пор и ищет...

Когда умер в четвертый раз он,
Уже видно было победу,
Но война войной оставалась,
И на длинной ее дороге
Еще много раз погибал сн.
Восемь раз копали могилы,
Восемь тел его мы зарыли:
Трижды в русскую, в русскую, в русскую,
В украинскую, в украинскую,
И еще один — в белорусскую,
На седьмой раз — в братскую польскую,
На восьмой — в немецкую землю.

На девятый раз он не умер.
Он дошел до Берлина с нами,
С перевязанной головою
На ступеньках рейхстага снялся
С нами вместе, со всею ротой.
И невидимо для незнавших
Восемь политруков стояло
Рядом с ним, с девятым, дошедшим.
Это было так, потому что
Всю дорогу, четыре года,
Они были душою роты,
А душа, говорят, бессмертна!
Не попы, а мы, коммунисты,
Говорим, что она бессмертна,
Если наше смертное тело,
Не страшась, мы сожгли в огне
На Отечественной войне.

Где же наш политрук девятый?
Говорят — секретарь райкома,
Говорят — бригадир в колхозе,
Говорят — дипломат на Кубе,
Говорят — в жилотдел послали,
Чтоб на совесть всё, без обмана...
Говорят — в Партийном контроле,
Восстанавливая справедливость,
День и ночь сидел над делами,
Что касались живых и мертвых,
Что остались от тех недобрых,
Столько бед принесших времен...
Очевидно, разные люди
Его в разных местах встречают —
Вот и разное говорят.
Видно, был он в войну не только
В нашей с вами стрелковой роте...

1961

163. ЗНАМЯ

От знамен не прикуривают.
И не шутят под ними
И около них.
И не штопают — если пробито.

Из пробитого знамени кровь не уходит,
Не надо его бинтовать!
Кровь уходит,
Когда
Знамя бросают на землю.
А когда, вынося,
Обернут
Вокруг голого потного тела,
Знамя не будет
В обиде.
Пятен крови оно
На себе не боится.
Кровь — не грязь.
И убитого,
Если правда герой, —
Можно накрыть
Ненадолго.
Надолго
Он не позволит.
Потому что знамя
Нужно живым...

1963

164

Умирают друзья, умирают...
Из разжатых ладоней твоих
Как последний кусок забирают,
Что вчера еще был — на двоих.

Всё пустей впереди, всё свободней,
Всё слышнее, как мины там рвут,
То, что люди то волей господней,
То запущенным раком зовут...

1970

165

Ненужные воспоминания
Придут, когда их не зовут,
Как лишние переиздания
Книг, без которых — проживут!

и живешь,
Все бегут на свободу
Что люди живу
По волей господней
По попросту рабы зовут.

без лиц,
что у нас
наши

рвут
Все пустей вперед, все свободные
Все слышнее, как лишь
Тех, что после, по волей господней нам рвут,
Среди лиц, что у нас наши
в.

рвут

Тех что люди по
волей господней
По зачуженными рабами зовут

Всем весом, всею грудой пыльною
Налягут так, что, чуть дыша,
Вдруг заскрипит и — даже сильная —
Прогнется, как доска, душа.

1970

166

Бывает, слово «ненавижу»
Звучит слабей, чем «не увижу».
Не взрыв, не выстрел, не гроза —
А белые, как смерть, глаза
И белый голос: не увижу.
Как в камень вмерзшая слеза.

1970

ВЬЕТНАМ, ЗИМА СЕМИДЕСЯТОГО

167. ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ...

⟨Лирическая поэма⟩

1

Не спрашиваю, не выпытываю.
Сначала, как на полигоне,
Сам на себе Вьетнам испытываю,
Сам проверяю: всё ли понял!
Не на экране, не на фото,
Не кто-то, за кого — мне больно,
Я сам ложусь вместо кого-то,
На чье-то место, добровольно.

Под бомбами, на поле рисовом,
Лежу, опять двадцатилетний,
Как в сорок первом, под Борисовом,
На той, считавшейся последней...

2

Под крышей пальмовой рябою
При керосиновом огне
Сначала мне,
С самим собою
Сидящему наедине,
Напоминает бой — о бое
И тишина — о тишине.
Потом вдруг всё перевернется,
Как рано утром на войне,
И слышу, как вот-вот начнется
Вот в этой самой тишине...

3

Вот здесь мою жену убили.
Свалились с неба — и убили.
Воронка — около дороги,
А я шофер на старом «зисе»,
Взад и вперед я еду мимо,
Четвертый год неутомимо,
Неутомимо, неутомимо.
И эта старая воронка,
В которой прорастают травы,
Четвертый год, как похоронка,
То слева от меня, то справа...

4

Моя сестра благополучно родила
В землянке, в результате операции.
Пилот, пустивший «шрайк» из-под крыла,
Цель поразив, сказал своим по рации:
«Я цел, о'кей!» — про эту операцию.

Осколок «шрайка» зацепил брюшину
Сравнительно удачно, так что плод
Был чуть задет.
До свадьбы заживет!
Ребенок еще вырастет мужчиной.

Пока в землянке резали и шили,
Там, наверху, еще бомбежка шла,
У операционного стола
Два старика велосипед крутили,
Велосипедной фарою светили,
Чтоб у хирурга видимость была.
Всё хорошо. И летчик цел —
о'кей.
И женщина почти цела —
о'кей.
Ребенок почти цел —
о'кей.
Моя сестра благополучно родила
В землянке, в ходе этой операции...
В которой честь
американской нации,
Как говорят,
защищена была...

5

Под бомбами, прочь
Уводя от смертей,
Сотую ночь
Мы будим детей.
Будим детей.

Их с юга вдоль моря
На север ведем
И, плача от горя,
Им спать не даем,
Спать не даем.

Пока отбомбят,
Весь день они ждут,
А ночью не спят,
Ночью идут,
Ночью идут.

Лишь смеркнется чуть,
Детдом встает
И, чтоб не заснуть,
Хором поет,
Хором поет.

Старшему — девять,
Младшему — пять,
Три месяца детям
Хочется спать,
Хочется спать.

У всех у них пали
Отец или мать,
Но, кроме того, еще
Хочется спать,
Хочется спать..

Ничья уже совесть,
Проснувшись сейчас,
Тех детских бессонниц
Не вынет из глаз,
Не вынет из глаз.

И нету ни средства,
Ни сил у врачей
Обратно то детство
Отнять у ночей,
Отнять у ночей...

6

С чего начинается память —
с берез?
С речного песочка?
С дождя на дороге?

А если — с убийства!
А если — со слез!
А если — с воздушной
тревоги!

А если с визжащей пилы в облаках,
Со взрослых, в пыли распростертых!
А если с недетского знания —
как
Живое становится мертвым!

И в пять,
              и в пятнадцать,
              и в двадцать пять лет
Войной начинается память.
Здесь, в этой стране,
                            где непомнящих — нет,
Попробуем *это* представить...

7

Здесь отделенье самообороны
Из пулемета сбило самолет.
Вот здесь бомбил он.
                              Вот следы воронок.
Вот здесь упал он.
                           Здесь зарыт пилот.

Крестьяне, руки в небо подымая,
Показывают направленье трасс.
Да, я не мальчик,
                         да, я понимаю —
Мне говорят всё это в сотый раз.

И легендарность этого успеха
Уже вошла в их деревенский быт,
И не волнение, а только эхо
Волнения в их голосах звучит.

Всё так.
           Но самолет был ими сбит
Над их домами.
                         И четыре года
В нелетную
                и в летную
                              погоду
Тот самолет над ними не летит...

8

...Я не видал жены семнадцать лет.
Летают люди даже через полюс,
Но нам с женой
                       не продадут билет
На пароход,
                 на самолет,
                              на поезд.

Мы, как ножом,
разрезаны рекой
И, с двух сторон
дойдя до переправы,
Соединиться не имеем права.
Семнадцать лет —
как есть закон такой!
Дочь родилась там,
без меня.
Жена состарилась там,
без меня.
Сын стал солдатом —
без меня.
Всё без меня там.
Всё без меня...

Где я живу?
Я в Костроме живу,
Моя жена — под Курском.
Дети — с нею.
Нет, я не лгу!
Как я вам лгать посмею!
Я даже эту реку назову!

Река — Ока!
Уже семнадцать лет,
Как вдоль нее проложена граница,
И чтобы мне с семьей соединиться,
Через нее — билетов нет
и нет.

Проезд закрыт по карте
вниз и вверх.
И я, не в силах совладать с тоскою,
Живу в России,
русский человек,
Как надвое разрубленный
Окою.

Я многое забыть себе велел,
Но та река
никак не забывается.
Семнадцатая параллель —
Стихотворенье называется...

9

Напоминает море — море.
Напоминают горы — горы.
Напоминает горе — горе;
Одно — другое.

Чужого горя не бывает,
Кто это подтвердить боится, —
Наверно, или убивает,
Или готовится в убийцы...

168. НАД ЛАОСОМ

Война не вписана в билеты
На этот рейс Аэрофлота,
Но существует рядом, где-то
В пятнадцати минутах лёта.

И если б выключить турбины,
То мы, летящие по кромке,
Услышали бы, как там мины
Укладываются в воронки.

Да, странные теперь бывают
Международные маршруты:
Здесь нас везут,
там — убивают,
А расстояние — минуты!

Но что всего странней —
как будто
Назло войне, напутав что-то,
Взяв три билета от Калькутты
На этот рейс Аэрофлота,
Одетые чудаковато,
Как дьяконы, длинноволосы,
Американские ребята
Летят над джунглями Лаоса.

Ремни защелкнув привязные,
Летят всю ночь впритык с войною,
Чтоб сжечь на митинге в Ханое
Свои повестки призывные.

Летят, незримо руки стиснув,
От всех отчуждены пока,
Похожи на парашютистов
За полминуты до прыжка...

169. БОМБЕЖКА ПО ПЛОЩАДЯМ

Сквозь облака сырые,
То на землю, то в воду,
«Бэ — пятьдесят вторые»
Опять бомбят природу.

В нелетную погоду
По площадям бомбят,
Сквозь облака, как ломом,
Долбят ее, долбят.

Долбят со всею силой
Тупого превосходства,
Долбят сквозь прах могилы,
Долбят сквозь доски моста.

Долбят пещерным ломом
Сквозь храм седьмого века,
Сквозь черепицу крыши,
Сквозь череп человека.

Но если б очень точно
Подряд все эти годы
В одну и ту же точку
Вгонять их лом в природу,

Проржавленный войною,
Прошел бы он, как гвоздь,
Сквозь всё нутро земное
И наконец — насквозь!

И со смертельным стоном, —
Всё может быть, всё может, —
Прорвал земную кожу
Как раз под Арлингтоном.

Где, сводок не читая,
Свое испив до дна,
Их мертвые считают,
Что кончилась война.

Спят там, где их зарыли,
Без права спорить — спят.
Их «пятьдесят вторые» —
По площадям бомбят...

170. ДЕЖУРКА

Летчики — как летчики,
Свои ребята.
В дежурке — на точке
Крыша в три наката.

Сбиты нары новые, —
Знакомый быт, —
Только не сосновые —
Из пальмы сбиты.

Те же перегрузки,
Те же МИГи.
Только не по-русски
Читают книги.

Только вместо хлеба
Рис рубают.
Другое небо,
Война — другая.

А если — та же?
И — всё за то же?
Льет трехэтажный
Вьетнамский дождик.

Сидят ребята,
Ждут ракеты,
Как мы когда-то
В России где-то...

171. РУКОПИСЬ

Южанин рассказывает, как на Юге
Семь лет провел на войне.
Автоматом заняты руки,
А рукопись — на спине.

Вчерне закончена — третий год,
Но не с кем послать в Ханой.
Политрук со своею ротой идет
И с рукописью за спиной.

Он под огнем, и она под огнем,
И его и ее осколком задело,
На спине прихваченную ремнем,
Словно второе тело.

В джунглях спрятать?
Съест тля дотла.
В землю зарыть?
За месяц сгниет,
Как будто и не писал ничего.
Кому-то оставить?
А вдруг убьет
Не тебя, а его!

Говорит, как страх подталкивал в спину,
Как последние дни считал по часам,
Когда нес ее тропой Хо Ши Мина,
Свою книгу, с войны, сам.

Как, с трудом разбирая черновики, —
Еще на полгода муки! —
Ее вновь переписывал от руки, —
Раньше не доходили руки.
(Как у нашего Быкова в сорок пятом
Всё были заняты автоматом.)

Начинает подробности объяснять,
Словно речь о неведомом, непохожем,
Хотя мы-то как раз — можем понять.
Мы-то как раз можем...

172. МАТЕРИ БОРИСА ГОРБАТОВА

Даже не поверилось сначала:
Моряки, одесские ребята,
Стоя у Хайфонского причала,
Красят теплоход «Борис Горбатов».

Я давно не виделся
с Борисом.
Говорят: здоров, всей грудью дышит,
Ходит быстро. Жалко только — писем
Нам, своим товарищам, не пишет.

У него хорошая работа,
Он всегда любил ее такую,
Только перебрался из пехоты
На другую службу, на морскую.

Мама, сын Ваш ходит где-то в море,
Что Вы живы, может быть, не зная,
Мама, сядьте, напишите Боре,
Пусть в ответ хотя бы просигналит.

Ну, а если сам Вас не услышит,
Где-нибудь с короткого привала
Капитан Вам за него напишет,
Так оно и на войне бывало...

173. ТОВАРИЩУ ТО ХЫУ, КОТОРЫЙ ПЕРЕВЕЛ «ЖДИ МЕНЯ»

Я знаю, здесь мои стихи живут
В прекрасном Вашем переводе.
И будут жить, покуда жены ждут
Тех, кто в походе.

Уж четверть века пушки бьют и бьют!
И вдовы на могилы ходят,
И, ждя живых, мои стихи живут
В прекрасном Вашем переводе.

Скорей бы наступил тот год
На длительном пути к свободе,
Когда стихи, как люди, свой поход
Закончат в Вашем переводе.

Пусть в этот день, когда уже не ждут
С войны людей и — тишина в природе,
Мои стихи, легко вздохнув, умрут
В прекрасном Вашем переводе.

174

...Не пишется проза, не пишется,
И, словно забытые сны,
Всё рифмы какие-то слышатся,
Оттуда, из нашей войны.

Прожектор, по памяти шарящий,
Как будто мне хочет помочь —
Рифмует «товарищ» с «пожарищем»
Всю эту бессонную ночь...

1970—1971
Вьетнам—Москва

175. РАЗВЕДКА

Светлой памяти Георгия Добровольского,
Владислава Волкова, Виктора Пацаева

Начинена огнем земля;
Не оступись, не хрустни веткой —
Вперед, за минные поля
Уходит пешая разведка.

Всё пригнано, чтоб не греметь,
И приготовлено для боя,
И орденов своих с собою
Им не положено иметь.

И как последнее прости —
На жданный и нежданный случай
Им сказано: пора идти.
Чем проще сказано — тем лучше.

А после — ждут и в тишину
Глядят за черный край передний,
Уже не в первый за войну,
Но может статься — что в последний...

. . . .
. . . .

Всё по-другому, всё не так,
Но есть в их гибели такое,
Что вновь та жизнь перед тобою —
Ее закон, ее устав,

Ее бессмертная пехота,
Ее бессонная забота, —
Над прахом головы склонив,
Вновь думать, кто же вместо них?

Наверно, в космосе есть тоже
Непрекращаемость атак.
Всё остальное — непохоже,
А это — так.
Наверно, так...

1971

x x x

Своих [illegible] по фамилии
[illegible] своих военных книг,
Все равно как в [illegible] хоронили,
Кто то, да откликнется на них

И в письме и старого [illegible]
Это [illegible] выхвачено из кучи
Остальное [illegible] [illegible]
Не ее ли это ученье

И вдруг [illegible] из [illegible] [illegible]
Без вести пропавший в бою
[illegible] [illegible] [illegible] моего [illegible]
(А) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
И в десятой мама из [illegible]

Мама не перестает
Хочет [illegible] к отцу на [illegible]
Просит только [illegible] адрес

И в десятом [illegible] из толпы
~~Не успев при жизни повидать~~
Хочет [illegible] к [illegible]
Просит только [illegible]
адрес [illegible]
Сын с отцом [illegible] на [illegible]
Не успев при жизни повидать

На месте тетрадей
[illegible]
Похоронив [illegible]
Совпадение [illegible]
Я бы [illegible] эти
[illegible]
Сын с отцом [illegible]
Некий на све[illegible]
Не придумал [illegible]

Сколько б ни придумывал фамилий
Мертвым из моих военных книг,
Всё равно их в жизни хоронили.
Кто-то ищет каждого из них.

Женщина из Тулы ищет брата,
Без вести пропавшего в Крыму.
Видел ли я сам того солдата
В час, когда явилась смерть к нему?

И в письме из Старого Оскола,
То же имя вычитав из книг,
Детскою рукою пишет школа —
Не ее ли это ученик?

Инвалид войны из той же роты
По приметам друга узнает, —
Если сохранилось его фото,
Просит переснять.
И деньги шлет.

А в четвертом, кратком, из Тагила,
Просят только верный адрес дать:
Сын к отцу желает на могилу,
Не успев при жизни повидать...

Взял я русское простое имя,
Первое из вспомнившихся мне,
Но оно закопано с другими
Слишком много раз на той войне.

На одну фамилию — четыре
Голоса людских отозвалось...
Видно, чтобы люди жили в мире,
Нам дороже всех платить пришлось!

Получаю письма... получаю...
Снова, виноватый без вины,
На запросы близких отвечаю
Двадцать лет, —
как политрук с войны...

1971

С его безоблачной погодой

22 = июня

Тот самый ~~(длинный)~~ ~~(грозовой)~~ длинный
~~(длинный)~~ день в году,
Без паузы, без перехода,
~~Нам выдал~~ выдал общую беду
~~Всем~~ Нам, ~~всех~~ на все четыре года

(с кого прошлась)
Она ~~такой~~
~~прошлась~~ по нам
И стольких на
землю положила
Что и теперь по
временам

~~Ее из общего котла~~
~~Хлебали мы дорогой длинной~~
~~Что путь к Москве не привела,~~
~~Но все же вывела к Берлину~~
~~На той дороге были нам~~
~~Нанесены такие раны,~~
~~Что и теперь, по временам,~~
~~Живым, что был живым — странно~~
(Живым остаться)

~~крушение~~
~~другие обиды~~
~~Все еще живо~~
Живым не верится что живы

А к мертвым, выправив билет
~~Все едет, кто~~
~~Уже двадцать лет, и тридцать лет~~
~~Живым не верится, что живы~~
Все едет кто нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого то, кого нет.
~~И ставит, ставит обелиски~~

Уже тридцать
год
живым не верится

Все ставит,
ставит обелиски

Нам/Все не верится
что живы

Она такой ~~врубила~~ вдавила
след
И стольких на земле
положила
Что нам живым
уже тридцать
тридцать год лет
Как все ~~Еще~~ не верится
— что живы

177

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

А к мертвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет...
И ставит,
ставит
обелиски.

1971

178

Навеки врублен в память поколений
Тот год в крови,
Тот снег
И та страна,
Которой даже мысль была странна —
Что можно перед кем-то — на колени...
Страна, где жил
И где не умер Ленин.
Хоть помним и другие имена,
И в чем — заслуга их,
И в чем — вина.

1971

179

Преуменьшающий беду,
Чью тяжесть сам он понимает, —
По чуть схватившемуся льду
Бегущего напоминает.

Скользит, подыскивая слово,
Чтоб не сказать — ни «нет», ни «да»,
А там, внизу, течет сурово
Истории
тяжелая
вода...

1971

180

Вновь, с камнем памяти на шее,
Топлю в себе — тебя, война,
Но, как в затопленной траншее,
Опять всплываешь ты со дна.

На лицах этих старых женщин,
В курортном этом городке,
Где с каждою — мертвец повенчан,
Когда-то, где-то, вдалеке.

И — сквозь старушечьи загары,
Косметик поздние цветы,
В ее чертах — его черты,
Той смерти миг, тех бомб удары.
. . . .

Война... Как эти вдовы, с нею,
Наверное, повенчан я.
И ни короче, ни длиннее —
Срок давности — вся жизнь моя.

1971

181

Осень, ветер, листья — буры.
Прочной хочется еды.
И кладут живот свой куры
На алтарь сковороды.

И к подливам алычовым
И к осеннему вину
Что добавить бы еще вам?
Лошадь? Женщину? Войну?

Позднее киплингианство
Нам под старость не к лицу.
Время есть. И есть пространство.
Только жизнь идет к концу.

И последние стаканы,
К юности своей жесток,
Пью за скулы океана —
Не за Запад и Восток.

1973

182

Не лги — ана́том!
Скажи — патолог:
Раз путь наш долог —
Смерть вышлют на дом?

Исчадье ада
Иль божий агнец —
Всем вышлют на дом —
Таков диагноз?

А если — в поле?
А если — пуля?
— То божья воля,
Его пилюля!

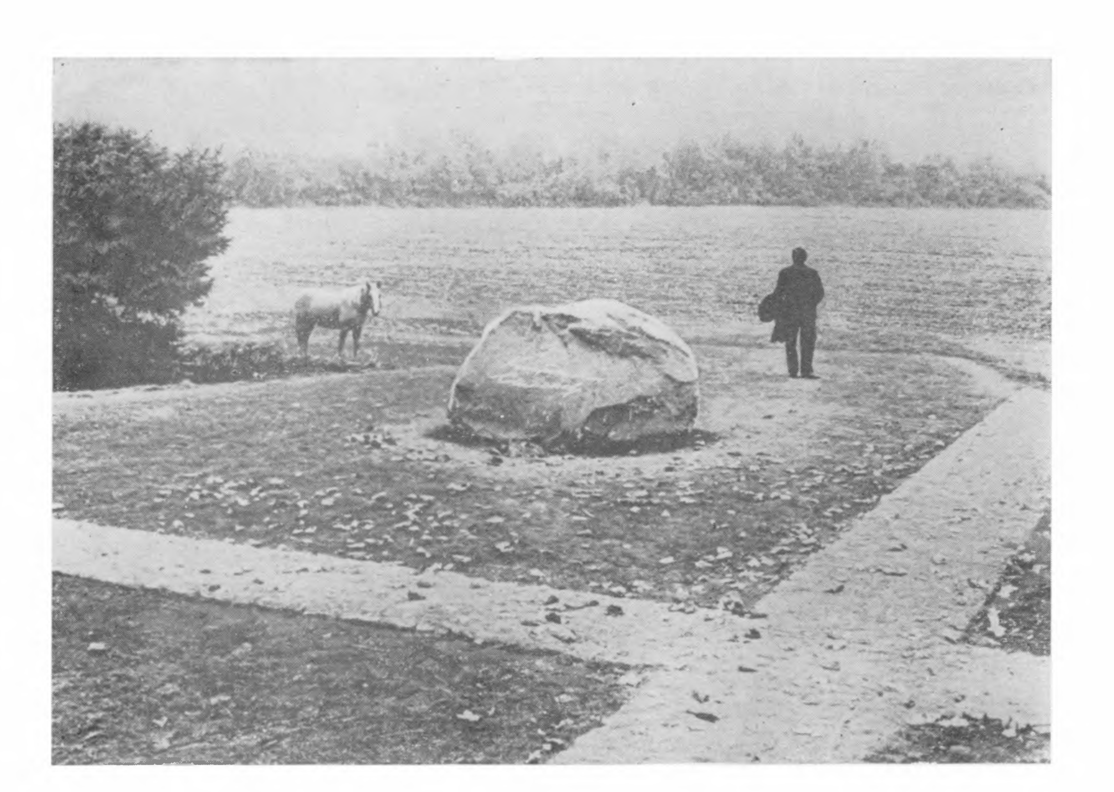
1973

183

То недосуг
самих себя
чинить,
То в спешке
чью-то гибель провороним.
Не оттого ль так
часто
и хороним,
Что некогда друг друга
хоронить.

1974





184. НЕ ТУТ, ТАК ТАМ...

Всё было: страшно и нестрашно,
Казалось, что не там, так тут...
Неужто под конец так важно:
Где три аршина вам дадут?

На том ли, знаменитом, тесном,
Где клином тот и этот свет,
Где требуются, как известно,
Звонки и письма в Моссовет?

Всем, кто любил вас, так некстати
Тот бой, за смертью по пятам!
На слезы — время им оставьте,
Скажите им: не тут — так там...

1974

185

Не хватает меня во времени,
Не хватает меня в пространстве,
Не могу я вынести бремени
Этих бдений и этих странствий.

⟨1975⟩

186. АНГЕЛАМ КРИТИКИ

Сколько б раз ни публиковали вердикты вы,
Сколько б лет ни ловили в поэзии блох, —
От вердиктов рождаются Бенедиктовы,
Но даже не зачинается Блок.

Все попытки зачатия беспорочного,
От святого ли духа, от ангелов критики,
Не давали в поэзии семени прочного,
Если кто и рождался — одни паралитики...

⟨1975⟩

187

Капитану В. В. Михайличенко

Кто в будущее двинулся, держись,
Взад и вперед,
Взад и вперед до пота.
Порой подумаешь:
Вся наша жизнь
Сплошная ледокольная работа.

1975

188

Самих себя, да и печать,
Нам научить бы отличать:
Первымговорящего
От Впередсмотрящего.

1975

189

Памяти Самеда Вургуна

Вот тебе и семьдесят, Самед!
Молодому, дерзкому и нежному.
Всё не верю, вот уж двадцать лет,
Что нельзя обнять тебя по-прежнему.

Есть ушедшие давным-давно,
На кого и до сих пор надеемся,
С кем, с живым ли, с мертвым — всё равно, —
Хлебом правды по привычке делимся...

1976

190. ОПЫТ ВЕРЛИБРА

...Верлибр (фр.) — термин, определяющий широкий и недостаточно ясно очерченный круг явлений в стихосложении XX в.

К. Л. Э., т. VI, стр. 709

Сегодня, перед обедом, пятого сентября,
Я, находясь в Турции,
Вернее, в ее территориальных водах,
Решил, что годы идут
И, чтобы успеть сочинить
Побольше стихов на разные темы,
Мне пора прощаться с рифмами.
Боже мой, сколько времени
Я угробил на их поиски,
Считал, что ищу свои,
А находил чужие.
Чаще всего
Так оно и бывает,
Только не все признаются.

То ли дело верлибр
С его изумительным принципом:
«В огороде бузина,
А в Киеве дядька»,
Который теперь называется
«Потоком сознания»!
Взяв его за основу,
Остается только разбить
Всё, что придет в голову,
На строчки разной длины.
Вот вам и верлибр!

Мы стоим в бухте Книдас,
Боясь ветра
И не боясь радио,
Обрывки которого он доносит,
Обрывки лжи
И обрывки правды...
А у хижины, сложенной из остатков
Греческого театра,
Мальчик борется с ветром,
Таща на веревке козла.

Козел старый, скорее всего родившийся
Еще при императоре Адриане,
А мальчик маленький.
И ветер каждый раз захлопывает
Дверь хижины
Перед самым носом,
А точнее — перед самой бородой козла.
Нас пятеро — двое турок
И трое русских,
Один из них — я, с татарской кровью в жилах,
Что, впрочем, не имеет ни малейшего отношения
Ни к последующему,
Ни к предыдущему.

Нам всем одинаково
Надоел ветер
И надоела вода,
Но, к счастью, не надоело
И никогда не надоест есть,
Тем более что капитан нашей моторки
Готовит прекрасные турецкие блюда
На таком оливковом масле,
Что хочется облизать пальцы
Свои
И даже чужие.
И вдобавок оказывается,
Что турецкая ракия —
Прекрасная вещь для моей печени,
Особенно если ее в меру, до белизны
Разбавлять холодной водой.
Ракию, разумеется,
А не печень.
Капитан удивляется ветру,
Слишком раннему
Для этого времени года,
И вспоминает, как в этой же бухте
Сидел из-за ветра английский посол.
Но это было попозже,
В конце октября.
Бедняга, думаю я о после́,
Наверно, сидел тут без телефона
И волновался, как там его правительство
Без его информации.
А мы ничего, не волнуемся,

Сидим себе и сидим
И думаем только — хватит ли харча
Еще на неделю стоянки.
Так мы живем,
Таковы мои наблюдения
И мысли,
Если их можно назвать мыслями.
Однако в конце для приличия
Надо что-то сказать и о вечности.
Вечность — и слева, и справа,
Остатки домов такого-то века
И остатки храмов такого-то,
И в этих остатках вечности
Кто-то опять копается,
На этот раз, кажется, действительно археологи.
Позавчера мы тоже ходили по вечности
Вместе со стражником в форме
И со словом «музей» на околыше старой фуражки.
Музей когда-нибудь будет,
Хотя иностранцы уже украли
Две головы, мужскую и женскую,
Обе — мраморные,
И один подсвечник,
Если не врут — золотой.
Вечность слева и справа,
А прямо по носу моторки
Тоже вечность, домишко
С небрежно написанным рыжею краской
Вечным, как мир, словом:
«Restorant».
Если ветер продолжится
И у нас не хватит еды,
Мы сядем в ялик
И посетим эту вечность.
Самую реальную из всех.
Такие, как эти, стихи можно писать бесконечно,
Но бумага кончается — и это, увы, реальность,
Жестокая, если угодно.
Если бы я писал это в рифму — ушло бы дней пять,
А так — меньше часа,
Даже жаль, что так быстро,
А еще далеко до обеда...

И если какой-нибудь наш
Отсталый редактор
Не согласится считать
Это стихами —
Отдам их другому,
Более прогрессивному,
Как сделанный мною подстрочник
Для будущего перевода
С русского на турецкий
Или наоборот.
Или еще с какого-то
На еще какой-то.
В общем — чтоб не пропало!
Не знаю, как с этим в Турции,
Но у нас один из поэтов
Уверял меня, что другой
Именно так и делает,
В связи с недостатком времени,
А также из гуманизма:
Во избежание простоев
У своих переводчиков...

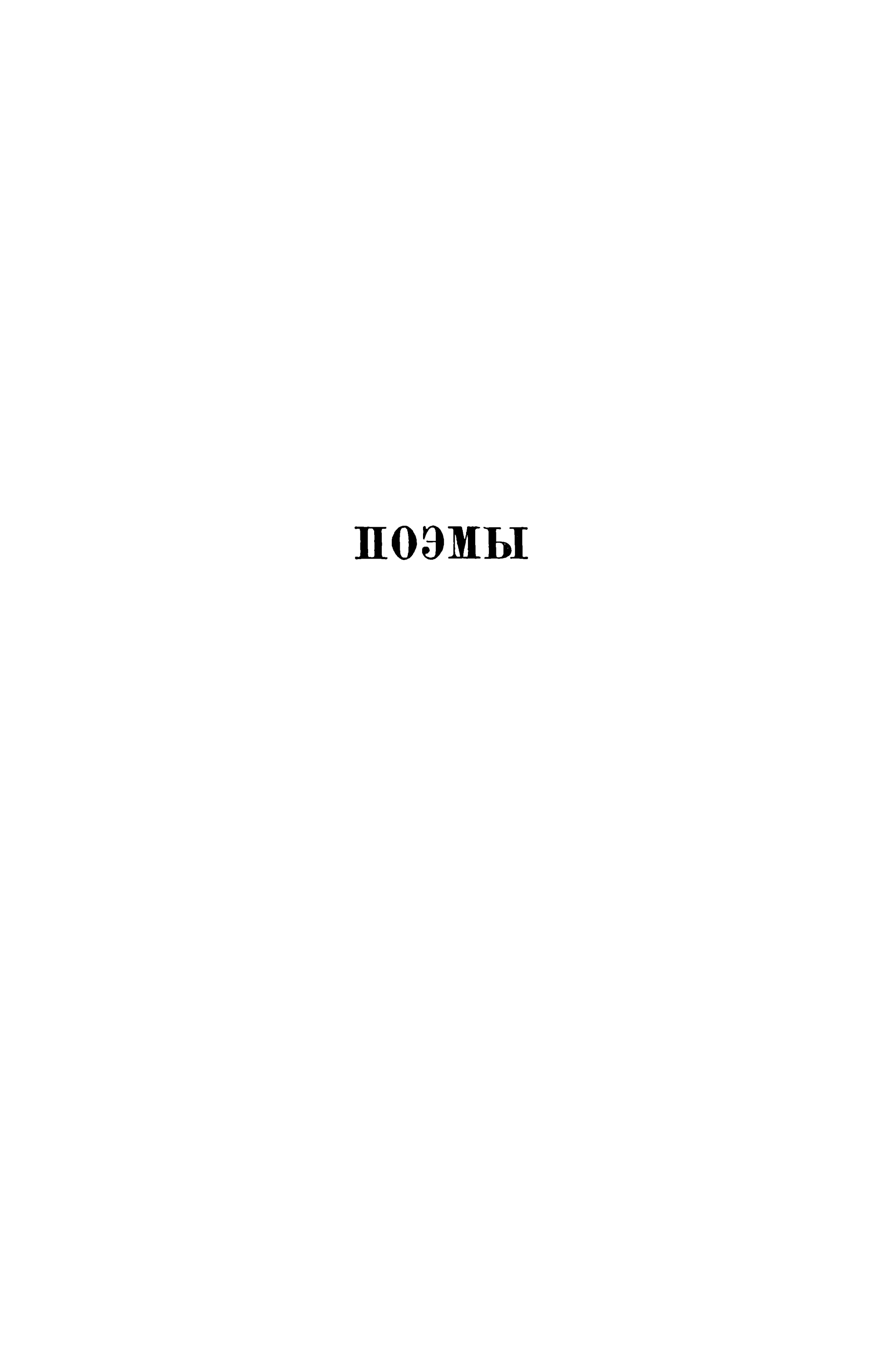
1976

191. НАДПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В ЭФЕСЕ

Нашел средь улиц нежилых
Той древней надписи следы я:
«Не занимайтесь, молодые,
Гимнастикой для пожилых».

Они — отдельно. Вы — отдельно.
Для ваших душ, еще живых,
Боюсь, она — почти смертельна,
Гимнастика для пожилых.

1976



ПОЭМЫ

192. ПОБЕДИТЕЛЬ

Памяти Николая Островского

1

Над крышею липы шумят бесконечно,
Цветут и желтеют. За тонкой стеной
На узкой кровати, железной и вечной,
Лежит человек слепой и больной.
Он пристально смотрит на белое что-то,
Где ничего, кроме стенки, нет,
Туда, где по прежним зрячим расчетам
Должен висеть его старый портрет.
Портрет перевешен. В комнате душно,
Сквозь ставни просачивается жара,
В портрете отражены подушки,
Кровать, два никелевых шара
И, поднимаясь над их сияньем,
Петлицы, ремни и высокий шлем...
Какое грозное расстоянье
Между хозяином дома и тем,
Тем безусым, тем круглоглазым,
Тем, чья юношеская рука
Лежит на огромной и безотказной,
Донельзя сверкающей грани клинка.
Вечером, где-то на полустанке,
Между сраженьем и мертвым сном,
Бродячий фотограф за полбуханки
Заснял его с шашкой, на вороном.
И той же ночью, когда на привале,
Сложив трехлинейки в ближнем углу,
Скудный ужин бойцы жевали,
Разувшись, придвинув ноги к теплу,
В местечко ворвался израненный конник
Лежа ничком на спине коня.

Следом влетели польские кони
И, рассыпаясь, пошли по камням.
Вцепившись в шершавые ручки «максима»,
Он бил наугад от стены до стены.
Словно их ветром с коней сносило,
Шарахались к изгородям паны,
Кони бесились, взмывали круто,
С ходу повертывали назад.
Тогда комиссар, улучив минуту,
Поднял и бросил вперед отряд...
А он, чертыхаясь, бежал с пулеметом,
Отстав от своих на сотню шагов,
Когда на рысях из-за поворота
Лошади вынесли трех врагов.
Он покачнулся, остановился,
В глаза их шляхетские поглядел,
Железную тыкву системы Мильса
Бросил под ноги лошадей.
Кони стали в пыли и в мыле,
Шар завертелся, подпрыгнул, и
Трое панов в поднебесье взмыли,
Отдали богу души свои.
А он, завалясь в придорожную глину,
От небывалой боли дрожа,
Всем телом услышал, как в мокрую спину
Врезаются два стеклянных ножа.

2

Год с небольшим пролежал в лазарете.
Врач на прощанье сказал: «Держись!
Помни, чтоб дольше прожить на свете,
Придется тебе отдыхать всю жизнь».
Состав по разбитым рельсам и шпалам
Его дотащил до родимых мест,
Целые сутки, тревожась, не спал он,
Из окон рассматривая окрест
Кусок опустелого ржавого фронта;
Теплушки разбитые лезли в глаза —
Страна молчаливо ждала ремонта,
И отказать ей было нельзя.
В тысячный раз за окно поглядел он,
Не хуже, чем в школьные времена,

Из смятых рецептов голубя сделал
И, свистнув, пустил его из окна.
С грехом пополам добрался до дома,
Кобель, не узнав, принялся брехать,
Всё дома знакомо и незнакомо,
Дверь отперла постаревшая мать.
Часок повалялся на узкой кушетке,
По двору побродил босиком...
И под вечер тронулся на разведку —
Вставать на партийный учет в губком.

3

А после был медленный мартовский вечер
В злосчастном двадцать восьмом году,
Когда болезнь навалилась на плечи
И властно сказала ему: «Не уйду».
Утром его укачало в дороге.
Едва он вернулся к себе в райком,
Как всё завертелось, и на пороге,
Попятившись, рухнул при всех ничком.
Очнулся при электрическом свете,
Поднялся. Кругом зашептали: «Ложись».
Озлобленно вспомнил: «Чтоб жить на свете,
Придется лекарства жевать всю жизнь!»
В девятом часу привезли на квартиру.
Стянул сапоги; тяжело дыша,
Послал проклятье целому миру
Вещей, решивших ему мешать:
Лестницам с недоступной вершиной,
Порогам, которых не переступить,
Дорогам, болтавшим его машину
С явной целью его убить.
Проклял и вдруг задумался — что же,
Это проклятье значит, что он
На лестницы больше вползать не может,
Переступать порогов не может,
На «форде» своем объезжать не может
Им же вынянченный район.
Калека! — которого держат на службе,
Щадя, пока еще можно щадить,
Которому скажут назавтра по дружбе:
«Пора и на пенсию выходить.

Подлечишься годик, — быть может, поможет,
Быть может, вернешься опять, а пока...»
И верно! Он знает, работа не может
Держаться в дрожащих его руках.
А что же останется? Он огляделся:
Столик, пол-этажерки книг —
За недосугом и войнами с детства
Он слишком редко заглядывал в них, —
Навзничь лежащая гимнастерка,
Старые хромовые сапоги,
Диван, на котором локтями протерты
Примелькавшиеся круги...
Осталась надежда подольше держаться,
Подольше прожить в безнадежно больных:
Но отнимите надежду сражаться —
Нам даром не надо надежд остальных.
Ему надоело перемогаться
Пять с половиною лет подряд!
Наутро с поездом десять двадцать
Он выехал в Ленинград.

4

У двери холодного черного дома
Дважды нажал старомодный звонок.
«Дома ли доктор?» — «Профессор дома».
Он святотатственно пренебрег
Ковриком для вытирания ног...
Потом возвращался неторопливо,
Минуя проспекты, каналы, мосты.
На Марсовом поле от долгих поливок
Взошли удивительные цветы.
Он сел на скамейку и осторожно
Вдыхал левкои и табаки.
Дети сновали по узким дорожкам,
Лепили песочные пирожки.
А завтра больница... Отрывисто, близко
Ломится в серый гранит волна.
Ему ли, солдату, бояться риска,
Леченье — это почти война.
Как в дверь вошел в два года мучений —
Операционных столов, врачей,
Приступов, маленьких облегчений,
Свирепых больничных дней и ночей.

Он верил: кончится эта мука.
Как ни копались в его спине,
Ни разу еще не издал ни звука —
Только глаза отводил к стене.
А спину так часто сшивают и рубят,
Что в промежутках всегда живут:
Привычка облизывать черствые губы,
Привычка подушку свертывать в жгут.
Тот, кто выздоровления жаждет,
Всё позволяет рукам врача.
Врачи не решились его однажды
Хлороформировать. Не крича,
Лежа в не смоченной хлороформом
Сухой повязке, лицом к полотну,
Он слышал, как кожа расторглась покорно,
Когда ланцет ее полоснул.
Он видел пустыми от боли глазами,
Как мир становился тесней и темней, —
Если бы сердце ему вырезали,
Наверное, не было бы страшней.
Но к третьему году он больше не верил.
Довольно. Зачем было ехать сюда,
Когда он не может дойти до двери,
Когда ему палка нужна, когда
После десятков стаканов крови,
Отданных жадным больничным тазам,
Стали седыми виски и брови,
Высохли щеки, ввалились глаза...
Довольно мучиться! Даже птицы
На родину трогаются весной...
Он повернулся ко всем больницам
Своею израненною спиной.
Он в поезде. Ливень о крышу бьется,
Стекла дрожат и гремят, как жесть.
А место с соседом менять придется:
На верхнюю полку теперь не залезть...

5

Медленно, словно влезая в гору,
Добрался до города своего.
Милый город. Любимый город...
Собрать пожитки и вон из него!

Город, свидетель его здоровья,
Теперь, когда он от бессилья стонал,
Вечно стоял бы у изголовья,
О прежней работе напоминал.
Уехать! И вот в городке на Волге
Нашелся ему постоянный приют.
Летом за окнами парни подолгу
Протяжные волжские песни поют,
Зимою за окнами бури подолгу
Ветром и снегом о землю бьют.
Стоит на обрыве над самой Волгой
Одноэтажный дощатый приют:
Он жил в этом доме, еще не веря,
Что правы болезни и доктора.
Как птица, спалившая крылья и перья,
Он пал в этот город. Была пора
Ветров и волнений. Река взрывалась
И выла, когда он попал сюда,
И красное пламя листьев врывалось
И плыло по опустелым садам.
Как ждал он! Нетерпеливо, ужасно,
Необъяснимо, упорно ждал.
В постели, на улице, ежечасно,
Ежеминутно, везде, всегда.
Он ждал потому, что ему невозможным
Казалось безделье. Он ждал потому,
Что слишком невыносимо тревожной
Была тишина в этом тихом дому.
Он знал — не будет выздоровленья...
Но ждал его. Каждое утро ему
Казалось: не так трясутся колени,
Не так он болен. Ждал потому,
Что не поверил в свою тюрьму.
Но в душную полночь под Первое мая
Паралич к стенке его припер.
Лежал неподвижно, не понимая —
На что надеялся до сих пор?
Он вспомнил: цветы на Марсовом поле...
Зеленая утренняя вода...
Ему казалось тогда, что он болен,
Но разве он мог представить тогда:
Пол, потолок и четыре стенки,
Подушки за высохшею спиной,

Чужие, негнущиеся коленки,
Смирно лежащие под простыней.
Светало... За окнами праздничный лагерь;
Единственный «форд» повсюду сновал,
Натиск плакатов, цветов и флагов
В узкую улицу заплывал.
Вот полковые трубы узнал он —
Врывается в окна их медный закон...
Властные звуки «Интернационала»
В постели навытяжку слушает он.
И братская медь поднимает и будит,
Сурово толкает его вперед,
И кажется, долго он жить еще будет
И не скоро еще умрет.

6

Под вечер заехал товарищ хороший,
Большой, неуклюжий, еще молодой,
С усами, торчащими над заросшей
Тронутой проседью бородой.
Они обнялись. На одно мгновенье
Гость испугался, что закричит
От страшного птичьего прикосновенья
Колких плечей и острых ключиц.
Ему неожиданно захотелось
Сжаться, сузиться самому,
Спрятать свое огромное тело —
Здоровье свое показалось ему
Почти оскорбительным в этом доме,
Где умирали. И стало вдруг
Стыдно своих железных ладоней,
Каменных бицепсов, сильных рук.
Как неуютно и одиноко...
Товарищ долго стоял у стены,
Где жили давно отслужившие сроки
Армейские френчи, шинели, штаны.
Там из проношенного кармана,
Словно за старым владельцем следя,
Торчала тяжелая ручка нагана,
На искушение наводя.
Больной, приподнявшись на изголовье,
Увидел, как робко, исподтишка,

Шершавую ручку нагана ловит
Неловкая дружеская рука
И, выловив, прячет его небрежно
В свой широченный синий карман.
Первое чувство — большая нежность
За этот неловкий и милый обман.
И сразу же чувство пренебреженья
К тому, кто посмел испугаться, что он
В минуту горечи и раздраженья
Использует в личных целях патрон.
Сердито сказал: «Положи на место,
Меня рановато еще стеречь...»
И так взволновался, что с этого места
У них не клеилась дальше речь.
Больного отчаянно раздражала
И эта забота, и эта жалость,
И та безнадежность, с какой, очевидно,
Старый товарищ отнесся к нему;
Безнадежность была обидна,
Жалость была ему ни к чему.
Хотел в лицо закричать, что, быть может,
Еще неизвестно, кто больше из них
Назавтра партийному делу поможет
По мере сегодняшних сил своих.
И, подтянуться стремясь наружно,
Кашель пытался прикрыть платком.
Они расстались раньше, чем нужно,
С обидным, отчетливым холодком.

7

Пока еще много дневного света,
Пока еще только ночами темно,
Пока еще ливни листьев и веток
Врываются в узкое это окно.
Пока еще зренье не ослабело,
И веки еще не в слепых слезах,
И мир не сделался вечно белым
И вечно черным в твоих глазах —
Надо начать учиться, учиться,
Школьником надо себя считать.
Пока слепота еще только стучится,
Долго и яростно надо читать...

Книги, прошедшие сквозь его руки,
Как будто лесник прошел с топором,
Носили на теле своем зарубки
Ногтем, карандашом и пером.
Болезнь не дремала всё это время.
Едва приподнявшись, его рука
Падает, как непосильное бремя,
В яму пружинного тюфяка.
Глаза его слепнут. Всё реже и реже
Они отдыхают. При свете огня
Зрачки нестерпимо мучительно режет,
Зато он читает по целым дням.
И что ж о глазах толковать впустую —
Врачами сосчитаны зрячие дни.
Пускай хоть они у него не пустуют,
Пусть подлинно зрячими будут они.
Но по ночам, несмотря на старанье
Жадно и несговорчиво жить,
Сознание скорого умиранья
Руки спешит на него наложить.
И сразу нелепо, непостижимо —
К чему он читает книги, к чему?
Он, ослабевший и недвижимый,
Хочет всё новых знаний — кому
Вручит он свои запоздалые знанья?
Если, всего безногий пока,
Не нынче, так завтра в полном сознанье
Лишится зрения и языка
И, обладая единственно слухом,
Станет бездонным колодцем, куда
Последние мысли скатятся глухо,
Но из которого — никогда!

8

В августе слег с воспалением легких,
Если к нему применимо — слег.
Совсем исхудавши, сделался легким,
Неощутимым, как мотылек.
Таким, что, когда освежали воздух,
Сосед, легко приподняв с тюфяка,
Его выносил осторожно, как воду,
Держа на вытянутых руках.

Так слепота его и застала
В жару и беспамятстве. Сквозь забытье
Он слышал, как книгу сиделка листала,
Смотрел и не видел пальцев ее.
Очнувшись, взглянул в потолок. Показалось,
Что потолок, как всегда, над ним
Темный и низкий. Но оказалось,
Что потолком, неизменным, одним,
Покрыты все окна, двери и вещи...
С правой и левой его руки,
Снизу и сверху в глазах зловеще
Стоят почерневшие потолки.
Пришла слепота. Задыхаясь и плача,
Он неотступно думал о ней.
И, ничего для него не знача,
Шли перемены ночей и дней.
Бессилье росло в его теле усталом,
Но, сжатый усталостью этой в тиски,
Единственно, кажется, что не устал он, —
Надеяться, всем и всему вопреки.
Давно уж без горечи видеть не мог он,
В газетные вглядываться листы,
Там строили шлюзы, там грызли горы,
Там все его спрашивали: «А ты?»
Давно уж без горечи видеть не мог он,
А всё же глядел, затаясь, не дыша,
На роты, ходившие мимо окон,
Штыками полязгивая и спеша.
В медленных гусеничных разговорах,
В шуме моторов он слышал укор
Себе, командиру запаса, который
Не сможет явиться на лагерный сбор,
Себе, которого старые раны
Лишили почетного званья бойца...
С какой бы охотой рубцы ветерана
Сменил он на крепкие руки юнца,
С какой бы охотой по первой тревоге
В мешок положил консервы и хлеб —
И снова на Запад по старой дороге...
Но это химеры! Он болен. Он слеп.
Он должен подумать о том, что осталось.
Он думал. Он трезво учел слепоту.
Ему не спалось. Не жилось. Не читалось.
Ему надоело смотреть в темноту.

Душными летними вечерами
Он оставался один на один
С грохочущим радио. И в мембране
Слышался треск раздираемых льдин.
Шли ледоколы. Ворчал экскаватор.
Катились цистерны. Потом тишина.
Откуда-то из-за Альп глуховато
К нему догромыхивала война.
Потом на седьмом пограничном знаке
Отрывисто тявкал чужой пулемет —
Желтые люди в мундирах хаки
Кричали «банзай», бежали вперед
И падали, сбитые пограничной
Тяжелою пулей. Амур скрежетал.
Пахло войной. В мембране привычной
Тревожно и зло сотрясался металл.
Война! .. Ловя содроганье металла,
Больной себя чувствовал на часах:
Война! .. А у юношей не хватало
Мужской суровости в голосах,
Предгрозья холодного ощущенья,
Спокойствия пополам со смешком,
Даваемых только ближайшим общеньем
С винтовкою и вещевым мешком.
А он это знал! В нем скопилось за годы
Всё то, что, как хлеб, им нужно сейчас,
Из опыта битв, переходов, походов
Готов уделить он львиную часть.
Проклятая немощь! Как долго и сложно!
Как сможет он людям теперь одолжить
Всё, что пришлось коммунисту в тревожной,
В трудной жизни своей нажить.
Как передать привычку сражаться,
Острое фронтовое чутье,
Умение жадно за жизнь держаться
И отдавать, когда нужно, ее.
Старую дружбу свою с поездами,
Хорошую странность бродить пешком,
Привычку к легкому чемодану
Со сменой белья и зубным порошком...
Про всё рассказать, чтобы поняли, чтобы
Их за душу взяли его слова,
Чтоб перед смертью, упрям до гроба,
Он снова вошел бы в свои права

Бойца. Но для этого надо, однако,
Писать. Сочинять. Составлять дневники,
А он не писатель — он старый вояка.
Строчить сочиненья ему не с руки.
Но всё, чему был он в жизни свидетель,
Ему говорило, как дважды два:
Не счастье, не кислая добродетель,
Не ловко расставленные слова —
Сегодня на свете чего-то стоят
Люди, прошедшие гром и дым.
Мужество века, как штык простое,
Сегодня дорого молодым.
Он заработал суровое право —
По жизни людей провести за собой:
Вот здесь я направо пошел — направо,
Вот здесь я сражался — идите в бой!
Так, значит, писать! Может, очень просто,
Гораздо проще, чем их пережить,
Своих поступков жестокую поступь
В такие же строчки переложить?

9

Каждое утро жена терпеливо,
В молчанье, боясь его мысли прервать,
Ждала, пока он не начнет торопливо,
Захлебываясь, диктовать.
А он отдиктует и вновь собирает,
Залпом бросает пятнадцать фраз,
И снова трагически не поспевает
Их карандаш записать зараз.
Снова длительное молчанье.
Женщина, думая — он уснул,
Скрывается, мягко пожав плечами,
Боясь помешать короткому сну.
А он, наконец совладав с изложеньем,
Страницу отдиктовав не спеша,
Вдруг слышит, что в комнате нет скольженья,
Короткого скрипа карандаша...
Фразы перемежались с молчаньем,
Слова вылетали из головы.
Между началом и окончаньем
Ложились шершавые грубые швы.

Тогда он подыскивал фразы короче,
Слова подгонял одно к одному,
Так, чтобы строй их был прост и прочен
И сразу запоминался ему.
Он много писал о друзьях, о погодках,
Но даже займись он собою одним,
Всё поколенье военной походкой
Пришло бы и встало в затылок за ним.

10

Полдень. За окнами душное лето.
Скорей бы уже разразилась гроза!
Он от невидимого портрета
Отводит невидящие глаза.
Он чувствует: близкий конец наступает.
На маленьком столике в головах
Лежит, еще мокрая и слепая,
Последняя начатая глава.
Он чувствует: близкий конец наступает.
Он даже не может поднять руки,
Боль, неотвязная и тупая,
Ему продавливает виски.
Домашние, с вечными их слезами,
Подчеркнуто бодрые доктора...
Он видит своими слепыми глазами —
Лафет приготовлен. Ему пора.
Но он не желает. Еще неделю!
Он должен докончить работу. И вот,
Как бы врачи на него ни глядели,
Он против всех правил еще живет.
Они предлагали с ненужной заботой
Оставить писанье — наивный народ.
Для них непонятно, что, бросив работу,
Он в ту же минуту, наверно, умрет.
Все удивляются! Щупают тело —
Где жизнь в нем засела? Им невдомек,
Что человек, не докончив дела,
В могилу сойти не хотел и не мог.
А дом еще спит... Поскорее! Снова...
Не чинены с вечера карандаши.
«Не обижайся, прости больного,
Мне очень некогда! Сядь, пиши!»

11

Вчера, опровергнув никчемные сроки,
Он умер. С улыбкой на желтом лице
Лежит он, докончив последние строки,
Последнюю точку поставив в конце.
Его через город везут на лафете,
Как павших на службе народу бойцов.
Он улыбается. Даже дети
Без страха смотрят ему в лицо.
Мне кажется, он подымается снова,
Мне кажется, жесткий сомкнутый рот
Разжался, чтоб крикнуть последнее слово,
Последнее гневное слово — «вперед!».
Пусть каждый, как найденную подкову,
Себе это слово на счастье берет.
Суровое слово, веселое слово,
Единственно верное слово — «вперед!».
Слышишь, как порохом пахнуть стали
Передовые статьи и стихи?
Перья штампуют из той же стали,
Которая завтра пойдет на штыки.

1937

193. ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1918 ГОД

Всю ночь гремела канонада.
Был Псков обложен с трех сторон.
Красногвардейские отряды
С трудом пробились на перрон.

И следом во мгновенье ока
Со свистом ворвались сюда
Германцами до самых окон
Напичканные поезда.

Без всякой видимой причины
Один состав взлетел к чертям.
Сто три немецких нижних чина,
Три офицера были там.

На рельсах стыли лужи крови,
Остатки мяса и костей.
Так неприветливо во Пскове
Незваных встретили гостей!

В домах скрывались, свет гасили,
Был город темен и колюч.
У нас врагу не подносили
На золоченом блюде ключ.

Для устрашенья населенья
Был собран на Сенной парад.
Держа свирепое равненье,
Солдаты шли за рядом ряд.

Безмолвны и длинны, как рыбы,
Поставленные на хвосты;
Сам Леопольд Баварский прибыл
Раздать Железные кресты.

Германцы были в прочных касках,
Пронумерованных внутри
И сверху выкрашенных краской
Концерна «Фарбен Индустри».

А население молчало,
Смотрел в молчанье каждый дом.
Так на врагов глядят сначала,
Чтоб взять за глотку их потом.

Нашлась на целый город только
Пятерка сукиных детей,
С подобострастьем, с чувством, с толком
Встречавших «дорогих» гостей.

Пять городских землевладельцев,
Решив урвать себе кусок,
Сочли за выгодное дельце
Состряпать немцам адресок.

Они покорнейше просили:
Чтоб им именья возвратить,
Должны германцы пол-России
В ближайший месяц отхватить.

Один из них в особом мненье
Просил Сибири не забыть,
Он в тех краях имел именье
И не хотел внакладе быть.

На старой, выцветшей открытке
Запечатлелся тот момент:
Дворянчик, сухонький и жидкий,
Читает немцам документ.

Его козлиная бородка
(Но он теперь бородку сбрил!),
Его повадка и походка
(Но он походку изменил!),

Его шикарная визитка
(Но он давно визитку снял!) —
Его б теперь по той открытке
И сам фотограф не узнал.

Но если он не сдох и бродит
Вблизи границы по лесам,
Таких, как он, везде находят
По волчьим выцветшим глазам.

Он их не скроет кепкой мятой,
Он их не спрячет под очки,
Как на открытке, воровато
Глядят знакомые зрачки.

А немец, с ним заснятый рядом,
В гестапо где-нибудь сидит
И двадцать лет всё тем же взглядом
На землю русскую глядит.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1240—1242 ГОДЫ

...перевѣтъ держаче съ Нѣмци Пльсковичи и подъвели ихъ Твердило Иванковичь съ инѣми, и самъ поча владѣти Пльсковомъ съ Нѣмци, воюя села Новгородьская.

Новгородская Первая Летопись

Два дня, как Псков потерян нами,
И видно на сто верст окрест —
Над башней орденское знамя:
На белом поле черный крест.

В больших посадничьих палатах,
С кривой усмешкой на устах,
Сидит ливонец в черных латах
С крестами в десяти местах.

Сидит надменно, как на пире,
Поставив черный шлем в ногах
И по-хозяйски растопыря
Ступни в железных башмаках.

Ему легко далась победа,
Был мор, и глад, и недород.
На Новгород напали шведы,
Татары были у ворот.

Князек нашелся захудалый,
Из Пскова к немцам прибежав,
Он город на словах отдал им,
За это стол и кров стяжав.

Когда Изборск был взят измором
И самый Псков сожжен на треть,
Нашлись изменники, которым
Не дало вече руки греть.

Былого лишены почета,
Они, чтоб власть себе вернуть,
Не то что немцам — даже черту
Могли ворота распахнуть...

Ливонец смотрит вниз, на вече,
На черный плавающий дым.
Твердило — вор и переветчик —
Уселся в креслах рядом с ним.

Он был и в Риге, и в Вендене,
Ему везде кредит открыт,
Он, ластясь к немцу, об измене
С ним по-немецки говорит.

Он и друзья его просили
И просят вновь: собравши рать,
Должны ливонцы пол-России
В ближайший месяц отобрать.

Но рыжий немец смотрит мимо,
Туда, где, свесившись с зубцов,
Скрипят веревками под ними
Пять посиневших мертвецов.

Вчера, под мокрый вой метели,
В глухом проулке псковичи
На трех ливонцев налетели,
Не дав им выхватить мечи.

Но через час уже подмога
Вдоль узких уличек псковских
Прошла кровавою дорогой,
Топча убитых и живых.

Один кузнец, Онцыфор-Туча,
Пробился к городской стене
И вниз рванулся прямо с кручи
На рыцарском чужом коне.

За ним гнались, но не догнали,
С огнем по городу прошли,
Кого копьем не доконали,
Того веревкой извели.

Они висят. Под ними берег,
Над ними низкая луна,
Немецкий комтур Герман Деринг
Следит за ними из окна.

Он очень рад, что милосердный
Любезный рыцарский господь
Помог повесить дерзких смердов,
Поднявших руку на господ.

Они повешены надежно,
Он опечален только тем,
Что целый город невозможно
Развесить вдоль дубовых стен.

Но он приложит все усилья,
Недаром древний есть закон:
Где рыцаря на пядь впустили,
Там всю версту отхватит он.

Недаром, гордо выгнув выи,
Кривые закрутив усы,
Псковские топчут мостовые
Его христианнейшие псы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

...а иніи Пльсковичи вбѣжаша въ Новъгородъ, съ женами и съ дѣтьми...

Новгородская Первая Летопись

Уйдя от немцев сажен на сто,
Онцыфор, спешась, прыгнул в лес,
По грязи, по остаткам наста
С конем в овраг глубокий влез.

Он мимо пропустил погоню,
И конь не выдал — не заржал.
Недаром в жесткие ладони
Онцыфор храп его зажал.

Скорее в Новгород приехать!
Без отдыха, любой ценой!
Пусть длинное лесное эхо
Семь суток скачет за спиной!

Еще до первого ночлега
Заметил чей-то синий труп
И под завязшею телегой
Уже распухший конский круп.

Потом телеги шли всё чаще,
И люди гнали напролом
Сквозь колкие лесные чащи,
Сквозь голый волчий бурелом.

Бросали дом и скарб и рвались
Из Пскова в Новгород. Всегда
Врагам России доставались
Одни пустые города.

На третий день над перевозом
Он увидал костры, мешки
И сотни сбившихся повозок
У серой вздувшейся реки.

Все ждали здесь, в грязи и стуже,
Чтоб лед с верховий пронесло.
Онцыфор снял с себя оружье,
С коня тяжелое седло.

На мокрый камень опустившись,
Стянул сапог, потом другой
И, широко перекрестившись,
Шагнул в волну босой ногой.

От стужи челюсти стучали,
С конем доплыл до скользких скал.
С другого берега кричали,
Чтоб в Новгород скорей скакал.

От холода себя не помня,
Он толком слов не расслыхал,
Но в знак того, что всё исполнит,
Промокшей шапкой помахал.

Сквозь дождь и град, не обсыхая,
Онцыфор весь остаток дня
Гнал в Новгород, не отдыхая,
От пены белого коня.

Под вечер на глухом проселке
Среди затоптанной земли
На конский след напали волки
И с воем по следу пошли.

Но конь не выдал, слава богу,
Скакал сквозь лес всю ночь, пока
Не рухнул утром на дорогу,
Об землю грохнув седока.

Хозяин высвободил ногу,
Дорогу чертову кляня,
Зачем-то пальцами потрогал
Стеклянный, мокрый глаз коня.

Была немецкая коняга,
А послужила хорошо...
И запинающимся шагом
Онцыфор в Новгород пошел.

Да будь хоть перебиты ноги,
В дожде, грязи и темноте
Он две, он три б таких дороги
Прополз молчком на животе.

Был час обеденный. Суббота.
Конец торговле наступал,
Когда сквозь Спасские ворота
Онцыфор в Новгород попал.

Крича налево и направо,
Что псам ливонским отдан Псков,
Он брел, шатаясь, между лавок,
Навесов, кузниц и лотков.

И, наспех руки вытирая,
В подполья пряча сундуки,
В лари товары запирая,
На лавки вешая замки,

Вдоль всех рядов, толпой широкой,
На вече двинулись купцы,
Меньшие люди, хлебопеки,
Суконщики и кузнецы.

Вслед за посадником степенным,
Под мышки подхватив с земли,
На возвышенье по ступеням
Онцыфора приволокли.

И, приподнявшись через силу,
Окинув взглядом всё кругом,
Он закричал, стуча в перила
Костлявым черным кулаком:

«Был Псков — и нету больше Пскова,
Пора кольчуги надевать,
Не то и вам придется скоро
Сапог немецкий целовать!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На волость на Новогородскую въ то время наидоша Литва, Нѣмци, Чюдь и поимаша по Лугу кони вси и скотъ, не на чемъ и орати по селомъ...

Летопись Первая Софийская

...послаша Новгородци Спиридона владыку по князя Александра Ярославлича.

Летопись Авраамки

Ливонцы в глубь Руси прорвались,
Дошли до Луги, Тесов пал.
Под самый Новгород, бахвалясь,
Ливонский мейстер подступал.

Пергамент подмахнув готовый,
Подвесив круглую печать,
Сам папа их поход крестовый
Благословил скорей начать.

Вели войну в ливонском духе:
Забрали всё, что можно брать;
Детишки мрут от голодухи,
По селам не на чем орать.

Враг у ворот, а князь в отъезде,
Который месяц шел к концу,
Как он со всей дружиной вместе
В Переяславль ушел к отцу.

На то нашлась своя причина:
Князь Александр был мил, пока
Громила шведа и немчина
Его тяжелая рука.

Но, в Новгород придя с победой,
Он хвост боярам прищемил
И сразу стал не лучше шведа
Для них — не прошен и не мил.

Бояре верх на вече взяли,
Заткнув меньшому люду рот,
Дорогу князю показали
И проводили до ворот.

Теперь, когда с ливонской сворой
Пришлось жестоко враждовать,
Пошли на вече ссоры, споры:
Обратно звать или не звать.

Бояр с владыкою послали,
Но, кроме этих матерых,
Меньшими выбрали послами
Похудородней пятерых.

Чтоб князь верней пришел обратно,
Чтоб он покладистее был,
Послали тех людишек ратных,
С которыми он шведа бил.

Он помнил их — они на вече
Боярам всем наперекор
За князя поднимали речи
И с топорами лезли в спор.

Послали их, и к ним в придачу,
Чтоб вышли просьбы горячей,
Послали, выбрав наудачу,
Двоих спасенных псковичей.

Онцыфор ехал вместе с ними;
К Переяславлю десять дней
Пришлось дорогами лесными
Хлестать заморенных коней.

Уж третий день, как всё посольство
Ответа ждет, баклуши бьет
И, проклиная хлебосольство,
В гостях у князя ест и пьет.

И, громыхая сапогами,
Уж третий день посольский дом
Большими меряет шагами
Архиепископ Спиридон.

Возок сломался — не помеха,
За пояс рясу подоткнув,
Он треть пути верхом проехал,
Ни разу не передохнув.

Он был попом военной складки,
Семь лет в ушкуйниках ходил
И новгородские порядки
До самой Вятки наводил.

Ему, вскормленному войною,
И нынче было б нипочем
И заменить стихарь бронею
И посох пастырский — мечом.

Три дня терпел он униженья,
Поклоны бил, дары носил,
Три дня, как снова на княженье
Он князя в Новгород просил;

Князь не торопится с ответом —
То водит за нос, то молчит...
Епископ ходит до рассвета
И об пол посохом стучит.

. . . .

С рассветом встав, Онцыфор рядом
С другим приезжим псковичом
Прошел разок Торговым рядом,
Расспрашивая, что почем.

Товар пощупал по прилавкам,
Послушал колокольный гуд,
Сказал купцам переяславским,
Что против Пскова город худ.

Пошли назад. У поворота
В одной из башен крепостных,
Скрипя, раздвинулись ворота,
И князь проехал через них.

На скрип запора повернувшись,
Увидев княжеский шелом,
Два псковича, перемигнувшись,
Ему ударили челом.

Он задержался, поневоле
Их грудью конскою тесня.
«Бояре вас прислали, что ли?
Хотят разжалобить меня?»

Был жилист князь и тверд как камень,
Но не широк и ростом мал,
Не верилось, что он руками
Подковы конские ломал.

Лицом в отцовскую породу,
Он от всего отдельно нес
Большой суровый подбородок
И крючковатый жесткий нос.

Сидел, нахохлившись, высоко
В огромном боевом седле,
Как маленький и сильный сокол,
Сложивший крылья, на скале.

Не отзываясь, глядя прямо
В насечку княжеской брони,
Онцыфор повторял упрямо:
«От немцев нас оборони!»

Князь усмехнулся и внезапно,
Коня хлестнувши ремешком,
Поворотил его на запад
И погрозился кулаком.

Потом спросил сердито, быстро:
Как немцы вооружены,
Кого назначили в магистры
И крепко ль с Данией дружны.

И по глазам его колючим,
И по тому, как злился он,
Онцыфор понял — немцам лучше,
Не ждя его, убраться вон.

Онцыфор поднял к небу руку
В ожогах, в шрамах, в желваках
И закричал на всю округу,
Чтоб слышал бог на облаках:

«Пусть черт возьмет меня в геенну,
Пусть разразит на месте гром,
Когда я на псковскую стену
Не влезу первый с топором.

Коль не помру до той минуты,
Авось увидишь, князь, меня!»
Князь повернул на месте круто
И молча прочь погнал коня.

Был князь злопамятен. Изгнанья
Он новгородцам не простил,
Весь город плачем и стенаньем
Его б назад не возвратил.

Обиды не были забыты,
Он мог бы прочь прогнать посла,
Но, покрывая все обиды,
К пришельцам ненависть росла.

Острей, чем все, давно он слышал,
Как в гости к нам они ползут,
Неутомимее, чем мыши,
Границу русскую грызут.

Они влезают к нам под кровлю,
За каждым прячутся кустом,
Где не с мечами — там с торговлей,
Где не с торговлей — там с крестом.

Они ползут. И глуп тот будет,
Кто слишком поздно вынет меч,
Кто из-за ссор своих забудет
Чуму ливонскую пресечь.

Князь клялся раз и вновь клянется:
Руси ливонцам не видать.
Он даже в Новгород вернется,
Чтоб им под зад коленкой дать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Онъ же вскорѣ градъ Псковъ изгна и Нѣмець изсѣче, а инѣхъ повяза и градъ освободи отъ безбожныхъ Нѣмець...

Псковская Вторая Летопись

Князь первым делом взял Копорье,
Немецкий городок сломал,
Немецких кнехтов в Приозерье
Кого убил, кого поймал.

Созвав войска, собрав обозы,
Дождавшись суздальских полков,
Зимой, в трескучие морозы
Он обложил внезапно Псков.

Зажат Великой и Псковóю,
Дубовой обведен стеной,
Псков поднимался головою
Над всей окрестной стороной.

А над высокими стенами,
Отрезав в город вход и въезд,
Торчало орденское знамя —
На белом поле черный крест.

Построясь клином журавлиным,
Из-за окрестного леска
К полудню в псковскую долину
Ворвались русские войска.

Сам князь, накинув кожух новый
Поверх железной чешуи,
Скакал прямым путем ко Пскову,
Опередив полки свои.

Шли псковичи и ладожане,
Шли ижоряне, емь и весь,
Шли хлопы, смерды, горожане —
Здесь Новгород собрался весь.

На время отложив аршины,
Шли житьи люди и купцы,
Из них собрали по дружине
Все новгородские концы.

Неслись, показывая удаль,
Дружины на конях своих;
Переяславль, Владимир, Суздаль
Прислали на подмогу их.

Повеселевший перед боем,
Седобородый старый волк,
Архиепископ за собою
Вел конный свой владычный полк.

В подушках прыгая седельных,
Вцепясь с отвычки в повода,
Бояре ехали отдельно,
За каждым челядь в два ряда.

Всех, даже самых старых, жирных,
Давно ушедших на покой,
Сам князь из вотчин их обширных
Железной выудил рукой.

Из них любой когда-то бился,
Ходил за Новгород в поход,
Да конь издох, поход забылся,
И меч ржавел который год.

Но князь их всех лишил покоя —
Чем на печи околевать,
Не лучше ль под стеной псковскою
Во чистом поле воевать?

Уже давно бояре стали
Нелюбы князю. Их мечам,
Доспехам их из грузной стали,
Их несговорчивым речам

Предпочитал людишек ратных
В простой кольчуге с топором —
Он испытал их многократно
И поминал всегда добром!

Во всю дорогу он, со злости
Со всеми наравне гоня,
Не дал погреть боярам кости,
Ни снять броню, ни слезть с коня.

. . . .

Всходило солнце. Стало видно —
Щиты немецкие горят.
Ливонцы на стенах обидно
По-басурмански говорят.

Князь в боевом седле пригнулся,
Коня застывшего рванул,
К дружине с лету повернулся
И плеткой в воздухе махнул.

На башнях зная каждый выступ,
Зацепки, щелки и сучки,
В молчанье первыми на приступ
Псковские ринулись полки.

Князь увидал, как бородатый
Залезть на башню норовил
Псковича, с которым он когда-то
В Переяславле говорил.

Онцыфор полз всё выше, выше,
Рукою доставал карниз,
С трудом вскарабкался на крышу
И вражье знамя сдернул вниз.

В клочки полотнище порвавши,
Он отшвырнул их далеко
И, на ладони поплевавши,
Из крыши выдернул древко.

Был Псков отбит. У стен повсюду
Валялись мертвые тела.
И кровь со стуком, как в посуду,
По бревнам на землю текла,

А на стене, взывая к мести,
Всё так же свесившись с зубцов,
Качались в ряд на старом месте
Пять полусгнивших мертвецов.

Они в бою с незваным гостем
Здесь положили свой живот,
И снег и дождь сечет их кости,
И гложет червь, и ворон рвет.

Схороним их в земных потемках
И клятву вечную дадим —
Ливонским псам и их потомкам
Ни пяди мы не отдадим!

Был Псков опустошен пожаром,
В дома завален снегом вход —
Христовы рыцари недаром
Тут похозяйничали год.

Князь Александр расположился
В той горнице, где комтур жил.
Как видно, комтур тут обжился —
Валялась плеть из бычьих жил,

В печи поленья дотлевали,
Забытый пес дремал в тепле
И недопитые стояли
Два фряжских кубка на столе.

Сам комтур словно канул в воду,
Метель закрыла все пути.
В такую чертову погоду
Ему далеко не уйти.

Под топорами боевыми
Все остальные полегли.
Всего троих сгребли живыми
И к Александру привели.

Они вели себя надменно,
Вполне уверены, что князь
Их всех отпустит непременно,
На выкуп орденский польстясь.

Один из них, отставив ногу,
Губами гордо пожевал,
Спросил по-русски князя: много ль
Тот взять за них бы пожелал?

Князь непритворно удивился:
Ливонцев сызмальства любя,
Он сам скорей бы удавился,
Чем отпустил их от себя.

А чтоб им жить, на Псков любуясь,
Чтоб сверху город был видней,
Пусть башню выберут любую,
И он повесит их на ней.

Наутро, чуть еще светало,
Князь приказал трубить в рога:
Дружинам русским не пристало,
На печке сидя, ждать врага.

Скорей! Не дав ему очнуться,
Не давши раны зализать,
Через границу дотянуться,
В берлоге зверя наказать.

Был воздух полон храпом конским,
Железным звяканьем удил.
На запад, к рубежам ливонским,
Князь ополчение водил.

И, проходя под псковской башней,
Войска видали в вышине,
Как три властителя вчерашних
Висели молча на стене.

Они глядели вниз на ели,
На сотни верст чужой земли,
На всё, чем овладеть хотели,
Но, к их досаде, не смогли.
. . . .

Коням в бока вгоняя шпоры,
Скакали прочь под гром подков
Ливонец и князек, который
Им на словах запродал Псков.

Два друга в Ригу за подмогой
Спешили по глухим лесам
И мрачно грызлись всю дорогу,
Как подобает грызться псам.

Сжимая в ярости поводья,
Князька ливонец укорял:
«Где Псков? Где псковские угодья,
Что на словах ты покорял?

Зачем ты клялся нам напрасно,
Что плохи русские войска? ..»
И кулаком, от стужи красным,
Он тряс под носом у князька.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

...и бысть сѣча ту велика Нѣмцемъ и Чюди...

Новгородская Первая Летопись

На голубом и мокроватом
Чудском потрескивавшем льду
В шесть тыщ семьсот пятидесятом
От сотворения году,

В субботу, пятого апреля,
Сырой рассветною порой
Передовые рассмотрели
Идущих немцев темный строй.

На шапках — перья птиц веселых,
На шлемах — конские хвосты.
Над ними на древках тяжелых
Качались черные кресты.

Оруженосцы сзади гордо
Везли фамильные щиты,
На них гербов медвежьи морды,
Оружье, башни и цветы.

Всё было дьявольски красиво,
Как будто эти господа,
Уже сломивши нашу силу,
Гулять отправились сюда.

Ну что ж, сведем полки с полками,
Довольно с нас посольств, измен,
Ошую нас Вороний Камень
И одесную нас Узмень.

Под нами лед, над нами небо,
За нами наши города,
Ни леса, ни земли, ни хлеба
Не взять вам больше никогда.

Всю ночь, треща смолой, горели
За нами красные костры.
Мы перед боем руки грели,
Чтоб не скользили топоры.

Углом вперед, от всех особо,
Одеты в шубы, в армяки,
Стояли темные от злобы
Псковские пешие полки.

Их немцы доняли железом,
Угнали их детей и жен,
Их двор пограблен, скот порезан,
Посев потоптан, дом сожжен.

Их князь поставил в середину,
Чтоб первый приняли напор, —
Надежен в черную годину
Мужицкий кованый топор!

Князь перед русскими полками
Коня с разлета повернул,
Закованными в сталь руками
Под облака сердито ткнул.

«Пусть с немцами нас бог рассудит
Без проволочек тут, на льду,
При нас мечи, и, будь что будет,
Поможем божьему суду!»

Князь поскакал к прибрежным скалам,
На них вскарабкавшись с трудом,
Высокий выступ отыскал он,
Откуда видно всё кругом.

И оглянулся. Где-то сзади,
Среди деревьев и камней,
Его полки стоят в засаде,
Держа на привязи коней.

А впереди, по звонким льдинам
Гремя тяжелой чешуей,
Ливонцы едут грозным клином —
Свиной железной головой.

Был первый натиск немцев страшен.
В пехоту русскую углом
Двумя рядами конных башен
Они врубились напролом.

Как в бурю гневные барашки,
Среди немецких шишаков
Мелькали белые рубашки,
Бараньи шапки мужиков.

В рубахах стираных нательных,
Тулупы на землю швырнув,
Они бросались в бой смертельный,
Широко ворот распахнув.

Так легче бить врага с размаху,
А коли надо умирать,
Так лучше чистую рубаху
Своею кровью замарать.

Они с открытыми глазами
На немцев голой грудью шли,
До кости пальцы разрезая,
Склоняли копья до земли.

И там, где копья пригибались,
Они в отчаянной резне
Сквозь строй немецкий прорубались
Плечом к плечу, спиной к спине.

Онцыфор в глубь рядов пробился,
С помятой шеей и ребром,
Вертясь и прыгая, рубился
Большим тяжелым топором.

Семь раз топор его поднялся,
Семь раз коробилась броня,
Семь раз ливонец наклонялся
И с лязгом рушился с коня.

С восьмым, последним по зароку,
Онцыфор стал лицом к лицу,
Когда его девятый сбоку
Мечом ударил по крестцу.

Онцыфор молча обернулся,
С трудом собрал остаток сил,
На немца рыжего рванулся
И топором его скосил.

Они свалились наземь рядом
И долго дрались в толкотне.
Онцыфор помутневшим взглядом
Заметил щель в его броне.

С ладони кожу обдирая,
Пролез он всею пятерней
Туда, где шлем немецкий краем
Неплотно сцеплен был с броней.

И, при последнем издыханье,
Он в пальцах, жестких и худых,
Смертельно стиснул на прощанье
Мясистый рыцарский кадык.

Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему спокойно
Следил за битвою с горы.

Лицо замерзло, как нарочно,
Он шлем к уздечке пристегнул
И шапку с волчьей оторочкой
На лоб и уши натянул.

Его дружинники скучали,
Топтались кони, тлел костер.
Бояре старые ворчали:
«Иль меч у князя не остер?

Не так дрались отцы и деды
За свой удел, за город свой,
Бросались в бой, ища победы,
Рискуя княжьей головой!»

Князь молча слушал разговоры,
Насупясь на коне сидел;
Сегодня он спасал не город,
Не вотчину, не свой удел.

Сегодня силой всенародной
Он путь ливонцам закрывал,
И тот, кто рисковал сегодня, —
Тот всею Русью рисковал.

Пускай бояре брешут дружно —
Он видел всё, он твердо знал,
Когда полкам засадным нужно
Подать условленный сигнал.

И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, полыхнув мечом на солнце,
Повел дружину за собой.

Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.

По льду летели с лязгом, с громом,
К мохнатым гривам наклонясь;
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.

И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.

Гнедые кони горячились,
Из-под копыт вздымали прах,
Тела по снегу волочились,
Завязнув в узких стременах.

Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды.
На месте рыцарских отрядов
Легли кровавые следы.

Одни лежали, захлебнувшись
В кровавой ледяной воде,
Другие мчались прочь, пригнувшись,
Трусливо шпоря лошадей.

Под ними лошади тонули,
Под ними дыбом лед вставал,
Их стремена на дно тянули,
Им панцирь выплыть не давал.

Брело под взглядами косыми
Немало пойманных господ,
Впервые пятками босыми
Прилежно шлепая об лед.

И князь, едва остыв от свалки,
Из-под руки уже следил,
Как беглецов остаток жалкий
К ливонским землям уходил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1918 ГОД

Не затихала канонада.
Был город полуокружен,
Красноармейские отряды
В него ломились с трех сторон.

Германцы, бросив оборону,
Покрытые промозглой тьмой,
Поспешно метили вагоны:
«Нах Дейтчлянд» — стало быть, домой!

Скорей! Не солоно хлебнувши,
В грязи, в пыли, к вокзалу шли
Из той земли, где год минувший
Они бесплодно провели.

А впрочем, уж не столь бесплодно —
Всё, что успели и смогли,
Они из Пскова благородно
В свой фатерлянд перевезли.

Тянули скопом, без разбора,
Листы железа с крыш псковских,
Комплект физических приборов
Из двух гимназий городских.

Со склада — лесоматерья́лы,
Из элеватора — зерно,
Из госпиталя — одеяла,
С завода — хлебное вино.

Окончив все труды дневные,
Под вечер выходил отряд
И ручки медные дверные
Снимал со всех дверей подряд.

Сейчас — уже при отступленье —
Герр лейтенант с большим трудом
Смог удержаться от стремленья
Еще обшарить каждый дом.

Он с горечью, как кот на сало,
Смотрел на дверь, где, как назло,
Щеколда медная сияла,
Начищенная, как стекло.

Они уж больше не грозились
Взять Петроград. Наоборот,
С большой поспешностью грузились
И отбывали от ворот.

Гудки последних эшелонов,
Ряды погашенных окон,
И на последнем из вагонов
Последний путевой огонь.

Что ж, добрый путь! Пускай расскажут,
Как прелести чужой земли
Столь приглянулись им, что даже
Иные спать в нее легли!

На кладбище псковском осталась
Большая серая скала,
Она широко распласталась
Под сенью прусского орла.

И по ранжиру, с чувством меры,
Вокруг нее погребены
Отдельно унтер-офицеры,
Отдельно нижние чины.

Мне жаль солдат. Они служили,
Дрались, не зная за кого,
Бесславно головы сложили
Вдали от Рейна своего.

Мне жаль солдат. Но раз ты прибыл
Чужой порядок насаждать —
Ты стал врагом. И кто бы ни был —
Пощады ты не вправе ждать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1937 ГОД

Сейчас, когда за школьной партой
«Майн Кампф» зубрят ученики
И наци пальцами по картам
Россию делят на куски,

Мы им напомним по порядку —
Сначала грозный день, когда
Семь верст ливонцы без оглядки
Бежали прочь с Чудского льда.

Потом напомним день паденья
Последних орденских знамен,
Когда, отдавший все владенья,
Был Русью Орден упразднен.

Напомним памятную дату,
Когда Берлин дрожмя дрожал,
Когда от русского солдата
Великий Фридрих вспять бежал.

Напомним им по старым картам
Места, где смерть свою нашли
Пруссаки, вместе с Бонапартом
Искавшие чужой земли.

Напомним, чтоб не забывали,
Как на ноябрьском холоду
Мы прочь штыками выбивали
Их в восемнадцатом году.

За годом год перелистаем.
Не раз, не два за семь веков,
Оружьем новеньким блистая,
К нам шли ряды чужих полков.

Но, прошлый опыт повторяя,
Они бежали с русских нив,
Оружье на пути теряя
И мертвецов не схоронив.

В своих музеях мы скопили
За много битв, за семь веков
Ряды покрытых старой пылью
Чужих штандартов и значков.

Как мы уже тогда их били,
Пусть вспомнят эти господа,
А мы сейчас сильней, чем были,
И будет грозен час, когда,

Не забывая, не прощая,
Одним движением вперед,
Свою отчизну защищая,
Пойдет разгневанный народ.

Когда-нибудь, сойдясь с друзьями,
Мы вспомним через много лет,
Что в землю врезан был краями
Жестокий гусеничный след,

Что мял хлеба сапог солдата,
Что нам навстречу шла война,
Что к западу от нас когда-то
Была фашистская страна.

Настанет день, когда свободу
Завоевавшему в бою,
Фашизм стряхнувшему народу
Мы руку подадим свою.

В тот день под радостные клики
Мы будем славить всей страной
Освобожденный и великий
Народ Германии родной.

Мы верим в это, так и будет,
Не нынче-завтра грохнет бой,
Не нынче-завтра нас разбудит
Горнист военною трубой.

«И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас всё так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей».

1937

194. СУВОРОВ

П. Антокольскому

1. ОПАЛА

1798 ГОД

1

Зима. Проспекты все впотьмах,
То снег, то ростепель напала.
Бьют барабаны. На домах
Расклеены указы Павла.
Их много этою зимой, —
Один еще не пожелтеет,
Глядишь, другой уж сверху клеят:
«Размер для шляп — вершок с осьмой,
Впредь не носить каких попало,
Впредь вальс в домах не танцевать,
Впредь Машками под страхом палок
Не сметь ни коз, ни кошек звать...»

Перед дворцом помост сосновый,
На невском ледяном ветру
Здесь второпях возводят новый
Холодный памятник Петру.
Должно быть, в пику Фальконету
В нем будет всё наоборот:
В проекте памятника нету
Руки, протянутой вперед,
Ни змея, ни скалы отвесной —
Он грузно станет на плите,
Казенный и тяжеловесный.
Да, времена теперь не те,
Чтоб царь, раздетый, необутый,
Скакал в опор бог весть куда...

Из всех петровских атрибутов
Вы палку взяли, господа;
Ей освященные уставы
Нейдут у вас из головы.
Давно развеян дым Полтавы,
Еще далек пожар Москвы,
Ржавеют в арсеналах пушки,
Зато сияют кивера...
Пять лейб-гвардейцев на пирушке
Решили, что царя пора...
Пора, а что — нам неизвестно.
Но у Гостиного двора
Кинжал какой-то житель местный
Купил, промолвивши: «Пора...»
Пора, а что — мы не дознались,
Но есть донос, что до утра
В трактире в нумере шептались,
Всё повторяли: мол, пора...

И в снег, и в хлябь, и в непогоду
Возводят замок у Невы;
Еще в сырых подтеках своды,
А уж кругом копают рвы.
До света, обогнав зарю,
Везут кирпич дорогой зимней —
Такая спешка, словно Зимний
Стал подозрителен царю.
В вороньем гаме, в птичьем грае
И в неразборчивом «ура-а!»,
То каркая, то замирая,
К нему доносится: «Пор-р-а...»
Он с детства помнит это слово.
Он в страхе ищет до сих пор,
Где тот гвардеец, тот актер
На роль Григория Орлова?
Как наперед его узнать?
И ночью в поисках измены
Он сам выстукивает стены,
И шпагой тычет под кровать,
И, съежившись, поджав колена,
Не в силах до утра уснуть,
Решается попеременно
То всех сослать, то всех вернуть.
Санкт-петербургской ночью серой,

Пугая сторожей ночных,
Осатанелые курьеры
Несутся на перекладных;
Их возвращают с полдороги,
Переправляют имена:
«Снять ордена, упечь в остроги»,
«Вернуть. Простить. Дать ордена».
И в эту ночь к Ямской заставе
Курьер скакал во весь опор.
Он, у ворот коней оставив,
Вбежал на постоялый двор.
Потребовал стакан спиртного
И на закуску что-нибудь
И, нахлобучив шляпу, снова
Готов был ехать в дальний путь.
Но два проезжих офицера,
Пока не улетел в карьер,
Схватили за полу курьера:
«К кому вы, господин курьер?»
— «Да что вы, господа, как можно?!
Язык казенный под замком.
Но так и быть...» Он осторожно,
Чуть слышно крикнул петухом...

2

Господский дом в селе Кончанском
С обеда погружен во тьму.
Везде лампадки, как в мещанском
Добропорядочном дому.
Хозяин экономит свечи,
Он скуповат по мелочам.
Когда не спится, возле печи
Он греться любит по ночам;
Бывает, примостив лучину,
В одном шлафроке, босиком,
Сев по-турецки на овчину,
Играет в шашки с денщиком:
«Опять ты, Прошка, пересилишь,
Опять мне в дамках не бывать...»
— «Тут нужен ум, Лексан Василич,
Ведь это вам не воевать.
Ну, проигрались, что за горе?

Вам нынче в шашки не с руки,
По нонешним годам в фаворе
Те, кто умеет в поддавки...»
Суворов знает — Прошка снова
Всё то же скажет, что вчера.
И всё ж готов он до утра
Сидеть и слушать слово в слово,
Что Прошка скажет, как польстит.
Нет, Прошка лестью не унижен;
Его хозяин стар, обижен,
На батюшку царя сердит.
При матушке Екатерине
Он на другой манер серчал:
Прижмут ли, обойдут ли в чине, —
Бывало, бегал да кричал.
А нынче счет забыл обидам,
Сидит, молчит, не дует в ус,
Но Прошку не обманешь видом,
Он знает твой и нрав и вкус.
Пусть для других умен да тонок,
Пусть для других ты генерал,
А с Прошкой в бабки ты играл,
Для Прошки ты всю жизнь ребенок.
Он знает, чем утешить кстати:
То вдруг с три короба наврет,
То петь начнет, то Павла татем,
Курносым немцем назовет.
И, в Прохоре души не чая,
Ты только для порядку, зря,
Прикрикнешь, будто бы серчая,
Чтоб он не смел так про царя;
А сам уж шлешь его к буфету,
Пусть там пошарит по углам
Да принесет графинчик к свету
Запить обиду пополам.
Вот и сейчас — слыхать отсюда —
Он отмыкает поставец,
И тихо тренькает посуда,
Как еле слышный бубенец.
Но что за наважденье! Прошка
Уже давно пришел с вином,
А звон стеклянный за окном
Еще летит по зимним стежкам.
Еще летит, и вдруг — к дверям,

Так громко, словно бьют бокалы,
И если б волю дать коням,
Так тройка б в двери проскакала...
Дверных запоров треск мгновенный,
Шум раздвигаемых портьер,
И в дверь полуторасаженный
Влезает весь в снегу курьер.
Лампадки словно ветер сдул,
Во всем дому дрожат стаканы,
И сам Суворов, встав на стул,
Целует в щеку великана.
«Скакал? Коням намылил холки?
Небось война, коли за мной?
Эй, Прошка! Дай мундир мне с полки,
Готовь карету четверней!»
Он наискось рванул пакет —
Там был рескрипт о возвращенье,
Не прошенное им прощенье,
А про войну — и слова нет.
«Эх вы, гоняете без толку,
Напрасно будите людей!..
Не надо, Прошка, лошадей,
Мундир обратно спрячь на полку!
А ты, курьер, моя душа,
Не сетуй, что скакал задаром,
Березовым кончанским паром
Попарься в баньке не спеша;
Поспишь, управишься с обедом,
Пропустишь стопку — и лети...
Глядишь, по твоему пути —
И я в субботу тронусь следом.
А что сердито говорю,
Ты не горюй. Не ты в ответе,
Что б ни привез курьер в пакете,
За быстроту — благодарю».

. . . .

В субботу, взяв с собой рескрипт,
Суворов выехал в столицу,
И вот полозьев мерзлый скрип —
И по бокам пошли стелиться
Поля... поля. Через поля
Весь день трусить своей дорогой
И к ночи, печку запаля,
Заснуть в избе. А утром: трогай!

Да не спеша. Чай, позван он
Не для войны, не для похода...
А коли так, то есть резон
Сослаться на болезнь, на годы,
На бездорожье. Подождут.
На что ты им? У них в наградах
Не тот, кто штурмом брал редут,
А тот, кто мерз на вахтпарадах.
Уж не затем ли нам спешить,
Чтоб в первый день, боясь доноса,
Мундирчик с фалдочками сшить
И прицепить к сединам косу?
Слуга покорный! Он глядит
В заиндевевшее окошко.
В кибитке рядом с ним сидит
Его денщик и нянька — Прошка.
«Эй, Прошка! Прошка!» — Прошка спит.
Он пахнет водкой и капустой.
Опять напился!.. Стук копыт,
То столб, то крест, то снова пусто,
Копыта месят снег и грязь,
Возок то вниз, то вверх взлетает,
Фельдмаршал, к стенке привалясь,
Плутарха медленно листает.

3

Он под военною трубой
Был вскормлен, вспоен и воспитан.
И добрый барабанный бой
Не раз в бою им был испытан.
На неприступный Измаил
Ведя полки под вражьи клики,
Он барабанный бой ценил
Превыше всяческой музыки.
Но то, что нынче над Невой,
На барабан не походило:
И день и ночь по мостовой,
Как будто градом, колотило,
Сквозь снег, сквозь волн балтийских плеск
Однообразно, как машина,
Воловьих шкур унылый треск
И прусских дудок писк мышиный.

Фельдмаршал ждал в приемном зале
И слушал барабанный стук.
«И так всю жизнь?» Ему сказали,
Что так всю жизнь. Что от потуг
На барабанах рвутся шкуры.
В них снова лупят, починя.
На потолках дрожат амуры —
Один упал третьёго дня.
Сильнее прежнего курнос,
Царь в зал вбежал, заткнув за лацкан
Еще не читанный донос.
Фельдмаршал был весьма обласкан,
Еще с порога спрошен: «Где же
Наш русский Цезарь?» Обольщен.
И надо ж быть таким невежей
И грубым чудаком, как он,
Чтобы, зевнув на комплименты,
Перевести тотчас же речь
На контрэскарпы, ложементы,
Засеки, флеши и картечь;
Ворчать, что зря взамен атак
На смотры егерей гоняют,
И долго шмыгать носом так,
Как будто во дворце воняет.
Здесь всё по-прусски, не по нем.
Царь вышел вместе с ним на площадь,
Там рядом с Павловым конем
Ему была готова лошадь.
И, вылетев во весь карьер,
Поехали вдоль фронта рядом —
Курносый прусский офицер
С холодным оловянным взглядом
И с ним бок о бок старичок,
Седой, нахохленный, сердитый,
Одетый в легкий сюртучок
И в старый плащ, в боях пробитый.
Нет, он не может отрицать —
Войска отличный вид имели,
Могли оружием бряцать
И ноги поднимать умели.
Не просто поднимать, а так,
Что сбоку видишь ты — ей-богу! —
Один шнурок, один башмак,
Одну протянутую ногу.

А косы, косы, а мундир,
Крючки, шнурки, подтяжки, пряжки,
А брюки, пригнанные к ляжкам
Так, что нельзя попасть в сортир!
Но это ничего. Солдат
Обязан претерпеть лишенья.
Мундирчик тоже тесноват —
Неловко в нем ходить в сраженья.
Зато красив! Вселяет страх!
Тотчас запросят турки миру,
Завидев полк в таких мундирах,
В таких штанах и галунах.
Но дальше было не до шуток.
Полк за полком и снова полк —
И все, как дерево, и жуток
Вид плоских шляп, кургузых пол,
Нелепых кос. Да где ж Россия?
Где настоящие полки,
Подчас раздетые, босые,
Полмира бравшие в штыки?
Фанагорийцы, гренадеры,
Суворовцы? Да вот они —
Им дали прусские манеры
И непотребные штаны;
Им гатчинцы даны в капралы,
Их отучили воевать,
Им старого их генерала
Приказано не узнавать.
Но сквозь их косы, букли, пудру
Он сам их узнает. И — врешь! —
Еще придет такое утро,
Когда он станет вновь хорош.
И, наплевав на все доносы,
В походе в первый день войны
Рассыплет пудру, срежет косы
И перешить велит штаны.
Он рысью тронул вдоль квадрата
Молчавших войск. Но за спиной
Уже кричал ему штабной:
«Велит вернуться император!»
— «Скажи царю, что я не волен
Исполнить то, что он велит.
Скажи царю: Суворов болен,
Мол, брюхо у него болит...»

На целый город разговору:
Кого фельдмаршал посетил,
Что нынче говорил Суворов,
Над чем он давеча шутил.
О шпагах вышло повеленье —
Носить их, как у пруссаков,
Ремень по самые колени,
Эфес почти у башмаков;
Она по пяткам била вечно
И с громом путалась у ног.
Такого случая, конечно,
Фельдмаршал упустить не мог.
Намедни, отворив карету,
Он вдруг застрял на полпути,
Представясь, будто шпага эта
В карету не дает взойти.
Уж он со шпагой так и эдак:
Карету обходил кругом,
И в дверцу лез, и напоследок,
Махнув рукой, пошел пешком.
Да где ж он сам? В дому Хвостова
Живет, молвою окружен;
Держась обычая простого:
С утра больную ногу он
Оденет в туфель крымский красный,
А на здоровую — сапог,
Камзол натянет канифасный,
Чтоб не простыл пробитый бок.
Напьется вместе с Прошкой чаю,
Газету спросит. У окна,
Своим бездействием скучая,
Сидит почти что дотемна.
Весь день, сведенные в квадраты,
По улице идут солдаты.
У них то нос, то рот, то лоб
От частого битья опухли.
Их лакированные туфли
По жидкой грязи — шлеп да шлеп.
Да что греха таить! Как прежде,
Он жаждет славы, звезд, крестов,
И геральдических листов,
И громких титлов. Он в надежде
Еще служить. И в час, когда

В дому клевретов не бывает,
Достав мундир, он иногда
Его по форме надевает.
Пока Суворов жив, пока
Не гнет он старые колена,
Еще надежда есть в полках,
Что армия уйдет из плена
Голштинских палок и затей,
Что гатчинцев еще удавят.
И в гарнизонах ждут вестей,
Что вновь Суворов службу правит.
Просить пардону? Не дождутся.
Зато он нынче попросил
Пустить домой. Мол, обойдутся
И без него... Дождь моросил,
С залива ветер креп под вечер,
Кругом ни плошек, ни огней.
Давно пора зажечь бы свечи,
Да при свечах еще тошней.

5

Взяв дозволенье на дорогу,
Он утром выехал. Кругом
Бой барабанов. Трогай, трогай!
Вот дом с последним кабаком;
Мелькают фалды, шляпы, шубы...
Вот и шлагбаум промелькнул.
Присвистнув, кучер вскинул чубом
И в поле круто завернул.
Копыта месят снег и грязь;
Возок то вниз, то вверх взлетает.
Фельдмаршал, к стенке привалясь,
Плутарха медленно листает.

2. ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

1799 ГОД

1

В швейцарском городке Таверна
Суворов дал привал войскам.
Ночь выдалась дождливой, скверной,
Туман сползал по ледникам,

Ветра с предгорий, как в мешок,
В тавернскую долину дули;
Как будто в Пскове или в Туле
Холодный сыпался снежок.
И новобранцам было странно,
Что здесь, за тридевять земель,
В заморских иностранных странах
Бывает тульская метель,
Что здесь у речки мужики,
Как под Калугой, сено косят,
Что бабы в праздники здесь носят
Почти рязанские платки.
Уже не первый день в походе,
Далеко занесло солдат.
Они привыкли и к погоде,
И к виду итальянских хат.
Они привыкли каждый раз
В обед, по-здешнему в сиесту,
Пить виноградный кислый квас,
Есть длинное, как нитки, тесто.
Но как привыкнуть им к тому,
Что, сединами убеленный,
Прямой сенатор по уму,
Сам ихний писарь батальонный
И тот не мог ответить им,
Чего они здесь не видали,
Зачем они в такие дали
Зашли с фельдмаршалом своим.
Эх! Если б им сказать, что дома
Их встретит завтра теплый кров,
Жена и дети, жар соломы,
Березовое пенье дров!..
Но где там! Вместо бани парной,
Родного дома и жены
Со старой девою — казармой
Они навек обручены;
Вновь будет тот же плац в предместье,
Где палки дискантом поют,
Где то тебя другие бьют,
То ты других, то всех вас вместе.
Нет хуже лямки гарнизонной!
Нам легче десять ран в бою,
Ночлег бездомный, марш бессонный
И даже смерть в чужом краю.

Здесь штык ценней, чем галуны,
Здесь даже ротный бросил драться.
Как мир, так — «сукины сыны»,
А как война, так сразу — «братцы».
Здесь, если фуражир крадет
И квартирмейстер нас не кормит, —
Суворов сук для них найдет
И по солдатской просьбе вздернет.
Фельдмаршал впереди полка
Летает на коньке крылатом:
«Вперед, орлы! Вперед, ребята,
Не подведите старика!»
Что ж, мы его не подведем,
Всё сделаем, как он прикажет,
Да только жаль: домой придем —
Спасибо нам никто не скажет.
По дому так грызет тоска,
Что офицеров не спросили,
От них секретом два лужка
Швейцаркам здешним накосили;
Поднялись рано, до зари;
Свистели травы луговые
Так, словно вновь мы косари,
А не солдаты фрунтовые.

2

«Георгий» прицепив к рубашке,
Зевнув, перекрестивши рот,
Суворов вышел нараспашку
И сел на лавке у ворот.
Штабной принес ему газету.
Суворов, посмотрев мельком,
Свернул газету колпаком
И голову прикрыл от света.
Как под Москвой с горы Поклонной,
Был сразу виден целый край;
Путь вниз — в оливковый, лимонный,
Заросший виноградом рай,
Путь вверх — по грифельным отрогам,
По снежным голубым венцам,
По зажигавшимся, багровым,
И снова гаснувшим зубцам.
А здесь, еще как до войны,

Всё так же засевают нивы,
В фаянсовые кувшины
Поджарых коз доят лениво.
Суворов нехотя смотрел
На коз, на девочку-швейцарку...
Он за год сильно постарел.
Ему то холодно, то жарко.
Всё чаще тянет на сенник,
Всё реже посреди беседы
В нем оживает озорник,
Седой буян и непоседа.
А кажется, еще недавно,
Когда он Вену посетил,
Там над приезжим лордом славно
Он по старинке подшутил:
Четыре дня подряд являлся
К обеду в спущенном чулке,
И англичанин удивлялся
Такой причуде в старике.
Ну что же, пусть предаст огласке,
Чтоб знал британский кабинет,
Что у фельдмаршала подвязки,
Бишь ордена Подвязки, нет...
Теперь не то: он сам теперь
Стал подозрительней и суше —
Нет-нет и вдруг отворит дверь,
Грозясь обрезать чьи-то уши.
Австрийский генерал-бездельник
Опять недодал лошадей,
А из России ни вестей,
Ни пушек, ни полков, ни денег.
Ну что же, ладно! Только жаль,
Никак солдатам не втолкуешь,
Зачем зашел в такую даль,
За что с французами воюешь.
Бывало, скажешь им: за степи,
За Черноморье, за Азов!
Вослед полкам тянулись цепи
Переселенческих возов...
А тут — как об стену горохом,
Тут говоришь не говоришь —
Рязанцы понимают плохо,
На кой им шут сдался Париж.
«Эй, Прошка!» — «Что?»

— «Послушай, Прошка,
Ведь все-таки фельдмаршал я.
А ты мне, старый черт, белья
Не хочешь постирать ни крошки.
Вот царь велит мне взять Париж,
Одержим мы с тобой победу,
А ты напьешься, задуришь, —
Так без рубашки я и въеду?»
— «Я б рад стирать, да нелегко,
Погода всё стоит сырая.
А до Парижа далеко —
Весь гардероб перестираю.
Да вы бы лучше, чем сердиться,
Сапожки б взяли да палаш
Да сверху б натянули плащ —
Недолго ведь и простудиться».
Снег перестал. Дул ветер с моря,
Дрожали первые лучи,
Надувши щеки, трубачи
По всем полкам играли зорю.
И конский храп и трубный плач
Летел по сонным переулкам
И, отскочив от стен, как мяч,
Об землю ударялся гулко.
На горном голубом ветру,
Как пробки, хлопали знамена,
За пять минут, как на смотру,
Выстраивались батальоны.
Суворов вышел на задворки,
Там запоздавшие: одни
Белили второпях ремни,
Другие штопали опорки.
Какой-то рослый новобранец,
Вспотевши, расстегнув мундир,
Никак не мог засунуть в ранец
Дареный жителями сыр.
«Не можешь, немогуузнайка!
Ну ладно, счастье, брат, твое,
Что мне попался. Сыр подай-ка
Да крепче в пол упри ружье».
Суворов, как татарин, важно
Приготовляющий шашлык,
Взял сыр, слезящийся и влажный,
И насадил его на штык.

«А коли будут разговоры,
Начнет тебя бранить сержант,
Скажи ему, что сам Суворов
Отвел штыки под провиант».

. . . .

Последний егерский отряд
Поспешно втягивался в горы.
Почти над каждым из солдат,
Как раз на штык прийдяся впору,
Слезами молча обливаясь,
Изнемогая от жары,
Шагали в ногу, не сбиваясь,
Русско-швейцарские сыры.

3

Уже в горах ему сказали,
Что путь на Сен-Готард закрыт.
Он огляделся — грозный вид!
По скалам в пропасти сползали
И пропадали облака.
Внизу орел парил устало,
И узкая, как нож, река,
С камней срываясь, клокотала.
Тогда, оборотясь к солдатам,
Он крикнул: «Русские снега
От нас далеко. Что ж, ребята,
Возьмем хоть эти у врага!»
Старик шутил, но всякий знал:
Коль шутит он, так жди, что скоро
Махнет рукой, подаст сигнал —
Напропалую через горы.
Фельдмаршал наш — орел старик,
Один грешок за ним — горячка:
Хоть на локтях, хоть на карачках
Ползти заставит напрямик,
Он на биваке дров достанет,
Из-под земли харчи найдет,
Зато беда — кто в бой отстанет,
В атаку мешкотно пойдет.
Под ядрами, не дуя в ус,
На роту роту, полк уложит
И полк на полк, пока доложат,
Что тыл нам показал француз.

При Нови жаркий приступ был.
Мы трижды их атаковали.
Они нас трижды выбивали.
Завидев полк, идущий в тыл,
Старик примчал в одной рубахе;
Слетев с казацкого седла,
Перед полком, молчавшим в страхе,
Катался по земле со зла.
...Что ж, мы пошли в четвертый раз
И взяли Нови!.. Шли солдаты,
Сержант припоминал Кавказ,
Где он с полком бывал когда-то.
Кусая ус, седой капрал
Глядел на выси Сен-Готарда
И новобранцам бойко врал,
Что заготовлена петарда, —
Вот как забьют да запалят...
Скользя, взбираясь вверх по тропке,
Суворов объезжал отряд;
На вьючной лошади, в коробке,
Везли и жезл и ордена —
Они нужней ему в столице.
С одним «Георгием» в петлице,
В мундире грубого сукна,
Он проскакал вперед по мосту.
Дощечки тонкие тряслись.
Свистали пули. Аванпосты
Уже с французами сошлись
И первый натиск задержали.
Так начинался Сен-Готард.
Костров, иль господин Державин,
Или иной российский бард
Уже пальбу отселе слышит
И, вдохновением горя,
Уже, наверно, оду пишет,
С железной лирой говоря:
«Се мой (гласит он) воевода!
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь полночного народа,
Девятый вал в морских волнах».
Средь воинских трудов суровых
Фельдмаршал муз не забывал.
Пиите бедному, Кострову,
По сто червонцев выдавал,

И все эпистолы и оды,
Всё, в чем пиита льстил ему,
В секретном ящике комода
Хранилось в кобринском дому.

По черным скалам стлался дым,
Уж третий час, как батальоны
Вслед за фельдмаршалом своим
Карабкались по горным склонам.
Скользили ноги лошадей,
Вьюки и люди вниз летели.
Француз на выбор бил. Потери —
Давно за тысячу людей.
Темнело... А Багратион
Еще не обошел французов,
Он, бросив лошадей и грузы,
Взял гренадерский батальон
И сам повел его по кручам
Глубоко в тыл. Весь день с утра
Они ползли всё ближе к тучам;
Со скал сдували их ветра,
С откосов обрывался камень,
Обвал дорогу преграждал...
Вгрызаясь в трещины штыками,
Они ползли. Суворов ждал.
А время шло, тумана клочья
Спускались на горы. Беда!
Фельдмаршал приказал хоть ночью
Быть в Сен-Готарде. Но когда
Последний заходящий луч
Уже сверкнул за облаками,
Все увидали: выше туч,
Край солнца зацепив штыками,
Там, где ни тропок, ни следов,
От ветра, как орлы, крылаты,
Стоят на гребне синих льдов
Багратионовы солдаты.

4

Француз бежал. И, на вершину
Пешком взобравшись по горе,
У сен-готардских капуцинов
Заночевав в монастыре,

Суворов первый раз за сутки
На полчаса сомкнул глаза.
Сквозь сон ловил он слухом чутким,
Как ветер воет, как гроза
Гремит внизу у Госпитáля.
Нет, не спалось... Затмив луну,
По небу клочья туч летали.
Он встал к открытому окну
В одном белье и необутый.
Холсты палаток ветер рвал,
Дождь барабанил так, как будто
На вахтпараде побывал.
Нет, не спалось... Впервые он
Такую чувствовал усталость.
Что это? Хворь иль скверный сон?
И догадался: просто старость.
Да, старость! Как ни говори,
А семь десятков за плечами!
Всё чаще долгими ночами
Нетерпеливо ждет зари;
И чтоб о старости не помнить,
Где б штаб-квартира ни была,
Завешивать иль вон из комнат
Велит нести он зеркала.
«Послушай, Прошка!» Всё напрасно,
Как ни зови — ответа нет.
Лишь Прошкин нос, от пьянства красный,
Посвистывает, как кларнет.
И всем бы ты хорош был, Прохор,
И не было б тебе цены,
Одно под старость стало плохо:
Уж больно часто видишь сны.
И то ведь правда: стар он стал —
То спит, то мучится одышкой,
И ты давно уж не капрал,
И Прошка больше не мальчишка.
И старость каждого из вас
Теперь на свой манер тревожит:
Один — сомкнуть не может глаз,
Другой — продрать никак не может.
Из темноты, с доски каминной,
Вдруг начали играть часы.
Сперва скрипучие басы
Проскрежетали марш старинный,

Потом чуть слышная свирель
В углу запела тонко-тонко.
Суворов вспомнил: эту трель
Он слыхивал еще ребенком.
Часы стояли у отца
На полке, возле русской печки;
Три белых глиняных овечки
Паслись у синего дворца.
На башне начинался звон —
Вверху распахивалась рама,
И на фарфоровый балкон
Легко выскакивала дама...
Нащупав в темноте шандал,
Он подошел к часам со свечкой.
Всё было так, как он и ждал:
И луг, и замок, и овечки,
Но замок сильно полинял,
И три овечки постарели,
И на условленный сигнал
Охрипшей старенькой свирели
Никто не вышел на балкон.
Внутри часов заклокотало,
Потом раздался хриплый звон,
Пружина щелкнула устало...
Часы состарились, как он.
Они давно звонили глухо,
И выходила на балкон
Уже не дама, а старуха.
Потом старуха умерла.
Часы стояли опустело,
И лишь пружина всё гнала
Вперед их старческое тело.
«Глагол времен — металла звон».
Он знал, прислушавшись к их ходу,
Что в Сен-Готарде начал он
Последний из своих походов.

5

Прорвавшись в Муттен, он узнал
От муттентальского шпиона,
Что Римский-Корсаков бежал,
Оставив пушки и знамена,
Что все союзники ушли, —

Кругом австрийская измена,
И в сердце вражеской земли
Ему едва ль уйти от плена.
Что значит плен? Полвека он
Учил полки и батальоны,
Что есть слова: «давать пардон»,
Но нету слов: «просить пардону».
Не переучиваться ж им!
Так, может, покориться року
И приказать полкам своим
Идти в обратную дорогу?
Но он учил за годом год,
За поколеньем поколенье,
Что есть слова: «идти вперед»,
Но нету слова: «отступленье».
Пора в поход вьюки торочить!
Он верит: для его солдат
И долгий путь вперед короче
Короткого пути назад.
Наутро созван был совет.
Все генералы крепко спали,
Когда фельдмаршал, встав чуть свет,
Пошел бродить по Муттенталю.
В отряде больше нет, хоть плачь,
Ни фуража, ни дров, ни хлеба.
Четыреста голодных кляч
Трубят, задравши морды к небу.
В разбитой наскоро палатке
Вповалку егеря лежат,
У них от холода дрожат
Кровавые босые пятки.
Пять суток без сапог, без пищи,
По острым, как ножи, камням:
Кто мог, обрывки голенища
Бечевкой прикрутил к ступням.
Где повалились, там и спали.
Иные, встав уже с утра,
Сырые корешки копали,
Сбирали ветки для костра,
И шкуру павшего вола
Штыками на куски делили,
И, навернув на шомпола,
На угольях ее палили.
Пусты сухарные мешки,

Ремнем затянуты покорно,
Гудят голодные кишки,
Как гренадерская валторна.
Поправив драную одежду,
Встают солдаты с мест своих
И на него глядят с надеждой,
Как будто он накормит их.
Но сам он тоже корки гложет,
Он не Христос, а генерал —
Из корок, черт бы их побрал,
Он сто хлебов испечь не может!
Он видел раны, смерть, больницы,
Но может прошибить слеза,
Когда глядишь на эти лица,
На эти впалые глаза.
На ворохе гнилой соломы
Стоял у полковой казны
Солдат, фельдмаршалу знакомый
Чуть не с турецкой ли войны.
Еще с Козлуджи, с Туртукая...
Стоит солдат, ружье в руках.
Откуда выправка такая,
Такая сила в стариках?!
Виски зачесаны седые,
Ремень затянут вперехват,
И пуговицы золотые,
Мелком начищены, горят.
Как каменный, на удивленье,
Стоит солдат, усы торчком;
В парадной форме по колени,
А ниже формы — босиком.
Подгреб себе клочок соломы,
Ногой о ногу не стучит.
А день-то свеж, а кости ломит,
А брюхо старое бурчит,
А на мундире десять дыр,
Из всех заплаток лезет вата.
Суворов подошел к солдату,
Взглянул на кивер, на мундир,
Взглянул и на ноги босые...
И, рукавом содрав слезу, —
От ветра, что ль, она в глазу? —
Спросил солдата: «Где Россия?»
Когда тебя спросил Суворов,

Не отвечать — помилуй бог!
И гренадер без разговоров
Махнул рукою на восток.
Суворов смерил долгим взором
Отроги, пики, ледники.
По направлению руки
На сотни верст тянулись горы;
Чтоб через них пробиться грудью,
Придется многим лечь. Жесток
Путь через Альпы на восток,
Вздымая на горбу орудья,
Влезать под снегом, под дождем
На стосаженные обрывы...
«И все-таки ты прав, служивый,
Как показал, так и пойдем!»
. . . .
С рассветом возвратившись в дом,
Где ждал совет его, впервые
Он все отличья боевые
Велел достать себе. С трудом
Надел фельдмаршальский парадный
Мундир из тонкого сукна,
Поверх мундира все награды,
Все звезды, ленты, ордена:
За Ланцкорону, Прагу, Краков,
За Рымник, Измаил и Брест,
Перо с алмазом за Очаков
И за Кинбурн — алмазный крест.
Подул на орденские ленты,
Пылинки с обшлагов стряхнул,
Потом, оправив эполеты,
С усмешкой на ноги взглянул:
Не лучше своего солдата,
Стоял он чуть не босиком,
Обрывком прелого шпагата
Подметка сшита с передком.
Еще спасибо — верный Прошка,
Как только станешь на привал,
Глядишь, то плащ зашил немножко,
То сапоги поврачевал.
За дверью ждали господа —
Полковники и генералы;
Его счастливая звезда
Их под знамена собирала.

Дерфельден, и Багратион,
И Трубников... Но даже эти
Молчали, присмирев, как дети,
И ждали, что им скажет он.
Казалось, недалеко сдача.
Кругом обрывы, облака.
Ни пуль, ни ядер. Старика
В горах покинула удача.
Войска едва бредут, устав,
Фельдмаршал стар, а горы круты...
Но это всё до той минуты,
Как он явился. Увидав
Его упрямо сжатый рот,
Его херсонский плащ в заплатах,
Его летящую вперед
Походку старого солдата,
И волосы его седые,
И яростные, как гроза,
По-стариковски молодые
Двадцатилетние глаза,
Все поняли: скорей без крова
Старик в чужой земле умрет,
Чем сменит на другое слово
Свое любимое — вперед!

6

Последний горный перевал...
На Рингенкопфе пела вьюга,
Холодный ветер завывал.
Гуськом, хватаясь друг за друга,
Ползли солдаты. Ни кирки,
Ни альпенштока. Ветер в спину.
Перевернувши карабины,
Шли, опираясь на штыки.
Подряд, как волны в океане,
У ног катились облака.
Протянешь руку — и рука
Сейчас же пропадет в тумане.
По сторонам тропы лежали
Обледенелые тела.
Эй, чур, не плакать! Как ни жаль их,
Но где добудешь им тепла,
Где шуба, чтобы их согреть,

Где заступ — вырыть им могилу,
Где хоть фонарь, чтоб через силу
В глаза умершим посмотреть?!
Сегодня, заклепавши туго,
Швырнули пушки под откос.
Вся орудийная прислуга
Глядела вниз, давясь от слез.
А пушки падали, стуча,
Подпрыгивая на откосах,
Теряя в воздухе колеса
И медным голосом крича.
Суворов едет рядом с нами,
Он еле жив, два казака,
Вплотную съехавшись конями,
Под мышки держат старика.
Пускай тиранит лихорадка,
Горит в груди, во рту горчит —
Суворов по своей повадке
Всё ерничает да ворчит.
Артиллеристам помогая
Забыть про гибель батарей,
Австрийцев матерно ругает
Под громкий хохот егерей.
И, вдруг заметив, что отряд
Опять в дороге унывает,
Он для босых своих солдат
Тверскую песню запевает:
«Ах, что же с девушкой случилось,
Ах, что же с красной за беда?
Она все лапотки стоптала,
Не может выйти никуда».
Ни разу ни одни войска
Еще не шли по этим тропам.
На них взирает вся Европа,
Во всех углах материка
Гадают, спорят и судачат:
Пройдут они иль не пройдут,
Что ждет их — гибель или сдача?
Пусть их гадают! Только тут,
Среди лишений и страданий,
Среди камней и снежных груд,
Солдаты знали без гаданий,
Что русские везде пройдут!

7

Последний ледяной ночлег,
Вповалку с ружьями, с конями,
Друг друга прикрутив ремнями,
Плашмя ложились прямо в снег.
Где не улечься — там хоть щели
Искали в каменной стене
И, штык всадивши, на ремне
Всю ночь над пропастью висели.
Два неизменных казака
Как ехали весь день, так оба
Легли с Суворовым бок о бок,
Не выпуская старика.
У казаков глаза слипались,
А он никак заснуть не мог.
Ночь непроглядная, слепая
Закрыла от него восток.
Он неподвижными глазами
Смотрел вперед на гребень льда,
За край последних туч, туда,
Где за горами, за долами,
За пограничными столбами,
В слезах, в распутице, в морозах,
В сквозных владимирских березах,
В зеленых волнах ковыля
Лежала битая, штрафная,
Стократ проклятая, родная,
До слез знакомая земля...

3. ОДИНОЧЕСТВО

1800 ГОД

1

По крайним улицам без света,
Стараясь проскочить скорей,
В столицу въехала карета
Без гайдуков и фонарей.
Солдат, стоявший у заставы,
Ей путь загородил штыком,
Намереваясь по уставу
Дознаться, кто в ней седоком.

Но кучер с козел наклонился
И что-то на ухо шепнул —
Солдат с пути посторонился
И молча взял на караул.
Минуя караульный пост,
Карета быстро поскакала
Сперва через Торговый мост,
Потом вдоль Крюкова канала
И с громом стала у крыльца.
Два денщика, согнувши спины,
Из дверец вынесли перину
И, взяв ее за два конца,
Пройдя вдоль темных коридоров,
Внесли в покой. Под простыней,
В жару, простуженный, больной,
Закрыв глаза, лежал Суворов.
Он, застонав от боли, Прошку
Костлявым пальцем поманил,
Чтоб тот белье переменил
И в кресла посадил к окошку.

2

Суворов при смерти. С утра,
К нему слетевшись, как вороны,
Шныряют в доме доктора,
Прогуливаются шпионы.
А ближние зайти не смеют,
Боясь немилости двора.
Один лишь Прошка вечера
С ним коротает, как умеет.
Прозябнув, съежившись в комок,
Больной укутан в две шинели...
Уже которую неделю
Никак согреться он не мог.
То одеялом и платком
Прикроет Прошка, то к затылку
Из-под шампанского бутылку
Прижмет, наливши кипятком,
То руки, синие, как лед,
Себе за пазуху положит
И держит ночи напролет,
Как будто отогреть их может.
Но, как ни грей их, всё равно —

Что пользы в том, когда наружу
Весь день отворено окно
И в комнате такая стужа...
«Скорей закрой окно!» — «Да что вы!
Вам померещилось! Окно!
Чай, с осени на все засовы
Законопачено оно».
И Прошка пальцем сколупнет
Кусок замазки с зимней рамы
И в доказательство упрямо
Ее показывать начнет.
«Да, показалось... Но откуда
Так дует ветер, словно с гор?
Еще альпийская простуда
Не отпускает до сих пор.
Метель кружится по отрогам,
Того гляди, сметет на дно...
Пока не поздно, ради бога,
Закройте кто-нибудь окно!..»
И, чтобы не сердить больного,
Придется Прошке встать к окну
И, створку отодрав одну,
Тотчас ее захлопнуть снова.
«Ну вот, как будто и теплей,
Теперь совсем другое дело...
Да кипятку в бутыль подлей,
Чтоб кровь в висках не холодела».
Сейчас тряхнуть бы стариною,
Воды черпнувши из Невы,
Вдруг нестерпимой, ледяною
Обдаться с ног до головы.
Клин клином вышибить! Но где там,
Когда не шевельнуть рукой,
Когда небось уж гроб с глазетом
Давно заказан в мастерской!

Всё можно взять у человека:
Чины, награды, ордена,
Но та холодная страна,
Где прожил он две трети века,
И синие леса вдали,
И речки утренняя сырость,
И три аршина той земли,
Скупой и бедной, где он вырос,

Земли, в которую его
Вдвоем со шпагою положат, —
Ее ни месть, ни плутовство,
Ничто уже отнять не сможет!
Среди хлопот, обычных дел
Он редко замечал природу,
Но вдруг сегодня захотел
К песчаному речному броду
Подъехать на рысях в жару
И жадно воду пить из горсти;
Или, к своим оброчным в гости
С ружьем забравшись поутру,
Из камышей пальнуть по уткам;
А коли на дворе зима —
По новгородским первопуткам
Скакать в лесу, чтоб бахрома
С ветвей за шиворот, чтоб тело
Кололо снегом, чтоб лиса,
Как огненная полоса,
Вдруг за стволами пролетела...
Разжечь костер, чтоб вдруг в дыму
Вспорхнула вспугнутая галка...
Всё это вовсе ни к чему —
Да умирать уж больно жалко!
И, Прошку с толку сбив, теперь,
Когда все щелочки заткнули,
Он просит, чтоб открыли дверь
И окна настежь распахнули.
«А помнишь, Прошка, в Измаиле
Как ты горячкою хворал?»
— «Еще б не помнить! Был в могиле,
Да бог раздумал, не прибрал».
— «Ты вспомни, Прошка, ты похоже,
Почти как я, болел в те дни:
Я рук не подниму — ты тоже
Не мог поднять их с простыни,
И кости у тебя болели,
И лоб, как у меня, потел...
И уж не думал встать с постели,
А помирать всё не хотел.
Сперва садился на кровать,
Потом ходил, держась за стену...
Вот так и я: глядишь, опять
И встану и мундир надену...

Что плачешь? Думаешь, не встать?
Сам знаю — время в путь-дорожку.
Начнет за окнами светать,
Один как перст ты будешь, Прошка.
Да разве ты один такой?
Пересчитай полки и роты —
Как только выйду на покой,
Все будут без меня сироты. . .»
Но Прошка, привалясь к стене,
Не выдержав ночей бессонных,
Уже дремал и монотонно
Поддакивал ему во сне. . .
И ни души кругом. . . Ну, что же,
Пока ты важный господин,
Так все готовы лезть из кожи,
А умирать — так ты один. . .
Он поспешил глаза смежить,
Чтоб не прочли в последнем взоре
Безумную надежду жить,
Людское, будничное горе.

3

Вдоль долгих улиц гроб несли.
На бархате ряды регалий,
Оркестры медным шагом шли,
Полки армейские шагали.
Чтоб этим оскорбить хоть прах,
В эскорт почетный, против правил,
В тот день заняв их на смотрах,
Полков гвардейских не дал Павел.
Ну, что ж! Суворов, будь он жив,
Не счел бы это за обиду;
Он, полстолетья прослужив,
Привык к походному их виду,
Он с ними не один редут
Взял на веку. И, слава богу,
За ним в последнюю дорогу
Армейские полки идут.

1938—1939

195. МУРМАНСКИЕ ДНЕВНИКИ

У окружкома на виду
Висела карта. Там на льду
С утра в кочующий кружок
Втыкали маленький флажок.
Гостиница полным-полна.
Портье метались дотемна,
Распределяя номера.
Швейцары с заднего двора
Наверх тянули тюфяки.
За ними на второй этаж,
Стащив замерзшие очки,
Влезал воздушный экипаж.
Пилоты сутки шли впотьмах,
Они давно отвыкли спать,
Им было странно, что в домах
Есть лампа, печка и кровать.
Да, прямо скажем, этот край
Нельзя назвать дорогой в рай.
Здесь жестко спать, здесь трудно жить,
Здесь можно голову сложить.
Здесь, приступив к любым делам,
Мы мир делили пополам:
Врагов встречаешь — уничтожь,
Друзей встречаешь — поделись.
Мы здесь любили и дрались,
Мы здесь страдали. Ну и что ж?
Не на кисельных берегах
Рождалось мужество. Как мы,
Оно в дырявых сапогах
Шло с Печенги до Муксольмы.
У окружкома на виду
Большая карта. Там на льду
С утра в кочующий кружок
Втыкают маленький флажок,

Там, где, мозоля нам глаза,
Легла на глобус бирюза,
На деле там черным-черно,
Там солнца не было давно.
За тыщу верст среди глубин
На льду темнеет бивуак.
Но там, где четверо мужчин
И на древке советский флаг,
Там можно стать к руке рука,
Касаясь спинами древка,
И, как испытанный сигнал,
Запеть «Интернационал».
Пусть будет голос хрипл и груб,
Пускай с растрескавшихся губ
Слетает песня чуть слышна —
Ее и так поймет страна.
Гостиница полным-полна.
Над низкой бухтою туман,
Девятибалльная волна
Ревет у входа в океан.
К Ял-Майнену, оставив порт,
В свирепый шторм ушли суда.
Семисаженная вода
Перелетает через борт.
Бушует норд. Вчера Москва
Послала дирижабль. Ни зги!
По радио сквозь вой пурги
Едва доносятся слова.
Бушует норд. Радист в углу,
Охрипнув, кроет целый мир:
Он разгребает, как золу,
Остывший и пустой эфир.
Где дирижабль? Стряслась беда...
Бушует норд. В двухстах верстах
Был слышен взрыв. Сейчас туда
Отправлен экстренный состав.
За эту ночь еще пришло
Два самолета. Не до сна.
Весь окружком не спит. Светло,
Гостиница полным-полна.
Сегодня в восемь пять утра
Нашли разбившихся. В дугу
Согнулся остов. На снегу
Живые грелись у костра.

Был выполнен солдатский долг,
В гробы положены тела.
Их до ближайшего села
Сопровождает местный полк.
Другим летели помогать —
Погибли сами. Чтоб не лгать —
Удар тяжел. Но на земле
Есть племя храбрых. Говорят,
Что в ту же ночь другой отряд
Ушел на новом корабле.
У окружкома на виду
Большая карта. Там на льду
С утра в кочующий кружок
Втыкают маленький флажок.
Всю ночь с винтовкой, как всегда,
Вдоль рейда ходит часовой.
Тут ждут ледовые суда
В готовности двухчасовой.
До кромки льда пять дней пути.
Крепчает норд. Еще в порту,
Товарищ, крепче прикрути
Всё, что нетвердо на борту.
Поближе к топкам и котлам
Всю ночь механики стоят,
Всю ночь штормит, — быть может, нам
Большие жертвы предстоят.
В больницу привезен пилот.
Он весь — один сплошной ожог.
Лишь от бровей — глаза и рот —
Незабинтованный кружок,
Он говорит с трудом: «Когда
Стряслась с гондолою беда,
Когда в кабине свет погас,
Я стал на ощупь шарить газ,
Меня швырнуло по борту.
Где ручка газа? Кровь во рту.
Об радиатор, об углы,
Об потолки и об полы.
Где ручка? На десятый раз
Я выключил проклятый газ.
Напрасный труд! Сквозь верхний люк
Врывалось пламя. Через щель
Внизу я видел снег и ель.
Тогда, сдирая кожу с рук,

Я вылез вниз. Кругом меня
Свистало зарево огня.
Я в снег зарылся с головой,
Не чувствуя ни рук, ни ног,
Я полз по снегу, чуть живой,
Трясясь от боли, как щенок.
Меня перенесли к костру.
Нас всех живых осталось шесть.
Всем было плохо. Лишь к утру
Мы захотели спать и есть.
Обломки тлели. Тишина.
Лишь изредка в полночный мрак
Взлетал нагретый докрасна
Еще один запасный бак.
Всю ночь нас пробирала дрожь.
Нам было всем как острый нож
Смотреть туда, где на снегу
Тлел остов, выгнутый в дугу.
Забыв на миг свою беду,
Мы представляли, что на льду,
Вот так же сидя, как и мы,
К огню придвинувши пимы,
Четыре наших парня ждут,
Когда им помощь подадут.
Нам холодно. Им холодней:
Они сидят там много дней.
Уже кончается зима.
А где же мы? Вода кругом...
Чтоб не сойти совсем с ума,
Нам надо думать о другом.
Что ж, о другом — так о другом!
Давай о самом дорогом.
Но что ж и мне и всем другим
Казалось самым дорогим?
Вот так же сидя, как и мы,
К огню придвинувши пимы,
Четыре парня молча ждут,
Когда им помощь подадут...»
Ночь. На кровати летчик спит.
Сестра всю ночь над ним сидит.
Он беспокойный, он такой —
Он может встать. Да что покой?
Как может предписать покой
Тот врач, который в свой черед

С утра дрожащею рукой
Газету в ящике берет?
На старой, милой нам земле
Есть много мужества. Оно
Не в холе, воле и тепле,
Не в колыбели рождено.
Лишь мещанин придумать мог
Мир без страстей и без тревог;
Не только к звукам арф и лир
Мы будем приучать детей.
Мир коммунизма — дерзкий мир
Больших желаний и страстей.
Где пограничные столбы,
Там встанут клены и дубы,
Но яростней, чем до сих пор,
Затеют внуки день за днем
Жестокий спор, упрямый спор
С водой, землею и огнем.
Чтоб все стихии нам взнуздать,
Чтоб все оковы расковать,
Придется холодать, страдать,
Быть может, жизнью рисковать.
На талом льду за тыщу верст,
Где снег колюч и ветер черств,
Четыре наших парня ждут,
Когда им помощь подадут.
Есть в звуке твердых их имен,
В чертах тревожной их судьбы
Начало завтрашних времен,
Прообраз будущей борьбы.
Я вижу: где-то вдалеке,
На льду, на утлом островке,
На стратоплане, на Луне,
В опасности, спиной к спине,
Одежду, хлеб и кров деля,
Горсть земляков подмоги ждет.
И вся союзная земля
К своим на выручку идет.
И на флагштоках всех судов
Плывет вперед сквозь снег и мрак,
Сквозь стаи туч, сквозь горы льдов
Земного шара гордый флаг.

1938

196. ПЯТЬ СТРАНИЦ

В ленинградской гостинице,
в той, где сегодня пишу я,
Между шкафом стенным
и гостиничным тусклым трюмо
Я случайно заметил
лежавшую там небольшую
Пачку смятых листов —
позабытое кем-то письмо.

Без конверта и адреса.
Видно, письмо это было
Из числа неотправленных,
тех, что кончать ни к чему.
Я читать его стал.
Било десять. Одиннадцать било.
Я не просто прочел —
я, как путник, прошел по письму.

Начиналось, как водится,
с года, числа, обращенья;
Видно тот, кто писал,
машинально начало тянул,
За какую-то книжку
просил у кого-то прощенья...
Пропустив эти строчки,
я дальше в письмо заглянул:

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

. . . .
. . . .
Через час с небольшим
уезжаю с полярным экспрессом.
Так мы прочно расстались,
что даже не страшно писать.

Буду я отправлять,
будешь ты получать с интересом,
И знакомым читать,
и в корзинку спокойно бросать.

Что ж такое случилось,
что больше не можем мы вместе?
Где не так мы сказали,
ступили не так и пошли,
И в котором часу,
на каком трижды проклятом месте
Мы ошиблись с тобой
и поправить уже не смогли?

Если б знать это место,
так можно б вернуться, пожалуй,
Но его не найдешь.
Да и не было вовсе его!
В нашей жалобной книге
не будет записано жалоб:
Как ее ни листай,
всё равно не прочтешь ничего.

Взять хоть письма мои —
я всегда их боялся до смерти.
Разве можно не жечь,
разве можно держать их в руках?
Как их вновь ни читай,
как их вновь ни сличай и ни мерь ты,
Только новое горе
разыщешь на старых листках.

Ты недавно упрямо
читала их все по порядку.
В первых письмах писалось,
что я без тебя не могу,
В первых письмах моих,
толщиною в большую тетрадку,
Мне казалось — по шпалам,
не выдержав, я побегу.

Всё, что думал и знал,
заносил на бумагу сейчас же,
Но на третьей отлучке
(себя я на этом ловлю)

В письмах день ото дня
по-привычному громче и чаще
Повторяется раньше
чуть слышное слово «люблю».

А немного спустя
начинаются письма вторые —
Ежедневная почта
для любящей нашей жены,
Без особенных клякс
и от слез никогда не сырые,
В меру кратки и будничны,
в меру длинны и нежны.

В них не всё еще гладко,
и, если на свет посмотреть их,
Там гостила резинка;
но скоро и ей не бывать...
И тогда выступают на сцену
последние, третьи,
Третьи, умные письма, —
их можешь не жечь и не рвать.

Если трезво взглянуть, —
что же, кажется, страшного в этом?
В письмах всё хорошо —
я пишу по два раза на дню,
Я к тебе обращаюсь
за помощью и за советом,
Я тобой дорожу,
я тебя безгранично ценю.

Потому что я верю
и знаю тебя всё короче,
Потому что ты друг,
потому что чутка и умна...
Одного только нет,
одного не прочтешь между строчек:
Что без всех «потому»
ты мне просто как воздух нужна.

Ты по письмам моим
нашу жизнь прочитать захотела.
Ты дочла до конца,
и тебе не терпелось кричать:

Разве нужно ему
    отдавать было душу и тело,
Чтобы письма такие
    на пятом году получать?

Ты смолчала тогда.
    Просто-напросто плача от горя,
По-ребячьи уткнувшись,
    на старый диван прилегла,
И рыдала молчком,
    и, заслышав шаги в коридоре,
Наспех спрятала письма
    в незапертый ящик стола.

Эти письма читать?
    За плохое бы дело взялись мы, —
Ну зачем нам следить,
    как менялось «нежны» на «дружны».
Там начало конца,
    где читаются старые письма,
Где реликвии нам —
    чтоб о близости вспомнить — нужны.

ВТОРАЯ СТРАНИЦА

Я любил тебя всю,
    твои губы и руки — отдельно.
Удивляясь не важным,
    но милым для нас мелочам.
Мы умели дружить
    и о чем-то совсем не постельном,
Лежа рядом, часами
    с тобой говорить по ночам.

Это дружба не та,
    за которой размолвку скрывают.
Это самая первая,
    самая верная связь.
Это дружба — когда
    о руках и губах забывают,
Чтоб о самом заветном
    всю ночь говорить, торопясь.

Год назад для работы
пришлось нам поехать на Север,
По старинным церквам,
по старинным седым городам.
Шелестел на лугах
одуряюще пахнущий клевер,
И дорожная пыль
завивалась по нашим следам.

Нам обоим поездка
казалась ужасно счастливой;
Мой московский заморыш
впервые увидел поля,
И луга, и покосы,
и северных речек разливы,
И впервые услышал,
как черная пахнет земля.

Только здесь ты заметила
в звездах всё небо ночное,
Красноватые сосны
стоят вдоль дорог, как стена...
Почему ты на Север
не ездила раньше со мною,
Почему ты на землю
привыкла смотреть из окна?

Как-то вышло, что здесь
ты, всегда мне дававшая руку,
Ты, с улыбкой умевшая
выручить в худший из дней,
Ты, которой я слушался,
мой поводырь и порука,
В нашем добром содружестве
бывшая вечно сильней,

Здесь, далеко от дома,
в поездке, ты вдруг растерялась,
Ты на всё удивлялась —
на листья, кусты и цветы.
Ты смеялась и пела;
всё время мне так и казалось,
Что, в ладоши захлопав,
как в детстве, запрыгаешь ты.

Вспоминаю закат,
    переезд через бурную реку.
В мокрой лодке пришлось
    на колени тебя посадить.
Переправившись в церковь
    со строгими фресками Грека,
Мы, еще не обсохнув,
    о них попытались судить.

Со смешным торжеством
    мы по краскам века узнавали,
Различали святых
    по суровым носам и усам,
И до самого купола
    дерзкой рукой доставали,
И спускались обратно
    по скользким и шатким лесам.

Ты попутчицей доброю
    сделаться мне пожелала,
Чтоб не портить компании,
    горькое пиво пила,
Деревянное мясо
    с веселой улыбкой жевала,
На туристских привалах
    спала, как в Москве не спала.

Помню это шоссе
    с торопливой грозой, с облаками.
Я хотел отдохнуть,
    ты сердито пожала плечом
И особенно громко
    стучала в асфальт каблуками,
Чтобы мне доказать,
    что усталость тебе нипочем.

Что ж, мой верный попутчик,
    ведь эдак, пожалуй, и нужно —
И жевать что придется,
    и с жесткой постелью дружить.
Жаль одно — что в поездке
    мы жили подчеркнуто дружно,
Неурядицы наши
    решив до Москвы отложить.

Это нам удалось.
Только это как раз ведь и страшно,
То, что распри свои
отложить мы впервые смогли.
Там начало конца,
Где, не выдернув боли вчерашней,
Мы, желая покоя,
по-дружески день провели.

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА

Помню время, когда
мы на людях бывать не умели,
Нам обоим мешали
их уши, глаза, голоса.
На веселой пирушке,
где много шумели и ели,
Было трудно нам высидеть
больше, чем четверть часа.

Чтобы лекции слушать,
нарочно садились не рядом.
Впрочем, кто бы, и как бы,
и что бы ни стал нам читать,
Разве мог помешать он
нам взглядом выпрашивать взгляда
И, случайно не встретив,
смертельной обидой считать?

Помню, ты на собрании.
Жду тебя долго. И трижды
То к дверям подхожу,
то обрывки ловлю сквозь окно —
Только б слышать твой голос!
Не важно, о чем говоришь ты, —
Пусть о сдаче зачетов,
не всё ли мне это равно?

Что такое привычки,
мы даже не знали сначала;
Если знали из книг,
то старались о них забывать.

И друг друга любить
в это время для нас означало —
Каждый день, как впервые,
друг другу себя открывать.

Было что открывать.
Было порознь накоплено каждым.
Чтоб вдвоем докопаться
до самых забытых углов,
Чтобы всякую мелочь
припомнить хотя бы однажды,
Нам на первых порах
ни часов не хватало, ни слов.

Но потом нам хватило
и слов, и часов, и рассудка,
Чтоб свои треволненья
ввести понемногу в русло.
Было дела по горло.
Не виделись часто по суткам,
С головой уходя
я в свое, ты в свое ремесло.

Мы учились делить
только то, что сегодня и завтра,
Разговаривать нынче
о том, что случилось вчера.
Это стало спокойным,
привычным, как утренний завтрак.
Даже время на это
отведено было с утра.

Мы друг другу за всё
благодарными были когда-то.
Всё казалось находкою,
всё не терпелось дарить.
Но исчезли находки,
дары приурочены к датам,
Всё и нужно и должно,
и не за что благодарить.

Куча мелких привычек
нам будние дни отравляла.
Как я ел, как я пил —
всё заранее знать ты могла;

Как я в двери входил,
как пиджак на себе оправлял я,
Как садился за стол,
как вставал я из-за стола.

Всё вдвоем да вдвоем.
Уж привычными смотрим глазами
И случайных гостей
принимаем всё с меньшим трудом.
Через год, через два
мы уже приглашаем их сами,
И друзья, зачастив,
не стесняясь заходят в наш дом.

В шумных спорах о вечности
весело время теряем.
Стол газетой накрыв,
жидкий чай по-студенчески пьем.
Но, оставшись одни,
в эти дни мы еще повторяем:
«С ними было отлично.
А все-таки лучше вдвоем».

Если лучше вдвоем —
это значит, еще не насмарку,
Это значит, что ладим,
что всё еще вместе скрипим...
Помню день, когда поняли:
словно почтовая марка,
Наша общая жизнь
была проштемпелевана им.

Как на грех, выходной.
Целый день толковали о разном.
И, надувшись, засели в углах.
Я в одном. Ты в другом.
Мы столкнулись в тот день
с чем-то скучным, большим, безобразным,
Нам впервые тогда
показалось, что пусто кругом.

Говорить не хотелось,
довольно уже объяснялись.
Спать и рано, и лень
застилать на диване кровать.

И тогда, как по сговору,
сразу мы оба поднялись
И пошли к телефону:
кого-нибудь в гости зазвать.

Вот и гости пришли.
Мы особенно шумно галдели,
Нашу утлую мебель
в два счета поставив вверх дном,
Мы старались шуметь,
чтоб не думать о собственном деле,
Мы старались не думать —
и думали всё об одном:

Что впервые в гостях
мы себе облегченья искали,
Что своими руками
мы счастье свое отдаем.
Чем тоскливее было,
тем дольше гостей не пускали.
Наконец отпустили
и снова остались вдвоем...

Много раз нам потом
хорошо еще вместе бывало.
Мы работали рядом
и были довольны судьбой,
Но я помнил всегда,
да едва ли и ты забывала,
Что однажды вдвоем
показалось нам плохо с тобой.

Мы, почувствовав это,
глядели глазами сухими,
Понимали, что вряд ли
от памяти мы убежим.
Там начало конца,
где, желая остаться глухими,
В первый раз свое горе
заткнули мы криком чужим.

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА

Помнишь узкую комнату
с насмерть продрогшей стеною,
С раскладною кроватью,
со скрипом расшатанных рам?
Ты всё реже и реже
в нее приезжала со мною,
Иногда перед сном
и почти никогда по утрам.

Ты ее не любила
за грязные чашки и склянки
И за то, что она
не тепла, не светла, не бела.
За косое окно,
за холодную печку-времянку
И за то, что времянкой
вся комната эта была.

Я тогда обижался.
На время забросив работу,
Я повесил ковер.
Я разбитое вставил стекло.
Я вколачивал гвозди.
С мужской неуклюжей заботой
Я пытался наладить
в ней женский уют и тепло.

Было всё ни к чему.
Стало холода меньше и ветра,
Но остался всё тот же
бивачный невыжитый дух.
Может, просто нам тесно?
Но семь с половиною метров,
Если всё хорошо, —
разве этого мало для двух?

Мы щенятами были.
Немало пришлось нам побиться,
Чтоб понять, что причиной
не комната и не кровать,
Чтоб понять наконец:
как недолго и просто влюбиться
И как сложно с тобой
с глазу на глаз нам век вековать.

Сколько в этой каморке
    с тобой мы зубрили зачетов.
Керосинку внеся,
    согревались непрочным теплом.
Сколько ты исправляла
    моих чертежей и расчетов,
Терпеливо азы
    повторяла со мной за столом.

Я недавно там был,
    там при скором отъезде забыто
Много разных вещей,
    там халат твой домашний висит,
Два кривых костыля
    в капитальную стену забиты,
И на них запыленная
    длинная рама косит.

Так жива эта память,
    что нам вспоминать даже рано:
Было туго с деньгами,
    неважное было житье,
На рожденье мое,
    отыскав эту старую раму,
Вставив снимки свои,
    ты на память дала мне ее.

Двадцать снимков твоих.
    По годам я тебя разбираю:
Вот двухлетний голыш,
    вот девчонка с косичкой смешной,
Вот серьезный подросток,
    и около правого краю
Ты такая, какой
    в первый раз увидалась со мной.

Как я мог позабыть
    твои карточки в комнате этой?
Все висят здесь по-прежнему,
    так, словно ты не ушла.
Там начало конца,
    где, на прежние глядя портреты,
В них находят тепло,
    а в себе не находят тепла.

Ну, расстались с тобой
и сидели бы, кажется, молча.
Понимали бы трезво,
что жизнь еще вся впереди.
Отчего же пишу я
с такой нескрываемой желчью,
Словно я не забыл,
словно крикнуть хочу: погоди!

Погоди уходить!
Что я, проклятый, что ль, в одиночку
Наши беды считать!
В сотый раз повторять: «Почему?»
Приезжай, посидим,
погрустим еще целую ночку.
Раз уж надо грустить,
мне обидно грустить одному.

Если любишь, готовься
удар принимать за ударом,
После долгого счастья
остаться на месте пустом;
Все романы обычно
на свадьбах кончают недаром,
Потому что не знают,
что делать с героем потом.

Отчего мне так грустно?
Да разве мне жизнь надоела?
Разве птицы не щелкают,
не зеленеет трава?
Разве, взявшись сейчас
за свое непочатое дело,
Я всего не забуду,
опять засучив рукава?

Да и ты ведь такая,
ты тоже ведь плакать не будешь,
Только старый будильник
приучишься ставить на семь.
Станешь вдвое работать...
Решивши забыть — позабудешь,
Позабывши — не вспомнишь,
не вспомнив — забудешь совсем.

Всё последнее время
мне вдоволь тоски приносило,
Но за многие годы
не помню ни часа, ни дня,
Чтобы слышал в руках
я такую тяжелую силу,
Чтобы жадность такая
гнала по дорогам меня.

Отчего ж мне так грустно?
Зачем я пишу без помарок
Всё подряд о своих
то веселых, то грустных часах.
Так письмо тяжело,
что еще не придумано марок,
Чтоб его оплатить,
если вешать начнут на весах.

Я письмо перечту,
я на пальцах еще погадаю:
Отправлять или нет?
И скорее всего не пошлю.
Я на этих листках
подозрительно сильно страдаю
Для такого спокойного слова,
как «я не люблю».

Разве я не люблю?
Если я не люблю, то откуда
Эта страсть вспоминать
и бессонная ночь без огня,
Будто я и забыл,
и не скоро еще позабуду,
И уехать хочу,
и прошу, чтоб держали меня?

Телефон под рукой.
Стоит трубку поднять с аппарата,
Дозвониться до станции,
к проводу вызвать Москву...
По рублю за минуту —
какая ничтожная плата
За слова, без которых
я, кажется, не проживу.

Только б слышать твой голос!
А там догадаемся оба,
Что еще не конец,
что мы сами повинны кругом.
Что мы просто обязаны
сделать последнюю пробу,
Сразу выехать оба
и встретиться хоть в Бологом.

Только ехать — так ехать.
До завтра терпенья не хватит.
Это кончится тем,
что я правда тебе позвоню...
Я лежу в своем номере
на деревянной кровати,
Жду экспресса на север
и мысли пустые гоню.

Ты мне смотришь в глаза:
может, знаю я средство такое,
Чтобы вечно любить,
чтобы право такое добыть, —
Взять за ворот любовь
и держать ее сильной рукою.
Ишь чего захотела!
Да если бы знал я, как быть!

Разве я бы уехал?
Да я бы держал тебя цепко.
Разве б мы разошлись?
Нам тут жить бы с тобою да жить.
Если б знать мне! Но жаль —
я не знаю такого рецепта,
По которому можно,
как вещи, любовь сторожить.

Нет, мой добрый товарищ,
звонить не хочу и не буду.
Всё решали вдвоем,
и решали, казалось, легко.
Чур, не плакать теперь.
Скоро поезд уходит отсюда.
Даже лучше, что ты
в этот день от меня далеко.

Да, мне трудно уехать.
    Душою кривить не годится.
Но работа опять
    выручает меня, как всегда.
Человек выживает,
    когда он умеет трудиться.
Так умелых пловцов
    на поверхности держит вода.
Почему ж мне так грустно...

. . . .
. . . .

    Письмо обрывалось на этом.
Я представил себе,
    как он смотрит в пустые углы.
Как он прячет в карман
    свой потертый бумажник с билетом —
Место в жестком вагоне
    мурманской «Полярной стрелы».
Отложивши письмо,
    я не мешкая вышел в контору;
Я седого портье
    за рукав осторожно поймал:
«Вы не скажете мне,
    вы не знаете город, в который
Выбыл тот, кто мой номер
    последние дни занимал?»
— «Не могу вам сказать,
    очень странные люди бывают.
С чемоданом в руках
    он под вечер спустился сюда.
И когда я спросил,
    далеко ль гражданин выбывает,
Он, запнувшись, сказал,
    что еще не решился куда».

1938

197. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

В пятнадцать лет — какие огорченья?
Мальчишеские беды нам не в счет;
Сбежал из дому — попроси прощенья,
Расстался с ней — до свадьбы заживет.

Так повелось: сначала вспомним сами,
И сразу на смех — разве не смешно,
Что где-то за горами, за лесами
Мы ключ от детства бросили давно?

Мы не спеша умнеем год за годом,
Мы привыкаем к своему углу,
Игрушкой с перекрученным заводом
Спит наше детство где-то на полу.

Дай бог нам всем когда-нибудь, когда
Мы заболеем старостью и грустью,
На пять минут забыв свои года,
Увидеть юность в волжском захолустье.

В пятнадцать лет у каждого свое,
Но взрослым всем нам поровну приснится
Прощанье с детством, хитрый взгляд ее
Сквозь нехотя вспорхнувшие ресницы.

Подумать только, сколько лет назад,
И все-таки он с ясностью печальной
Мог вспомнить тот, казалось им, прощальный,
А в самом деле только первый взгляд.

Стоят на разных улицах фасады,
Но в две ограды сдвинулись дворы,
И, если хочешь, можно из засады
Смотреть, как, чертыхаясь от жары,
Ее отец пропалывает грядки,
Как ходит мать, как целые часы
Она сама, уткнувши нос в тетрадки,
Мух отгоняет хвостиком косы.

И вдруг слетит с насиженного места
И колесом пройдется через двор.
«Стыдись, Мария. Ты уже невеста,
Пойди сюда», — и скучный разговор,
Который, верно, кончится не скоро,
И надо ждать и, косу теребя,
Смотреть, как тоже в дырочку забора
Чужой мальчишка смотрит на тебя.

Зимой, когда подсыпало снежка,
В своей засаде сидя, то и дело
Он видел, как она исподтишка
Через забор в их сторону глядела.

Такого не бывало до сих пор,
А впрочем, просто снег сгребали с крыши.
В сугробах весь, чуть ниже стал забор,
А может быть, и девочка чуть выше.

Весной с отцом и матерью она
Уехала к своей родне за Волгу,
И надо ж так совпасть, что вся весна
Была в тот год дождливою и долгой.

Лениво голубей гонял шестом —
Бог с нею, с этой голубиной славой, —
И по привычке на дворе пустом
Всё ждал услышать голосок картавый.

И вдруг вернулась. Он и не узнал.
Поближе разглядеть бы попроситься.
Где детство — исцарапанный пенал,
Босые ноги, платьице из ситца?

Как будто в дом вернулась не она,
Не девочка, а старшая сестрица.
Соседскому мальчишке грош цена
Для барышни, успевшей опериться.

По воскресеньям — женский гребешок,
Чулочки вместо темной детской кожи
И каблучки — без малого вершок,
Еще не как у матери, но всё же...

Еще коса, но шпилек полон рот;
У зеркала, от старших втихомолку,
Сердито спрячет девочкину челку,
В тяжелый узел косу соберет.

Еще спасибо, в городском саду
Никто из взрослых не гуляет с нею.
Что может быть бессильней и больнее,
Чем ревность на шестнадцатом году?

Пусть даже ты немножко вырос тоже,
Пускай ты на год старше и умней,
Мы рядом с нею всё равно моложе,
Нам очень впору позабыть о ней.

И вот вчера, как будто зная это,
Ее отец решил менять жилье.
Возы скрипели, и, как хвост кометы,
Летело сзади по ветру белье.

Коробилась посуда жестяная,
Шкафы вставали дыбом, как стена,
И, в старом детском ситчике, сквозная,
С вещами рядом молча шла она.

Он не пошел за нею. Очень надо!
Весь день сидел волчонком, ждал отца,
Чтоб, вдруг вспылив от слова или взгляда,
Стать всем назло несчастным до конца.

И к вечеру дождался — глупый спор,
Сердитое лицо отца за чаем
И тот непоправимый разговор,
Который мы не сразу замечаем.

Мать выбежала следом без платка,
И он чутьем почувствовал сквозь слезы —
Морщинистая легкая рука
Была сильней, чем ссоры и угрозы.

Бог с ним, с отцом, но с матерью беда,
Она не скажет: «Скатертью дорога».
Послушаться ее — так никогда
Не убежишь, не перейдешь порога.

Он даже обещал ей, на беду:
«Да, возвращусь, да, попрошу прощенья», —
Он руки целовал ей на ходу,
Все в тесте от домашнего печенья.

Уже к потемкам, в поисках ночевки,
Добрел до черных волжских пристаней;
Железный хлам, смоленые бечевки,
Далекое движение огней.

Полуночные волжские пески.
Весь в зарослях, весь в уголках укромных,
Построенный посереди реки
Ночной приют влюбленных и бездомных.

В пятнадцать лет тут будет не до сна:
Обрывки чьих-то жадных разговоров,
Притворный вздох, и снова тишина,
И платья задыхающийся шорох.

Как маленькие звери, на песке
Лежат полузарытые ботинки,
И наспех снятых блузок паутинки
Качаются на легком ивняке.

Был нами аист в девять лет забыт,
Мы в десять взрослых слушать начинали,
В тринадцать лет, пусть мать меня простит,
Мы знали всё, хоть ничего не знали.

В пятнадцать лет томленье по утрам —
До хруста кости выгнуть непременно.
Заезжий цирк. Пристрастье к лошадям,
К соленым потным запахам арены.

Не девочка в тумане голубом,
Не старенькое платьице из ситца,
Тут можно было в стенку биться лбом,
Не знать, чего ты хочешь, и беситься.

Он лег ничком на выжженном песке.
Высокая, спокойная, большая,
Рукой небрежно ветви раздвигая,
Нагая женщина прошла к реке.

Закрыв глаза, он видел, как кругами
От сильных взмахов прыгает волна, —
Потом затихло. Легкими шагами
С ним рядом вышла на берег она.

Пучок волос из-под косынки вылез.
Он видел всё — припухлости у рта
И ниточку загара там, где вырез
Кончался, как запретная черта.

Она сжимала волосы руками,
В тяжелый жгут согнув их пополам.
Вода в песок сбегала ручейками
По длинным, зябшим на ветру ногам.

Она, рассыпав волосы, лениво
Закрыла ими грудь от ветерка,
Всем телом наклонясь, неторопливо
Комочек платья подняла с песка.

Но платье надеваться не хотело,
На нем темнели мокрые следы
Там, где еще не высохшее тело
Всё было в мелких капельках воды.

Из-за кустов позвали: «Надя! Надя!»
Откинув наспех волосы с лица,
Пошла на голос, под ноги не глядя,
Не натянувши платья до конца.

Он вдруг устал от душной темноты.
На глубине за дальними песками
На якорях стоявшие плоты
Всю ночь ему моргали огоньками.

Стянув покрепче платье в узелок,
Легко гребя свободною рукою,
Поплыл к плотам и лег на край досок
Над черной, тихо шлепавшей рекою.

Так низко проплывают облака,
Что можно лежа зацепить руками,
На мачтах два зеленых огонька,
Как лампочки, висят под облаками.

Сюда приедет через много лет
Тот, кто в твоих мальчишеских тревогах
Найдет обратный позабытый след
Всего, что растерял он на дорогах.

Он с виду равнодушно, как прохожий,
Весь город молча обойдет пешком,
Ни на кого из здешних не похожий,
Он будет пахнуть крепким табаком.

Всё будет в нем бывалое, мужское —
И слишком громкий одинокий смех,
И даже то, как ловко он, рукою
Прикрыв огонь, закурит без помех.

Он всё поймет, он будет долго-долго
Сидеть с тобой на берегу реки,
Смотреть на расходившуюся Волгу,
На пляшущие красные буйки.

Он вспомнит без раскаянья и желчи
Всё, даже то, что ты не знаешь сам,
Шершавою мужской ладонью молча
Он проведет по детским волосам.

Но, боже мой, как долго ждать свиданья,
Как трудно молчаливому тому,
Кто через двадцать лет свои страданья
Расскажет вслух себе же самому!

На головном плоту трещал огонь,
Шипя, тонули искры под водою,
Ловя их с лету в красную ладонь,
Волгарь с широкой белой бородою

Неторопливо говорил своим
Плашмя лежавшим на плоту соседям:
«Такая жизнь — поедем, постоим,
Поедем, постоим, опять поедем...»

ВТОРАЯ ГЛАВА

1

Мужские неуютные углы,
Должно быть, все похожи друг на друга.
Неделю не метенные полы,
На письменном столе два черных круга —
От чайника и от сковороды,
Пучок цветов, засохших без воды,
Велосипед, висящий вверх ногами,
Две пары лыж, приставленных к окну,
Весь этот мир, в длину и в ширину
Давно измеренный тремя шагами.
Как хорошо мы помним до сих пор
Нехитрые мальчишеские трюки:
Мгновенно в угол заметенный сор,
Под тюфяком разглаженные брюки,
И галстук, перед праздником за сутки
Заботливо заложенный в словарь,
И календарь стенной, на самокрутки
Оборванный вперед на весь январь,
Пиджак, зашитый грубыми стежками,
Тетрадка с юношескими стишками...

Несложные предметы обихода,
Треногий стол и голая стена —
Всё ждало здесь, когда придет она,
Желая и страшась ее прихода.

И сам хозяин скучными ночами
Мечтал ее в свой угол привести,
Рубиться с кем-то длинными мечами,
Бог знает от кого ее спасти.

Он клялся быть ей верным до могилы,
Он звал ее, он ждал ее сюда.
Ждал год и два. Потом почти всегда
Она в конце концов к нам приходила

И говорила: «Бедный, дорогой», —
Какое-то незначащее слово,
Которое, услышав раз-другой,
Мы каждый день хотели слышать снова.

Все стены в доме были той системы,
Когда, имея даже скверный слух,
Живя в одной из комнат, вместе с тем мы
Почти живем еще в соседних двух.

И если у соседа есть жена,
То, обхвативши голову руками,
Ты всё же слышишь, как, ложась, она
Роняет туфли, стукнув каблуками.

А впрочем, женщин в доме было мало,
Мужское беспокойное жилье;
Мы сами, помню, по утрам, бывало,
Стирали в умывальниках белье.

Когда я снова роюсь в этих датах,
Я и доныне верю не шутя,
Что в тридцать первом не было женатых,
Что все женились года два спустя.

Он уезжал отсюда. Есть пора,
Когда мы погрубевшими руками
Должны потрогать острие пера,
Почувствовать себя учениками,

Должны сменить, уехав налегке,
Строительный привычный беспорядок
На кляксы ученических тетрадок,
На узкую кровать в студгородке.

Он вдруг себя почувствовал подростком
С потертой школьной сумкой на спине.
Он был готов ночей не спать на жестком,
На самом неуютном топчане.

Учителям, как в детстве, глядя в рот,
Сидеть на ученической скамейке,
Жевать на завтрак тощий бутерброд,
Считать стипендий скудные копейки.

2

Мать, по своей старушечьей привычке,
Явилась на вокзал за целый час.
В ее бауле сыну про запас
Лежал цыпленок, булочки, яички.

С тех пор, как, убедив ее с трудом,
Чтоб каждый день по десять верст не делать,
Уехал сын в заводский дальний дом,
Ей всё казалось, что недоглядела,

Что надо б не пускать его в отъезд.
Зазвав к себе, ему котлетки грела,
Как он их уплетал, с тоской смотрела.
Бедняжка, верно, там-то плохо ест...

Есть матери — блажен, кто их имеет, —
Нам кажется порою, может быть,
Они всего на свете и умеют,
Что только нас жалеть, кормить, любить...

Но если сын обижен ни за что, —
Заняв на бесплацкартный у знакомых,
В своем потертом, стареньком пальто
Они дойдут до самого наркома.

Но вместо сына к первому звонку
Явилась вдруг она, его девчонка,
В мужской ушанке, с сумкой на боку,
В короткой курточке из жеребенка.

Мать ей навстречу важно чуть привстала,
Морщинистую руку подала.
Пока девчонка что-то щебетала,
Мать на нее смотрела из угла.

Ну да, конечно, с синими глазами
И даже с ямочками на щеках.
И щеки не изъедены слезами,
И ни одной морщинки на руках.

Ну что ж, она не осуждала сына.
Так повелось: растишь, хранишь, потом
Чужая девушка махнет хвостом,
И он уйдет за нею на чужбину...

Сын, правда, говорил ей, что девчонка
Ему близка как друг или сестра,
Но он мальчишка, а она стара,
Где дружит сын — там, значит, жди внучонка.

Ей захотелось девушке сказать,
Чтоб все-таки она не забывала,
Что жениха ей вырастила мать,
Что мать его в морозы укрывала,

И, если мальчик стал большим мужчиной,
Который ей сейчас милее всех,
Пусть помнит — тут и мать была причиной.
Старухе поклониться бы не грех...

Но вот и он. И, ежась от мороза,
Из дымной залы вышли на перрон.
Мать отошла. А девушка и он
Пошли пройтись вперед, до паровоза.

Мать провожала их ревнивым взглядом.
Вот сын пришел, а ты опять одна.
Он до свистка проходит с тою рядом
И той последней крикнет из окна...

Как два влюбленных, словно всё в порядке,
Он и она шли вдоль платформ ночных.
Она забыла взять с собой перчатки,
Он грел ей руки, спрятав их в своих.

Но, боже мой, чего бы он ни дал,
Чтоб знать — она нарочно их забыла...
Чтоб знать, приятно ли сейчас ей было,
Что он ей руки греет. Как он ждал,

Чтоб из обычных ледяных границ
Она бы вырвалась хотя бы на мгновенье!
Пустячное дрожание ресниц,
Короткий вздох, одно прикосновенье.

Но что он может знать, когда она
Всё так же, не меняясь год от года,
Светла и безнадежно холодна,
Как ясная январская погода!

Оставь ее — и ты легко прощен,
Вернись опять — она и не заметит,
Ее холодным солнцем освещен,
Забудешь ты, как людям солнце светит.

Ему хотелось вместо всех «прости»,
Не долго думав, взять ее в охапку,
Взять всю как есть, с планшеткой, с шубой, с шапкой,
Как перышко, в вагон ее внести...

Но, не дождавшись третьего звонка,
Он, даже не простившись хорошенько,
Сказал ей равнодушное «пока»,
Легко вскочил на верхнюю ступеньку.

Состав пошел. Стянув перчатки с рук,
Мать вдоль платформ за сыном зачастила
И, виновато поглядев вокруг,
Из-под полы его перекрестила.

Последнее лицо в оконной раме,
Последний шепот: «Кутайся тепло»,
И кто-то сквозь замерзшее стекло
Кричит, беззвучно шевеля губами.

Мать с торжеством на девушку взглянула —
Не ей, а старой матери своей
Уже с подножки руки протянул он
И помахал фуражкой из дверей.

Но девушка ее не замечала.
Она, давясь от подступивших слез,
Смотрела вдаль, туда, где всё кончалось,
Где вился дым и таял стук колес.

Мать видела — на воротник упала
Тотчас стыдливо стертая слеза.
Куда и ревность разом вся пропала.
Заплаканные синие глаза

Ей показались мягче и грустнее.
Что ж, мать порой ревнует невпопад.
Но если мы о сыне плачем с нею,
Нам эти слезы полвины скостят.

«Голубчик мой, я так одна скуча́ю,
Я так давно к себе вас не звала.
Голубчик мой, пойдемте выпьем чаю. . .» —
И девушка безропотно пошла.

До самой двери долгий путь ночной
Мать ей тихонько на ухо шептала,
Какой он в раннем детстве был больной,
Каких лекарств она ни испытала,

Как восемь лет кругом была война,
Как трудно приходилось с докторами,
Как, если будет у него жена,
Должна жена быть благодарна маме.

3

Всегда назад столбы летят в окне.
Мы двадцать раз проехать можем мимо,
Они опять по той же стороне
К нам в прошлое летят неутомимо.

Он знал ее давно, давным-давно,
Когда-то в детстве жил он рядом с нею,
Еще мальчишкой, прячась и бле́днея,
Подглядывал за ней через окно.

Он помнит платье в ситцевых цветах,
И по двору мельканье пестрой юбки,
И хитрый взгляд, когда она, устав,
Садилась на виду, поджавши губки,

И блеск уже тогда лукавых глаз,
И худенькие девочкины руки.
Он слишком много для мальчишки раз
Об этом думал за семь лет разлуки.

И вдруг ее увидеть наяву!
Она его сначала не узнала.
«Где вы теперь живете?» — «Я живу. . .» —
И улицу знакомую назвала.

«А я ведь вас ходил искать не раз».
— «Искать меня?» — «Вы жили рядом с нами.
Тогда вас звали Машею». — «А вас?»
И снова обменялись именами.

Он говорил с ней нарочито грубым,
Еще не устоявшимся баском.
Когда она подкрашивала губы,
Он вытирал их носовым платком.

Под зонтиком, сквозным как решето,
В весенний дождь она терпела кротко,
Пока с ворчливой нежностью пальто
Застегивал он ей до подбородка.

Они гордились дружбою своей,
Тем, что они так по-простому дружны,
Что друг от друга ни ему ни ей,
Казалось, больше ничего не нужно.

Она, по крайней мере, много дней
Его к невинной дружбе приучала,
Но он, с тоской поверив в этом ей,
Себе не верил с самого начала.

Раз так стряслось, что женщина не любит,
Ты с дружбой лишь натерпишься стыда,
И счастлив тот, кто разом всё обрубит,
Уйдет, чтоб не вернуться никогда.

Он так не смог, он слишком был влюблен,
Он не посмел рискнуть расстаться с нею.
Чем больше дней молчал и медлил он,
Тем было всё труднее и стыднее.

И воровским казался каждый взор,
И каждое пожатие — нечестным.
Но девушке, пожалуй, до сих пор
Всё это оставалось неизвестным.

Он много раз один в часы ночные
Мечтал, что, стоит в дом ее ввести,
Ее вихры мальчишечьи смешные
В послушные косички заплести,

На кухне вымыть чайную посуду,
Нагреть свою печурку докрасна, —
Ей станет так уютно, что она
Останется и не уйдет отсюда...

Минутами казалось, что и ей
Хотелось быть большой, неосторожной.
Сердитые морщинки у бровей,
И голос вдруг по-женскому тревожный,

И взгляд такой, как будто вдруг она
Заметила посередине фразы
Глаза мужчины, койку у окна
И ключ в двери, повернутый два раза.

Нет, не повернутый. Но всё равно,
Пусть три шага ты мне позволишь взглядом.
Шаг к двери — заперто. Шаг к лампочке — темно.
И шаг к тебе, чтоб быть с тобою рядом...

Но где там! Синеглазая юла,
Что ей до нас, до наших темных комнат!
Подпрыгнет, сядет посреди стола,
Обдернуть платье даже и не вспомнит.

Прижмется, если на дворе мороз,
Разуется, чтоб водкой вытер ноги,
И поцелует по-смешному — в нос,
И на плече вздремнет, устав с дороги.

Недавно целый день была метель.
Она за полночь на часы взглянула,
Без спросу застелив его постель,
Калачиком свернувшись, прикорнула.

Он лег у ног ее, как верный пес,
Он видел из-под сдвинувшейся шубы
Беспомощные завитки волос,
По-детски оттопыренные губы.

Так близко, так ужасно далеко
Она еще ни разу не бывала.
Чем так заснуть беспечно и легко,
Уж лучше бы совсем не ночевала.

Хотелось крикнуть. Выгнать на мороз
Безжалостно, под носом хлопнуть дверью
За это равнодушное, до слез
В такую ночь обидное доверье.

За́то теперь он едет. В самый раз.
Он должен поскорей от рук отбиться.
От рук ее, от губ ее, от глаз,
В кого придется, наскоро, влюбиться.

Зубрить, зубрить, и в пять утра вставать,
И засыпать над книгой как попало,
Не вспоминая, падать на кровать
И сразу спать. Иначе всё пропало.

Вот только жаль, что рельсы и столбы
Легли соблазном между городами,
А предки ждать решения судьбы
Привыкли месяцами и годами.

Легко им было забывать навек,
Когда, кряхтя, тащились колымаги,
Когда казенный сонный человек
По тракту вез почтовые бумаги!

А мы? Вокзал и почта за углом.
Нам трудно день прожить без покаянья.
Забвенье стало трудным ремеслом,
Когда у нас украли расстоянья.

4

На Спасской башне било семь. Москва
Еще была в рассветной синей дымке.
Шипели в снеготаялках дрова.
Свистели постовые-невидимки.

Под буквами неоновых реклам
Сидели сторожа с дробовиками,
Похлопывая красными руками
По рыжим громыхающим бокам.

Прозрачной, тонкой струйкой купороса
Дымки из труб летели от застав, —
Казалось, целый город, только встав,
Затягивался первой папиросой...

Москва в его глазах была большой,
Трамвайной, людной и немножко страшной.
В ней были Кремль и Сухарева башня
И два театра — Малый и Большой.

Но стоило войти в нее с утра,
Увидеть сторожей у магазинов,
Заметить дым последнего костра,
Услышать запах первого бензина, —

Чтоб вдруг понять, что с этою Москвой
Им можно положиться друг на друга,
Что этот город, теплый и живой,
В конце концов ему уделит угол.

Понравься ей. Работай по ночам
И утром пояс стягивай потуже,
Ни в чем не уступая москвичам,
Учись у них, ты их ничем не хуже.

И если разболится голова
И будешь плакать, сидя в чахлом сквере,
Никто не вытрет слез твоих. Москва
Таким слезам по-прежнему не верит.

Какое б море мелких неудач,
Какая бы беда ни удручала,
Руками стисни горло и не плачь,
Засядь за стол и всё начни сначала.

А вот и дом, куда он так летел, —
Старинное святилище науки.
Московских зодчих золотые руки
Тут положили прочности предел.

Тут всё ему внушало уваженье:
Тяжелые чугунные замки,
Львы у ворот, лепные потолки,
Высокие до головокруженья.

По коридорам шли профессора
Один другого старше, старомодней.
Он их и не заметил бы вчера,
Но с трепетом смотрел на них сегодня —

На их стоячие воротнички,
На узенькие, дудочками, брюки,
Подвязанные ниточкой очки
И в синих жилках старческие руки.

К полуночи он возвратился в дом,
Где им с утра ночевку указали,
Где топчаны, добытые с трудом,
Как хвойный лес, стояли в темном зале.

Курили, говорили о Москве.
Одним, казалось, далеко за тридцать,
Другие только начинали бриться,
Но мальчики здесь были в меньшинстве.

Сюда сошлись, на бивуак ночной,
Всё больше люди с крепкими руками,
С хорошей выучкою за спиной.
Они себе казались стариками,
Так много за недолгие года
Пришлось трудов жестоких пережить им,
На голом месте строить города,
Кочуя по холодным общежитьям.

Он лег, не раздеваясь, у окна.
На свет и тень нарезав зал ломтями,
Вся в хлопьях снега, белая луна
На подоконник оперлась локтями.

В такую ночь и спать не впору нам.
Нам нужно, чтобы плиты были гулки,
Чтоб нам, привыкшим к четырем стенам,
Вдруг помогали думать переулки.

Он, ежась, вышел в темный коридор.
Свет не горел. В бутылках мерзли свечи.
У самой двери старенький вахтер
В неслышных туфлях поднялся навстречу:

«Вам телеграмма». Всё еще не веря,
Опять читал: «Вернись — я не могу».
На бланке буквы как следы до двери
На этой ночью выпавшем снегу.

Не может? Лжет. Не может — это значит:
Всё ходит, ходит ночи напролет,
И пробует заплакать, и не плачет,
В подушку ртом — как головой об лед.

И вдруг бежит вдогонку за трамваем,
Завидя там похожий воротник,
Сто раз на дню упрямо забывая,
Что встретиться зависит не от них.

Не может быть, он не сошел с ума,
Чтоб верить ей, девчонке-недотроге.
Она уже испугана сама.
Но телеграмму не вернешь с дороги.

И все-таки на том себя ловлю,
Что пробую лицо ее представить,
Когда она мне говорит «люблю»,
Решив себя на память мне оставить,

И не могу. Я вижу только рот,
Способный мне сказать два милых слова.
Упрямый — сделать всё наоборот
И детский — тут же помириться снова.

А вдруг она, упрямица, смогла
На каблуках перевернуться круто...
Синица тоже море подожгла,
И кто-то ж ей поверил на минуту.

Спешить к ней, задыхаясь на бегу,
Как будто море правда загорится,
Не оставаясь у нее в долгу,
За сумасбродство отплатить сторицей.

Пусть, спутав всё, любя и не любя,
Придет к тебе, и рада и не рада.
А ты поверь и обмани себя,
Решив, что так, наверное, и надо.

Без шапки, наспех натянув пальто,
Он выбежал в ночной, пустынный город
И не узнал его. В нем всё не то.
Сгребают с крыш, и снег летит за ворот,

И доски, как нарочно, поперек,
И грохот льда, летящего по трубам,
Чтоб не ходил, чтоб сам себя берег,
Ему всю ночь напоминают грубо.

Как трудно, сжившись с городом с утра,
Вдруг встретить ночью — темным, непохожим —
И, зная, что бросать его пора,
Опять себя почувствовать прохожим.

Да стоит ли еще она того,
Чтоб в книги не заглядывать по году,
Чтоб, всё забыв, отрекшись от всего,
Вернуться, стать мальчишкой ей в угоду?

Он вспомнил комнату, но не такой,
В какой он жил, а новой, той, в которой
Всё тронуто уже ее рукой:
Со скатертью, с окном, закрытым шторой. . .

Ее подарки, мелочь, баловство,
То абажур, то коврик над кроватью
И штопаное ситцевое платье,
В котором ходят только для него.

Он наизусть в нем знает все заплатки,
Он любит, чтобы дома, встав со сна,
Опять вся в школьных бантиках и складках,
Как девочка, в нем бегала она.

Да, стоит быть нелепым, безрассудным,
Уехать к ней, себе же на беду,
Как хорошо, что ничьему суду
Такие преступленья не подсудны.

Ты в этом не раскаешься сначала,
Потом раскаешься, потом тебе
Еще придется каяться, что мало
В чем каяться нашлось в твоей судьбе.

5

Как все-таки она его ждала!
Она не знала раньше, что в разлуке
Так глупо могут опуститься руки,
Так разом опостылеть все дела.

Она была внезапно лишена
Тех маленьких счастливых ожиданий,
Той мелочной, но ежедневной дани,
Которую нам жизнь платить должна.

Мы можем пережить большое горе,
Мы можем задыхаться от тоски,
Тонуть и выплывать. Но в этом море
Всегда должны остаться островки.

Ложась в кровать, нам нужно перед сном
Знать, что назавтра просыпаться стоит,
Что счастье, пусть хоть самое простое,
Пусть тихое, придет к нам завтра днем.

Любила ли она его? Тревожно
Искать портрет. Не узнавать лица,
Казалось, присмотреться бы уж можно,
А всё не присмотрелась до конца.

Ей нравился в нем жесткий рот мужчины,
И властное пожатие руки,
И первые недетские морщины,
И ранние седые волоски.

Ей нравилось, что, идя с нею рядом,
Он вдруг дышал, как в гору, тяжело,
Блуждая городским замерзшим садом,
В пальто ее укутывал тепло

И, руки дольше задержав, чем надо,
Терялся и краснел, сходил с ума,
Когда она, его смущенью рада,
Наивно говорила: «Я сама».

Недавно одолела вдруг усталость.
С ним после лыж вернулась чуть жива.
Шел снег. Она заночевать осталась,
Не из-за снега, так, из озорства.

Ей не спалось, но, притворившись сонной,
Она видала, как он лег у ног,
Когда-то злой, но ею прирученный
Лохматый и взъерошенный щенок.

Такой большой, покорный, терпеливый,
Не смеющий ни рявкнуть, ни напасть. . .
Как хорошо владеть им! И, трусливо
Зажмурившись, класть пальцы прямо в пасть.

Она уже два года замечала,
Что с ним опасно стало быть нежней.
Любовью перепугана сначала,
Она потом легко привыкла к ней.

Заметила, что он всего слабее,
Когда она — девчонка-егоза,
Когда она дичится, и робеет,
И делает невинные глаза.

Всё с ним да с ним. И даже в скучный вечер
За то, что он пришел, его браня,
Привыкла так, что, кажется, без встречи
Сама с трудом могла прожить полдня.

Но ей еще ни разу не мечталось,
Забыв про всё, прийти к нему домой,
Чтоб, кроме вечных слов «моя» и «мой»,
В погасшем доме звуков не осталось.

И если так, — пожалуй, ведь она
Его жалела больше, чем любила.
Но в эти дни, когда ей грустно было,
Когда, оставшись без него, одна,

Она себе не находила места,
Ей показалось, что она лгала,
Что мать его, назвав ее невестой,
Недалеко от истины была.

Ей захотелось вдруг, без предисловья,
Расцеловать его, затормошить
И, не спросясь ни у кого, решить,
Что это называется любовью.

Послушает? Вернется ли с дороги?
По-прежнему ль еще она сильна?
Телеграфист был заспанный и строгий,
Переспросил зачем-то имена.

. . . .
. . . .

И вот вокзал. Бутылки с кипятком,
Резиновые, длинные минуты.
И скорый поезд, осадивший круто.
Последний шаг, плетущийся пешком.

Он в самом деле приезжал сюда.
Она должна ему свой голос, руки, тело.
«Ждала?» — «Ждала». — «Звала обратно?» — «Да».
— «Хотела быть со мною?» — «Да, хотела».

А ей сказать бы только: «Милый мой»,
Пожалуй, приласкаться осторожно,
Чтоб снова провожал ее домой,
Чтоб всё опять привычно и несложно.

Еще хотя бы год не покидать
Лукавого сословия девчонок,
И в каждом сне его тревожно ждать,
И каждый раз за сны краснеть спросонок.

Быть любопытной и неосторожной,
Наперекор мужскому их уму,
Знать каждый раз, чего нельзя, что можно,
И в руки не даваться никому.

А поезд подходил уже к платформе,
Вот кто-то прыгнул с ходу на перрон.
Но, слава богу, тот, в военной форме,
Который прыгал, всё еще не он.

Скорей в толпу, не думая, а там
Пусть будь что будет; подождать немного,
Пусть не идет за нею по пятам,
Она сама найдет потом дорогу.

Бежать, но раньше хоть одним глазком
Увидеть, что приехал в самом деле.
А если нет — глаза зажать платком,
И звать опять, и ждать еще неделю.

6

Не может быть. Он обежал вокзал.
Он грудью бился в запертые двери.
Она придет, — да кто тебе сказал?
Уже поняв, но всё еще не веря,
Бежал, бежал, как белка в колесе,
По этому грохочущему аду,
Где были все, кого не надо, все,
Все, кроме той, которую нам надо.

Чего всё это стоило ему —
Он понял, лишь домой к себе приехав.
Десятки книг, не нужных никому,
Забытых стен нетопленое эхо,

И никого. Пустой и длинный день.
Бывает одиночество такое,
Что хочется хоть собственную тень
Потрогать молча на стене рукою.

Мальчишка плачет, если он побит,
Он маленький, он слез еще не прячет.
Большой мужчина плачет от обид.
Не дай вам бог увидеть, как он плачет.

Он плачет горлом. Он едва-едва
С трудом и болью разжимает губы,
Он говорит ей грубые слова,
Которых не позволил никому бы.

Он говорит ей — милой, дорогой —
Слова сухие, как обрезки жести,
Такие, за которые другой
Им был бы, кажется, убит на месте.

Не скинув шубки, двери не закрыв
И не отерши ноги на пороге,
Она к нему вбежала, как порыв
Не жданной им и ветреной тревоги.

Так в комнату к нам входят только раз,
Чтоб или в ней остаться вместе с нами,
Или, простившись с этими стенами,
Надолго в них одних оставить нас.

Что можем мы заранее узнать?
Любовь пройдет вблизи. И нету силы
Ни привести ее, ни прочь прогнать,
Ни попросить, чтоб дольше погостила.

Он шаг ее услышал за стеною,
Но, не поверив, что пришла она,
На всякий случай стал к дверям спиною,
Касаясь лбом замерзшего окна.

Она швырнула на пол рукавицы,
Чтоб он не слышал, туфли с ног сняла,
На цыпочках пройдя по половице,
Его за шею сзади обняла.

И только здесь, услышав шорох платья
И рук ее почувствовав тепло,
Он в первый раз поверил, что пришло
Его простое, будничное счастье,

То самое, которого, не плача,
Не жалуясь, мы долго ждать должны.
Нам без него не радостны удачи,
Труды скучны, победы не нужны.

Ему осталось только потесниться,
Обнять ее, своим теплом согреть,
От слез, от снега мокрые ресницы
Рукою неуклюже отереть.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

1

Лишить бы нас печального пристрастья
Вновь приезжать на старые места.
Как был бы рад из памяти украсть я
Ту комнату, которая не та,
Давно не та, — другими нанята
И все-таки, назло тебе, похожа,
Похожа так, что вдруг мороз по коже,
Когда пройдешь на память этот дом

И лампу под зеленым колпаком,
Теперь под желтым. Почему под желтым?
Всего семь лет, как из дому ушел ты,
И вот они уж рады — кверху дном.

Ты будешь проходить здесь только днем,
Чтоб не встречать все эти перемены:
Зачем-то перекрашенные стены,
Дешевых люстр стеклянные подвески
И толстые чужие занавески,
Которых мы не покупали с ней.
Я этот дом пройду, закрыв глаза,
Я попрошу, раз иначе нельзя,
Играющих на улице детей,
Скажу, что слеп. Вдвоем с поводырем,
Зажмурясь, я пройду проклятый дом.

Мальчишка-поводырь мне за гроши
Солжет, что здесь не та земля и небо,
И сослепу, не встретив ни души,
Поверю сам, что я тут прежде не был.

Я заплачу, чтоб день прожить незрячим.
А память? Жаль, что не заткнешь ей рта,
Полжизни уписав на пол-листа,
Мы память сложим вчетверо и спрячем.

На что нам память? Сдать бы напрокат,
Чтоб, как большие черные рояли,
В чужих квартирах памяти стояли.
Пускай в них барабанят наугад,

Пусть, сев, как втрое сломанная палка,
Там будет гаммы девочка играть,
Чужую память никому не жалко,
И даже лень настройщика позвать.

Какие только мысли не взбредут
В бессонницу, когда мы подъезжаем,
И проводник уже стучится с чаем,
И три соседа нехотя встают,

А ты упорно смотришь за окно,
Как будто правда кто-то может встретить. . .
«Вы здесь бывали?» — «Да, бывал». — «Давно?»
— «Семь лет назад». Что ж им еще ответить?

Вы никогда не думали, что вдруг
Уйдем — и нет ни тумб, ни крыш, ни ставен.
Вернемся: ловкое движенье рук —
И всё назад, как фокусник, расставим?

Не думали? Но поезд, подойдя,
Уже был вровень с низкими домами.
Перрон в окне за каплями дождя
Бежал, прикрывши голову зонтами.

Уже засуетились чьи-то жены,
Уже стучали пальцами в стекло,
А нам с тобой опять не повезло,
Нас только дождь встречает у вагона.

Ну что ж, ведь мы транзитные. Для нас
Не всюду приготовлена погода.
Нам только скоротать бы лишний час
До позднего отплытья парохода.

Что, в самом деле, мало нам земли?
Есть поезда на Пензу, Минск и Тулу.
Так нет, другой дороги не нашли,
Опять на пепелище потянуло.

Вот этот дом — теперь ходи кругами,
Ходи, пока не высохнет песок,
Пока земля, как серный коробок,
У нас не загорится под ногами.

Твое лицо едва ль кому напомнит
Того мальчишку, что давным-давно
Жил за стеной в одной из этих комнат,
Смотрел сквозь это темное окно,

Не зная цен утратам и привычкам,
Еще не веря в тот счастливый год,
Что, как в тайге зимой последним спичкам,
Минутам счастья есть поштучный счет.

А дом всё тот же. И в жару и в стужу —
Не то что нам — ему износу нет,
Сквозь перекраски пятнами наружу
Опять пробился прежний, детский цвет.

Здесь женщина, с которою когда-то
Он прожил год в своем пустом углу,
Тревожно, неуютно, небогато,
Раскладываясь на ночь на полу.

Здесь женщина, с которой слишком долго
Они дружили, обманув себя,
И вдруг сошлись, не разобравшись толком,
Уже перетерпев, перелюбя.

Их чувству дружба прежняя мешала;
Они стыдились признаваться в нем,
И то, что было ночью, их смущало,
Смотреть в глаза не позволяло днем.

Здесь женщина, с которой слишком быстро
Они расстались, не успев решить.
Бывают расставания как выстрел —
Ни дня, ни часу дольше не прожить.

В них ничего не жалко и не странно,
От них, вперед решая быть умней,
Страдают, как от огнестрельной раны,
И, выжив, поправляются в пять дней.

Но есть еще другие расставанья:
Без громких ссор, без точки на конце,
Ползущая сквозь дни и расстоянья
Болезнь, похожая на ТБЦ, —

Уже всё зарубцовано, по году
Уже врачей мы не пускаем в дом,
И вдруг весной, в ненастную погоду,
Опять, как рыбы, ловим воздух ртом.

Под южным солнцем заметая след,
Сбежать бы в Крым или — еще полезней —
Сжечь пачку писем, вот уж много лет
Подшитую к истории болезни.

Здесь женщина, которая причастна
К такому списку самых черных дней,
К такой любви, нелепой и несчастной,
Ко стольким бедам юности моей,

Что, вздумай мы по этим пятнам темным
Себя сквозь память, как сквозь строй, прогнать,
С другими мы и счастья не припомним,
С ней — и несчастье будем вспоминать.

Нет, он сюда зайдет в обрез. Зайдет
Уже перед отплытьем, мимоходом.
Он поцелует руку, и вздохнет,
И скажет, что прекрасная погода,

Что он случайно оказался тут,
И вот зашел, и что пора в дорогу.
Что скажешь ей за эти пять минут?
Да ничего. Ну вот и слава богу.

2

Куда ж пойти? Еще не знаем сами.
И нужно и ко всем, и ни к кому.
И люди с посторонними глазами
Навстречу попадаются ему.

Он вдруг сообразил, что, как ни странно,
Но так же, как и он, его друзья,
Прожив тут юность, с легким чемоданом
Перебирались в дальние края.

Куда ж пойти нам? За угол и прямо,
Знакомый непокрашенный фасад,
Печальный дом, где много лет назад
В твою отлучку умирала мама.

Пять дней не умирала — ожидала;
Казалось, никогда не обижал,
А тут вот телеграмма опоздала,
Она звала, а ты не прибежал.

Как ей, должно быть, было одиноко!
На телеграмму денег наскребла.
А сын не едет, сын ее далеко.
У сына, верно, важные дела.

По целым дням глядела на дорогу,
Глаза от света заслонив рукой,
До самой смерти верила, как в бога,
Что он приедет, он ведь не такой.

Стыдилась переспрашивать соседок,
Послали телеграмму или нет,
Отчаявшись, мечтала напоследок,
Чтоб хоть по почте ей прислал ответ.

Он снова вспомнил темный зимний вечер,
Притихший дом, весь в восковом тепле,
И праздничные тоненькие свечи,
Как в день рожденья, в детстве, на столе.

Присев на лавку у ворот, устало
Взглянул на дом, на фикусы в окне.
Ему сегодня только не хватало
Взять и заплакать, прислонясь к стене.

Чтоб постовому дети рассказали,
Как за углом на улице один
Сидит и заливается слезами
Седеющий высокий гражданин.

Чтоб постовой узнал, откозырявши,
Спросив, не надо ль помощи ему,
Что гражданин к мамаше умиравшей
Не смог прибыть и плачет потому.

Он вспомнил руки матери. Ее
Все в мелких ссадинках худые пальцы.
Они с рассветом брались за белье
И с темнотой — за спицы или пяльцы.

Такие быстрые, как ни следи,
Всё что-то надо тормошить и трогать.
Она в гробу впервые их, должно быть,
Сложила неподвижно на груди.

Сбиваясь с ног, чтоб дома было чисто,
Прислуга всем с утра и дотемна,
Мать в праздник вспоминала, что она
Сама была женой телеграфиста.

По воскресеньям в гости уходя,
Брала с гвоздя завернутую в тряпку,
Увядшую от снега и дождя,
Чуть не до свадьбы купленную шляпку.

Он помнит все подробности — она
Висела в комнате на видном месте.
Отец купил ее еще невесте,
Ее носила тридцать лет жена,
Потом вдова. Нет, он не взял ее,
Он с похорон уехал без оглядки.

Соседи разобрали всё старье:
Венчальный шлейф и белые перчатки,
Стеклярусом обшитый кушачок,
Атласный лиф с засохшей розой чайной —
Тот самый черный мамин сундучок,
Который в детстве был такою тайной.

Всё разлетелось по чужим рукам,
В чужие, равнодушные квартиры.
Для нас мучительные сувениры
Легко и просто приживались там.

Ему сейчас внезапно захотелось
Хоть на минуту маму возвратить,
Ее худое легонькое тело
Поднять и на колени посадить,

Придравшись к позабытым именинам,
Все городские лавки обойти,
На все, что есть, как свойственно мужчинам,
Нелепые подарки принести.

«Спасибо, милый». Стой, да где ж она?
Ведь только что еще жила на свете.
И вдруг ушла. Играющие дети,
Чужие окна, темная стена.

3

Осталось меньше часа до отъезда.
Теперь зайти нам самая пора
В тот дом, как заколдованное место,
Нам в руки не дающийся с утра.

Он побежал, как мальчик на свиданье,
Как будто в доме нас и правда ждут,
Как будто страшно лишних пять минут
Прибавить к стольким годам опозданья.

Он приоткрыл чуть скрипнувшие двери.
Всё было тихо. Только в двух шагах
Шел по полу мальчишка и с доверьем
Разглядывал мужчину в сапогах.

Он подхватил мальчишку. Нет, не в мать,
Совсем не в мать: белесый, светлокожий,
И всё же чем-то — сразу не поймать —
Лукавством, что ли, на нее похожий.

«Да сколько же тебе?» — «Четыре года».
— «Где мама?» — «Там...» И, не спуская с рук,
Вошел в другую комнату, как в воду,
На всякий случай взяв с собою круг.

Ну да, конечно, как же не узнать.
Он все-таки решил сюда вернуться?
Она сейчас, он должен подождать,
Пока она покормит, отвернуться.

Он оглядел квартиру. По углам
Стояли этажерки и комоды,
И стайки туфель, вышедших из моды,
Паслись у ножек стульев здесь и там.

Квартира даже в сумрак, в тишине,
Была, как днем, шумна и суетлива.
В ней, как в часы отлива и прилива,
Слонялись вещи от стены к стене.

Здесь девочки давно простыл и след.
Привычками заменены причуды.
Здесь женщина. Ей завтра тридцать лет,
И в детство ей не убежать отсюда.

«А вот и я». Вот и она сама.
«Совсем седой, как изменился, боже!
За все семь лет ни одного письма».
— «А ты ждала?» — «Нет, не ждала. Но всё
же...»

«Что всё же?» — «Всё же. . . Впрочем, всё равно,
Позвал тогда — пожалуй, прибежала б.
Всё трын-травою поросло давно,
Теперь не нужно запоздалых жалоб».

Знакомый жест — закинутый назад
Упрямый подбородок недотроги,
А взгляд не тот, ленивый, смирный взгляд,
Уже привыкший гаснуть с полдороги.

Он сходство в ней отыскивал напрасно.
Всё стало вдруг до странности другим,
Быть может, материнским и прекрасным,
Но бесконечно меньше дорогим.

Черты как будто изменились мало,
Всё те же губы, но лицо ему
Ничем о прошлом не напоминало
И в будущем не звало ни к чему.

Нет, вовсе нет, она не постарела,
Ее почти не тронули года,
А просто всё не так: не так смотрела,
Не так ходила, всё не как тогда.

На коврике под детскою кроватью,
Среди подвязок, туфель и чулок,
Валялась тряпка — выцветший кусок
От старенького девичьего платья.

Должно быть, ею уж не первый год
Стирали пыль и вытирали туфли,
И ситцевые розочки потухли
От этих многочисленных невзгод.

Оправившись от первой суеты,
Она была, должно быть, правда рада,
Что дождь прошел, и вот приехал ты,
И можно выйти погулять по саду.

Ей, право, очень кстати твой приход,
Чтоб мстительно похвастаться семьею,
Сказать, что сыну скоро пятый год
(А мог девятый быть у нас с тобою),

Что младший весь пошел лицом в отца
(А мог в тебя). Намеки были робки,
Нигде не прорывались до конца,
Но в каждой фразе замыкались в скобки.

Так и живем. Да, счастливы, давно. . .
А в скобках: и безжалостны к потерям.
Всё хорошо. А в скобках: всё равно
Завидуешь. Не прячься. Не поверим.

«А ты всё так же?» — «Как? . .» — «Всё так же,
ну. . .» —
Вдруг с ноткою обидного участья
К тому, что не нашел себе жену,
Не то что мы. Себе не склеил счастья.

«Так всё и бродишь?» — «Так уж повелось,
Когда-то ведь за это и любила».
— «Была глупа, да мало ли что было,
Нельзя ж мальчишкой до седых волос».

Кто эта женщина? Как после сна,
Глаза ладонью протереть невольно.
Нет, не она. Конечно, не она.
Семь лет он лгал себе. С него довольно.

Она обманом выкрала у той
Знакомую привычку морщить брови,
И детский рот с упрямою чертой,
И милую картавость в каждом слове.

А если поглядеть со стороны,
Как два влюбленных, словно всё в порядке,
Он и она вдоль каменной стены
Шли через сад, рассматривая грядки.

«Да, примулы, а это — с резедой.
Тут смяли дети — бегали в горелки.
А здесь табак, а вон на крайней той. . .»
Он, чиркнув спичкой, поглядел на стрелки.

Да, он спешит, да, едет ближе к ночи.
Не хочет ли он мужа подождать?
Да нет, по правде говоря, не очень.
Совсем по правде? Лучше б не видать.

Ревнует к мужу? Слава богу, нет.
Писать ей письма? Нет, писать не станет.
Когда заглянет? Пропадал семь лет,
Еще на семь исчезнет и заглянет.

Он вышел вон. У поворота к школе,
Ютясь в пальтишко узкое свое,
Шла выросшая девочка, до боли
Похожая на прежнюю ее;

Похожая почти до совпаденья,
Неся в руках похожие цветы,
Прошла, как мимолетное виденье,
Прошла, как гений чистой красоты.

И вдруг он понял: вот с кем он прожил
Все эти годы странствий и обманов,
Вот чьи он фотографии возил
На дне пустых дорожных чемоданов.

Да, девочка. И голубой дымок,
И первых встреч неясная тревога,
И на плечи наброшенный платок,
Казенный дом и дальняя дорога.

Сквозь время тоже ходят поезда,
Садимся без билетов и квитанций.
Кондуктор спросит: «Вам куда?» — «Туда»,
И едем до своих конечных станций.

Такой уж путь. На счастье ль, на беду,
Но, выехав за первый дачный пояс,
Не выскочишь, раздумав, на ходу,
Не пересядешь на обратный поезд.

Смотри назад: за сеткою дождя,
По-детски руки протянув с перрона,
Там девочка еще стоит, следя
За фонарем последнего вагона.

«А эта женщина?» — «Да вы о ком?
Об этой? Нет, о ней я не печалюсь.
Знаком ли с ней? Да, помнится, знаком,
Давным-давно мы где-то с ней встречались».

1936—1941

198. ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ

О ПОГИБШИХ

Я там не был зимой,
Но я знаю: с утра
ветер бьет о замерзшую воду.

Снега нет и в помине.
Ветра. Ветра.
Адовая погода.

В эту продрогшую землю
в мелких порошинках инея,
словно их тронула проседь,
вдавлены танков следы.

Они, как тульская сталь, холодные, синие,
ползут
на Восток,
на Восток
от замерзшей воды.

А над ними,
над ущельем, где разбитые грузовики
вверх колесами спят,
дожидаясь своих мертвых шоферов,
где торчат из-под льда железные лепестки
изорванных взрывом моторов,
над ущельем, которое
между нами
и ими,
как рваная рана,
встал высокий откос,
острый, как нос корабля,

Он стоит,
глядя прямо в лицо
желтым, острым, как пики, отрогам Хингана.
Нет, она не кругла здесь,
эта —
политая кровью земля.

И над ней
высоко,
на откосе,
как гнездо орлов,
наше братское кладбище
в горной дымке мороза.

Что скрывать,
деревянные доски
и несколько слов
слишком многим
здесь заменили
пролитые матерью слезы,
но мне кажется —
тут похоронен только один,
он был русый парень с голубыми глазами,
он погиб,
не дожив до первых седин,
до славы,
которая не за горами.

Он летчиком был.
А впрочем, не так:
он был сапером,
он мост наводил под обстрелом.

Нет, он не был сапером.
В одной из атак
он майора
от пули
прикрыл своим телом.
Нет, неправда!
Тогда он выжил, на счастье.
Он в пехоте и не был.

Скорее всего,
говорят, он был из танковой части,
потом ей дали имя его.

Много слухов идет о его кончине:
говорят,
что, от смерти за два шага,
на своей курносой горящей машине
он, и рушась,
еще протаранил врага.

Говорят, он, в сплющенном танке зажатый,
перед смертью успел обожженным ртом
объяснить экипажу,
как можно последней гранатой
подорваться втроем,
чтоб врагу не достаться живьем.

Говорят,
что, когда его ранили в ногу,
недвижим,
окружен,
далеко от своих,
он, взмахнув над собой пулеметной треногой,
уложил перед смертью последних троих.

Много слухов идет о его кончине.
Верно, был он героем, если столько о нем говорят:
как в их полк мать из дому, рыдая, писала о сыне,
как его гимнастерку надевал его младший брат.

Говорят,
его имя
дают городам
и рекам.
То жестоко,
то нежно
имя это звучит,
потому что в бою был он очень крутым человеком,
но к друзьям и к любимым по-детски был сердцем
открыт.

Так был волосом рус он,
а глаза голубые,
так любим он везде был, где довелось ему жить,
что все девушки плакали,
даже чужие,
и все парни клялись за него отомстить.
Он лежит под землей на границе.

Но он сам — как граница.
Он лежит на орлином утесе.
Но он сам — как орлиный утес.

Он описан на книжных страницах,
но он сам — как живая страница.
Он убит.
Но довольно,
не плачьте —
он не хотел слез.

Он хотел,
чтобы, с глаз их рукавом сдирая,
шли вперед,
скупыми словами
написав о смерти жене.

Это он окровавленным пальцем,
заживо в танке сгорая,
«Большевики не сдаются»
нацарапал на дымной броне.

О ЖИВЫХ

Но довольно о мертвых.
Мы живы,
мы победили.
Он был героем,
но все-таки —
лишь одним из многих других.

Говорят, при жизни в друзьях его
сходство с ним находили,
а если так,
значит, стоит
поговорить и о них.

Майор, который командовал танковыми частями
в сраженье у плоскогорья Баин-Цаган,
сейчас в Москве,
на Тверской,
с женщиной и друзьями
сидит за стеклянным столиком
и пьет коньяк и нарзан.

А трудно было представить себе
это кафе на площади,
стеклянный столик,
друзей,
шипучую воду со льдом,
когда за треснувшим триплексом
метались баргутские лошади
и прямо под танк бросался смертник с бамбуковым шестом,

Вода...
В ней мелкие пузырьки.
Дайте льду еще!
Походней!
А тогда — хотя бы пригоршню
болотной,
в грязи,
в иле!
От жары шипела броня.
Он слыхал, как сверху по ней
гремит бутылка с горящим бензином,
сейчас соскользнет.
Или...

Что или?
Ночная Тверская тихо шуршит в огне...
Поворот рычага — соскользнула!
Ты сидишь за столом, с друзьями.
А сосед не успел. Ты недавно ездил в Пензу к его жене,
отвозил ей часы и письма с обугленными краями.

За столом в кафе сидит человек с пятью орденами:
большие монгольские звезды
и Золотая Звезда.
Люди его провожают внимательными глазами,
они его где-то видели,
но не помнят,
где и когда.
Может быть, на первой странице «Правды»?
Может быть, на параде?
А может быть, просто с юности откуда-то им знаком?

Нет, еще раньше,
в детстве, списывали с тетрадей;
нет, еще раньше,
мальчишками, за яблоками, тайком. . .

А если бы
он
и другие
тогда, при Баин-Цагане,
тот страшный километр,
замешкавшись,
на минуту позднее прошли,
сейчас был бы только снег,
только фанерные звезды на монгольском кургане,
только молчание ничего обратно не отдающей земли.
По-разному смотрят люди в лицо солдату:
для иных,
кто видал его
только здесь, в Москве, за стаканом вина,
он просто счастливец,
который
где-то,
когда-то
сделал что-то такое,
за что дают ордена.

Вот он сидит, довольный, увенчанный,
он видел смерть,
и она видала его.
Но ему повезло,
он сидит за столом с друзьями,
с влюбленной женщиной,
посмотрите в лицо ему — как ему хорошо и тепло!

Да! Ему хорошо.
Но я бы дорого дал, чтоб они
увидали его лицо не сейчас,
а когда он вылезал из своей машины,
не из этой,
которая там, у подъезда,
а из той,
где нет сантиметра брони
без царапин от пуль,
без швов от взорвавшейся мины.

Вот тогда пускай бы они посмотрели в лицо ему:
оно было усталым,
как после тяжелой работы,
оно было черным,
в пыли и в дыму,
в соленых пятнах
присохшего пота.
И таким
усталым и страшным
оно было тридцать семь раз
и не раз еще будет —
«если завтра война»,
как в песнях поется.

Надо было лицо его видеть
тогда,
а не сейчас.
Надо о славе судить,
только зная,
как она достается.

О МИРАЖАХ

Бригада шла по барханам.
От самого Ундурхана
был только зной и песок,
только зной и песок,
песок
сквозь броню и чехлы.
Приходилось мокрыми тряпками затыкать кобуру нагана,
как детей,
пеленать крест-накрест орудийные стволы.
Но глаза —
их не забинтуешь,
они были красными до ожога,
хотелось их разодрать ногтями,
чтоб вынуть песок из-под век.

Он будет сыпаться долго-долго,
как в песочных часах.
В глазах его так много,
что можно,
высыпав весь,

сделать
песчаные берега для нескольких рек,
а всю воду выпить.
Или нет,
оставить немного на дне,
чтоб потом,
на обратном пути,
хоть горстку, глоточек...

Майор просыпается от ожога —
он прижался щекой к броне, —
шестьдесят градусов Цельсия.
В небе несколько точек.
Это орлы ушли вверх от жары.
В броневом зеленом стекле
через цепи низких барханов, переваливаясь, как утки,
под абсолютно красным солнцем,
по абсолютно желтой земле
абсолютно черные танки
идут уже третьи сутки.
Все цвета давно исчезли.
Остались только три:
желтое...
красное...
черное... —
цвет жары,
цвет крови,
цвет стали.

Майор вылезает на башню.
Он слышит, как там, внутри,
хрипло кашляют люди.
Они чертовски устали,
надо будет сесть самому,
а их
наверх, сюда.
Но сначала,
сначала,
черт возьми, как красиво:
как это ни странно — с башни видна вода,
настоящая
вдруг, голубая,
а над ней — ивы.

Да, ивы,
нагнулись, как дома на Оке.
Но только они почему-то красного цвета,
И, только что голубая,
вода в реке
начинает краснеть,
краснеть,
как лес на исходе лета.
«Эй, погодите!
Кто поджег воду?»
А ивы гнутся так низко,
так плоско,
что вот они уже как тростник,
как трава.
Заливные луга...
Но сейчас же острой полоской,
как косой, вдоль всего горизонта подрезает их синева,
И луга уплывают в иссиня-черное небо,
а вместо них прямо в землю сверху втыкается лес,
острый, сосновый.
Давно он в таком не был...

Сейчас бы туда,
под сосну,
в холод.
Скорей, пока не исчез!
Скорей, дайте двухверстку!
Я нанесу — тут лес и река,
тут лес и река,
а топографы и забыли!

«Что, товарищ майор?»
— «Нет, ничего».
Опять одни облака
желтой, как шар, туго скатанной пыли.
И еще молоко солончаковых озер,
соль,
соль,
соль,
остальное — мираж,
ничего нету.
Он, как все, сначала не верил в эти цепи тающих гор,
в этот пар над мнимой водой,
в эти речные расцветы.

Но всё, чего не хватало в этой пустыне,
сводя нас с ума,
катилось перед глазами:
вода
и деревья,
деревья,
деревья
с густыми,
с очень густыми,
с такими густыми, как хочется,
ветвями,
ветвями,
ветвями.

«Денисов, на башню!»
— «Да, товарищ майор».
— «Смотри!
Видишь реку?»
— «Нет, не вижу».
И правда — пропала, одна просинь.
До Баин-Цагана осталось семьдесят три,
семьдесят два,
семьдесят,
шестьдесят восемь.
Кого-то хватил удар.
За бугром, в стороне
экипаж ему наспех роет могилу.
Земля пересохла,
она не желает,
по ней, как по броне,
с лязгом скользят лопаты.
Она мертвых берет через силу.

А живым —
им некогда,
им надо в танк сесть,
молча сдернуть шлемы
и ехать.
Им нет времени на слова.
До Баин-Цагана осталось шестьдесят шесть,
шестьдесят пять,
шестьдесят три,
шестьдесят два.

Новобранца приводят в роту отец и мать.
Они благовоспитанно улыбаются,
старые, грустные люди.
Не улыбнуться — невежливо,
даже если заранее знать,
что он завтра будет зарыт в песок
с простреленной грудью.

Их сын,
матрос с краболова,
большой, молчаливый,
смотрит в лицо отцу
и не верит
его улыбающимся губам.
«Господин поручик,
мы благословляем этот счастливый
день,
когда он переходит
от нас
к вам».

Поручик завтра рядом с их сыном,
не сгибаясь,
пойдет через море огня.
Он не будет беречь
ни себя,
ни его.
Но сейчас, по обычаю,
он говорит:
«Отныне я ему мать и отец.
Отныне он у меня
самый нежно хранимый сын в моей роте», —
И тоже улыбается из приличия.
Все четверо улыбаются...

Где же эта улыбка?
Песок.
Новобранец, зарывшись, лежит в цепи.
Еще бы воды глоток.
Еще бы неба кусок.
Еще бы минуту не слышать, как танки ползут по степи.

Он держит в руке шест с привязанной миной.
Легкий и крепкий шест из бамбука.
Бамбуковый шест
в двадцать локтей —
он ведь все-таки очень длинный,
не правда ли — двадцать локтей
и еще длинней
на целую руку.
Двадцать локтей и еще рука,
когда мина взорвется — это все-таки очень много.
Он храбр,
но все-таки исподтишка
он же может мечтать,
чтобы ранило только
в руку
или в ногу.

Фляга стоит рядом с ним на песке,
но он не пьет.
Галеты лежат в заплечном мешке,
но он не ест.
В заранее вытянутой
как можно дальше,
как можно дальше руке,
окаменев от ужаса,
он держит бамбуковый шест.

Генерал, получивший поручика на русско-японской войне,
ровно в час прибудет со штабом
к вершине горы,
ему разбивают палатку на теневой стороне,
из двойного белого шелка,
непроницаемого для жары.
Господин поручик, тот самый, который отныне
новобранцу заменяет мать и отца,
опершись на меч,
стоит у палатки,
смотрит вдаль на пустыню
и отстраняет солнце веером от лица.
На белом рисовом веере
нарисован багровый круг,
написаны тушью солдатские изречения.

Когда ротный флажок падает из ослабевших рук,
веер
приобретает особенное значение.

В журнале, который читает поручик,
нарисован храбрый отряд:
солдаты идут в атаку,
обгоняя друг друга,
поручик с рукой на перевязи
бежит впереди солдат,
как флаг,
поднимая веер,
белый,
с багровым кругом.
Это было под Порт-Артуром, еще на прошлой войне,
отец господина поручика
получил за подвиг награду.
И поручик мечтает,
как сам он
в красном, закатном огне
пойдет в атаку
с веером
впереди отряда.

Но новобранец, который лежит в цепи,
у него нет сорока поколений предков
с гербом
и двумя мечами...
Он не учился в кадетской школе,
ни в книгах,
ни здесь, в степи,
слава военной истории
не касалась его лучами.

Он слышит,
всем телом своим припав к земле,
как они идут!
Он слышит
всем страхом своим,
что они близко,
что они тут!
А там,
сзади,
еще не верят.

Там знают старый устав:
танки идут с пехотой, а у русских нет пехоты,
она еле бредет, устав,
она еще в ста верстах,
она еще в ста верстах,
ей еще два перехода.

О ТОМ, КАК ТАНКИ ИДУТ В АТАКУ

А пехоты и правда не было.
Она утопала в песках,
шла, захлебываясь пылью,
едва дыша.
Летчик, посланный на разведку,
впереди нее
в облаках
летел, как оторванная от тела душа.
Он знал:
за десять минут отсюда уже начинался бой.
Проклятье!
Он мог
эти сутки для них
сделать за десять минут.
Если б можно
их всех
на канатах
потянуть вверх, за собой,
поднять,
перенести
и поставить
за сто верст,
там, где их ждут.
Он делал над их головами смертельные номера:
двойной разворот,
штопор,
двойной разворот.
И смертельно усталые люди снизу хрипло кричали «ура».
Они понимали, что он им хочет помочь скоротать переход.
«Что ж, придется одним».
Майор потушил папиросу о клепку брони.
Комиссар дострочил на планшете последнюю строчку жене.

Начальник штаба молча кивнул:
«Что ж, одни так одни» —
и посмотрел на багровое солнце, плывшее в стороне.

Все посмотрели на солнце.
Открыв верхние люки
на всех,
сколько было,
танках,
сдвинув на лоб очки,
положив на поручни башен черные кожаные руки,
танкисты смотрели на солнце,
катившееся через пески.
Не всем им завтра встретить восход под этими облаками.
Майор поднялся на башню:
«За Родину!
В бой!»

Сигналист крест-накрест взмахнул флажками,
и стальные люки с грохотом захлопнулись над головой.
В броневом стекле вниз и вверх метались холмы.
Не было больше ни неба,
ни солнца,
только узкий кусок
земли, в которую надо стрелять,
только они
и мы.
Только мы
и они,
которых надо вдавить в этот песок.
«За Родину» —
значит, за наше право
раз и навсегда
быть равными перед жизнью и смертью,
если нужно — в этих песках.
За мою мать,
которая никогда
не будет плакать, прося за сына,
у чужеземца в ногах.

«За Родину» —
значит, за наши русские в липах и тополях города,
где ты бегал мальчишкой,

где, если ты стоишь того,
будет памятник твой.
За любимую женщину,
которая так горда,
что плюнет в лицо тебе, если ты трусом вернешься
домой.

Облитая бензином, кругом горела трава,
майор, задыхаясь от дыма, вытер глаза черным
платком,
крикнул:
«Вперед, за Родину!»

Стрелок не расслышал слова,
но по губам угадал
и, стреляя,
повторил их беззвучным ртом.
Снаряд ворвался в самую башню.
На мгновение глухота,
как будто страшно ударили в ухо.
Стараясь содрать тишину,
майор провел по лицу ладонью.
Ладонь была залита,
стрелок привалился к его плечу,
как будто клонило ко сну.

Майор рванул рукоять.
Пулемет замолк.
Замок
у орудья разодран в куски.
Но танк еще шел!
Танк еще шел!
Танк еще мог. . .
Еще сквозь пробоину плыло небо
и летели пески.

И вдруг застрял
и опять рванулся страшным рывком.
«Денисов!»
Водитель молчал.
«Денисов!»
Молчал.
«Денис. . .»
Майор качнулся вправо и влево в обнимку с мертвым
стрелком

и, оторвав ослепшие пальцы,
пролез вниз.
Водитель
сидел, как всегда, — руки на рычагах.
Посмертным усильем воли он выжал передний ход.
Исполняя
его последнее
желанье,
в мертвых зрачках
земля, как при жизни, еще летела вперед.
Похоронный марш,
слава,
вечная память —
это всё потом.
А пока на мокром от крови кресле тесно сидеть вдвоем.
Майор отодвинул мертвого,
повернул лицом к броне
и, дотянувшись до рычагов,
прижался к его спине...

Семь танков уже горело.
Справа,
слева
и сзади
были воткнуты в небо столбы дыма.
Но согласно приказу
оставшиеся в живых
шли, не глядя,
шли мимо,
мимо праха товарищей,
мимо горящих могил,
недописанных писем,
недожитых жизней.

Перед смертью каждый из них попросил
только горсть воды себе
и победы в бою отчизне.
Есть у танкистов команда:
«Делай, как я!»
Смерть не может прервать ее исполненья.
Заместитель умершего
повторяет:
«Делай, как я!» —
Умирает,

и его заместитель
ведет батальон в наступление.
Экипаж твой убит.
Но еще далеко до отбоя,
и соседи не знают, что мертвым не прикажешь
стрелять.
Если ты повернешь,
вдруг они повернут за тобою,
вечность,
тридцать секунд
потеряв, чтоб понять.
Да!
Но ты еще жив.
И, разодранный,
страшный,
молчащий,
танк майора прорвался к реке.
Да, пускай не стрелять,
только б в землю их вмять,
только б чаще
догонять их машины,
оставляя
за собой
скорлупу на песке.

Майор срывает флягу с ремня.
Воды больше нет.
Ну и черт с ней!
Он сжимает сожженный рот.
В эту минуту победы
больше нет
ни тебя,
ни меня,
ни жажды,
ни смерти,
ничего,
кроме — вперед!

О ВЕЧЕРЕ ПОСЛЕ БОЯ

Вечер.
Как далеко позади
это поле сраженья,
и слезы
упоенья победой,

и последнего залпа дымок,
перевернутых пушек колеса,
бегство
тех, кто успел,
и могилы
тех, кто не смог.

Обломок ротной трубы, не успевшей подать сигнал,
бутылки из-под сакэ,
солдатские ложки,
рядом с телом хозяина вдавленный в землю журнал,
где на залитой кровью обложке,
как ни странно,
по-прежнему
нарисован храбрый отряд:
солдаты идут в атаку,
обгоняя друг друга,
поручик с рукой на перевязи
бежит впереди солдат,
как флаг, поднимая веер,
белый,
с багровым кругом.

После боя курили, сняв шлемы.
Над головой
был монгольский,
зеленый
с красным
и черным
закат.
Был короткий отдых.
И завтра опять бой,
как вчера,
и позавчера,
и месяц назад.

Но они говорили совсем не об этом.
Чего ради
повторять
то, что известно,
то, что опять начнется завтра с утра.
Они говорили о доме,
о маме,
о какой-то Наде,

говорили так, как будто они оттуда только вчера.
Нет, неправда,
к смерти привыкнуть нельзя.
Но это еще не значит
видеть ее во сне по ночам,
думать о ней, открывая утром глаза,
говорить о ней, поднося котелок к губам.
И когда солдаты,
которым завтра в бой,
говорят не о торжестве идей,
а, грустя, вспоминают о доме,
о матери,
о родных,
то это тревожит только маленьких чернильных людей,
верящих громким словам,
но не верящих сердцу,
которого
нет у них самих.

Но командир роты,
который был с нами вчера в бою
и пойдет с нами завтра,
садится рядом,
и, греясь одним огнем,
слушает нашу жизнь,
и рассказывает свою,
и не боится вспомнить
милую женщину и опустевший дом.
Его не тревожит наша память о доме,
о любви,
об уюте комнат.
Если б не было этого,
где ж тогда наши сердца?
Из того,
кто ничего не любит
и ничего не помнит,
можно сделать самоубийцу,
но нельзя сделать бойца.
Я люблю землю в холодных рассветах,
в ночных огнях,
все места, в которых я еще никогда не жил.
Если б мне оторвало ноги,
я бы на костылях,
всё равно,

обошел бы всё, что решил.
Я люблю славу,
которая по праву приходит к нам.
С ночами без сна,
с усталостью до глухоты.
Равнодушную к именам,
жестокую по временам,
но приходящую неизменно,
если сам не изменишь ты.

Я люблю женщину,
которая стоит того,
чтоб задыхаться от счастья,
когда она со мной,
чтоб задыхаться от горя,
когда она оставляет меня одного,
чтоб не знать
ни позже
ни раньше
никого, кроме нее одной.
Но в минуту, когда
между жизнью для них
и смертью за них
выбирать
приходится только нам самим,
то, как ни бывает жаль умирать,
мы не уступаем этого права другим.

Если ты здоров и силен
и ты уступил это право,
ты не сможешь ходить по земле,
которую защищал другой;
слава,
трясясь над которой ты струсил, —
уже не слава;
женщину,
за которую ты не дрался,
ты не смеешь называть дорогой.

Мы всосали эту жестокую правду с молоком матерей.
Мы все такие,
и этого у нас не отнять.
Мы умеем жертвовать жизнью
только одной
своей.

Но зато эту одну трудно у нас отобрать.
Мы не вспоминаем в эту минуту всех книг, которые мы прочли,
всех истин, которые нам сказали,
мы вспоминаем не всю землю,
а только клочок земли,
не всех людей,
а женщину на вокзале.

Но за этим,
ширясь,
не зная преград,
встает Родина,
сложенная из этих клочков земли,
встает народ,
составленный
из друзей, которые провожали нас, солдат,
плывут облака, под которыми мы росли.
А в бою есть только танки, идущие напролом.

Есть только красный флаг над желтым песком.
Что они не сметут,
то он подожжет.
Они дойдут до реки
и пройдут эту реку вброд
и пески за рекой,
и горы, которые за песками,
и еще пески,
и еще горы,
и море, которое за горами,
они обогнут всю землю железной дугой,
они обойдут все страны
одну
за другой,
они обойдут их все,
ломая
жалкую бестолочь пограничных столбов,
и, почернев в походах,
они выйдут в другое столетье
на площади
неизвестных нам городов,
только там наконец они встанут на отдых.
Будет солнечный день.
Незнакомый нам завтрашний век.

Монументом из бронзы
на площадях
они встанут рядами.
Верхний люк
приподнимет бронзовый человек,
сигналист просигналит бронзовыми
флажками,
и на всех,
сколько будет их,
танках,
открыв верхние люки,
подчиняясь приказу бронзового флажка,
положив на поручни башен бронзовые руки,
они будут смотреть на солнце,
катящееся через века.
Революция!
Наши дела озарены твоим светом,
мы готовы пожертвовать для тебя
жизнью,
домом,
теплом.
Встать!
Слышите, встать,
когда говорят об этом,
ради чего мы живем
и, если надо,
умрем!

1939—1941
Монголия—Москва

199. СЫН АРТИЛЛЕРИСТА

Был у майора Деева
Товарищ — майор Петров,
Дружили еще с гражданской,
Еще с двадцатых годов.
Вместе рубали белых
Шашками на скаку,
Вместе потом служили
В артиллерийском полку.

А у майора Петрова
Был Ленька, любимый сын,
Без матери, при казарме,
Рос мальчишка один.
И если Петров в отъезде —
Бывало, вместо отца
Друг его оставался
Для этого сорванца.

Вызовет Деев Леньку:
«А ну, поедем гулять:
Сыну артиллериста
Пора к коню привыкать!»
С Ленькой вдвоем поедет
В рысь, а потом в карьер.
Бывало, Ленька спасует,
Взять не сможет барьер,
Свалится и захнычет.

«Понятно, еще малец!»
Деев его поднимет,
Словно второй отец.

Подсадит снова на лошадь:
«Учись, брат, барьеры брать!
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.

Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!» —
Такая уж поговорка
У майора была.

Прошло еще два-три года,
И в стороны унесло
Деева и Петрова
Военное ремесло.

Уехал Деев на Север
И даже адрес забыл.
Увидеться — это б здорово!
А писем он не любил.

Но оттого, должно быть,
Что сам уж детей не ждал,
О Леньке с какой-то грустью
Часто он вспоминал.

Десять лет пролетело.
Кончилась тишина,
Громом загрохотала
Над Родиною война.

Деев дрался на Севере;
В полярной глуши своей
Иногда по газетам
Искал имена друзей.

Однажды нашел Петрова:
«Значит, жив и здоров!»
В газете его хвалили,
На Юге дрался Петров.

Потом, приехавши с Юга,
Кто-то сказал ему,
Что Петров, Николай Егорыч,
Геройски погиб в Крыму.

Деев вынул газету,
Спросил: «Какого числа?» —
И с грустью понял, что почта
Сюда слишком долго шла...

А вскоре в один из пасмурных
Северных вечеров
К Дееву в полк назначен
Был лейтенант Петров.

Деев сидел над картой
При двух чадящих свечах.
Вошел высокий военный,
Косая сажень в плечах.

В первые две минуты
Майор его не узнал.
Лишь басок лейтенанта
О чем-то напоминал.

«А ну, повернитесь к свету», —
И свечку к нему поднес.
Всё те же детские губы,
Тот же курносый нос.

А что усы — так ведь это
Сбрить! — и весь разговор.
«Ленька?» — «Так точно, Ленька,
Он самый, товарищ майор!»

«Значит, окончил школу,
Будем вместе служить.
Жаль, до такого счастья
Отцу не пришлось дожить».

У Леньки в глазах блеснула
Непрошеная слеза.
Он, скрипнув зубами, молча
Отер рукавом глаза.

И снова пришлось майору,
Как в детстве, ему сказать:
«Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать,

Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!» —
Такая уж поговорка
У майора была.

А через две недели
Шел в скалах тяжелый бой,
Чтоб выручить всех, обязан
Кто-то рискнуть собой.

Майор к себе вызвал Леньку,
Взглянул на него в упор.
«По вашему приказанью
Явился, товарищ майор».

«Ну что ж, хорошо, что явился.
Оставь документы мне.
Пойдешь один, без радиста,
Рация на спине.

И через фронт, по скалам,
Ночью в немецкий тыл
Пройдешь по такой тропинке,
Где никто не ходил.

Будешь оттуда по радио
Вести огонь батарей.
Ясно?» — «Так точно, ясно».
— «Ну, так иди скорей.

Нет, погоди немножко».
Майор на секунду встал,
Как в детстве, двумя руками
Леньку к себе прижал.

«Идешь на такое дело,
Что трудно прийти назад.
Как командир, тебя я
Туда посылать не рад.

Но как отец... Ответь мне:
Отец я тебе иль нет?»
— «Отец», — сказал ему Ленька
И обнял его в ответ.

«Так вот, как отец, раз вышло
На жизнь и смерть воевать,
Отцовский мой долг и право
Сыном своим рисковать.

Раньше других я должен
Сына вперед послать.
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.

Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!» —
Такая уж поговорка
У майора была.

«Понял меня?» — «Всё понял.
Разрешите идти?» — «Иди!»
Майор остался в землянке,
Снаряды рвались впереди.

Где-то гремело и ухало.
Майор следил по часам.
В сто раз ему было б легче,
Если бы шел он сам.

Двенадцать... Сейчас, наверно,
Прошел он через посты.
Час... Сейчас он добрался
К подножию высоты.

Два... Он теперь, должно быть,
Ползет на самый хребет.
Три... Поскорей бы, чтобы
Его не застал рассвет.

Деев вышел на воздух —
Как ярко светит луна,
Не могла подождать до завтра,
Проклята будь она!

Всю ночь, шагая как маятник,
Глаз майор не смыкал,
Пока по радио утром
Донесся первый сигнал:

«Всё в порядке, добрался.
Немцы левей меня,
Координаты три, десять,
Скорее давайте огня!»

Орудия зарядили,
Майор рассчитал всё сам,
И с ревом первые залпы
Ударили по горам.

И снова сигнал по радио:
«Немцы правей меня,
Координаты пять, десять,
Скорее еще огня!»

Летели земля и скалы,
Столбом поднимался дым,
Казалось, теперь оттуда
Никто не уйдет живым.

Третий сигнал по радио:
«Немцы вокруг меня,
Бейте четыре, десять,
Не жалейте огня!»

Майор побледнел, услышав:
Четыре, десять — как раз
То место, где его Ленька
Должен сидеть сейчас.

Но, не подавши виду,
Забыв, что он был отцом,
Майор продолжал командовать
Со спокойным лицом:

«Огонь!» — летели снаряды.
«Огонь!» — заряжай скорей!
По квадрату четыре, десять
Било шесть батарей.

Радио час молчало,
Потом донесся сигнал:
«Молчал: оглушило взрывом,
Бейте, как я сказал.

Я верю, свои снаряды
Не могут тронуть меня.
Немцы бегут, нажмите,
Дайте море огня!»

И на командном пункте,
Приняв последний сигнал,
Майор в оглохшее радио,
Не выдержав, закричал:

«Ты слышишь меня, я верю:
Смертью таких не взять.
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.

Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!» —
Такая уж поговорка
У майора была.

В атаку пошла пехота —
К полудню была чиста
От убегавших немцев
Скалистая высота.

Всюду валялись трупы,
Раненый, но живой
Был найден в ущелье Ленька
С обвязанной головой.

Когда размотали повязку,
Что наспех он завязал,
Майор поглядел на Леньку
И вдруг его не узнал:

Был он как будто прежний,
Спокойный и молодой,
Всё те же глаза мальчишки,
Но только... совсем седой.

Он обнял майора, прежде
Чем в госпиталь уезжать:
«Держись, отец: на свете
Два раза не умирать.

Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!» —
Такая уж поговорка
Теперь у Леньки была...

Вот какая история
Про славные эти дела
На полуострове Среднем
Рассказана мне была.

А вверху, над горами,
Всё так же плыла луна,
Близко грохали взрывы,
Продолжалась война.

Трещал телефон, и, волнуясь,
Командир по землянке ходил,
И кто-то так же, как Ленька,
Шел к немцам сегодня в тыл.

1941

200. ИВАН ДА МАРЬЯ

1

Дорогая Марья Петровна!
Тридцать лет я вас помню ровно,
С того детского далека́,
С того самого незабвенного,
В бывшем монастыре, военного
Дивизионного городка,
Где ваш муж служил — компульроты,
А отец мой — помкомполка,
Где вы слыли первой красавицей
В общежитии начсостава
И где я, позвольте представиться,
Жил в соседней келье направо
С мамой, с папой, в маленькой комнате,
Долговязый такой — не помните?

Вы казались мне очень старой
В мои девять тогдашних лет.
Вы любили петь под гитару,
Засмотревшись на лунный свет;

И, в то время уже седая,
Моя мама отцу шептала:
«Хорошо поет. Молодая. . .»—
И зачем-то тихо вздыхала.

А наутро вы с нею вместе
Гимнастерки мужьям стирали
И взаймы то ступку и пестик,
То машинку швейную брали,

Обсуждали в полку событья:
«Кто получит к Маю комбата?» —
И в подшефный детдом, к открытью,
Шили байковые халаты...

А всего вам, Марья Петровна,
Было двадцать четыре ровно,
И Иван Степанычу тоже —
Вы его на месяц моложе.

На Херсонщине, под Каховкой,
В январе двадцатого года
Приглянулся он вам — комвзвода:
Невысокий, поджарый, ловкий,
Над губою усы, как стрелки,
И глаза с татарской косинкой,
И рука на черной косынке —
Пулей ранена в перестрелке.

Вас не сватали, не венчали,
Всё решилось в одну неделю.
Но, не долго думав вначале,
Вы всю жизнь потом не жалели.
В злую зиму, пригрев, как птаху,
Муж возил вас с собой по шляхам,
Всё боясь: комиссар бригады
Разузнает — не даст пощады!

(Когда к вам теперь заезжает
Член Военного совета,
Он с улыбкою вспоминает,
Как смотрел сквозь пальцы на это.)

Приходилось в году том грозном
Многим женам, да и невестам
Кочевать с бригадным обозом
По сожженным Махно уездам.

К лету, свыкшись с армейским бытом,
Научились вы без опаски
Делать раненым перевязки
И глаза закрывать убитым.

А под осень в случайной стычке,
Когда банды вас окружили,

Пулю в лоб махновцу влепили,
Лишь потом всплакнув с непривычки.

Но зато и губ не разжали,
Чтоб не слушали, не глядели,
Когда сына в ту ночь рожали
Раньше срока на три недели.

Так с похода, с солдатской каши,
С пули в лоб бандиту — не струся,
Началось замужество ваше,
Материнство ваше, Маруся!

(Так вас ласково, глядя на ночь,
Называет Иван Степаныч;
А вы на людях — всё Иваном,
А одна, без людей, — коханым.)

И сейчас вот сидим мы с вами,
Перебрасываемся словами
В том немецком городе Коттбус,
Где Иван Степаныча корпус.

На тарелку, как гостю званому,
Вы кладете мне всё подряд,
А сама — нет-нет на коханого
Да и кинете быстрый взгляд...

Он, пройдя через все сражения,
Седоватый стал, грузноватый,
Может быть, по чьему-то мнению,
Даже «трошки пидстарковатый»;

Ну, а вам, хоть вся жизнь с ним вместе,
Всё он кажется — как невесте...
Может быть, потому так кажется,
Что не с тихих дней, не с лазури —
Начиналась жизнь прямо с бури,
Ну, а в бурю узлы крепче вяжутся!

Было всякое в жизни этой,
Было счастье ближе и дальше,
Но, как в песне, на совесть спетой,
Одного в ней не было — фальши.

2

После юности первых взлетов
Показалась вам наказаньем
Строевая его работа,
Гарнизонная жизнь в Рязани.

Чуть рассвет — шел к себе в пульроту,
Приходил угрюм, озабочен. . .
Обожал свои пулеметы,
А жену, как видно, не очень. . .

Вы пожаловались несмело —
А его как плетью огрело!

Вместо вами стыдливо жданной
Ласки: «Что ты, милая, глупая. . .»,
«Собирай, — сказал, — чемоданы!» —
И ушел, сапогами хрупая.

Чуть тогда вы с ним не расстались,
Но поплакали — и остались.
Догадались — не разлюбил он,
Просто слишком самолюбивый,

Хоть имеет два Красных Знамени —
Храбрость храбростью, знанья знаньями!
За душою всего два класса.
Приласкал бы, да нету часа —

Как вернется, так вечер целый
Чертит, чертит на схемах стрелы;
Схемы разные, стрелы разные,
А глаза всю неделю красные.

Даже вы, бывало, раз нужно,
Прикусив язык, не дыша,
Обводили те стрелы мужние
Тушью после карандаша.

Кое-кто сомневался — где ему!
Но у мужа характер твердый:
Трижды резался в академию —
Всё же выдержал на четвертый;

Это было в тот месяц самый,
Когда дочка родилась ваша,
И Иван Степаныч — упрямый —
В вашу честь назвал ее Машей.

И вам стало жаль, что в двадцатом,
Когда первенца вы рожали,
То зачем-то грозно Маратом,
А не Ваней его назвали.

Академия, академия!
Горы книг, до утра сидения,
Для мужей на всю жизнь наука,
А для жен — по мукам хождение, —
Легче бы уж просто разлука!

Выпуск — праздник! Вдвоем — по Волге.
В Сочи — месяц! В Крыму — неделя!
Отдыхали так, чтоб надолго,
Словно в воду оба глядели.

Как вернулись — пошло, поехало —
Назначения, перемещения...
И винить-то, главное, некого —
Не попросит никто прощения!

Не родные вас замуж выдали —
Вы судьбу себе сами выбрали:
Жизнь не райскую и не адскую,
Посредине как раз — солдатскую.

Где вы только с ним не служили,
За собой детей перетаскивая!
Все места показать, где жили, —
Надо к карте вставать с указкою.

Под Чимкентом в тифу лежали,
Под Читой в третий раз рожали...
Умер сын... То ли врач был молод,
То ли в сопках — под сорок холод,
То ли тряской была дорога...
Сами выжили — слава богу!

Целый месяц, пока лечили,
Ждали, что доктора присудят,
И свой приговор получили:
Двое есть, а больше не будет.

К той поре уж вы постепенно
От себя всё реже скрывали,
Что особые перемены
В вашей жизни будут едва ли

И что, странствуя по Союзу
Всей семьей по военным литерам,
Вам уже не закончить вуза,
И заочно даже не вытянуть,

Уж не стать той, себе обещанной
В двадцать лет, идеальной женщиной,
Что вам в жизни порой встречаются,
А у вас вот не получается...

Говорят — неглупая, умная,
Говорят — на подъем легка...
А не всё, что в двадцать задумано,
Исполняется к сорока.

Словно плот по течению тащит —
Переезды, семья, детишки...
И бывает так много чаще,
Чем в прочитанных вами книжках.

Да, вы высших школ не кончали,
Но прошли, несмотря на это,
Свои радости и печали —
Свои собственные университеты.

Не одним стиральным, обеденным —
Вековым наукам домашним, —
Научились вы сердцеведенью,
Жизнь прожив рядом с мужем вашим.

И когда в боевой готовности
Полк годами стоял в глуши,
Вы такие знали подробности —
Чем мы плохи и хороши,

Вы такие характеры видывали
Во всей слабости их и силе,
Что писатели бы позавидовали,
Поделиться бы попросили!

И давно уж не вы к кому-то
Шли свои утолять печали —
Вам, в слезах прибежав под утро,
Горе женщины поверяли,

Чтоб решили, чтоб рассудили,
Потому что для них вы были
Не полковничьею женою,
Просто так — при нем путешественницей,
А то другом их, то судьею,
Тем, что люди зовут общественницей.

Слово это как будто скромное,
Вроде даже чуточку детское,
А как вдумаешься — огромное,
Ростом в целую власть Советскую.

В самых дальних из гарнизонов
Пояса́ из огня, из стали
Помогали нам строить жены —
Слово это недаром знали!
Жили так, чтоб семья без трещин,
И в бетоне нашей границы
Есть их молодости отцветшей
Принесенные в дар частицы.

Есть заложенные в основанье,
Кроме цемента и песка,
Неисполненные желанья,
Неиспользованные отпуска,
Не надеванные по году,
Потому что случая нет,
Платья, вышедшие из моды,
К свадьбе сшитые в двадцать лет.

И другие жертвы не меньшие,
Что не только до тридцати,
Что и в сорок — не просто женщине,
Не кляня судьбу, принести.

Вы простите, что так подробно.
Ставлю точку. Больше не будем. . .
Но об этом, Марья Петровна,
Тоже знать не мешает людям.
Ничего, не машите руками,
И у вас ведь сердце не камень!

3

Всё на том же Востоке Дальнем,
Но уже не в Чите, в Посьете,
Вы встречали деньком печальным
Вашей свадьбы двадцатилетье.

Муж на зимнем выходе в поле,
Сын в Рязани в пехотной школе,
Все в отъездах, в разъездах, заняты!
Даже дочь не дома. И пусть.

Это только у вас на памяти
Дни их праздников наизусть.

Так за все двадцать лет взгрустнулось,
Словно сердце перевернулось.
Походили пустыней комнат —
Неужели так и не вспомнят?

Стали к зеркалу, погляделись —
Вот и первый седой ваш волос. . .
Спеть попробовали — не пелось
В пустоте этих комнат, голос
Был как в поле несжатый колос. . .

И такая к себе вдруг жалость,
Словно к брошенной, незаконной!
Разрыдалась бы, не удержалась,
Если б не звонок телефонный!

В трубке голос зимний, хрипатый,
С промежуточной в поле чистом,
Незнакомый голос солдата —
Полкового телефониста:

«Командир дивизии просит
Передать его поздравления
И, что явится к вам, доносит,
Прямо с марша, без промедления.
Если ж в ноль часов он не будет,
Просит сутки продлить до завтра. . .»

Что вы, Марья Петровна? Будет!
Будет с трубкой сидеть в слезах-то!

Вы же знали, что позвонит он,
Хоть вот так, хоть через солдата,
Вы же знали, что лишь на вид он
Невнимательный, грубоватый

И что вовсе не безответно
Столько лет в нем души не чаете.
Или это вам не заметно?
Что лукавите, не отвечаете?

И сейчас вот, меня в гостиной
Одного подымить оставив,
По аллее немецкой длинной,
Слева, под руку, как в уставе,
Он ведет вас, чтоб не устали.

Что-то на ухо вам толкует
И, не видя, что я вас вижу,
Притянув за локоть поближе,
Неожиданно вас целует,
За мгновение перед этим
Глазом вправо стрельнув и влево,
Словно вы с ним — седые дети
И боитесь чьего-то гнева.

Вы смеетесь — отсюда слышу,
А потом о чем-то серьезном. . .
А потом голоса всё тише
Под прозрачным, еще беззвездным,
Под чужим и далеким небом,
Под которым с войны я не был.

Вечер. Мира восьмое лето.
На аллее два силуэта. . .

4

Час вечерний — время особое,
Когда, за день сойдясь заранее,
Нас толпою злые и добрые
Обступают воспоминания:

Эшелона дымные полки,
Первый бой, что до слез несладок,
Бомбы — в раненых — на двуколке,
Первой ненависти припадок.

Первый криплый свисток атаки,
Немец, навзничь вскинувший руки.
В штопор скрученные бензобаки,
Снег, пожарище, труп старухи.

На воде шипенье осколков,
Сталинградская переправа.
Голос, помнящийся мне долго:
«Ты — налево, а я — направо», —

И, обнявший меня за шею,
На плече навсегда уснувший
Друг, минуту назад в траншее
Только шагом правей шагнувший.

Под крылом, партизанской ночью,
Фонарями — тире и точки,
И, на случай ошибки, в клочья
Писем порванные листочки.

И опять дороги, стоянки,
Самолетов связных болтанки,
Молотящие с ревом длинным
Марсианских калибров пушки.

И рассвет. И с лесной опушки
Дым и зарево над Берлином.
Ну, а вам про что вспоминается
В этот вечер, Марья Петровна?

«Тот июнь, где всё начинается. . .»
Муж назначен приказом в Ровно,
Принимать дивизию срочно
И лететь пока без семьи.

«Жаль, привык здесь, дальневосточник,
Ну да ладно — всюду свои!» —
Поцелуй на аэродроме...
А с утра — начало войны.

Кто поймет до конца вас, кроме
Командирской, как вы, жены?
Жить при нем часовым бессонным,
Кочевать с ним по гарнизонам,
По медвежьим углам недобрым,
По ученьям да по маневрам.

Жизнь прожить, как рука с рукою.
А когда война началась,
Что за горькое горе такое —
Без него вы, а он без вас.

Хуже нету этого худа:
Слушать, слушать каждую ночь
Лишь обрывки вестей оттуда,
Где ничем ему не помочь,
Где ваш муж, считая бесчестьем
Без приказа выйти из боя,
Лег с дивизией своей вместе,
Киев загородив собою.

Вам про смерть его написали
Двое тех, что к своим попали,
Как до смерти его не бросали,
Даже как могилу копали.
Так в подробностях всех жестоки
Были эти солгавшие двое,
Что вы там, на Дальнем Востоке,
Еще долго жили вдовою.

А что всё ж его увидали,
Сам нисколько не виноват он.
Виноваты в этом солдаты,
Что присягу не зря давали,
Что тащили на плащ-палатке
Полумертвого командира,
Да тот фельдшер, что клал заплатки
На пробитые в теле дыры,
Да ночами небо безлунное,
Да здоровье его чугунное.

5

На Урале, на полдороге,
Было первое ваше свидание.
Десять суток в пути, в тревоге,
Ко всему готовясь заранее,

Торопясь, тесемки халата
Оборвав в приемном покое,
Вы бегом вбежали в палату,
Чтоб увидеть, что с ним такое.

На какие-то полсекунды
Показалось почти обидным,
Как ответил на ласку скудно,
Как вам руку пожал обыденно.

Усадил у себя на койке —
Побледневший, одутловатый.
Всё шутил про свои осколки,
Что уже разыскали пятый,

А шестого — по донесениям —
Как ни роют — никак не выроют,
И приходится — нет спасения —
Ждать, пока всего разминируют.

Но внезапно будто сломалась
Им придуманная броня.
«Э, да ты поседела малость...
Скоро, мать, обгонишь меня!»

Вы сидели рядом, молчали,
Долго руку в руке держали
И глядели ему в глаза —
В глубине их жила слеза;

Не растроганная, а страшная,
Ледяная, расплаты ждавшая
За разгром и гибель вчерашнюю,
За дивизию, мертвой павшую...

(Ту слезу, за четыре года
Не пролив ее ни при ком,
Лишь в Берлине, в конце похода,
Муж ваш с глаз сдерет кулаком!)

Вы сидели рядом и знали:
Он вас любит и рад вас видеть,
Но из госпиталя, как выйдет,
Он домой заедет едва ли.

Он не каменный и не железный, —
Но об этом с ним бесполезно.

Через месяц вы уезжали
Двумя встречными поездами.
Оба поезда опоздали,
Вы с ним ждали в холодном зале.

Ждали, жали друг другу руки,
Зная всё и всё же не зная,
Что отмерено с ним разлуки
Вам теперь без конца без края,

Что вам три беспощадных года
Будет помниться с двух сторон
Та свердловская непогода,
Заметенный до плеч перрон,

Снег, к летящим окнам прилипший,
Рев гудка на последней фразе,
Тот уральский день, разделивший
Вас двоих, как Европу с Азией.

6

Десять дней потом напролет
Вы качались на верхней полке.
А в душе — будто битый лед,
Будто смерзшихся слез осколки.

Так хотелось поехать с ним,
С дорогим своим, золотым,
Мыть, стирать бы ему рубашки,
Промывать ему в ранах гной,

Не женою, — не те замашки, —
Санитаркой простою в строй.
Только чтобы с ним всюду рядом,
А убьют — так одним снарядом.

Не хотела просить — откажет, —
Слава богу, характер знала.
Но к отъезду решила: скажет.
И в последнюю ночь сказала.

Сел, еще в бинтах, на кровати,
Стали ласковыми глаза.
Час молчал всё, волосы гладя,
А потом отрезал: «Нельзя!

Досиди уж там, где сидела, —
Мне спокойней будет для дела».
Ну, а дело его — война,
Значит, снова молчи, жена!

Маша, доченька, мать встречала, —
Слезы радости на ресницах!
Не догадывалась, не знала,
Что на сердце у вас творится,
Что готова хоть завтра мать
Всё — и дом и дочь — побросать
И уехать — была бы воля! —
В дальний край, где поет свинец,
Где в неведомом снежном поле
Насмерть бьется с врагом отец.

Собрала таких же солдаток,
Как сама, целый вечер пела,
И, как муж говорит — «порядок»,
К утру сердце перекипело,
А какой осадок на дне —
Знать лишь мужу да вам — жене.

7

Письма, письма! Безбожно долго
Вас на Дальний Восток везут.
Дымный след протянут над Волгой,
С толкачом на Урал вползут,

Под Тюменью застрянут где-то,
Под Читою влезут в туннель
И дотащатся до Посьета
Хорошо как за пять недель.

От столов и до подоконников
Почта вечно полным-полна,
Из квадратов и треугольников
Заливает ее волна.

Под неслышный здесь грохот пушек,
Торопясь, с утра дотемна
Сортируют трое девчушек
То, что пишет домой война.

Но не могут, как ни наметаны,
Всё поспеть их глаза и руки, —
Штатом почты не предусмотрено
То, что целый народ в разлуке,
То, что, как умирать ни больно,
Но, идя в атаку, чтоб жить,
Людям хочется в треугольник
Перед этим душу вложить.

Муж писал вам в неделю раз:
Жив. Здоров. Скучает по вас.
Сослуживцам привет. И дочке.
Всё всегда на одном листочке.
С твердым росчерком, с точной датой —
Так, как пишет солдат солдату.

И, бывало, вам, как лекарство,
Как от женских тревог спасенье,
Это через всё государство
К вам пришедшее донесенье.

Иногда, то реже, то часто,
Приходили письма от сына:
Про товарищей, про начальство,
Про последнюю кинокартину

И про то, что теперь уж точно —
Не задержит их ни черта! —
Они едут на фронт досрочно,
Весь их курс пода́л рапорта!

Над письмом его пригорюнясь,
Вы роняли слезы на скатерть, —
Как наивно боится юность,
Что войны на нее не хватит!

Машка — дочь, девчонка с косою, —
Всё сидит, уткнувшись в газету:
«Мама, сколько лет было Зое?» —
И глаза отводит от света.

Мать всё видит, всё понимает:
Вот и эта спешит туда же
И сбежит еще, кто их знает. . .
«Не пущу, и не думай даже!»

Час обиженно промолчала,
А потом тихонько, упрямо:
«Мам, а мама! Послушай, мама,
А ведь ты сама воевала!»

Где-то вырыла с того света
Снимок ваш — в сапогах, в шинели —
И заставила спеть. И спели,
Как умрем мы за власть Советов!

За ночь снег напа́дал до окон.
Дочь давно уж по-детски спит,
Только мать, подперевши щеку,
Всё над карточкой той сидит.

8

А назавтра вдруг телеграмма:
«Едем в бой, до свиданья, мама!»

Вот и оба у вас на фронте. . .
День по комнатам проходили,
То одно, то другое тро́нете,
Даже и обед не варили. . .
Дочь пришла, в лицо посмотрела,
Молча ужин сама согрела. . .

Нет, вам с этой минуты мало
Тех забот, что раньше хватало:
Рынок, очередь в два квартала,
Приготовить да постирать,
Утром дочку в школу собрать,
Для нее, как себе, бывало,
Платья старые перешить. . .

Хоть и занят весь день, а мало,
Нету права так дальше жить,
Когда сын за отцом вдогонку
Где-то едет в снегах на фронт
И уносит его трехтонка
За кровавый тот горизонт.

Правда, кровь вы пять раз сдавали
И пойдете завтра в шестой,
Но такая помощь едва ли
Не казалась самой простой.

Кто из женщин в тот год суровый
Свою кровь для своих жалел?
А уж вам-то, такой здоровой,
Это делать сам бог велел!

Был бы госпиталь здесь — туда бы
Санитаркой или кухаркой,
Всё, что делать умеют бабы,
Делать так, чтобы небу жарко!

Жалко, госпиталя здесь нет —
У границы стоит Посьет.
Десять служб обошли, пожалуй,
Ни к одной душа не лежала.

Вам хотелось здесь, в тишине,
Службу выбрать ближе к войне.
Городская почта — домишко,
Где всего лишь месяц назад
Вы ругали девчат, что слишком
Долго письма у них лежат;

А теперь вот сидите сами
За конторкою у стола,
А сидевшая перед вами
Добровольно на фронт ушла.

Письма, письма! Нет, хладнокровно
Разбирать их по адресам
Все три года, Марья Петровна,
Не хватало уменья вам!

Как раскладывать по кварталам
Голоса всех живых и мертвых,
Что дошли, словно гул металла,
В треугольниках полустертых?

Только адрес есть на конверте,
А в конвертах — жизни и смерти.
Если б знать вам, на почте тут же,
Что внутри там! Был в окруженье?
Жив? Нашелся? Ранен? Контужен?
Пал, по слухам, в первом сраженье...

Слух, что умер, — взять не поверить,
Задержать, запросить, проверить.
Слух, что жив, — конверт отложив,
В телефон закричать, что жив!

Но приходит девочка в старых,
Сбитых набок маминых ботах
И берет всех судеб удары,
Радость чью-то и смерть кого-то.

И, сверяясь с книгой рассыльной,
В сумке, от угла до угла,
Тащит весь тот груз непосильный,
Что ей за день война дала.

Как вы прожили те три года,
Бесконечных тысячу дней?
Вам казалась ваша работа
То всех легче, то всех трудней.

Потому казалась труднее,
Что с нее, как с большой горы,
Было горе людей виднее,
Всем невидное до поры.

Ну, а легче порой казалось,
Потому что двоих своих
Терпеливей в разлуке ждáлось
Среди стольких разлук других.

Сколько слез людских за неделю,
Сколько жалоб, что нет письма,
Хорошо, что право имели
Им ответить: «Я жду сама».

«А у вас он где?»
— «Под Москвою».
— «А у вас?»
— «У меня под Мгой».
(Промолчав, что у вас их двое
И не знаете, где другой.)

Сын служил в парашютно-десантных,
Был сегодня здесь, завтра — там, —
Нет, отец его в адъютанты
Не пристраивал по фронтам,

Не искал ему мест потише,
Не укрыл от передовой.
Вот и вышло, что редко пишет
И рискует там головой.

Жило, спрятанное поглубже,
Как притоптанный уголек,
Что-то вроде упрека мужу:
«Мог бы, мог! А не поберег».

Но при этом прекрасно знали:
Окажись они завтра дома —
Не посмели б так, не сказали
Ни тому из них, ни другому!

После службы дома постыло
Вам, как многим в те годы, было.
Шли усталая, на ночь глядя,
Да и то лишь дочери ради.

Как умели, ее воспитывали,
Как могли накормить — кормили,
По субботам полы с ней мыли,
Чувства праздника не испытывая.

И под всем на вас легшим бременем,
С днями этими и ночами,
Не хватало порою времени
Тосковать, как раньше, вначале,

Даже тою злою тоскою,
Приходящей вдруг по ночам:
Что другие там, под рукою,
И что пятый десяток вам;

Письма — письмами, а разлука
Уж на годы счет повела...
Даже ревность — женская мука —
Редкой гостьей у вас была.

То ли слухов не доходило,
То ли думать противно было...

А ответить совсем уж точно, —
Долгой ночью ли, долгим днем,
Не на этом сосредоточены
Были ваши мысли о нем.

На душе то лучше, то хуже,
Но под этим всем, в глубине,
Год за годом думы о муже
Были думами о войне.

И надежду, что минут беды,
Что ваш муж и сын будут живы,
Не на них одних — на победу
Вы в душе своей возложили.

Да, вы знали, это бывает:
Два письма — что их нет в живых!
А победа так опоздает,
Что придет к вам уже без них...

Но представить, что всё пропало,
А они — живыми пришли, —
Просто совесть не позволяла,
Просто думать так не могли.

От войны в любую минуту
Мир души вашей был зависим.
Это правда, что вы салютов
Часто ждали не меньше писем.

9

А теперь — о самом тяжелом.
В сорок пятом, в зимнюю стужу,
Наконец-то с фронта пришел вам
Долгожданный вызов от мужа:

Чтобы вы выезжали сразу,
И такие две нежные фразы,
Даже холод прошел по коже,
Даже на него не похоже.

И уже чемодан под полкой,
И, с улыбкой слезы мешая,
Дочка просит: «Чтоб не надолго!»
— «Ничего, проживешь... Большая!»

И глядите почти без грусти,
Как перрон поплыл понемногу.
Как ни странно, дурных предчувствий
У вас не было всю дорогу.

Вам казалось, что всё понятно:
Он вас ждет к одной годовщине,
К той, которую так приятно
Не самой напомнить мужчине!

Дело было теперь за вами,
Как в дороге не сплоховать бы,
Оказаться там, куда звали,
К дню серебряной вашей свадьбы.

И успели! К удаче вашей,
Через три гробовых метели
Лейтенант, вас звавший мамашей,
Свой «У-2» дотащил до цели.

А потом с адъютантом мужа,
Вдруг на сына чем-то похожим,
Целый час еще — бездорожьем,
Ранней оттепелью, по лужам...

И, подпрыгивая на сиденье,
Всё вопросы, за все три года:
«Не болел ли? Не поседел ли?
Как нога в дурную погоду?»

Адъютант отвечал сурово,
Словно стоя перед ревизией:
«Никак нет, командир дивизии
Не болел. И сейчас здоровый.

Точно так. Генерал весь белый».
А давно ль — адъютант не знает;
Прежний знал, да миной задело —
Он лишь временно заменяет.

Муж не встретил — уехал в части,
Но и тут, пока его ждали,
Что нагрянуло к вам несчастье,
В эту ночь вы не угадали.

Только утром, когда при встрече,
Весь залеплен грязи кусками,
Он, не сняв шинели, за плечи
Взял вас дрогнувшими руками,

А глаза его затосковали,
Молча, мимо глядя куда-то...
Словно сердце вам оборвали
Тем нелгущим взглядом солдата.

«Что, убит?» — о сыне спросили
Тоже молча, глазами только.
И почти нелюдским усильем
Деревянно сели на койку.

Утешать вас даже не пробуя,
Муж сидел, говорил, как было...
Зная сам, что оба до гроба вы
Не смиритесь с этой могилой.

«Посылать тебе извещенье
Не хотел... Хотел тебе сам...» —
И, как будто просил прощенье,
Гладил, гладил по волосам.

Вы сидели не живы словно —
Умереть, заснуть, не вставать бы...
Так вы встретили, Марья Петровна,
День серебряной вашей свадьбы.

10

А назавтра «виллис» заправлен
Так, чтоб сделать двести и двести:
Генералу к соседу справа
Надо съездить с женою вместе.

Всё оформлено по закону:
Сам командующий по телефону,
Материнского горя ради,
Разрешил отлучиться на день.

Зная, как возить генерала,
Жал водитель на девяносто!
Аж брезент на лету сдирало
Да мелькали польские версты.

А жена с генералом рядом
Села, руку рукою сжала
И ни влево, ни вправо взгляда,
Словно тут сто раз проезжала.

Как впилась в стекло ветровое,
Так и смотрит — даже обидно,
Будто видит что-то такое,
Что другим никому не видно.

Генерал ей и то и это:
«Не замерзла? Не продувает?»
А она на всё без ответа,
Только руку крепче сжимает.

Да, он прав был, этот водитель.
Всю дорогу в метели волнах
Вам казалось, что вы глядите
На далекий маленький холмик,
Где лежит на землю уроненный
И землею той же прикрытый
Сын ваш — месяц назад схороненный,
Но для вас — лишь вчера убитый.

И когда вы наземь слезали
У фанерного обелиска,
Вы всё это издали знали —
Только вдруг увидели близко.

Вы не плакали, не рыдали,
А дрожа, как в лютую стужу,
Молча два часа простояли,
Опираясь на руку мужа.

И уж было совсем собрались,
Но, не выдержав, обернулись —
И вот тут-то и разрыдались!
А когда наконец очнулись,
Оторвав глаза от платочка, —
Глаз других увидели муку
И с пучком озябших листочков
На могилу легшую руку.

Перед вами тихо стояла
Девушка в солдатской шинели,
Видно, вас тут пережидала,
Даже руки все посинели.

Где цветы она отыскала,
Где зимой — в январе — достала?
А лицо такое усталое,
Словно месяц глаз не смыкала...

Вас обеих какой-то силой
Уж почти толкнуло друг к другу...
Но она ль себя не пустила,
Вы ль не сразу подали руку —
Вдруг рванулась, как от погони,
И ушла без слез, без вопросов.

И запомнились только косы,
Да снежок на левом погоне,
Да листочков зеленых чудо
На снегу, на могиле сына,
Да самою, невесть откуда,
Имя данное — Катерина...

11

На обратном пути смотрели
На лежавшие при дорогах
Танки, что здесь насмерть горели,
На деревья в черных ожогах,
На часовни без крыш и окон,
Все, как в оспе, в следах осколков.
Как от дому уже далеко...
А идти еще надо сколько!

Сколько будет еще, кто знает,
Этих — со звездой — пирамидок
На холмах, друг друга сменяя,
Не скрывающихся из виду!

Если б каждая, что теряла
Сына в каждом смертном бою,
Над могилой, как вы, стояла,
Принеся сюда скорбь свою, —

Даже только на этих склонах,
На просторах этих полей, —
Их не счесть бы — фигур, согбенных
Над могилами сыновей.

Плыл вечерний дымок над хатой,
И обочиною, сторонкой,
Шли молоденьких два солдата
С фронтовой, в сапогах, девчонкой;

И, как дома, тоненько-тоненько,
Позабыв, что кругом война,
Где-то пела вдали гармоника,
Чтоб слышней была тишина.

Генерал из машины вышел,
Посмотрел на красный закат
И угрюмо сказал: «Затишье!» —
Так, как будто он виноват.

Вы смолчали, Марья Петровна,
Сами знали, что долг отца —
Путь оставшийся хладнокровно
За двоих пройти до конца.

Ну а вы? Неужели даже
И теперь он вас не поймет?
Что нужны вы ему — не скажет,
Здесь остаться не позовет?

Ночью, за невеселым ужином,
Встал, сказал сурово, без жалоб:
«Порознь, думаю, будет хуже нам,
Лучше, если б не уезжала.

Где-нибудь тебя определим,
Там, где надо, не как жену, —
В ППС или в политотделе
Довоюешь с нами войну».

Сел, замолк, словно снова нет его.
Да, недаром вы четверть века
И любили и знали этого
Неречистого человека,

Говорившего слово: «нужно»,
Только — если уж до зарезу,
Говорившего слово: «дружба»,
Только — если уж как железо,

И сидевшего терпеливо,
Ожидая от вас ответа. . .
Даже в горе почти счастливой
Вас минута сделала эта.

Утешенья, ласки — всё мимо,
Всё не вовремя, глупо, рано,
Только словом «необходима!»
Заживляют смертные раны.

Для того и позвал сюда:
«Ты нужна. Остаешься?»
— «Да!»

12

Третью трубку курю, скучая
Без хозяина и хозяйки.
Головами тихо качая,
Липы шепчутся на лужайке.

И, как вежливые домочадцы,
Пошуметь отлетев в сторонку,
Даже дятлы в парке стучатся
Не как наши — редко, негромко.

Где-то близко тени мелькнули,
Под ногою ветка сломалась. . .

«Как вы тут без нас, не заснули?
Мы с женой загулялись малость!»

Генерал садится в качалку,
Как обычно немногословный,
Тронув за конец полушалка,
Чтоб присела и Марья Петровна:

«День в делах, а поближе к ночи
Так бывает домой охота...
Вот и ходим, дорожки топчем,
Мы ведь с нею оба пехота».

Кисть платка тихонько покручивая,
Погрустнев, притомившись за день,
Вы сидите с мужем, задумчивая,
В потемневшее небо глядя.

На земле кругом всё немецкое,
А луна нездешняя — русская.
И, песком посыпана, детская
Вьется небом дорожка узкая,

Вьется вдаль надо всем, что пройдено,
Над местами, где муж служил,
Над полями, где сын за родину
Честно голову положил,

Над Курильской грядой бессонною,
Где небось уж рассвет встает
И где ваша дочь гарнизонную
Службу с мужем своим несет, —

С тем, казавшимся вам отпетым,
С тем отчаянным, с тем проклятым
Капитаном, что из Посьета
Взял увез ее в сорок пятом...

А теперь давно, как ни странно,
Они счастливы оба с Машею,
И зовут майора Иваном,
Как Ивана Степаныча вашего.

Тянет в небе далекой гарью. . .
Хорошо, что не только тут,
Что вторые Иван да Марья
На Курилах где-то живут

И что всюду, где есть военный
Самый маленький городок,
Есть и этот, обыкновенный,
Неразлучный, как вы, цветок.

1954

201. ОТЕЦ

А. Г. И-ву

Всё сердце у меня болит,
Что вдруг ты стал прихварывать,
Но мать об этом не велит
С тобою разговаривать.

Наверно, сам ты не велел,
А матери — поручено.
Пуд соли я с тобою съел,
Теперь уж всё изучено.

Я раньше слишком зелен был,
Себе недотолковывал,
Как смолоду бы жизнь прожил,
Не будь тебя, такого вот —

Такого вот, сурового,
С «ноль-ноль», с солдатской выправкой,
Всегда идти готового
По жизни с полной выкладкой!

А вот как сорок с лишним лет
Вдали от вас исполнилось,
Невольно, хочешь или нет,
Вся жизнь с тобою вспомнилась,

С того начала самого,
В Рязани, на Садовой,
Где встретился ты с мамою
И я при ней — готовый,

Единственный и неродной...
И с первой стычки — в угол!
Теперь я знаю, что со мной
Тебе бывало туго.

Но взял меня ты в оборот,
В солдатскую закалку,
Как вотчим струсит, не возьмет,
Как лишь отцу не жалко.

Отцу, который наплюет
На оханья со сплетнями:
Что не жалеет, чуть не бьет
Ребенка пятилетнего,

Что был родной бы, так небось
Не муштровал бы эдак!
Всё злому вотчиму пришлось
Слыхать от дур-соседок!

Не знаю, может, золотым
То детство не окрестят,
Но лично я доволен им —
В нем было всё на месте.

Я знал: презрение — за лень,
Я знал: за ложь — молчание,
Такое, что на третий день
Сознаешься с отчаянья.

Мальчишке мыть посуду — крест,
Пол драить — хуже нету!
Но не трудящийся не ест —
Уже я знал и это.

Знал, как в продскладе взять паек,
Положенный краскому,
Как вскинуть вещевой мешок
И дотащить до дому,

Как в речке выстирать белье
И как заправить койку,
Что хоть в казарму ставь ее —
Не отличишь нисколько!

Пожалуй, не всегда мой труд
Был нужен до зарезу,
Но ты, отец, как жизнь, был крут,
А жизнь — она железо;

Ее не лепят, а куют;
Хотя и осторожно —
Ей форму молотом дают,
Тогда она надежна.

Зато я знал в тринадцать лет:
Что сказано — отрезано,
Да — это да, нет — это нет,
И спорить бесполезно.

Знал смолоду: есть слово — долг.
Знал с детства: есть лишения.
Знал, где не струсишь — будет толк,
Где струсишь — нет прощения!

Знал: глаз подбитый — ерунда,
До свадьбы будет видеть.
Но те, кто ябеда, — беда,
Из тех солдат не выйдет.

А я хотел солдатом быть.
По улице рязанской
Я, всё забыв, мог час пылить
За ротою курсантской.

Я помню: мать белье кладет...
«Ну как там, долго ты еще?»
В бой на Антонова идет
Пехотное училище.

Идет с оркестром на вокзал,
И мой отец — со всеми
(Хотя отцом еще не звал
Тебя я в это время).

А после — осень, слезы жен,
Весь город глаз не сводит —
Ваш поредевший батальон
По улицам проходит.

И в наступившей тишине,
Под капли дождевые
«Вон папа», — стиснув руку мне,
Мать говорит впервые.

«Вон папа!» — Утренний развод.
Приезжему начальству
Отец мой рапорт отдает,
Прижавши к шлему пальцы.

«Вон папа!» — С ротою идет,
И глаза не скосит он.
А рота — лучшая из рот,
Мишени все как сито!

Бегу к курилке во весь дух,
А там красноармейцы
Уже выкладывают вслух,
Что у кого имеется:

Что не дождешься похвалы,
Натрешь мозоль — не верит!
Что после стрельб подряд стволы
У всех аж глазом сверлит!

Гоняет в поле в снег и в грязь,
Хоть сам и хлипкий с виду. . .
Стою и не дышу, боясь
Нарваться на обиду.

Но старшина, перекурив,
Подбить итог берется:
«Строг, верно, строг. Но справедлив,
Зазря не придерется».

Согласен я со старшиной:
С тобой и мне несладко!
Ты как с бойцами, так со мной,
Дня не проходит гладко!

Зато уж скажешь раз в году:
«Благодарю за службу!» —
Я гордый, как солдат, иду,
Похвал других не нужно.

Солдатом быть — в твоих устах
Обширнее звучало,
Чем вера в воинский устав,
Как всех начал начало.

Не всем в казарме жизнь прожить,
Но твердость, точность, смелость,
Солдатом-человеком быть —
Вот что в виду имелось!

Чтоб на любом людском посту,
Пускай на самом штатском,
За нашу красную звезду
Стоять в строю солдатском!

Так в детстве понял я отца:
Солдат! Нет званья лучшего!
А остальное до конца
Уж на войне доучивал.

Ни страха в письмах, ни тоски,
За всю войну — ни слова,
Хотя вы с мамой старики
И сына нет второго.

Лишь гордая твоя строка
Из далека далекого:
Что хоть судьба и нелегка,
Солдат не ищет легкого!

Как часто я себя пытал
Войны годами длинными:
Отец лежал бы или встал
Сейчас, вот тут, под минами?

Отец пополз бы в батальон,
Чтоб всё яснее ясного?
Иль на КП застрял бы он,
Поверив сводке на слово?

Как вспомню прошлую войну,
Все дни ее и ночи, —
Ее во всю ее длину
Со мной прошел мой вотчим.
. . . .

Скажу с собой наедине,
Что годы пролетают,
А мужества порою мне
И нынче не хватает.

Не скажешь вдруг ни «да», ни «нет». . .
Но сердце правду знает —
И там, где струсил, лег в кювет, —
Там душу грязь пятнает.

Нет хуже в памяти рубцов,
Чем робости отметины,
За каждую, в конце концов,
Быть самому в ответе мне.

Смешно, дожив до седины,
Поблажек ждать на юность.
И есть вина ли, нет вины —
Я с жалобой не сунусь.

А всё же, как тогда, в войну, —
И, может, это к лучшему, —
Нет-нет и на отца взгляну:
Как он бы в этом случае?

Я вслух об этом не спрошу,
В дверь лишний раз не стукну,
Но вот сижу сейчас, пишу
И помню неотступно,

Что свой дохаживает век
Походкою упрямой
Бесстрашный старый человек,
Невидимый судья мой;

Один из тех, на первый взгляд
Негордых и невзрачных,
Про жизнь которых говорят:
Вся, как слеза, прозрачна!

Он по бульвару в двух шагах
От вас прошел недавно,
Старик в фуражке, в сапогах
Потертых, но исправных.

В шинельке, что ни я, ни мать
Ни ласково, ни грубо
Ему не можем обменять
Десятый год на шубу.

Прошел, на лавочку присел
Со стопкой старых книжек,
Но вместо чтенья на прицел
Взял драку двух мальчишек.

И заревевшему мигнул,
Совсем как мне когда-то:
«Эк панихиду затянул!
А ведь пойдешь в солдаты. . .»

Не обязательно войну
Старик имел в виду.
Быть может, просто целину,
Труд, подвиги, беду. . .

Но на чужого старика,
Сказавшего так грубо,
Мать плачущего паренька
Скривила злые губы!

Ее-то сын уж так ли, сяк
Минует лямку эту!
Способный мальчик, не дурак,
Других служить, что ль, нету?

Старик глядит глаза в глаза,
И женщина не сразу,
Но понимает, что нельзя
Сказать ей эту фразу;

Она под взглядом старика
Молчит на пользу сыну,
Уже унявшему пока
Свой рев наполовину.

Старик уходит. Он встает,
В ногах смиряя боль,
И на обед домой идет
К пятнадцати ноль-ноль.

Идет, упрямый и прямой,
Враг старости смиренной,
Злой вотчим! Добрый гений мой:
Пенсионер военный.

1956—1958

ВОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Вагиф

202. ПЯТИСТИШИЯ

Я правды искал, но правды снова и снова нет.
Всё подло, лживо и криво — на свете прямого нет.
Друзья говорят — в их речи правдивого слова нет.
Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.
Брось на людей надежды — решенья иного нет.

Все вместе и каждый порознь нищий, царь и лакей —
Каждый из них несчастлив в земной юдоли своей.
Их всех сожрала забота, оторванность от людей,
И сколько бы я ни слышал бесчисленных их речей —
В них, кроме лжи и неправды, смысла второго нет.

Странный порядок в силу у сильных мира вступил:
Чье бы печальное сердце ты ни развеселил —
Оно тебе злом отплатит, отплатит по мере сил,
Им ненавистен всякий, кто добро совершил.
На целом огромном свете мне друга родного нет.

Ученый и с ним невежда, учитель и ученик —
Снедаемы все страстями, в плену у страстей одних.
Истина всюду пала, грех повсюду проник,
Кто в мулл и шейхов поверит, тот ошибется в них.
Ни в одном человеке чувства святого нет.

Всякий чего-то ищет, погонею поглощен.
Ищут себе престолов, венцов, диадем, корон.
Шах округляет земли — за ними в погоне он.
Влюбленный бежит за тою, в которую он влюблен.
Ни радости нет на свете, ни прочного крова нет.

Пусть ты на людей, как солнце, свой излучаешь свет —
Но помни, что слов признанья ты не дождешься, нет.
Совесть, честь, благородство давно уж утратил свет.
Услышали мы, что где-то найден честности след.
Я долго искал и знаю — чувства такого нет.

Алхимиками я сделал множество гончаров,
В золото обращал я прах забытых гробов,
Из щебня я делал яхонт, с камня срывал покров.
В алмазы мог обращать я бляхи на шеях ослов,
Признанья искал, — но мир мне ответил сурово: «Нет!»

Я мир такой отвергаю, он в горле стал поперек,
Он злу и добру достойного места не приберег.
В нем благородство тщетно: потворствует подлым рок.
Щедрости нет у богатых — у щедрых пуст кошелек.
Повсюду царство коварства, и царства другого нет!

Я видел конец надежды, мечтаний конец пустой,
Конец богатства и славы с их земной суетой,
Конец увлеченья женской невянущей красотой,
Конец и любви, и дружбы, и преданности святой.
Я знаю, что совершенства и счастья людского нет.

Потухли глаза, старею, жизнь черней и черней.
Сколько красавиц мимо прошло за тысячи дней!
Дурною была подруга, погублено счастье с ней!
Аллах, одари Вагифа милостию своей:
Ведь, кроме тебя, на свете друзей у больного нет.

⟨1939⟩

Насими

203

В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь.
Я — суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь.

Всё то, что было, есть и будет, — всё воплощается во мне.
Не спрашивай! Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь.

Вселенная — мой предвозвестник, мое начало — жизнь
твоя.
Узнай меня по этим знакам, но я и в знаки не вмещусь.

Предположеньем и сомненьем до истин не дошел никто;
Кто истину узнал, тот знает — в предположенья
не вмещусь.

Поглубже загляни в мой образ и постарайся смысл
понять,
Являясь телом и душою, я в душу с телом не вмещусь.

Я — жемчуг, в раковине скрытый. Я — мост, ведущий в ад
и рай.
Так знайте, что с таким богатством я в лавки мира
не вмещусь.

Я — самый тайный смысл всех кладов, я — очевидность
всех миров,
Я — драгоценностей источник, в моря и недра не вмещусь.

Хоть я велик и необъятен, но я Адам, я человек.
Я знаю всё, но в то, что знаю, весь до конца я не вмещусь.

Все времена и все века — я, душа и мир — всё это я, —
Но разве никому не странно, что в них я тоже
не вмещусь?

Я — небосклон, я — все планеты, и Ангел Откровенья я.
Держи язык свой за зубами, и в твой язык я не вмещусь.

Я — атом всех вещей, я — солнце, я — шесть сторон твоей
земли.
Скорей смотри на ясный лик мой, я в эту ясность
не вмещусь.

Я — сразу сущность и характер, я — сахар с розой
пополам,
Я сам решенье с оправданьем, в молчащий рот я
не вмещусь.

Я — дерево в огне, я — камень, взобравшийся на небеса.
Ты пламенем моим любуйся, я в это пламя не вмещусь.

Старик — я в то же время молод, я — лук с тугою тетивой,
Я — власть, я — вечное богатство, но сам в века я
не вмещусь.
Я — имя Насими носящий, я — хашимит и курейшит,
Я меньше, чем моя же слава, но я и в славу не вмещусь.

⟨*1939*⟩

Видади

204

Мы жить не можем, смерть поправ, — как тяжко
умирать!
На жизнь имея столько прав, как тяжко умирать!

Мой взор еще не опустел, ведь он тебя встречал.
Тебя опять не увидав, как тяжко умирать!

Готов смеяться мой язык и голос щебетать.
Высоко голову подняв, как тяжко умирать!

Пускай страдает тот, кто знал, жалеет, кто не знал.
Свою хвалу тебе послав, как тяжко умирать!

Стрелой пронзенный прямо в грудь, бесцельно я бегу.
Мой след неровен и кровав... Как тяжко умирать!

Я разучился говорить, и силы нет в руках.
Недолюбив, недострадав, как тяжко умирать!

Без крова, на чужой земле, вдали от мест родных,
Страданий всех не описав, как тяжко умирать!

⟨*1939*⟩

205. ШЕСТИСТИШИЯ

Не думай о нашем страданье — всему наступит конец,
В груди удержи рыданья — слезам наступит конец.
Придет пора увяданья — цветам наступит конец.
В душе не храни ожиданья — душе наступит конец.
Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец.
Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец.

Возлюбленная прекрасна — она истлеет в земле,
Рот ее нежно-красный — и он истлеет в земле,
Локон на шее страстной тоже истлеет в земле.
И раз ее образ ясный должен истлеть в земле,
Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец.
Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец.

Умрет властелин вселенной, — что выживет он, не верь.
И царство его погибнет — во власть и закон не верь.
Всё в мире непостоянно. Что мудр Соломон — не верь.
Вращению мирозданья, если умен, не верь.
Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец.
Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец.

И если — за годом годы — сто веков расцветет,
И если, шумя листвою, сто садов расцветет,
И если сто гиацинтов, сто цветов расцветет,
То разве душа от лживых, от жалких слов расцветет?
Нет! Чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец.
Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец.

Трудно думать о жизни — горем она полна.
Каждому бриллианту — тысяча душ цена!
Как в зеркале, в каждой грани подлость отражена.
Клянчить себе подачек наша земля должна.
Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец.
Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец.

Цену пустому миру знал Видади больной.
Мир о пощаде просит, словно набат ночной!
Что за столпотворенье там, в суете земной!
Жизнь коротка, не будет жизни еще одной.
Мне чашу подай, виночерпий, — всему наступит конец.
Нас сгложут могильные черви — всему наступит конец.

⟨1939⟩

206. ПОЭТ, КАК РАНО ПОСТАРЕЛ ТЫ...

Поэт, как рано постарел ты...
Ты, говорят, счастливый самый,
Хотя всю жизнь ты горем сыт,
Как снег в горах, оно висит
Над головой твоей упрямой.
И сколько бы других ни грел ты,
Ни влек бы к сердца очагу,
Вся голова твоя в снегу!
Поэт, как рано постарел ты...

Вчера, когда окончил ты
Читать, когда — в руках цветы,
Безмолвная — перед поэтом
Стояла девушка с букетом,
Как долго на нее смотрел ты,
Читая у нее в глазах
Наивное по-детски: «Ах!
Поэт, как рано постарел ты!»

Охотой увлекался ты,
Под буркой ночевал в пустыне
И за козлами по стремнине
Спускался с горной высоты.
Как прежде, брал их на прицел ты,
Но пули мимо них прошли
И только свистнули вдали:
Поэт, как рано постарел ты!

Ты был жесток в житейских схватках,
Был друг друзьям, был враг врагам,
Но тот, кто в жизни только лгал,
Кто дружбу предлагал, как взятку,
Кто с лестью лез, чтоб подобрел ты,
Сейчас, скрывая торжество,
В твой дом вползая, шепчет: «О,
Поэт, как рано постарел ты...»

Да, голова твоя седа,
Поэт. Но это не беда, —
Ни женщина, что ты любил,

Ни Родина, чьим сыном был,
Те двое, для кого сгорел ты,
Пусть голова твоя седа,
Тебе не скажут никогда:
«Поэт, как рано постарел ты!..»

⟨1956⟩

ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Галактион Табидзе

207. НЕ ОСТАВЛЯЙ ЕГО, КАК СИРОТУ...

Твой стих с тобой брал века высоту,
Решал бесстрашно и судил пристрастно.
Не оставляй его, как сироту,
Вне времени и вне пространства!

Одни проваливались без следа,
Другие, оступаясь, шли куда-то...
Ты сам об этом написал тогда.
Ставь день и час! Где подпись — там и дата!

Твой стих не мост между добром и злом,
Он — цвет знамен и ран на поле боя.
Как в скалы врублен времени излом,
Так врублен в стих ты сам с твоей судьбою.

В твоей эпохе всё, что есть, — твое:
Твой герб, твой серп, твой молот, твое знамя,
Твоя решимость доконать старье,
Спалить его индустрии огнями!

Твой стих с тобой брал века высоту,
Решал бесстрашно и судил пристрастно.
Не оставляй его, как сироту,
Вне времени и вне пространства!

⟨1973⟩

208

Есть настоящий, сущий —
Души твоих книг читатель.
И есть — ему вслед ползущий
Книжных листов листатель,

Тянет, потянет, вытянет
Где-нибудь лыко в строку,
Выудит, выдоит, выкопает...
Ни спросу с него, ни проку!

(1973)

209

Нет, друг мой Георгий!
Не те уже годы,
Чтоб — няньки да няньки
Под видом народа.
Ему мы служили,
Ему и дослужим.
Ему! А не разным
Прохожим досужим.

(1973)

ИЗ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ

Алишер Навои

210. ГАЗЕЛЬ

Весна без тебя — палача жгут, смертные муки, ад!
В нем красные розы меня жгут, белые — леденят.

Весна без тебя для меня — ад, ад ночи и ад дня,
Но в том раю, где ты без меня, нет ни льда, ни огня.

Если захочешь меня найти, стать под моим окном —
По лицу моему иди, по бороздам слез на нем.

Как в сладких плодах — горькая кость не удивит меня,
Так в сладких устах — твоих слов злость не удивит
меня.

Не лги про меня, что там, в аду, гол и бос Навои.
Я одет и обут в печаль и беду — в подарки твои.

Нет, не боюсь лжи и угроз, хотя вижу над головой,
Как секиру в небе занес юный месяц — гонец твой.

‹1968›

ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

Валентин Таврай

211. ТОВАРИЩ

(Поэма)

1

Сперва ему еще казалось,
Что он решетки тут согнет,
И жизнь его не умещалась
За их железный переплет.

Грудь молча стены обступали,
О своды билась голова,
А ноги на полу решали
Всё те же вечных — дважды два.

Здесь перестал ты быть скитальцем,
Здесь без оков одна душа;
Тюрьма считает дни по пальцам,
Их загибает не спеша.

Покуда время еле-еле
Ползет в тюремной тишине,
Ты, как безумный, ищешь щели
В непроницаемой стене.

И каждый день однообразно,
Увидев сторожа с судком,
Ты пальцы сводишь от соблазна
Его оставить под замком.

И в каждую грозу ты снова
Упрямо просишь дальний гром
Испепелить твои оковы
Багровых молний языком.

2

Не бей об стену кулаками,
С ней спор не выдержит рука,
Кирпич века срастили в камень,
И стал он крепок, как века.

Но слушай, слушай! Непреклонно
Пускай живет в твоих ушах
Далекий, многомиллионный
Шаг на московских площадях.

И ты привыкнешь постепенно
Ловить, как отзвук тех шагов,
Шум наших дум, что через стены
Идут в атаку на врагов.

Не властны камень и известка
Над нашею живой душой,
Сквозь них с мадридских перекрестков
К нам в камеры влетает бой.

Пусть завтра карцер мой пустует,
Но тем, что в ночь меня убьют,
Сто камер словом: «Протестую!» —
С утра пощечин надают.

3

О прошлом вдруг нахлынут думы:
Разлука с домом, пыльный шлях
И слезы матери, угрюмо
Так и застывшие в глазах.

Асфальт расторгся под ногами,
Распалась надвое стена,
И ты неслышными шагами
Всё ходишь, ходишь дотемна.

Не по тюремным серым плитам,
Не по казенным злым камням,
А по тропинкам, по забытым,
Полынью пахнущим полям.

С тобою рядом шляхом дальним
Пылят жандармы с двух сторон,
А сзади с шелестом печальным
Березы отдают поклон.

4

Ты к камере своей привязан,
Ты выучил тюремный стук,
Ты карцером пять раз наказан
В алфавите за каждый звук.

Ты понимаешь с полуслова
Намеки через три стены,
И запросто с тобою снова
Товарищи со всей страны.

Как старый политзаключенный,
Ты можешь запустить «коня» —
С запискою шпагат крученый —
К соседу среди бела дня.

Очередной доклад без сна
Приняв по буквам терпеливо,
Ты рад: какая перспектива
Из камеры твоей видна!

Тебя с взведенными курками
Ведут на суд, чтоб срок додать,
И ты, вернувшись, окнам камер
На пальцах объясняешь: «Пять!»

5

Франко готовит мавров к штурму,
Чтобы Мадрид свободный взять,
И пан министр Грабовский в тюрьмах
Решил нас тоже штурмовать.

Он двинул голод в наступленье
На маленький Мадрид в тюрьме,
Но мы пока в своем уме,
Умрем, но не согнем колени.

Был парень в карцер брошен снова,
В мешок из камня, без окон.
Наверх из карцера сырого
С колючим кашлем вышел он.

И сразу же к стене, и сразу
Соседу выстукать спешит:
«Как там франкистская зараза?
Как держится там наш Мадрид?»

Вплоть до тюремного обеда
Лежал, стараясь не грустить,
Потом у верхнего соседа
Решил махорки попросить.

Но у соседа нет махорки,
Лишь в мыслях можно дым пускать
И фалангистов на все корки
С Грабовским заодно ругать.

6

Сны о Мадриде над тюрьмою
Тревожно к западу плывут.
Душа болит? Крепись душою!
Салют, Испания! Салют!

Весь день с Грабовским он воюет,
Но лишь отворит двери сон —
С Интербригадой марширует
Дорогою к Мадриду он.

Но почему вдруг, словно связан,
Нельзя рукою шевельнуть?
Огромный марокканец сразу
Сжал горло и налег на грудь...

Очнулся весь в поту, усталый,
В ушах еще орудий гром,
А за окном уж засвистала
Тюрьма своим беззубым ртом.

Поднялся с койки: что за пятна?
Шатнувшись, плюнул, поднял бровь,
Еще раз плюнул — снова кровь.
И больше не смотрел. Понятно.

7

Ломая о решетки крылья,
День всё горел и не сгорал;
Горшок с похлебкой остывал,
Есть не хотелось — от бессилья.

Взял книгу — буквы в ней горели.
Листы пылали, как костер.
Рукою дотянувшись еле,
Он пересохший рот обтер.

Кувшин в углу как будто рядом,
Но, смерив пять шагов пути
Пылающим от жажды взглядом,
Он трезво понял — не дойти.

Поднялся. Ухо уловило
Знакомый стук — припал к стене:
То пулеметы слышно было,
То крик «Камрадос!» в тишине.

«Нет, не могу, пока прилягу,
Пусть жар к утру перегорит.
Малага ты моя, Малага,
Высокий мой, родной Мадрид!

Доло́рес, слушай, поскорее
Скажи им — ни на шаг назад!
Я встану, я еще успею
К атаке всех Интербригад!»

8

В бреду поднялся до рассвета
И так стучал, в огне горя,
Что за тремя стенами где-то
Стук поднял с нар секретаря.

Слез на пол секретарь усталый
И нехотя к стене приник,
Но эхо складывать вдруг стало
Из мертвых букв пылавший крик:

«Я ждать... не в силах... Там сраженье...
Там без меня... мой взвод стоит...
Дай, секретарь, мне открепленье,
Пусти... меня... на фронт... в Мадрид».

«Наверно, парень шутит с нами, —
Подумал секретарь. — Пускай», —
И, улыбнувшись под усами:
«Согласен! — стукнул. — Поезжай!»

Не понял, секретарь, не понял,
О чем твой коммунист просил,
Когда пылающей ладонью
Он, умирая, в стену бил.

Не сможешь завтра ты без боли
Узнать, как недогадлив был,
И вспомнить, что́ ему позволил,
Куда его ты отпустил...

9

День занялся сырой, острожный,
Как каждый день, свистел свисток,
Впервые на поверку можно
Ему не вскакивать с досок.

В конторе принесенных мамой
Уже не взвесят сухарей,
И врач не проскрипит упрямо:
«Здоров как бык, вставай живей!»

Сломались перед сердца силой
Решеток сталь и стен бетон,
Сквозь них из камеры постылой
В Мадрид ушел сражаться он.

Мамуся, ріднa мати, мама!
Сто раз оплачь, но не забудь
Фигурку хлопца, что упрямо
Ушел из хаты в этот путь.

Ушел, тебе оставив слезы,
Ушел, чтоб не вернуться к нам —
Ни к Белоруссии березам,
Ни к тихим матери рукам.

На нарах, грязных и холодных,
Лежит он телом, где упал,
А сердцем на ветру походном
Пылает с пиренейских скал!

(1948)

Назым Хикмет

212—215. *ВЫЙДЯ ИЗ ТЮРЬМЫ*

1

УТРО

Ты проснулся.
Где?
Дома.
Но дома отвык просыпаться ты.
Верный признак тринадцати
лет,
Проведенных в тюрьме.

Кто лежит с тобой рядом?
Одиночество?
Нет, жена.
Она
Спит, как ребенок.
Как идет ей беременность!
Сколько времени?
Половина шестого, —

Вы знаете, что до вечера
Беспокоиться нечего.
Есть полицейское правило —
Засветло не арестовывать.

2

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА

Ты вышел из-за решетки тюремной.
Ты вышел.
Вы вместе. И жена твоя беременна.
Взяв тебя под руку,
Она гуляет с тобой
По кварталу.

И легко,
словно даже
и не устала,
Несет свою священную тяжесть.
Ты горд собой
и ею горд.
Вечерний город
Остывает,
как будто пальцы ребенка озябли,
И кажется, надо
Взять и согреть в ладонях эту прохладу.
Коты квартала
у дверей мясной сошлись, как поклонники.
А на втором этаже,
грудью на подоконнике,
Жена мясника,
завитая,
скучая и тая,
Вечера созерцает картину.
Небо чисто.
Как раз там, где его середина,
Первая вечерняя звезда
Блестит,
как налитая в стакан вода.
В этом году бабье лето.
Абрикосы уже пожелтели,
А инжир еще зелен.
Дочь молочника Георгия
с наборщиком Ахметом
Вышли гулять,
и в тени
пальцы их сплетены,
И ты видишь это.
В бакалейной лавчонке Сурена
загорелись огни.
Он армянской резни
не забыл.
Он убийцам отца
не простит до конца,
до смертной черты.
Но он любит тебя,
потому что и ты
Не простил тех, кто помог

На лбу Турции
выжечь это клеймо.
Все чахоточные квартала,
те, что уже не встают,
Смотрят на вечер сквозь стекла.
В кофейне — пьют,
а около
Можно видеть печальную спину
безработного сына
прачки Фатьмы.
Радио Осман-бея
передает вечерние известия,
И ты с женою вместе
попадаешь в Корею,
Где желтолицые люди сражаются с белым драконом
И куда
грязным законом
загнаны
четыре тысячи Ахметов,
Чтобы убивать своих братьев.
Ты багровеешь от гнева,
слушая это,
И от бессилья
вернуть их обратно.
И печаль —
Не вообще, не чья-то, какая попало,
А именно твоя собственная
Беснуется со связанными руками,
как будто жену твою
толкнули так, что она упала
При тебе животом на камень.
И ребенка уже не будет.
Или как будто тебя опять судят,
И снова в тюрьме,
за решеткой,
перед твоими глазами
По суткам
Крестьяне
В жандармских куртках
Бьют просто крестьян.
Свалилась ночь.
Пора и домой,
Полицейский автомобиль,
пахнущий тюрьмой,

Дотерпев дотемна,
выезжает из-за угла,
светя на камни.
«Не к нам ли?» —
шепчет жена.

3

ЧАС НОЧИ

На синей домотканой скатерти
Облюбовавшие для жилья наш дом
Наши храбрые книги
стоят с открытым лицом,
Не желая ни трусить, ни лгать.
О моя мать!
Я вернулся домой
Из-за крепостной стены,
построенной,
чтобы нас сломать,
Врагами нашей страны
в сердце моей страны.
Час ночи.
Мы не гасим света.
Рядом со мной лежит жена.
Она беременна.
Это
Пятый месяц знаем я и она.
Но мне всё еще не верится.
И вот
я кладу руку на ее живот
И слушаю, как ребенок всё шевелится и шевелится:
Листок на ветви деревца,
Рыбка в струе ручья,
Ребенок во чреве.
Мой ребенок!

Мать моя
для моего ребенка
Связала розовую распашонку,
Она
такая крошечная, что страшно трогать, —
В мою ладонь вся длина,
А рукава — вот такие, с ноготь!

Я хочу, если это будет девочка —
Так чтоб в мать, с головы до ног!
А если мальчик — чтоб ростом с меня,
чтоб со мною сравняться мог.
Мой ребенок!
Если это будет девочка —
чтоб была кареглазой, красивой.
А если мальчик — пусть просто
взгляд будет синий.
Мой ребенок!
Я не хочу, чтоб моего ребенка
в двадцать
на войне убивали,
Если это будет мальчик.
А если девочка —
я не хочу, чтобы бомбы рваться
Стали ночью над ней, погребенной в подвале!
Мой ребенок!

Мальчиком или девочкой, кем бы он ни был
И до скольких бы он ни дожил лет, —
Я не хочу, чтоб от него тюрьмой закрыли небо
Только за то, что он
за мир!
за правду!
за свет!

Но я знаю, что, если запоздает
то, что люди зовут рассветом,
Ты должен, ты будешь бороться,
каким бы тебе ни грозили концом.
Да, как видно, сейчас нелегкая должность эта,
Должность — быть отцом.
Час ночи.
Мы не гасили огня.
Я прислушиваюсь.
Может, через минуту,
А может, под утро
Они выберут миг,
ворвутся в мой дом и уведут меня
В храброй компании наших книг.
И в кругу полицейских,
готовых ринуться,

Все-таки я повернусь и увижу с дороги,
Как моя жена стоит на пороге,
Как колышется платье ее
и лицо ее светится,
И как в ее животе, тяжелом от материнства,
Мой ребенок
шевелится и шевелится.

4

РОЖДЕНИЕ

Его мать родила мне мальчика.
Мальчик белокурый, безбровый, дышит тепло —
Светящийся шар в голубых пеленках —
И весит три кило.

Когда мой мальчик родился,
Родились дети в Корее,
Похожие на подсолнечник,
но рука
Макартура
срезала их поскорее,
Пока они не попробовали
материнского молока.
Когда мой мальчик родился,
Родились дети в застенках Греции.
Их отцов убили,
Решетки были
первым в мире,
На что им дали смотреть
И около чего греться.

Когда мой мальчик родился,
Родились дети в Анатолии,
Они были синеглазые,
черноглазые,
кареглазые.
Но вши их покрыли сразу.
И я не знаю, со сколькими из них
Случится чудо —
остаться в живых.

Когда мой мальчик родился,
Дети родились в самой великой стране
И окунулись в счастье, которое
Дать всем детям хотелось бы мне.

Когда моему мальчику
Будет столько лет, сколько мне,
Я умру.
Но земной шар уже сможет
Стать огромной колыбелью
с шелковой постелью,
Где будут наравне
баюкать всех детей
всех цветов кожи!

⟨1951⟩

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

Юлиан Тувим

216

Я крохи юности собрал. Что ж, птицам их швырнуть?
Иль, может, их в слова вложив, пустить слова летать?
Слова и птицы улетят и, завершив свой путь, —
Ко мне обратно, тут как тут, и будут снова ждать.

А что им скажешь? Больше нет крох юности моей?
Поверят? Нет! Начнут кружить, как мертвая листва,
Крылами в стекла будут бить, и у моих дверей,
Оставшись верными, умрут и птицы и слова.

⟨*1954*⟩

217. ОПЕЧАТКА

В жизнь мою закралась опечатка,
Путаница в тексте на виду, —
Требуется авторская правка:
От рожденья на сороковом году,
На каком от смерти — неизвестно,
Автор просит всё исправить вновь —
В тексте вместо слова «безнадежность»
Следует опять читать: «любовь».

⟨*1954*⟩

Витезслав Незвал

218. КАТАФАЛК

Снова за стеною до рассвета
Стуки молотка,
Словно заколачивают где-то
Кости бедняка.

Звезды виснут на ветвях дубовых.
До земли их гнут.
Мимо дома этой ночью снова
Черный гроб везут.

Потеряв о времени понятье,
Бьют всю ночь часы,
Словно безъязыкое проклятье,
Где-то лают псы.

И, вскочив, как от удара палки,
Я к окну встаю...
Там везут на черном катафалке
Родину мою.

⟨*1946*⟩

219. ЗНАМЕНА ДЕВЯТОГО МАЯ

Небо, небо — цвет свободы,
Цвет лазури и победы.
Все в цветах, в пыли и в песнях
Танки, танки пролетают!
Окна улиц повернулись
И бегут за ними следом.

Прага, Прага, наконец-то
Ты свободна, Золотая!
Я влюблен в тебя в такую,
Мы такой тебя забыли.
Пусть еще стреляют немцы
Из подъездов и подвалов,
Но железом и камнями
От разрушенных бастилий
Мы с тобою вместе, Прага,
Их накормим, как бывало!
Возле танков, где на башнях
Едут пыльные мессии,
У домов, еще звенящих
Ранеными зеркалами,
И в глазах, где, пролетая,
Отражается Россия,
Сбросив путы полонянки,
Прага пляшет вместе с нами!

⟨1946⟩

220. ПРОЩАЙ!

С богом! Прощай! Как ни странно, мы оба не плачем.
Да, всё было прекрасно! И больше об этом ни слова.
С богом! И если мы даже свиданье назначим,
Мы придем не для нас — для другой и другого.

С богом! Пришла и ушла, как перемена погоды.
Погребального звона не надо — меня уж не раз погребали,
Поцелуй, и платочек, и долгий гудок парохода.
Три-четыре улыбки... И встретимся снова едва ли.

С богом! Без слов — мы и так их сказали с избытком,
О тебе моя память пусть будет простой, как забота,
Как платочек наивной, доверчивой, как открытка,
И немножко поблекшей, как старая позолота.

С богом! И пусть ты не лжешь, что меня полюбила
Больше всех остальных... Всё же легче нам будет
в разлуке.
Пусть что будет, то будет! Что было, то было...
И тобою, и мной к новым судьбам протянуты руки!

С богом! Ну что ж! В самом деле! Ну да, в самом деле.
Мы не лжем, как врачи у постели смертельно больного.
Разве мы бы прощались, если б встретиться снова хотели?
Ну, и с богом! И с богом!.. И больше об этом ни слова!

⟨1946⟩

221. БАЛЛАДА О НАДЕЖДЕ

Я не любитель по аллеям шаркать,
Не коротатель вечеров в кино.
Я, старый мастер, знаю: в мире жарко,
Ему грозит авария давно!
Вы думаете: взрыв еще не скоро,
Успеете нажать на тормоза?
Нет, мир проскочит ваши семафоры
И у людей откроются глаза!

Вы нас боитесь! И хотя не тронут
Еще ваш мир рабочею рукой,
Уже вы порох сыплете в патроны,
Ночей не спите, потеряв покой.
Вы птицы невысокого полета,
Вам страшно знать, что где-то спит гроза,
Но час пробьет — и гром начнет работу
И у людей откроются глаза!

Хочу, чтоб вам досталось на орехи,
Чтоб даже дух ваш вымело дотла!
Чтоб вы, поджав хвосты, меняя вехи,
Раз навсегда узнали, чья взяла!
Мы — мастера угля, железа, хлеба,
Решают дело наши голоса.
Мы выйдем в блузах голубых, как небо,
И у людей откроются глаза!

Ремонт земли начнем мы без наряда,
Сойдемся и поднимем руки «за»!
И сделаем на совесть всё, как надо,
И у людей откроются глаза!

⟨1960⟩

222. БАЛЛАДА О БЕЗРАБОТНЫХ ТОВАРИЩАХ

Часы на что безупречные —
И то вдруг что-то сломается!
А мы — как студенты вечные,
Нам век без работы маяться.
Земной поклон демократии
За наши дни беззаботные!
Пью за вас, мои братья,
Товарищи безработные!

Нам горе идет с процентами,
И нет конца этой повести,
А можно бы стать доцентами,
Будь у нас меньше совести.
Но, к счастью, нам всем не нравятся
Предательства руки потные.
Пусть старый мир нами давится,
Товарищи безработные!

Мы любим людей трудящихся,
Во сне и строим и пашем мы,
Мы не в числе садящихся
На шею народу нашему;
Презираем сытые морды их,
Проповеди их рвотные,
Мы, голодные, гордые, —
Товарищи безработные!

Вряд ли им с нами справиться,
Загнать из людей в животные.
Нам слишком людьми быть нравится,
Товарищи безработные!

⟨1960⟩

223—225. *ИЗ ЦИКЛА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»*

1

В мае, месяце зеленом,
От чужих краев устав,
Я вернулся в них влюбленным,
С добрым словом на устах.

Не годясь в ханжи и судьи,
Я чужое не кляну,
Но, конечно, полной грудью
Только дома я вздохну;

Только дома, где отрадно,
Что друзья повсюду есть,
Где туда или обратно
В каждый поезд можно сесть!

2

Вот и унесся, как гонщик,
Мчавший нас синий экспресс!
В узкоколейный вагончик
Я по-домашнему влез.

Сел на диванчике низком,
Всё мне знакомо кругом.
Медленно, с визгом и писком,
Тащит нас старый вагон;

Весело выкрашен желтым,
Словно домашний комод.
Бабка в нем едет с кошелкой,
С хрустом рогалик жует;

Едут в корзинках продукты,
Пахнет парным молоком.
Шляпу приподнял кондуктор,
Словно со мною знаком...

Кто-то гадает невесте,
Кто-то роняет слезу...
Сердце мое не на месте,
Сердце домой я везу.

3

Еду цветущим краем
И слезы лью без вины.
Сиренью, сломанным маем,
Часовни полным-полны.

Кого-то мучают вины,
Душит фальшивый смех.
А я в слезах без причины,
Безгрешно плачу при всех.

Не знаю... А впрочем, знаю:
Разлука долгой была,
Ты, чешская речь родная,
До слез меня довела!

(1960)

226. МЕЧТАЮ...

Мечтаю, чтоб мир был с войной незнаком,
Чтоб он и без крови был ярок!
Стихи мои пейте, как чай с молоком,
Я чашки пришлю вам в подарок!

Мечтаю, чтоб мир, как подвал гончара,
Пел глиняным дружеским хором.
Стихи мои весело ешьте с утра
С тарелок с моравским узором.

Но если покоя нам рано просить
И мир еще полон тревогой,
Стихами моими не грех закусить
До боя и перед дорогой.

И если придется ремень потесней
Стянуть среди временных тягот,
Пусть хлебом и сахаром, тем, что нужней,
На стол к вам стихи мои лягут.

Мечтаю, чтоб свет над землей не потух,
В стихах говорю свое мненье,
Я родину утром бужу, как петух,
Мне нравится это сравненье!

(1960)

Редьярд Киплинг

227. ОБЩИЙ ИТОГ

Из департаментских песен

Далеко ушли едва ли
Мы от тех, что попирали
    Пяткой ледниковые холмы.
Тот, ктс лучший лук носил, —
Всех других поработил,
    Точно так же, как сегодня мы.
Тот, кто первый в их роду
Мамонта убил на льду,
    Стал хозяином звериных троп.
Он украл чужой челнок,
Он сожрал чужой чеснок,
    Умер — и зацапал лучший гроб.
А когда какой-то гость
Вдруг принес с резьбою кость, —
    Эту кость у гостя выкрал он.
Отдал вице-королю,
И король сказал: «Хвалю!»
    Был уже тогда такой закон.
Как у нас — всё шито-крыто,
Жулики и фавориты
Ели из казенного корыта.
    И секрет, что был зарыт
    У подножья пирамид,
    Только в том и состоит,
Что подрядчик, хотя он
Уважал весьма закон,
    Облегчил Хеопса на мильон.
А Иосиф тоже был
Жуликом по мере сил.
    Зря, что ль, провиантом ведал он?

Так что всё, что я спою
Вам про Индию мою,
Тыщу лет не удивляет никого, —
Так уж сделан человек.
Ныне, присно и вовек
Царствует над миром воровство.

⟨1939⟩

228. НОВОБРАНЦЫ

Когда на восток новобранцы идут —
Как дурни, резвятся, как лошади, пьют.
Иные из них по дороге умрут,
Еще не начав служить как солдат,
Служить, служить, служить как солдат, солдат королевы!

Эй вы, молодые, поближе к огню!
Я не первых встречаю и хороню.
Но пока вы живы, я вам объясню,
Как должен вести себя умный солдат,
Умный, умный, умный солдат, солдат королевы!

При чуме и холере себя береги,
Минуй болота и кабаки.
Холера и трезвость — всегда враги.
А кто пьян, тот, ей-богу, скверный солдат,
Скверный, скверный, скверный солдат, солдат королевы!

Если сволочь сержант до точки довел —
Не ворчи, как баба, не злись, как осел.
Будь любезным и ловким, — и вот ты нашел,
Что наше спасенье в терпенье, солдат.
В терпенье, в терпенье, в терпенье, солдат, солдат королевы!

Если жена твоя шьется с другим,
Не стоит стреляться, застав ее с ним.
Отдай ему бабу — и мы отомстим,
Он будет с ней проклят, этот солдат,
Проклят, проклят, проклят солдат, солдат королевы!

Если ты под огнем удрать захотел,
Глаза оторви от лежащих тел
И будь счастлив, что ты еще жив и цел.
И маршируй вперед, как солдат,
Вперед, вперед, вперед, как солдат, солдат королевы!

Если мажут снаряды над их головой,
Не ругай свою пушку сукой кривой,
А лучше с ней потолкуй, как с живой,
И ты будешь доволен ею, солдат,
Доволен, доволен, доволен, солдат, солдат королевы!

Пусть кругом все убиты — а ты держись!
Приложись и ударь и опять приложись.
Как можно дороже продай свою жизнь.
И жди помощи Англии, как солдат,
Жди ее, жди ее, жди ее, как солдат, солдат королевы!

Но если ты ранен и брошен в песках
И женщины бродят с ножами в руках,
Дотянись до курка и нажми впотьмах
И к солдатскому богу ступай, как солдат,
Ступай, ступай, ступай, как солдат, солдат королевы!

⟨1939⟩

229. ДОБРОВОЛЬНО «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»

Неважный мир господь для нас скропал.
Тот, кто прошел насквозь солдатский ад
И добровольно «без вести пропал»,
Не беспокойтесь, не придет назад!

Газеты врали вам средь бела дня,
Что мы погибли смертью храбрецов.
Некрологи в газетах — болтовня,
Нам это лучше знать, в конце концов.

Врачи приходят после воронья,
Когда не разберешь, где рот, где нос.
И только форма рваная моя
Им может сделать на меня донос.

Но я ее заставлю промолчать.
Потом лопаты землю заскребут,
И где-то снова можно жизнь начать,
Когда тебя заочно погребут.

Мы будем в джунглях ждать до темноты —
Пока на перекличке подтвердят,
Что мы убиты, стало быть — чисты;
Потом пойдем куда глаза глядят.

Мы снова сможем девочек любить,
Могилы наши зарастут травой,
И траурные марши, так и быть,
Наш смертный грех покроют с головой.

Причины дезертирства без труда
Поймет солдат. Для нас они честны.
А что до ваших мнений, господа, —
Нам ваши мненья, право, не нужны.

⟨1939⟩

230. ГИЕНЫ

Когда похоронный патруль уйдет
И коршуны улетят,
Приходит о мертвом взять отчет
Мудрых гиен отряд.

За что он умер и как он жил —
Это им всё равно.
Добраться до мяса, костей и жил
Им надо, пока темно.

Война приготовила пир для них,
Где можно жрать без помех.
Из всех беззащитных тварей земных
Мертвец беззащитней всех.

Козел бодает, воняет тля,
Ребенок дает пинки.
Но бедный мертвый солдат короля
Не может поднять руки.

Гиены вонзают в песок клыки,
И чавкают, и рычат.
И вот уж солдатские башмаки
Навстречу луне торчат.

Вот он и вышел на свет, солдат, —
Ни друзей, никого.
Одни гиеньи глаза глядят
В пустые зрачки его.

Гиены и трусов и храбрецов
Жуют без лишних затей,
Но они не пятнают имен мертвецов:
Это — дело людей.

⟨1939⟩

231. ДУРАК

Жил-был дурак. Он молился всерьез
(Впрочем, как Вы и Я)
Тряпкам, костям и пучку волос —
Всё это пустою бабой звалось,
Но дурак ее звал Королевой Роз
(Впрочем, как Вы и Я).

О, года, что ушли в никуда, что ушли,
Головы и рук наших труд —
Всё съела она, не хотевшая знать
(А теперь-то мы знаем — не умевшая знать),
Ни черта не понявшая тут.

Что дурак растранжирил, всего и не счесть
(Впрочем, как Вы и Я) —
Будущность, веру, деньги и честь.
Но леди вдвое могла бы съесть,
А дурак — на то он дурак и есть
(Впрочем, как Вы и Я).

О, труды, что ушли, их плоды, что ушли,
И мечты, что вновь не придут, —
Всё съела она, не хотевшая знать
(А теперь-то мы знаем — не умевшая знать),
Ни черта не понявшая тут.

Дураку его шкура мила была
(Впрочем, как Вам и Мне),
И, когда, его выпотрошив дотла,
Ему леди под зад коленкой дала,
Дурак не приставил к виску ствола
(Впрочем, как Вы и Я).

В этот раз не стыд его спас, не стыд,
Не упреки, которые жгут, —
Он просто узнал, что не знает она,
Что не знала она и что знать она
Ни черта не могла тут.

⟨1939⟩

232

Серые глаза — рассвет,
Пароходная сирена,
Дождь, разлука, серый след
За винтом бегущей пены.

Черные глаза — жара,
В море сонных звезд скольженье,
И у борта до утра
Поцелуев отраженье.

Синие глаза — луна,
Вальса белое молчанье,
Ежедневная стена
Неизбежного прощанья.

Карие глаза — песок,
Осень, волчья степь, охота,
Сказка, вся на волосок
От паденья и полета.

Нет, я не судья для них,
Просто без суждений вздорных
Я четырежды должник
Синих, серых, карих, черных,

Как четыре стороны
Одного того же света,
Я люблю — в том нет вины —
Все четыре этих цвета.

⟨1964⟩

233—242. *ЭПИТАФИИ*
1914—1918

1

ПОЛИТИК

Я трудиться не сумел, грабить не посмел,
Я всю жизнь свою с трибуны лгал доверчивым и юным,
Лгал — птенцам.
Встретив всех, кого убил, всех, кто мной обманут был,
Я спрошу у них, у мертвых, — бьют ли на том свете морду
Нам — лжецам?

2

ЭСТЕТ

Я отошел помочиться не там, где вся солдатня.
И снайпер в ту же секунду меня на тот свет отправил.
Я думаю, вы не правы, высмеивая меня,
Умершего принципиально, не меняя своих правил.

3

КОМАНДИР МОРСКОГО КОНВОЯ

Нет хуже работы — пасти дураков.
Бессмысленно храбрых — тем более.
Но я их довел до родных берегов
Своею посмертною волею.

4

ЭПИТАФИЯ КАНАДЦАМ

Всё отдав, я не встану из праха,
Мне не надо ни слов, ни похвал.
Я не жил, умирая от страха,
Я, убив в себе страх, воевал.

5

БЫВШИЙ КЛЕРК

Не плачьте! Армия дала
Свободу робкому рабу.
За шиворот приволокла
Из канцелярии в судьбу,

Где он, узнав, что значит сметь,
Набрался храбрости — любить
И, полюбив, — пошел на смерть,
И умер. К счастью, может быть.

6

НОВИЧОК

Они быстро на мне поставили крест,
В первый день, первой пулей в лоб.
Дети любят в театре вскакивать с мест —
Я забыл, что это — окоп.

7

НОВОБРАНЕЦ

Быстро, грубо и умело за короткий путь земной
И мой дух, и мое тело вымуштровала война.
Интересно, что способен сделать бог со мной
Сверх того, что уже сделал старшина?

8

ТРУС

Я не посмел на смерть взглянуть
в атаке среди бела дня,
И люди, завязав глаза,
к ней ночью отвели меня.

9

ОРДИНАРЕЦ

Я знал, что мне он подчинен и, чтоб спасти меня, — умрет.
Он умер, так и не узнав, что надо б всё наоборот!

10

ДВОЕ

А. — Я был богатым, как раджа.
Б. — А я был беден.
ВМЕСТЕ. — Но на тот свет без багажа
Мы оба едем.

⟨1966⟩

243. ПРОСЬБА

Заканчивая путь земной,
Всем сплетникам напомню я:
Так или иначе, со мной
Еще вы встретитесь друзья!

Я вам оставлю столько книг,
Что после смерти обо мне
Не лучше ль спрашивать у них,
Чем лезть с вопросами к родне!

⟨1978⟩



ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании представлена значительная часть поэтического наследия Константина Симонова.

Незадолго до кончины писатель подготовил к печати первый том своего 10-томного собрания сочинений (М., 1979). Воспринимая это издание как в определенном смысле итоговое, Симонов отобрал из своего богатого творческого фонда лучшие, по его убеждению, стихи, поэмы, переводы. Ориентируясь на содержание этого тома, составитель, однако, стремился представить поэтическое наследие Симонова полнее и разностороннее и включил в издание «Библиотеки поэта» ряд малоизвестных и забытых стихотворений, а также несколько стихотворений, публикуемых посмертно.

Настоящее издание в соответствии с жанровой рубрикацией состоит из трех разделов: «Стихотворения», «Поэмы», «Вольные переводы». Первый из них имеет сложную структуру. Дело в том, что Симонов, как правило, представлял написанное не отдельными стихотворениями, а крупными циклическими «кругами», которые он от переиздания к переизданию пересоставлял, сужал, расширял, вживляя стихотворение в иной контекст и тем самым высвечивая его новую грань; поэтому в примечаниях указаны вехи рубрикационного движения стихотворений, если это уточняет их жанровую либо тематическую природу. Структура прижизненных поэтических изданий Симонова многовариантна, и все же сквозь эту пестроту явно просматриваются наиболее устойчивые циклические единства. Условно (даже если отдельным изданием они не выходили) эти единства можно назвать «книгами», ибо они принципиально — и по объему, и по масштабу замысла, и по общественному резонансу — от традиционного цикла отличаются. Таких циклов-книг в творчестве поэта пять: «Соседям по юрте», «Из дневника», «С тобой и без тебя», «Друзья и враги», «Вьетнам, зима семидесятого...». Но и они не существуют суверенно — поэтическое наследие Симонова отчетливо делится на три периода, внутри которых циклы-книги, и обычные, «малые», циклы, и отдельные стихотворения связаны общими мотивами, сквозными перекличками, конкретными творческими и издательскими обстоятельствами. Для выявления этих периодов необходима хронологическая рубрикация, в соответствии с чем раздел «Стихотворения» имеет подразделы: 1936—1939, 1941—1954, 1956—1976. Внутри подразделов отдельные стихотворения расположены в хронологическом порядке; стихотворения внутри обычных, «малых», циклов и циклов-книг — в порядке, установленном автором. Непосредственно вслед за каждой из «книг» («Соседям по юрте», «Из дневника», «С тобой и без тебя», «Друзья и враги») под рубрикой ⟨Дополнения⟩ в хронологическом порядке следуют стихотворения, генетически с ними связанные, но по тем или иным причинам в последнее прижизненное издание не включенные.

Раздел «Поэмы» по составу опирается на последнее прижизненное издание. Лирическая поэма «Чужого горя не бывает...» вошла в раздел «Стихотворения» (в составе книги «Вьетнам, зима семидесятого...»), поскольку именно так, неотрывно от вьетнамских стихотворений, печатал ее автор во всех без исключения изданиях.

Раздел «Вольные переводы» вобрал в себя наиболее яркие образцы переводческого мастерства Симонова.

Поэтическим текстам предпослана Автобиография Симонова, которая воспроизводится здесь по последней прижизненной редакции автора (СиД, с. 662).

Датировка везде авторская; исключение составляет раздел «Вольные переводы», где в угловых скобках приводятся даты, позднее которых перевод осуществлен быть не мог. Строки отточий, излюбленный пунктуационный знак Симонова, во всех случаях проставлены автором.

В примечаниях указана первая публикация текста, перечисляются издания, в которых текст подвергался изменениям. В качестве источника, по которому воспроизводится текст, принимается издание, где текст установился окончательно. В тех случаях, когда после первой публикации текст более не перепечатывался или воспроизводился без изменений, указывается только первая публикация. В ряде случаев опечатки, искажения, пропуски, вкравшиеся в окончательный текст, исправлены на основании анализа ранних редакций.

Готовя тексты поэтических произведений к очередному переизданию, Симонов обычно вносил в них пунктуационную или графическую правку, порой — правку-сокращение. В примечаниях приводятся лишь те существенные разночтения, которые представляют очевидный интерес для воссоздания творческой истории текста. Кроме того, здесь даются сведения историко-литературного характера, почерпнутые как из опубликованных материалов, так и из переписки Симонова с читателями, копии которой хранятся в личном архиве писателя. В ряде примечаний уточняются дата и место создания поэтических произведений Симонова. Многие архивные материалы, использованные в примечаниях, были предоставлены вдовой писателя Л. А. Жадовой (1927—1981), которая принимала активное участие в подготовке настоящего тома. За содействие в работе над данной книгой составитель благодарен также Н. П. Гордон — ближайшей помощнице и личному секретарю Симонова в течение послевоенных лет.

Даются также сведения об автографах, обнаруженных в личном архиве, который частью хранится в семье писателя, частью — в ЦГАЛИ.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

ААП — Антология азербайджанской поэзии, М., 1939.

ВЗС — К. Симонов, Вьетнам, зима семидесятого... Книга стихов, М., 1971.

ВИД — К. Симонов, Во имя дружбы. Избранные стихотворения, М., 1961. (Издание, сопровожденное «авторскими примечаниями».)

ВЛ — «Вопросы литературы».

ВЛир. — К. Симонов, Военная лирика. 1936—1956, М., 1968.

«Война» — К. Симонов, Война. Стихи 1937—1943 гг., М., 1944.

ДиВ — К. Симонов, Друзья и враги. Книга стихов, М., 1948.

ДН — «Дружба народов».

ДП — «День поэзии». Москва.
др. ред. — другая редакция.
ДС — К. Симонов, Дорожные стихи, М., 1939.
ЗМЧ — К. Симонов, Записки молодого человека. Книга в двух частях, М., 1970.
Зн. — «Знамя».
Изв. — «Известия».
Из. 1948 — К. Симонов, Избранные стихи, М., 1948.
ИК — «Искусство кино».
Из ТТ — К. Симонов, Из трех тетрадей. Стихи, поэмы, М., Воениздат, 1979.
ИЛ — «Иностранная литература».
КЗ — «Красная звезда».
КН — «Красная новь».
КП — «Комсомольская правда».
ЛА — Личный архив К. Симонова, хранящийся в семье поэта.
ЛГ — «Литературная газета».
ЛД — К. Симонов, Лирический дневник, Ташкент, 1942.
Лир. 1942 — К. Симонов, Лирика, М., 1942.
Лир. 1956 — К. Симонов, Лирика, М., 1956.
ЛР — «Литературная Россия».
ЛС — «Литературный современник».
МГ — «Молодая гвардия».
МН — К. Симонов, Мурманское направление, Мурманское книжное издательство, 1972.
НЛ — К. Симонов, Настоящие люди. Книга стихов, М., 1938.
НМ — «Новый мир».
Ог. — «Огонек».
Окт. — «Октябрь».
П — «Правда».
«Победитель» — К. Симонов, Победитель. Стихи, М., 1941.
ПТС — К. Симонов, Пять тысяч строк. Книга лирики, М., 1975.
РДВ, 1 — К. Симонов, Разные дни войны. Дневник писателя. Т. 1. 1941 год, М., 1977.
РДВ, 2 — К. Симонов, Разные дни войны. Дневник писателя. Т. 2. 1942—1945 годы, М., 1977.
РсТ — К. Симонов, Разговор с товарищами. Воспоминания. Статьи. Литературные заметки. О собственной работе, М., 1970.
«С тобой. . .» — К. Симонов, С тобой и без тебя. Из лирического дневника, М., 1942.
СиД — К. Симонов, Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литературные заметки. О собственной работе, М., 1980.
СиП, 1945 — К. Симонов, Стихотворения и поэмы, М., 1945.
СиП, 1955 — К. Симонов, Стихи и поэмы. 1936—1954, М., 1955.
СО — «Сибирские огни».
Соч. 1952 — К. Симонов, Сочинения в 3-х томах. Т. 1. Стихи и поэмы, М., 1952.
СПВП — К. Симонов, Стихи, поэмы, вольные переводы. 1936—1961, М., 1964.
СПР — К. Симонов, Стихи. — Пьесы. — Рассказы, Л., 1949.
СС-1 — К. Симонов, Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 1, М., 1966.
СС-2 — К. Симонов, Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 1, М., 1979.
ст. — строка.

Ст. 1942 — К. Симонов, Стихотворения. 1936—1942, М., 1942.
Ст. 1954 — К. Симонов, Стихи 1954 года, М., 1954.
стих. — стихотворение.
Стихи—39 — К. Симонов, Стихи тридцать девятого года, М., 1940.
«36—71» — К. Симонов, Тридцать шестой — семьдесят первый. Стихотворения и поэмы, М., 1972.
ТТ — К. Симонов, Три тетради. Стихи, поэмы, М., 1964.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1936—1939

Свои первые стихотворения, написанные в 1936—1939 гг. и вошедшие в довоенные книги «Настоящие люди», «Дорожные стихи», «Стихи» (М., 1940), «Стихи тридцать девятого года», «Победитель», Симонов в позднейших переизданиях объединял, как правило, под общей рубрикой: «Из первых книг», «Тетрадь первая, довоенная», «Тридцатые годы», «Если завтра война...», «1936—1939».

1. Зн., 1937, № 2, с. 163, с подзаг. «(Сюжет заимствован у Рамона X. Сендера)». Печ. по СиП, 1955, с. 5. НЛ — в разделе «Баллады», с подзаг. «(Сюжет заимствован из пьесы Рамона X. Сендера)», с датой: «Ноябрь 1936». В Зн. и НЛ перед ст. 1 была еще одна: «Это было в Бадахосе...» Рамон Хосе Сендер (р. 1902) — испанский писатель, участник национально-революционной войны в Испании 1936—1939 гг. Одноактная драма «Тайна» напечатана в шестом номере журнала «Интернациональная литература» за 1935 г.; в 1938 г. она была поставлена на сцене Московского театра эстрады и миниатюр.

2. Зн., 1937, № 8, с. 60, с посвящ. «Бойцам Интернациональной бригады, сражающимся за правое дело испанского народа». Печ. по Из. 1948, с. 7. НЛ — в разделе «Баллады», с датой: «Июль 1937». В Зн. после ст. 40 следовало:

Походный огонь освещает
Суровые складки лица,
Рукав с генеральской нашивкой,
Тяжелый кулак кузнеца.

Об истории создания стих. см. Автобиографию Симонова, с. 64 наст. изд. Симонов вспоминал: «Когда я писал эти стихи, я думал о том, что такому человеку, как Мате Залка, надо подражать в жизни, что вот такая писательская судьба человека, не только писавшего книги, но и сражавшегося с оружием в руках против фашизма, — это судьба, к которой любой молодой писатель, верящий в коммунизм, в победу интернационалистических идей, должен стремиться...» (РсТ, с. 230). *Мате Залка* (1896 — 11 июня 1937) — венгерский писатель; под именем генерала Лукача участвовал в национально-революционной войне в Испании 1936—1939 гг., погиб в бою. *Он в Гамбурге был под огнем.* Речь идет о революционном выступлении гамбург-

ского пролетариата в 1923 г. *Чапей* — район в Шанхае, известный героической обороной против японской агрессии в 1932 г. *В Хараме слыхали о нем.* Неточность: Харама — река в Испании, где республиканские войска в феврале 1937 г. нанесли крупное поражение фашистам. *Уэска* — испанский город, центр провинции Уэска в области Арагон.

3. СС-1, с. 22. В альманахе «Молодая Москва» (М., 1937) и в Изв. (1936, 1 января, с. 1) — два разных ранних стих., связанных с настоящим названием, размером и жанром публицистического выступления в форме тоста. *«Дранг нах Остен»* (нем.) — «На Восток!».

4. НМ, 1938, № 10, с. 14. Печ. по СиП, 1955, с. 22. Автограф варианта под загл. «Ближайшие друзья» и машинопись под загл. «Настоящие друзья» — ЦГАЛИ. В НМ после последней ст. следовало:

Не знаю, где сведет нас служба,
Но мы столкуемся везде.
И мы заквасим нашу дружбу
На общей яростной вражде.

. . . .

У нас по двадцать за плечами,
И нам пора стоять в строю.
Мы будем все однополчане
В недальнем, завтрашнем бою.

— Ты крепко ль в битву снарядился?
Нам долго нужно воевать,
Чтоб всех, кто на земле родился,
Смогли мы земляками звать.

Кенигсберг — город (с 1946 г. — Калининград), в районе которого весной 1945 г. проходили сокрушительные бои.

5. МГ, 1938, № 12, с. 82, под загл. «Два старика», с подзаг. «Баллада». Печ. по ТТ, с. 28. *Порт-Артур* — военно-морская крепость, которую во время русско-японской войны героически защищали русские войска. *«Егорий»* — народное название ордена «Георгиевский крест». *Куропаткин А. Н.* (1848—1925) — генерал царской армии, во время русско-японской войны командовавший войсками в Маньчжурии и потерпевший поражение. *Стессель А. М.* (1848—1915) — генерал-лейтенант царской армии, во время русско-японской войны без оправданной необходимости сдавший японцам крепость, готовую к обороне.

6. МГ, 1938, № 10, с 109, с подзаг. «Поэма». Печ. по СиП, 1955, с. 16. Автограф с датой: «Июль — август 1938 г.», под шапкой «Стихи для детей» — ЦГАЛИ. В МГ были, в частности, такие, затем опущенные, строфы (после ст. 60):

Отважно зубы скалят волки,
Покуда против них ножи,
Да только старые двустволки,
Да бекасинник, да пыжи.

Посмотрим, как их покоробит,
Когда нюхнут стальной брони
И трехдюймовой волчьей дроби
В упор отведают они.

Броню машин ребята гладят,
И каждый трогает свою.
Игрушка эта не подгадит
И не продаст его в бою.

Журнал с «Испанским дневником». Речь идет о произведении Михаила Кольцова, посвященном национально-освободительной борьбе испанского народа против фашизма, которое впервые появилось в журнале «Новый мир» (1938, № 4—8). *Ребята русские поют* — далее следуют образы из «Песни о Каховке» М. Светлова. *Фалангисты* — см. примеч. 211. *В ночь на седьмое ноября.* На исходе 6 ноября 1936 г. фашисты прорвали фронт на ближних подступах к Мадриду, вышли к окраинам столицы, и над городом нависла грозная опасность. *Бургос* — город в Испании. *Турель* — вращающаяся установка для орудий и пулеметов в танках. *Пасионария* (исп. Пламенная) — имя, под которым выступала Д. Ибаррури (см. также примеч. 211). «Когда мне был 21 год, — вспоминал Симонов, — начались события в Испании — первое вооруженное столкновение с фашизмом, в котором рядом с боровшимися за свободу испанскими республиканцами участвовали антифашисты всего мира, и в их числе советские добровольцы.

Как большинство молодых людей моего поколения, я мечтал в те годы попасть в Испанию. Эти мечты остались мечтами — в Испанию ехали только те, кто особенно нужен был там: летчики, моряки, военные советники, переводчики. А я, как и многие другие мои сверстники, только всей душой сочувствовал Испанской республике и писал стихи об Испании ⟨...⟩

Испания была для нас предчувствием нашего собственного будущего» (ВЛир., с. 3—4). Стих. можно рассматривать как эскиз к образу Сергея Луконина, героя пьесы «Парень из нашего города».

7—15. Цикл намечен в НМ, 1939, № 4, с. 159, — объединенная публикация стихотворений «Чемодан», «Телеграмма», «Вагон». Основа цикла сформирована в ДС — затем он не раз перестраивался, уточнялся, дополнялся. В Стихи — 39 цикл обозначен: «Из путевого блокнота», к нему примыкали и тематически близкие стихотворения «Часы дружбы» и «Куда ни глянешь...», затем обособившиеся. В виде, близком к окончательному, цикл напечатан в СиП, 1955; установились состав и композиция цикла в СС-1. Создание «Дорожных стихов» навеяно, в основном, поездкой в Мурманск в 1938 г., когда снимали с льдины папанинцев (см. примеч. 195).

1. «Крокодил», 1939, № 5, с. 4, под загл. «Дорожное»; ДС — под загл. «Прощальное»; СиП, 1955. Печ. по СС-1, с. 36. В «Крокодиле» после ст. 12 следовало:

И ограничься чемоданом —
Ни тюфяка, ни узелка,
Чтоб всю дорогу оставалась
Свободной правая рука.

С домашними прощайся дома,
Чтоб сразу, выйдя на перрон,
Ты железнодорожным громом
Был окружен со всех сторон.

После ст. 16:

Но пусть с тобой зимой и летом,
С тех пор как стукнет двадцать лет,
В соседстве с проездным билетом
Военный странствует билет.

2. НМ, 1939, № 4, с. 159; ДС. Печ. по СС-1, с. 36. В НМ после ст. 16 следовало:

Смотри на них и знай, что нам с тобою
Так нужно жить, чтоб до седых волос
Носильщиков тревожить не пришлось
И не сдаваться старости без бою.

Пока ты дышишь — яростней дыши,
Носи рюкзак холщовый за спиною
И твердо знай, что молодость души —
Понятие отнюдь не возрастное.

3. НМ, 1939, № 4, с. 159. Печ. по ДС, с. 7.

4. МГ, 1939, № 9, с. 11, под загл. «Номер в „Медвежьей Горе“»; Стихи — 39 — под рубрикой «Из путевого блокнота». Печ. по СиП, 1955, с. 54. В МГ строфы шли в ином порядке; после ст. 16 следовало:

Я знаю: завтра будет всё равно,
Уютно ли я жил и сытно ль ел,
Широк был стол, просторно ли окно,
Хорошим ли я почерком владел...
Пусть хлеб наш черств, стол шаток, почерк груб, —
Нам всё простят, остались бы листки,
Где эта ночь и синий дым из труб
Срифмованы в две точные строки.

«Медвежья Гора» — ныне г. Медвежьегорск (Карельская АССР); о поездке туда см. с. 62—63 наст. изд. Автограф варианта под загл. «Гостиница» — ЦГАЛИ.

5. Стихи—39, с. 65, без загл., с посвящ. М. Матусовскому, под рубрикой «Из путевого блокнота»; СиП, 1955; СПВП; ТТ — под загл. «Шутка». Печ. по СС-1, с. 38. Автограф варианта под загл. «Разговор по душам» — ЦГАЛИ. М. Л. Матусовский (р. 1915) — советский поэт, в молодости — близкий друг Симонова, соавтор по книге «Луганчане» (1939). По свидетельству Матусовского, в свою очередь посвятившего Симонову стих. «Именинные подарки» (1939), они обменялись посвящениями — в знак творческого содружества.

6. НМ, 1939, № 4, с. 159; ДС. Печ. по Из. 1948, с. 25.

7. МГ, 1939, № 9, с. 15, под загл. «Память»; Стихи — 39, без загл., под рубрикой «Из путевого блокнота». Печ. по СС-1, с. 41. *Летит джигит за три пятнадцать.* Имеется в виду рисунок на пачке папирос «Казбек», стоившей в довоенные времена 3 рубля 15 копеек.

8. ЛС, 1940, № 5-6, с. 79, под загл. «Москвич»; Стихи — 39— под рубрикой «Из путевого блокнота». Печ. по СиП, 1955, с. 58. Автограф варианта под загл. «Командировочные люди» — ЦГАЛИ.

9. СиП, 1955, с. 55. Написана к спектаклю «История одной любви», в 1940 г. поставленному в Театре им. Ленинского комсомола.

16. МГ, 1939, № 9, с. 12, без посвящ.; Стихи — 39 — в разделе «Память»; Ст. 1942. Печ. по СиП, 1955, с. 38.

17. МГ, 1939, № 9, с. 9; Стихи—39 — в разделе «Память». Печ. по СПВП, с. 15. *Амундсен* Руаль (1872—1928) — норвежский полярный путешественник и исследователь. Погиб, пытаясь оказать помощь итальянской экспедиции, потерпевшей катастрофу во льдах Полярного бассейна. Впоследствии обнаружилось, что гидроплан Амундсена утонул в Баренцевом море. История создания стих. подробно рассказана Симоновым в «Норвежском дневнике» (см.: К. Симонов, Дом Амундсена. — ЛГ, 1955, 12 ноября, с. 1). См. также примеч. 19.

18. МГ, 1939, № 9, с. 10; Стихи — 39 — в разделе «Память»; СиП, 1955. Печ. по СС-1, с. 29.

19. МГ, 1939, № 9, с. 14; Стихи—39 — в разделе «Память». Печ. по Из. 1948, с. 22. В основе стих. лежит эпизод Крымской войны (1853—1856), в ходе которой англичане и французы засылали свои корабли к берегам Камчатки. *Альбион* — древнейшее обозначение Британских островов, поэтическое наименование Англии. *Виктория* (1819—1901) — королева Великобритании (с 1837 г.). «...Внутреннее единство моих стихов того времени, — писал Симонов, — в частности ⟨...⟩ «Поручика» и «Старика», главным образом, определяется самим временем, моими предвоенными ощущениями и исходившим из этих предвоенных ощущений взглядом на человеческую личность. Мужество казалось мне не просто прекрасным человеческим качеством, а еще и предметом первой необходимости» (СиД, М., 1974, с. 355).

20. МГ, 1939, № 9, с. 11; Стихи — 39 — в разделе «Память». Печ. по СС-1, с. 101. На севастопольском *английском военном кладбище* похоронены британские солдаты, павшие во время Крымской войны.

21. ЛС, 1940, № 5-6, с. 80, под загл. «Дружба», с подзаг. «Есть такой старинный грузинский тост»; Стихи — 39 — под рубрикой «Из путевого блокнота»; СиП, 1955; СПВП. Печ. по СС-1, с. 34. В ЛС вместо ст. 1—6:

Недавно тост я слышал на пиру,
И вот он здесь записан на бумагу

Не так, как тамада его сказал,
А так, как я его, проспавшись, вспомнил:

Мы умираем в четырех стенах,
Вдыхая запах камфары и йода,
Но та же, что и дедам и отцам,
Нам снится всем последняя дорога.

В ряде изданий варьируется последняя ст.: «Мы все боялись не дожить до года», «Как много надо, чтоб дожить до года!», «Боюсь, не все мы доживем до года!».

СОСЕДЯМ ПО ЮРТЕ

Книга создана под впечатлением событий на Халхин-Голе, где в 1939 г. монгольские и советские войска разгромили японских милитаристов. Симонов находился в Монголии как военный корреспондент газеты «Героическая красноармейская». Подробнее об этом см. во вступ. статье, с. 31 наст. изд. Место этого цикла-книги в своей военной лирике писатель определял так: «Первыми моими стихами, связанными с собственным ощущением того, что такое война, был цикл стихов «Соседям по юрте», вошедший в книгу «Стихи 1939 года» и напечатанный в 1940 году между событиями на Халхин-Голе и началом Великой Отечественной войны» (ВЛир., с. 4). Жанр основных вошедших в книгу стих. Симонов обозначил как «сюжетная баллада» (СиД, с. 641); в них, как признавался писатель, были элементы «сознательной полемики с приподнятым романтизированным изображением войны» (СиД, с. 639). На том же, халхин-гольском, материале Симоновым написаны поэма «Далеко на Востоке», роман «Товарищи по оружию», пьеса «Парень из нашего города», мемуары «Далеко на Востоке». Поэтическое единство формировалось постепенно. Разом появились в печати две основные подборки: «Соседям по юрте» (МГ, 1940, № 2, с. 37) и «Письма домой» (Зн., 1940, № 2, с. 36). В Стихи — 39 раздел «Соседям по юрте» составлен из отдельных стих. и подраздела «Письма домой» с общим посвящением Е. Л. (Евгения Самойловна Ласкина, в ту пору — жена Симонова). В дальнейшем стих. печатались в различном порядке, под рубриками: «Соседям по юрте», «Из книги „Соседям по юрте“», «Монгольская тетрадь», «Стихи 1939 года», в разделах: «Далеко на Востоке» (объединенные с одноименной поэмой) и «Годы войны», «Война», «Из тетради второй, военной» (объединенные со стих. о Великой Отечественной войне). В Ст. 1942 с посвящ.: «Соседям по юрте — Борису Лапину, Захару Хацревину, Льву Славину, Давиду Ортенбергу, Николаю Кружкову посвящает автор». Авторизованная машинопись цикла-книги, с общей датой: «Ноябрь — декабрь 1939 г.» — ЦГАЛИ.

22. Стихи — 39, с. 25. Печ. по Ст. 1942, с. 47. «Этим поездом, — пояснял Симонов, — Москва — Владивосток, летом 1939 года ехали до Читы все те, кто направлялся в Монголию, в район военного конфликта на реке Халхин-Гол. . .» (ВИД, с. 137).

23. МГ, 1940, № 2, с. 40; Стихи — 39. Печ. по Соч. 1952, с. 43. В МГ после ст. 16 следовало:

Парой замасленных перчаток,
Шлемом махни ему. Всё равно;
Это не поезд, чтоб прыгать с площадок
И на ходу барабанить в окно.

Была, в частности, и такая строфа:

Так и гибнут всегда, не простившись, без спросу.
Ты упрямо не хочешь забыть о том,
Что всюду, где землю гладят колеса,
Можно ее взбороздить винтом.

«Полярная стрела» — пассажирский поезд, следующий маршрутом Москва — Мурманск.

24. МГ, 1940, № 2, с. 43; Стихи — 39. Печ. по СиП, 1955, с. 67. В МГ после заключительной строфы следовало:

А мимо них, спеша на поле боя,
Фуражки лихо заломив, с утра,
На всякий случай взяв гранат с собою,
С горячей пищей едут повара.

25. МГ, 1940, № 2, с. 38; Стихи — 39. Печ. по СПВП, с. 49.

26. МГ, 1940, № 2, с. 41; Стихи—39. Печ. по СиП, 1955, с. 71. В МГ была, в частности, такая, затем опущенная, строфа:

Когда я в Москве видел кровь под трамваем,
я весь день ходил сам не свой.
Но это чувство потеряно где-то
между Кяхтою и Москвой.

Креозот — дезинфицирующее вещество. *Сакэ* — сорт японской водки.

27. Зн., 1940, № 2, с. 36, без загл.; Ст. 1942 — под загл. «Письмо». Печ. по СС-2, с. 75.

28. Зн., 1940, № 2, с. 36, без загл., без посвящ.; Стихи — 39; Из. 1948. Печ. по СиП, 1955, с. 74. *Е. Л.* — см. примеч. на с. 557.

29. Зн., 1940, № 2, с. 37, без загл. Печ. по Ст. 1942, с. 61.

30. МГ, 1940, № 2, с. 45; Стихи — 39; СиП, 1945 — с пометой: «Октябрь 1939. Халхин-Гол». Печ. по СиП, 1955, с. 87. Симонов вспоминал: «Через несколько лет после того, как были написаны эти стихи, я узнал, что на горе, над рекой Халхин-Гол, действительно стоит как памятник наш участвовавший в сражении танк. Очевидно, мысль об этом возникла не у одного меня, а у многих участников боев» (ВИД, с. 138).

31. Зн., 1940, № 2, с. 38, без загл. Печ. по Соч. 1952, с. 51. Симонов комментировал эти стихи так: «После разгрома японцев на Халхин-Голе и перемирия мы там же, на месте боев, возвращали им пленных. Среди пленных были такие, что не побоялись в минуту

прощания, на глазах у своих офицеров, продемонстрировать свою пролетарскую солидарность с советскими людьми. Мне пришлось быть свидетелем этой на всю жизнь запомнившейся мне сцены» (ВИД, с. 138).

32. МГ, 1940, № 2, с. 39; Соч. 1952; ТТ. Печ. по «36—71», с. 227. В МГ после ст. 32 следовало:

Но где ж они, которые сюда
Шли так издалека и так упрямо?
Вот их окопы. Больше никогда
Им не увидеть склонов Фудзи-Яма.

Своих больных по-прежнему леча,
Мы всё равно запомним, что когда-то
В нас верх над беспристрастием врача
Взяла по праву ненависть солдата.

Заключительная строфа читалась:

Мы ехали с холодным ветерком,
Но за рекой, вся в ямах и увечьях,
Степь вдруг запахла диким чесноком,
Ночным теплом далеких стад овечьих...

Автограф варианта под загл. «Экскурсия на фронт» — ЦГАЛИ. *Тарбаганы* — зверьки из рода сурков, распространенные в Монголии.

33. МГ, 1940, № 2, с. 46, под загл. «Ремесло». Печ. по СС-1, с. 64. Стихи — 39 — в разделе «Из путевого блокнота». В МГ после ст. 20 следовало:

А до глубокой, хоть по пояс,
Так много верст еще пути,
Что можно век, не беспокоясь,
Всё по колено в ней брести.

34. МГ, 1940, № 2, с. 37, под загл. «Дождь»; Стихи — 39; СиП, 1955. Печ. по СС-1, с. 65. В МГ после ст. 12 следовало:

Все новости стряхнуть устало,
До подмосковных петухов.
Читать во что бы то ни стало
В дорогу взятый том стихов.

Угадывать, почти не слыша,
Полузабытые слова,
Поверить, что за круглой крышей,
За толстым войлоком — Москва;

Москва, Арбат, Замоскворечье,
Весь вечер лгать себе в глаза,
Так, чтоб своей монгольской речью
Не сбила с толку нас гроза.

Нам в этот вечер очень нужно,
Как дома в дачный листопад,
Петь песни грустно и недружно,
Перевирая невпопад.

35. Зн., 1940, № 2, с. 38, без посвящ.; Стихи — 39. Печ. по Соч. 1952, с. 53. *Д. И. Ортенберг* (р. 1904) — главный редактор фронтовой газеты на Халхин-Голе «Героическая красноармейская» и — в 1941—1943 гг. — «Красной звезды», генерал-майор, автор книги «Время не властно. (Писатели на войне)», М., 1979. *Баин-Бурт* — место, где располагалась редакция «Героической красноармейской».

⟨Дополнение⟩

36. МГ, 1940, № 2, с. 44; Стихи — 39. Печ. по Соч. 1952, с. 46.

---

37. МГ, 1939, № 9, с. 8. Печ. по Стихи — 39, с. 5, где стих. открывает раздел «Память». В МГ после заключительной строки следовало:

Нет, мне не жаль всех тех, кому свинец,
Огонь, вода, чумные карантины
Вписали неожиданный конец
В их опыты, полеты и картины.

Мне жаль того живого мертвеца,
Который без волнений и терзаний
Еще при жизни дожил до конца
Своих гроша не стоящих дерзаний.

«В первой строфе этого стихотворения, — писал Симонов, — я вспоминаю о великом русском художнике Верещагине, погибшем в 1904 году, в начале русско-японской войны, на броненосце «Петропавловск», вместе с адмиралом Макаровым» (ВИД, с. 137). В письме от 15 мая 1960 г. он пояснял характер стихотворения китайским переводчикам: «В двух строфах речь идет о Верещагине и Чкалове, в третьей я взял собирательный образ. Такое бывало со многими врачами» (ЛА). *«Ньюпор»* — тип самолета времен первой мировой войны.

1941—1954

ИЗ ДНЕВНИКА

Впервые очертания этого цикла-книги наметились в Лир. 1942: сборник, целиком посвященный Великой Отечественной войне, разбит на разделы — «Из фронтового блокнота», «С тобой и без тебя», «Фронтовые баллады». В дальнейшем состав этого циклического круга, куда входят стих. 1941—1945 гг., менялся и уточнялся, вбирая в себя ряд стих. из «лирического дневника» «С тобой и без тебя». В различных сборниках «фронтовые стихи», — как называлась одна из поэтических книг Симонова, вышедшая во время вой-

ны, — печатались также под рубриками: «Стихи военных лет», «Годы войны», «Из тетради второй, военной», «Дневник войны», «Война» и т. д. В СС-2 — рубрика «Из дневника». «Стихи, написанные мною на протяжении Великой Отечественной войны, не считая нескольких отдельных маленьких книжек, вошли главным образом в две книги: «Война» и «С тобой и без тебя»... — писал Симонов. — Некоторые из них вначале в моем собственном представлении были скорее личными письмами в стихах, чем стихами, предназначенными для печати. Впоследствии они были напечатаны, но в них сохранился в неприкосновенности этот оттенок стихов-писем» (ВЛир, с. 5).

38. СС-1, с. 69. Симонов вспоминал: «Лишь через двадцать пять лет, готовя том стихов для собрания сочинений, я наткнулся на листки из блокнота, очевидно самого первого из всех, что сохранились со времен войны. На одном из этих листков оказались неоконченные и совершенно забытые мною стихи. Я так и не вспомнил, в какой именно день и при каких обстоятельствах я наспех нацарапал их в блокноте. Но одно было для меня несомненно — стихи были написаны на Западном фронте в первые дни войны и именно об этих первых днях...» (РДВ, 1, с. 29—30).

39. КЗ, 1942, 3 февраля, с. 3, под загл. «Письмо другу»; НМ, 1941, № 11-12 (подписан в печать 27 марта 1942 г.), в подборке «С тобой и без тебя (Лирический дневник)», в подразделе «Север», с пометой: «Кандалакша, ноябрь»; ЛД — под загл. «А. Суркову». Печ. по СиП, 1955, с. 119. В 1969 г. Симонов писал одному из своих корреспондентов: «Мое любимое стихотворение — это стихи «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Оно связано со многими воспоминаниями о пережитом летом 1941 года. По дорогам Смоленщины мне пришлось тогда ездить и ходить вместе с поэтом Алексеем Сурковым, ему и посвящено стихотворение» (ЛА). Подробно обстоятельства поездки Симонова и Суркова описаны в РДВ, 1 (с. 81—82). «Деревни были маленькие, — вспоминал Симонов, — и около них, обычно на косогорах, рядом с покосившейся церквушкой, а иногда и без церквушки, виднелись большие кладбища с одинаковыми, похожими друг на друга старыми деревянными крестами. Несоответствие между количеством изб в деревне и количеством этих крестов потрясло меня. Я понял, насколько сильно во мне чувство родины, насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко корнями ушли в нее все эти люди, которые живут на ней. Горести первых двух недель войны убедили меня в том, что и сюда могут прийти немцы, но представить себе эту землю немецкой было невозможно. Что бы там ни было, она была и останется русской» (РДВ, 1, с. 84—85).

40. ЛС, 1940, № 5-6, с. 79 (др. ред.); «Политпросветработа», 1942, № 23-24, с. 54; «Война»; Из. 1948. Печ. по Соч. 1952, с. 54. В ранней редакции были, в частности, такие строфы:

К нам это чувство, словно приказанье,
Не позовешь — ворвется всё равно.
В лесной глуши, на север, за Рязанью
Меня поймало первый раз оно...

Песчаные заплаты побережий,
Речных излучин синяя дуга,
Владимирский сосновый бор медвежий,
Заокские поёмные луга.

И каждый раз, сюда вернувшись снова,
Я знаю: можно голодать, страдать,
Но эту реку, этот бор сосновый
При жизни никому нельзя отдать.

41. НМ, 1941, № 11-12, с. 21, в подборке «„С тобой и без тебя“ (Лирический дневник)», в подразделе «Север», с пометой: «Белое море. Ноябрь»; Ст. 1942 — под загл. «Бинокль»; СиП, 1955. Печ. по ТТ, с. 189. В НМ после ст. 8 следовало:

В нем туманится наше недавнее,
Как равнина пустая и снежная,
Там не видно тебя, моя славная,
Твоих плачущих глаз, моя нежная.

В твоей страсти и горе уверенный,
Ослеплен преждевременной верою,
Я не знал, что всё это отмерено
В испытаньях растаявшей мерою.

Были грустью и ревностью мелкою
Наши судьбы непрочно испытаны,
Суетливой секундною стрелкою
Были дружба и верность отсчитаны.

42. Ст. 1942, с. 168, с пометой: «Москва. Сентябрь», в разделе «С тобой и без тебя»; одновременно — «С тобой. . .» и Лир. 1942 — в разделе «Юг». Печ. по СиП, 1945, с. 69.

43. КП, 1942, 30 июня, с. 3, под загл. «Звезда»; Лир. 1942 — в разделе «Север», с посвящ. Г. Зельма, с пометой: «Кандалакша. Ноябрь»; СиП, 1955. Печ. по ТТ, с. 204. Г. А. Зельма (р. 1906) — фотокорреспондент, вместе с которым в 1941 г. Симонов находился на Северном фронте. В КП после ст. 4 следовало:

Свою любовь он срифмовать не мог,
Но, я свидетель, он умел скучать,
А помнить вас в разлуке долгий срок
Трудней, чем строчки с рифмами писать.

После заключительной ст. следовало:

Жаль, вашей тайны раньше я не знал
И, с милою простясь, как на беду,
На небесах найти ей не сказал
Меня в бою хранящую звезду.

44. КЗ, 1941, 20 декабря, с. 3; ЛД — в разделе «Мы возвращаемся»; Ст. 1942 — в разделе «Из фронтового блокнота». Печ. по СиП, 1955, с. 131. В КЗ после ст. 8 следовало:

Казалось, он, отдавший жизнь в бою,
И мертвый землю не отдаст свою.

45. «Красноармеец», 1942, № 22, с. 11, под загл. «Баллада»; «Война»; СиП, 1955. Печ. по ТТ, с. 222. В 1-й публ. ст. 1 читалась: «Когда ты отступил в бою». После ст. 8 следовало:

Но день пройдет ли, месяц, два,
Весной ли прорастет трава,
Как землю всю, не миновать
Нам твой окоп обратно брать.

После заключительной строки следовало:

Не немец, ты его убил,
Тем, что когда-то отступил!

46. КЗ, 1942, 11 марта, с. 3; Зн., 1942, № 1-2, без строфы 5; «Война»; СиП, 1945; Из. 1948; СС-1. Печ. по СС-2, с. 97. В Зн. после заключительной ст. следовало:

Но до немецкого окопа
Тебя довел и в этот раз
Твой штык, которому Европа
Давно завидует у нас.

47. КЗ, 1942, 11 марта, с. 3.

48. Зн., 1942, № 1-2, с. 107, в подборке «Пехота. Три стихотворения». Печ. по Соч. 1952, с. 64.

49. Ст. 1942, с. 215, в разделе «Из фронтового блокнота». Печ. по Соч. 1952, с. 80. В 1-й публ. ст. 5—6 читались:

И между сабель, шпор сапог,
До пояса не доставая...

В 1960 г. Симонов вспоминал: «Это было весной 1942 года на Керченском полуострове. Я не помню ни имени, ни фамилии той девочки, которую мы тогда везли из сожженной прифронтовой деревни. Если она осталась жива, ей теперь уже двадцать пять лет» (ВИД, с. 139).

50. КЗ, 1942, 16 июля, с. 3; НМ, 1942, № 11-12, в подборке «С тобой и без тебя. Из лирического дневника. Цикл третий»; «Война»; Из. 1948; СиП, 1955. Печ. по ТТ, с. 248. В КЗ ст. 13—14 читались:

Наследник гнева и презренья
С тех пор, как друга потерял.

Петров Е. П. (1903—1942) — советский писатель-сатирик, соавтор И. Ильфа, погиб, выполняя задание газеты «Красная звезда». Об обстоятельствах его гибели Симонов рассказал в РДВ, 2, с. 136.

На вопрос интервью: «Наибольшая потеря в войну лично для вас?» Симонов ответил: «Очень тяжело пережил тогда и сейчас без боли не могу вспомнить о гибели друга, писателя Евгения Петрова...» (СиД, с. 594).

51. КЗ, 1942, 18 июля, с. 3, под загл. «Убей его» (параллельно — КП, 1942, 19 июля; «Краснофлотец», 1942, № 15; «Спутник агитатора», 1942, № 13); «Война» — с датой: «июль»; Из. 1948. Печ. по ТТ, с. 227. В ранних публикациях вместо слова «фашист» везде стояло «немец»; после ст. 40 следовало:

Если жаль тебе, чтоб старик,
Старый школьный учитель твой,
Перед школой в петле поник
Гордой старческой головой,
Чтоб за всё, что он воспитал
И в друзьях твоих и в тебе,
Немец руки ему сломал
И повесил бы на столбе...

И пропал в карпатских снегах. Речь идет о первой мировой войне. См. также примеч. 52.

52. «Война», с. 33, с датой: «30 июля», в разделе «Стихи 1942 года» (др. ред.); СиП, 1945; Соч. 1952. Печ. по СиП, 1955, с. 141. *Мертвые преображенцы* — Преображенский полк, старейший в русской гвардии, сформирован Петром I. *Измаил* — см. примеч. 194. *Ретирада* — отступление. *Карпаты, Буг, Перемышль, Неман, Прут* — здесь: места наступательных операций русской армии в разное время. История создания стих. рассказана в РДВ, 2: «В нем не было ни слова об июльском приказе Сталина, но для меня самого оно было прямым и немедленным ответом на то потрясение, которое я испытал, прочитав этот приказ. Вернее, не ответом, а выходом из этого потрясения... В газетах их (стихи. — *Т. Б.*) тогда не напечатали. «Убей его», стихи тоже горькие и тоже навеянные тяжелыми событиями этого лета, напечатали еще в середине июля сразу и в «Красной звезде» и в «Комсомолке», а эти стихи — нет. Поколебались и мягко посоветовали: отложи до книжки! ⟨...⟩ с неотвязной мыслью, которая казалась даже не мыслью, а предчувствием — что и в этой войне должно наступить свое Бородино, что оно вот-вот будет! — я не мог расстаться...» (с. 160—161). Эта же мысль и образ будущего Бородина завершает очерк Симонова «Солдатская слава» (КЗ, 1942, 11 сентября, с. 3).

53. СиП, 1955, с. 138. Печ. по СС-1, с. 95. Автографы набросков — ЦГАЛИ; варианты загл. — «Беженцы», «Навстречу».

54. В сб. «Две песни (подражание Беранже)» (Слова К. Симонова. Муз. М. Блантера), М., 1944 (Музфонд СССР), с. 8, под загл. «Веселый репортер»; СиП, 1955 — в разделе «Фронтовые баллады и песни». Печ. по СС-1, с. 307. В 1-й публ. стих. начиналось так:

Не знающий преграды,
Отважен и хитер,
Он парень был что надо,
Веселый репортер.

На танке, в самолете,
В землянке, в блиндаже,
Куда вы ни придете,
До вас он был уже.

Бодо — буквопечатающий аппарат многократного телеграфирования. *Купянск* — город в Харьковской области, где в июле 1942 г. шли бои. А. А. Сурков (см. также примеч. 39) вспоминает о «трудном лете второго года войны. Мы с Константином Симоновым возвратились из фронтовых командировок в редакцию «Красной звезды» и «отписывались» стихами и прозой от только что увиденного и пережитого. Больно жгли душу картины отступления на Южном и Юго-Западном фронтах, вести об оставлении Севастополя, наши журналистские потери — Евгения Петрова, Миши Розенфельда, Джека Алтаузена, нашего общего друга фотокорреспондента Миши Бернштейна.

Под впечатлением всего этого во время поездки в Лосиноостровскую для выступления перед интернациональной группой разведчиков, готовившихся к засылке во вражеские тылы, коллективно сочинили песенку о фронтовом репортере...» (А. Сурков, Отзвуки трудного лета. — ЛГ, 1981, 6 мая, с. 4).

55. «Война», с. 21, в разделе «Стихи 1943 года».

56. Отд. изд. — «Песенка корреспондента. Для голоса и джаза» (Слова К. Симонова. Муз. М. Блантера), М., Музфонд, 1945, с. 8; СиП, 1955 — в разделе «Фронтовые баллады и песни»; ТТ. Печ. по СС-1, с. 309. В 1-й публ. ст. 19—20 читались:

От ветров и стужи
Петь мы стали хуже.

Стих. было написано по дороге из Краснодара в Ростов. «Ехали через стык двух фронтов, — вспоминал Симонов, — ненаезженной, непроторенной дорогой. За два дня пути почти никого не встречали, как это часто бывает на таких стыках. Водитель боялся случайностей. И я тоже.

Чтобы переломить себя, в дороге стал сочинять «Корреспондентскую песню» и просочинял ее всю дорогу — почти двое суток. «Виллис» был открытый, было холодно и сыро. Лихорадило. Сидя рядом с водителем, я закутался в бурку, и вытаскивать из-под бурки руки не хотелось, поэтому песню сочинял на память. Написав в уме строфу, начинал ее твердить вслух, пока не запомню. Потом начинал сочинять следующую и, сочинив, чтобы не забыть предыдущую, повторял несколько раз подряд вслух обе. И так до конца песни. И чем дальше сочинял ее, тем длинней был текст, который я каждый раз повторял 〈...〉 Как потом под общий смех выяснилось, мой хмурый водитель, всю дорогу не проронивший ни слова и мрачно наблюдавший процесс рождения новой песни, явился в санчасть с сообщением, что с ним с Северо-Кавказского фронта ехал сюда ненормальный подполковник, который всю дорогу громко разговаривал сам с собою.

Мы посмеялись над этим и спели на мотив «Мурки» (музыки Блантера тогда еще не было) сочиненную мной корреспондентскую песню...» (РДВ, 2, с. 235—236). *«У-2»* — советский самолет.

57. ДП, 1962, с. 73. В предисловии к первой публикации Симонов подробно рассказал историю создания стих. «Среди стихов,— признавался он,— которые мы, военные корреспонденты, писали во время войны, были и такие, что писались и читались с улыбкой ⟨...⟩ Некоторые из них — «Не сердитесь, к лучшему...», «Если бог нас своим могуществом...» — были напечатаны, некоторые не были. Среди этих последних, непечатаных, есть такое шуточное стихотворение: «Сказка о городе Пропойске». Хотя оно и названо «сказкой», но город Пропойск на самом деле есть, вернее — был». В СС-1 стих. напечатано в разделе «Баллады и песни». *Пропойск* — ныне г. Славгород.

58. В сб. «Песни к пьесе „Жди меня"». Текст К. Симонова. Муз. М. Блантера, М., 1944 (Музфонд СССР), под загл. «Как служил солдат...», с. 1. Печ. по СиП, 1955, с. 109 (где помещено в разделе «Фронтовые баллады и песни»). *Генерал-аншеф* — генеральский чин в русской армии XVIII в.

59. Зн., 1943, № 7-8, с. 92, в подборке «Наступление». Печ. по СиП, 1955, с. 152. В Зн. заключительная ст. читалась: «Их в рабство отдал на чужбину».

60. «Литература и искусство», 1943, 14 августа, с. 3, без строфы 3; Из. 1948. Печ. по Соч. 1952, с. 84. *«Вдоль по дороге столбовой»* — народный вариант строки из стих. Ф. Н. Глинки (1786—1880) «Тройка» («Вот мчится тройка удалая...»), ставшего популярной песней. Симонов вспоминал: «...Дорожной записью были стихи «Слепец». Я начал писать их в поезде, а кончил ночью на пароходе, когда переправлялся из Красноводска в Баку ⟨...⟩

Это был один из тех случаев, когда стихи оказываются частью дневника. По дороге к Красноводску в нашем вагоне появился старик с гармоникой, до этого, наверно, побывавший и в других вагонах.

Он был солдатом первой мировой войны, ослепнувшим от слезоточивых газов. Играл он разные песни, главным образом знакомые: «Раскинулось море широко», «Синий платочек», «Каховку», «Там вдали за рекой». И среди них одну незнакомую, должно быть, успевшую перекочевать через фронт с кем-то бежавшим из плена, самодельную, полуграмотную, но, как заноза, застревавшую в сердце, песню о немецкой неволе.

Старик, сам себе хрипло подпевая, играл все песни одинаково надрывно, похоже одна на другую, но эта — о немецкой неволе — ударяла в душу с какой-то особенной силой, словно все мы, слушавшие ее, были в чем-то виноваты ⟨...⟩

Когда я писал стихи, у меня в памяти стоял не только этот старик, но и последние фронтовые впечатления, увезенные в декабре с Западного фронта. Дымные, черные, покрытые пороховой копотью снега и освобожденные безрадостные деревни, пустыри, где ничего не было, кроме печных труб и обгорелых, раскиданных по снегу бревен...» (РДВ, 2, с. 213—214). *Молодечно* — ныне город в Белоруссии, а во время первой мировой войны — местечко, в районе которого шли жестокие бои.

61. Зн., 1943, № 7-8, с. 93, в подборке «Наступление»; «Красноармеец», 1943, № 17-18, под загл. «Возвращение»; Из. 1948; ТТ. Печ. по СС-2, с. 125. Первая ст. варьировалась: «Россия, родина... Пока...»; «Еще победа далека...».

62. Зн., 1943, № 7-8, с. 92, в подборке «Наступление». В Соч. 1952 стих. опубликовано под загл. «Всё равно когда-нибудь дойдет...», но затем поэт вернулся к журнальному загл. Прообраз героя — генерал-полковник М. С. Шумилов (1895—1975). «До этого, — пишет Симонов, — я разговаривал об Испании только с дравшимися там летчиками, а Шумилов был один из тех военных советников в Испании, которые теперь, в эту войну, командовали армиями и фронтами. Все то, о чем он рассказывал — и как фашисты вошли в Мадрид, и как он вынужден был лететь оттуда в Алжир, — произошло в феврале тридцать девятого. Ровно за четыре года до того, как этот же Шумилов, командуя армией, в Сталинграде принимал капитуляцию фельдмаршала Паулюса. Всего-навсего четыре года между тем и другим!» (РДВ, 2, с. 252). При этом в письме к читательнице от 18 января 1972 г. Симонов объяснял: «Стихотворение «У огня» я посвятил многим людям, бывшим в Испании, а не кому-нибудь одному» (ЛА). *На одной из улочек Дель-Кампо* — неточность: Каса-дель-Кампо — парк в пригороде Мадрида, в ноябре 1936 г. превращенный республиканцами в неприступную крепость.

63. СиП, 1945, с. 24; Соч. 1952; СиП, 1955. Печ. по ТТ, с. 266. В 1-й публ. после ст. 64 следовало:

Какой холодною рукой
Вы на письмо клеили марки,
Какой палаческий покой
Был в строчках без одной помарки!

После ст. 96:

Вы попытались запятнать
Своими строками пустыми
Тот образ женщины, что знать
Хотим мы только как святыню.

После ст. 128:

Постскриптум:
Извещаем вас,
Что список с этих строк послали
Мы всюду, чтоб на этот раз
Вас, где б вы ни жили, узнали.

«Дело обстояло так, — рассказывал Симонов. — Я был или в конце августа, или в начале сентября 1943 года в Третьей армии генерала Горбатова ⟨...⟩ В одном из ее полков примерно в это время или немножко раньше погиб командир батальона, по званию, как мне помнится, старший лейтенант. Фамилии его не помню.

Сразу ли после его гибели или через некоторое время ему пришло письмо от жены, видимо молодой женщины.

Содержание этого письма, которое довольно точно изложено мною в стихотворении «Открытое письмо», задело товарищей погибшего, и они, поскольку я в то время находился у них в полку, попросили составить текст открытого письма этой женщине, которое они собирались послать за своими подписями ⟨...⟩

Примерно два месяца спустя, находясь в Харькове во время

процесса над немецкими военными преступниками, я, располагая некоторым количеством свободного времени, вспомнил эту историю и написал стихотворение «Открытое письмо» женщине из города Вичуги.

Я употребил в этом стихотворении некоторые врезавшиеся мне в память слова из письма этой женщины.

Я помнил тогда и ее имя, и ее отчество, и ее фамилию, но не стал указывать их в стихотворении ⟨...⟩

Однако я все-таки указал в стихотворении, что это письмо женщине из города Вичуги, потому что хотел, чтобы она когда-нибудь — сразу или позже — прочла его и знала сама, какую оценку дали ее письму товарищи покойного мужа. Я не хотел называть ее имя, отчество и фамилию, чтобы в нее не тыкали пальцами другие люди, но я хотел, чтобы сама она прочла и, может быть, устыдилась своего письма погибшему человеку.

Так я смотрел и так продолжаю смотреть на этот вопрос» (СиД, с. 645).

64. КЗ, 1943, 4 июля, с. 3, под загл. «Трое»; Зн., 1943, № 7-8, в подборке «Наступление», под загл. «Солдатский разговор»; Соч. 1952. Печ. по СиП, 1955, с. 171.

65. Зн., 1943, № 7-8, с. 93, в подборке «Наступление»; СиП, 1945. Печ. по СС-1, с. 110. Симонов пишет об этом стих.: «Непосредственным толчком были безрезультатные поиски того дома, где мы когда-то, в сорок первом году, сидели с товарищами-журналистами...» (РДВ, 2, с. 258). В Зн. после ст. 8 следовало:

Крылами смерти осенен,
Солдатской дружбой освящен,
Был пробным камнем этот стол
Для тех, кто в бой наутро шел.

66. Ог., 1948, № 44, с. 8, в подборке «В Италии. Из книги „Друзья и враги“»; ДиВ; СиП, 1955 — под рубрикой «Друзья и враги»; ТТ — с датой: «1944—1948»; СС-1. Печ. по СС-2, с. 137. В Ог. после ст. 57 следовало:

Двум сыновьям я пожелать
Хочу, как станут взрослыми,
Пусть не совсем того, что мать, —
Но в главном с ней сойдемся мы, —

Ст. 58 читалась: «Хочу им пожелать в боях...» Подробно об обстоятельствах полета, описанного в стих., см.: РДВ, 2, с. 519.

67. П, 1945, 29 сентября, с. 3; Зн.,1945, № 9, без посв., под загл. «На чужбине», в подборке «Одиннадцать стихотворений», с общ. посв. В. С⟨еровой⟩, с пометой: «Германия». Печ. по СС-1, с. 112. В П после ст. 4 следовало:

Кого-то вдруг в лицо не вспомнил ты,
Небрежен с кем-то был не по заслугам,
Среди своей московской суеты
Не встретился с тебе звонившим другом.

В. С. — Валентина Васильевна Серова (1917—1975) — актриса, с 1943 по 1956 г. — жена Симонова. *Про дом, про степь, про снег, про ямщика.* Имеется в виду русская народная песня «Степь да степь кругом. . .».

68. «Юность», 1965, № 5, с. 9, в общей подборке стих. военных поэтов «Стихи, рожденные в огне». В ЦГАЛИ — авторизованная машинопись никогда не публиковавшегося стих., от которого в 1965 г. и отделились две строфы в самостоятельное стих. Приведем ранний вариант полностью:

МАРЬЯ ИВАНОВНА

Стучали прикладами, гремели подводами,
И сколько нас шло — не сочлось, не запомнилось,
И с каждым ночлегом всё новыми, новыми
Гостями изба ее бедная полнилась.

Последней картошкой, от немцев зарытою,
Кормила, стелила, делилась подушками,
А главное — всей материнской открытою
Душою роднилась с солдатскими душами.

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок,
Не той, что была по учебникам пройдена,
А той, что пылала в глазах воспаленных,
А той, что рыдала, — мне помнится Родина.

Она мне привидится после победы
Не гордою статуей, славой увенчанной,
А очи проплакавшей, видевшей беды,
Всё снесшей, всё вынесшей русскою женщиной.

Когда захочу увидать ее наново
В нетленной и вечной красе ее девичьей,
Я вспомню тебя, моя Марья Ивановна, —
Солдатская мать из деревни Гулькевичи.

69. СиП, 1955, с. 178, с датой: «1946». В СС-2 дата исправлена: «1945».

(Дополнения)

70. КЗ, 1941, 28 октября, с. 3, с пометой: «Северный фронт, полуостров Рыбачий». Печ. по Ст. 1942, с. 203. Стих. написано во время поездки на северный участок фронта, на полуострове Рыбачьем. «Радио, — пишет Симонов, — из-за атмосферных условий работало очень плохо, но все-таки в политотделе поймали обрывки сводки, в которой сообщались разные новые тревожные известия о Москве. Было томительное ощущение страшной оторванности и невозможности принять участие в том, что там происходит. И это ощущение было не только у меня, а у всех, кто находился здесь. Тут тоже была война, фронт, но казалось, что в эти дни, когда Москва в опасности, все мы, кто сейчас не там, не под Москвой, занимаемся не самым настоящим делом.

Я залег под потолок на свою верхнюю койку и в том печальном ощущении оторванности от Москвы, которое у меня было в этот вечер, написал стихи, которые «Красная звезда» потом напечатала под заголовком «Голос далеких сыновей». Они совершили очень долгий путь, прежде чем дошли до редакции. Сначала их переправили в пакете на моторный катер, потом на этом моторном катере довезли до Мурманска, там отнесли на военный телеграф, и только на третий или четвертый день, переданные по телеграфу, они очутились в Москве» (ЗМЧ, с. 41).

71. КЗ, 1941, 16 сентября, с. 3; под загл. «Защитники Одессы», с подзаг. «Посвящается морякам Черноморского флота», с пометой: «Одесса, 15 сентября (По телефону от наш. спец. корр.)». При перепечатке газетный текст был значительно сокращен. Печ. по Соч. 1952, с. 60. Печаталось под рубриками «Фронтовые баллады и песни», «Баллады и песни».

72. КЗ, 1943, 24 июня, с. 3, под загл. «Танк на выставке». Печ. по СиП, 1955, с. 155. Стих. написано под впечатлением выставки образцов трофейного оружия, захваченного в боях с немцами, которая проходила в Москве летом 1943 г.

73. «Красноармеец», 1943, № 17-18, с. 8. *Матвеев Курган* и *Миус* — поселок и река в Ростовской области, где во время Великой Отечественной войны шли жестокие бои.

74. Зн., 1943, № 7-8, с. 94, в подборке «Наступление».

75. СиП, 1955, с. 115, в разделе «Фронтовые баллады и песни». Печ. по СС-1, с. 313. В 1-й публ. после ст. 28 следовало:

Когда ты, плюнув на простуду,
На льду шинель под скат совал,
Когда не ел, не пил, покуда
Мотор исправлен не бывал,
Когда товарищу бензина
Ты под огнем давал в беде
И, словно танк, свою машину
Вел по горам и по воде, —

С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ

С книгой «Из дневника» тесно связана книга «С тобой и без тебя», формирование которой также началось в 1941 г. В Лир. 1942 и в ЛД обе «книги» входят как смежные единства и затем некоторое время «обмениваются» стихотворениями: поэт словно бы затрудняется делить свою военную лирику на «фронтовую» и «любовную». Структура данной книги намечена в нескольких обширных журнальных публикациях: НМ, 1941, № 11-12 — Посвящается В. С⟨еровой⟩. С тобой и без тебя. (Лирический дневник); КН, 1942, № 1-2 — С тобой и без тебя. В. С⟨еровой⟩. Лирический дневник. Тетрадь вторая; НМ, 1942, № 11-12 — С тобой и без тебя. Из лирического дневника. Цикл третий. Посвящается В. С⟨еровой⟩; Зн., 1945, № 9, в подборке «Одиннадцать стихотворений», с общим посвящ. В. С⟨еровой⟩. Отдельным изданием книга «С тобой и без тебя» выходит в 1942 г. (М., «Правда»), а в дальнейшем, вплоть до

1954 г. пополняясь новыми стихотворениями, в ряде изданий печатается также под рубриками «Лирика», «Лирический дневник», «Из лирического дневника». Состав и композиция книги установились в СС-1.

Стих. книги адресованы Валентине Васильевне Серовой (см. примеч. 67).

76. КН, 1942, № 1-2, с. 33. Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «До июня», то есть, как свидетельствует Симонов в письме к исследователю своего творчества С. Фрадкиной, стихи «написаны перед самой войной» (ЛА).

77. КН, 1942, № 1-2, с. 32; Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «До июня». Печ. по СиП, 1955, с. 203.

78. КН, 1942, № 1-2, с. 33. Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «До июня».

79. КН, 1942, № 1-2, с. 33. Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «До июня».

80. Ст. 1942, с. 148; Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «До июня». Печ. по СиП, 1955, с. 209. Эпиграф — из стих. Лермонтова «Завещание». В 1-й публ. ст. 6 читалась: «Хитрым утешеньем некрасивых»; ст. 17 и 18 читались:

Грязь и корысть; то, что сами прячут,
Всё тебе на плечи переложат.

81. КН, 1942, № 1-2, с. 32, с пометой: «Мурманск. Ноябрь»; Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «Север»; СиП, 1955. Печ. по СС-1, с. 132. В КН после ст. 24 следовало:

С беспутной и милой
С ней ночь коротать,
Чтоб завтра ни силой,
Ни лаской не взять.

Чтоб завтра с тоскою
Себя проклиняя,
Лишь слышать глухое:
Не трогай меня.

В СиП, 1955 после ст. 28 следовало:

Веселую душу —
За счастье мое,
А грустную душу —
За горе ее.

82. КН, 1942, № 1-2, с. 31, с датой: «24 июня 1941 г.»; Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «До июня», с датой: «22 июня»; СиП, 1955. Печ. по СС-1, с. 134. В КН ст. 17 читалась: «Я знал, честней девичьих снов»; в СиП, 1955 — «Я знал, честнее тайных снов».

83. НМ, 1941, № 11-12, с. 19, с пометой: «Западный фронт, июль»; Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «Запад». Печ. по СС-1, с. 136.

84. П, 1942, 14 января, с. 2; КП, 1942, 9 апреля — с нотами (музыка М. Блантера); НМ, 1941, № 11-12 (подписан в печать 27 марта 1942 г.); Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «Запад». Печ. по Ст. 1942, с. 157. В НМ ст. 8 читалась: «Изменив вчера». «У стихотворения «Жди меня», — писал Симонов в 1969 году своему читателю, — нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была на Урале, в тылу. И я написал ей письмо в стихах. Потом это письмо было напечатано в газете и стало стихотворением. .» (ЛА). В РДВ, 1 (с. 243) Симонов рассказывал, что «вообще война, когда писались эти стихи, уже предчувствовалась долгой. «...Жди, когда снега метут...» — в тот жаркий июльский день было написано не для рифмы. Рифма, наверно бы, нашлась и другая...» О публ. стих. в «Правде» см.: РДВ, 2, с. 39—41; о восприятии стих. читателями — РДВ, 1, с. 456—457. На вопрос, что из написанного им во время войны и о войне сам писатель считает наиболее существенным, Симонов ответил интервьюеру: «Из стихов наибольшую пользу, по-моему, принесли «Жди меня». Они, наверно, не могли быть не написаны. Если б не написал я, написал бы кто-то другой» (СиД, с. 590). См. также примеч. 173. *В. С.* — В. В. Серова (см. примеч. 67).

85. КЗ, 1941, 20 декабря, с. 2; НМ, 1941, № 11-12, с пометой: «Минское шоссе, июль». Печ. по Соч. 1952, с. 97. О публ. стих. в КЗ следует сказать особо: оно было напечатано под загл. «Воспоминание» с пометой «Западный фронт. 19 декабря» и начиналось:

Сейчас, когда по выжженным селеньям
Опять на Запад армия пошла,
Я вижу вновь июньские сраженья,
Еще не отомщенные дела.

То есть стихотворение, написанное летом 1941 г. как непосредственный отклик, полгода спустя было осмыслено и подано в газете как ретроспекция: отсюда первая строфа и дата, противоречащая основной. Газетный вариант почти никогда не воспроизводился — за исключением изданий, в подготовке которых автор не участвовал (см., например, в кн.: К. Симонов, Фронтовые стихи, М., 1945). И в НМ, и в КЗ после заключительной ст. следовало:

За тридевять земель, в горах Урала
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой,
Я верил, мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.

Но если нет, — когда придется свято
Ему, как мне, идти в такие дни,
Вслед за отцом, по праву, как солдату,
Прощаясь с ним, меня ты помяни.

86. Лир. 1942, с. 49, с пометой: «Одесса. Август», в разделе «Юг»; «Стихи 1941 года» (М., 1942) — под загл. «Письмо в Москву».

Печ. по СиП, 1955, с. 185. В 1-й публ. ст. 13 читалась: «Может, врут поверья, кто их знает!»

87. НМ, 1941, № 11-12, с. 21, с пометой: «Черное море, сентябрь». (В сборниках Лир. 1942 и «С тобой...» стих. печаталось в разделе «Юг».) Печ. по «36—71», с. 74. *Субмарина* — подводная лодка. «В то время, — рассказывает в своих воспоминаниях Д. Ортенберг, — наши подводные лодки довольно активно действовали на Черном море. Он (Симонов. — *Т. Б.*) и уговорил командование флота, и его взяли в плавание на подводную лодку, направлявшуюся к румынским берегам для минирования выходов из Констанцы и других портов. Вернувшись через некоторое время в редакцию, он ни слова не сказал о том, как ему трудно пришлось с непривычки и как лодка уходила от глубинных бомб неприятеля...» (Д. Ортенберг, Время не властно. Писатели на войне, М., 1979, с. 196).

88. НМ, 1941, № 11-12, с. 20, с пометой: «Черное море. Август». «С тобой...» — в разделе «Юг». В РДВ, 1 (с. 279—280) рассказано об истории этого стихотворения. Оно написано на спор с фотокорреспондентом Я. Халипом, с которым у Симонова зашел разговор «на темы жизни и смерти». «Не особенный любитель серьезных разговоров на этот счет, я сказал, что сейчас сяду и напишу смешные стихи о собственной смерти ⟨...⟩ Стихи написались с маху, без поправок, за полчаса или час. И начинались прямо со смерти...»

89. НМ, 1941, № 11-12, с. 19, с пометой: «Август», в разделе «Запад». Печ. по «36—71», с. 77.

90. Ст. 1942, с. 169, с пометой: «Вологда. Октябрь». «С тобой...» — дата: «Сентябрь». Стих. зародилось в Вологде, где Симонов, добираясь на Северный фронт, провел из-за нелетной погоды четверо суток (см. МН, с. 253). Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «Север».

91. КН, 1942, № 1-2, с. 34. Ст. 1942 — с пометой: «Белое море. Ноябрь». Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «Север».

92. Ст. 1942, с. 166, с пометой: «Крым. Сентябрь». Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «Юг». Об обстоятельствах публ. стих. см. РДВ, 2, с. 107, где Симонов, в частности, пишет: «... по-моему, это стихотворение вовсе не воспевает легкую любовь, оно просто рассказывает о том, как бывает в жизни, но при этом в нем есть тоска по настоящей любви».

93. КН, 1942, № 1-2, с. 30, с пометой: «Рыбачий. Октябрь»; Лир. 1942 и «С тобой...» — в разделе «Север». Печ. по СиП, 1955, с. 199. В КН после ст. 4 следовало:

Мы называем женщину женой
За то, что так несчастливо случилось,
За то, что мы тому, что под рукой,
Простясь с мечтой, легко сдались на милость.

За нехотя прожитые года,
За общий дом, где вместе мы скучали,

Зовем женой за то, что никогда
Ее себе в любовницы б не взяли.

Мне хочется назвать тебя женой
За то, что милых так не называют,
За то, что всё наоборот с тобой
У нас, моя беспутная, бывает.

94. Ст. 1942, с. 173, с пометой: «Белое море. Ноябрь». Лир. 1942 — в разделе «Север».

95. НМ, 1941, № 11-12, с. 23, с пометой: «Карельский фронт, декабрь». Ст. 1942 — с пометой: «Рыбачий. Октябрь»; Лир. 1942 — в разделе «Север».

96. НМ, 1942, № 11-12, с. 110. Ст. 1942 — с пометой: «Москва. 1942». Вспоминая Москву 1941 г., Симонов пишет: «...именно этот полумосковский-полуфронтовой быт моих товарищей, военных корреспондентов, как-то сам собой лег в написанные годом позже стихи „Хозяйка дома“» (РДВ, 2, с. 44—45).

97. КП, 1942, 19 ноября, с. 3, под загл. «Любовь»; Ст. 1942; Из. 1948. Печ. по Соч. 1952, с. 103.

98. НМ, 1942, № 11-12, с. 110, под загл. «Единственное письмо»; Ст. 1942. Печ. по СиП, 1945, с. 86. В НМ после заключительной строфы следовало:

Но после войны под травою,
Получится так уж само,
Мы чудом отыщем с тобою
В клочках обгорелых письмо.

Но мы его склеим, и знаешь —
В сиянии мирного дня,
С войны ты письмо прочитаешь
И всё же полюбишь меня.

99. НМ, 1942, № 11-12, с. 110.

100. НМ, 1942, № 11-12, с. 112; Ст. 1942; СиП, 1945; СиП, 1955. Печ. по СС-2, с. 186. В НМ после ст. 44 следовало:

Со мною вместе ревновал
Тебя он к тем, другим,
Со мною вместе угадал,
Когда я стал чужим.

После ст. 48:

Но он меня не осудил,
Когда, забыв о нем,
Я, всё узнав, опять ходил
К тебе играть с огнем.

И если бы из боя он
Один пришел домой,

Он всё равно б мой медальон
Принес тебе одной.

После ст. 52:

Теперь мне есть досуг навек
О нем жалеть, скорбя,
Он был хороший человек,
Хоть не любил тебя.

101. Из. 1948, с. 121, в разделе «Лирика». Печ. по СиП, 1955, с. 230.

102. Из. 1948, с. 103, в разделе «Лирика». Печ. по СиП, 1955, с. 224. После ст. 40 в 1-й публ. следовало:

Что ж, напишу еще одно,
Чтоб не были гаданья лживы,
Чтоб в день, когда пришло оно,
Ты знала: утром были живы.

После ст. 152:

Мать поцелуй, а с остальными,
Кому и что там передать,
Решай сама. Ты рядом с ними,
Тебе в Москве их лучше знать.

По свидетельству Симонова, стихи эти, «по-своему тоже дневник», были начаты в 1942 г. на Керченском полуострове (РДВ, 2, с. 77). Жанр «Дождей» Симонов определил как «маленькую поэму или длинное стихотворение» (СиД, с. 477). *Рекогносцировка* — разведка противника и местности в районе предстоящих боевых действий.

103. Зн., 1945, № 9, с. 64; Из. 1948. Печ. по СиП, 1955, с. 232. В Зн. ст. 29—30 читались: «Все бабьи жадные слова. Я, как скупец, возьму с собою».

104. КЗ, 1944, 6 января, с. 3; Зн., 1945, № 9. Печ. по Из. 1948, с. 111.

105. Зн., 1945, № 9, с. 65, с пометой: «Италия». Печ. по «36—71», с. 113. *Бари* — портовый город в Южной Италии.

106. СС-1, с. 183.

107. Зн., 1945, № 9, с. 64; Из. 1948. Печ. по СиП, 1955, с. 237.

108—110. Зн., 1945, № 9, с. 66. Печ. по СиП, 1955, с. 240.
1. В Зн. после заключительной ст. следовало:

Вдруг, как во сне, являлось чувство,
Что больше никого вокруг,
Все умерли и пусто-пусто.
Есть только ты и этот звук.

И даже он не рядом где-то,
А до ушей дошел твоих
С того конца пустого света,
Где ты — последний из живых.

111. СС-1, с. 188.

112. СС-1, с. 189.

113. СПР, с. 211. Печ. по СС-1, с. 190. В 1-й публ. ст. 1 читалась: «Мы оба из честного племени».

114. Зн., 1945, № 9, с. 66. СПР — с пометой: «1945, Мукачево».

115. СС-1, с. 192.

116. СПР, с. 213.

117. СПР, с. 253 — как глава из поэмы «Несколько дней», фрагменты которой Симонов затем печатал в виде отдельных стих. Печ. по СС-1, с. 194.

118. Из. 1948, с. 135.

119, 120, 121. СС-1, с. 200, 201, 202.

(Дополнения)

122. Зн., 1945, № 9, с. 64; СиП, 1945. Печ. по СиП, 1955, с. 236. В Зн. перед 1-й строфой была еще одна:

Когда нисходит благодать,
И той, что рядом,
Уж больше нечего отдать
Душой иль взглядом;

Правленая машинопись с датой: «14/X.1943» — ЦГАЛИ.

123. Зн., 1945, № 9, с. 65, без загл. Печ. по Из. 1948, с. 127.

124. СПР, с. 216.

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Книга «Друзья и враги» явилась результатом ряда поездок Симонова за рубеж в конце и после войны. Подробнее об этом см. вступ. ст., с. 50—53 наст. изд. С 1948 по 1952 г. книга «Друзья и враги» вышла отдельным изданием шесть раз. Вторым этапом создания ДиВ стал 1954 г. «Я уже пять или шесть лет, — вспоминает Симонов, — почти не писал их (стихи. — *Т. Б.*) и вдруг за два или три месяца, почти не отрываясь, можно сказать, за один присест, написал книгу стихов, потом названную мною „Стихи 1954 года“» (СиД, с. 172). Ряд стих., прежде чем закрепиться за ДиВ, в разных изданиях входил в рубрики «С тобой и без тебя», «Лирика», «Стихи разных лет». Окончательно состав книги определился в СС-2,

125. ДиВ, с. 52. Печ. по СиП, 1955, с. 319. Лир. 1956 — в разделе «С тобой и без тебя», с пометой: «Токио, 1946»; «36—71» — в разделе «Послевоенная тетрадь». *«Чайна Ньюс»* — шанхайская газета, выходившая на английском языке при гоминдановском режиме.

126. НМ, 1948, № 3, с. 5, с подзаг. «Из стихов о Японии»; ДиВ; СПР — под загл. «Военно-морская база в бухте Майдзура», в разделе «Лирика». Печ. по «36—71», с. 387. *Майдзура* (Майдзуру) — город-порт на побережье острова Хонсю (Япония). *Субмарина* — см. примеч. 87.

127. НМ, 1948, № 11, с. 108. Симонов пояснял: «То, что рассказано в этом стихотворении, происходило в 1946 году в городе Торонто, на митинге, где выступали Илья Григорьевич Эренбург и я. Большая часть аудитории, сочувственно настроенная к Советскому Союзу, не дала нашим врагам сорвать этот митинг» (ВИД, с. 139).

128. НМ, 1948, № 11, с. 109. Печ. по Соч. 1952, с. 140. *Джон Броун* — правильно: Д. Браун (1800—1859), американский борец за освобождение негров-рабов в США, повешенный по приговору рабовладельческого суда. Г. *Бичер-Стоу* (1811—1896) — американская писательница, автор романа «Хижина дяди Тома», направленного против дискриминации негров. А. *Линкольн* (1809—1865) — президент США (1861—1865), сторонник освобождения негров. *Мистер Черчилль* — У. Л. С. Черчилль (1874—1965), в течение ряда лет премьер-министр Великобритании, после второй мировой войны — один из инициаторов «холодной войны». *Гарлем* — негритянский квартал Нью-Йорка. *Прорвем на Перекопе* и т. д. — имеется в виду разгром Красной Армией белогвардейских войск генерала П. Н. Врангеля в 1920 г. в Крыму; здесь — символ победы над мировой реакцией. Автограф варианта под загл. «К негритянскому вопросу», с пометой: «17—21 июля 1948. Сочи. Вилла Валерия» — ЦГАЛИ.

129. НМ, 1948, № 11, с. 111. *Когда рейхстаг зажгли своей рукой И в Лейпциге Димитрова судили.* В 1933 г. германскими фашистами был инсценирован Лейпцигский процесс против коммунистов, ложно обвиняемых в поджоге рейхстага; главным обвиняемым был Г. М. Димитров (1882—1949). Автограф с датой: «29 июля — 2 августа 1948 г.» — ЦГАЛИ.

130. Ог., 1948, № 44, с. 8, в подборке «В Италии. Из книги „Друзья и враги“». Стих. посвящено участникам рабочего движения, революционерам *Н. Сакко* (1891—1927) и *Б. Ванцетти* (1888—1927). В 1927 г. в Бостоне они на основе спровоцированного обвинения в убийстве были казнены, что вызвало мощный протест в США и во всем мире. *Народом казнен Муссолини.* Б. Муссолини (1883—1945) — фашистский диктатор Италии, в 1945 г., захваченный итальянскими партизанами, казнен по приговору военного трибунала Комитета Национального освобождения Северной Италии. В 1948 г. на *П. Тольятти* (1893—1964), генерального секретаря ИКП, было совершено покушение. *Дуче* (итал.: вождь) — так называли в Италии Муссолини. *Войков П. Л.* (1888—1927) — деятель российского революционного движения, советский дипломат, убит в Варшаве белогвардейцами. Автограф с пометой: «25 июля 1948. Сочи. Вилла Валерия» — ЦГАЛИ.

131. НМ, 1948, № 11, с. 112. Стих. адресовано Бернарду Котену, переводчику-русисту из Нью-Йорка. В очерке «Три месяца рядом с ним» Котен пишет: «Мы с Костей впервые встретились весной 46-го, когда он ⟨...⟩ приехал в США как член первой официальной советской писательской делегации (впрочем, его как писателя я знал и раньше). Меня попросили на эти три месяца стать переводчиком, спутником, секретарем Симонова. Я согласился. Скоро мы стали друзьями ⟨...⟩ Я даже попал в его сборник стихов «Друзья и враги» — в качестве многоточия, фигуры умолчания...» (ЛА). *Битва при Арденнах* — наступление немецко-фашистских войск, прорвавших в декабре 1944 г. фронт войск союзников. *Балтимора* (Балтимор), *Питсбург* — города в США. *Гудзон* — река, в устье которой расположен Нью-Йорк.

132. Ог., 1948, № 44, с. 8, в подборке «В Италии. Из книги „Друзья и враги"». В РДВ, 2 (с. 524) Симонов приводит запись 1944 г. о встрече, впечатления которой легли затем в основу стих.: «Подъезжаем к тому, что было городом Кассино. По местности сразу понятно, почему здесь были такие сильные бои. И слева, и справа от дороги горы ⟨...⟩ Среди развалин к нам подходят три польских солдата-андерсовца... ⟨и т. д.⟩» *Андерс* В. (1892—1970) — польский генерал, в 1943—44 гг. командовавший польским экспедиционным корпусом в войсках союзников в Италии; затем — польскими войсками в Западной Европе; после второй мировой войны — один из лидеров наиболее реакционного крыла польской эмиграции. Автограф — набросок с датой: «12—15 августа 1948 г.» — ЦГАЛИ.

133. НМ, 1948, № 11, с. 116. Симонов поясняет: «Стихотворение это навеяно образом немецкого революционного певца-антифашиста Эрнста Буша ⟨1900—1980⟩. Он воевал в Интернациональных бригадах в Испании, а потом много лет сидел в фашистских лагерях и тюрьмах. Мне довелось встретиться с ним после конца войны» (ВИД, с. 139—140). Симонов писал о нем также: «Для меня как для поэта Эрнст Буш с юности до седых волос был и остался символом антифашистской Германии» (РсТ, с. 77). *Тельманка с значком Рот-Фронта* — головной убор, распространенный среди германского пролетариата в 1920-е гг. (по имени Э. Тельмана, вождя германского рабочего класса, организатора Союза красных фронтовиков, лозунгом которых был клич «Рот-Фронт»). *Давно когда-то, в тридцать третьем*. Речь идет о приходе к власти Гитлера и установлении в Германии фашизма.

134. НМ, 1948, № 11, с. 121. Кюити *Токуда* (1894—1953), один из основателей Коммунистической партии Японии; в 1928—1945 гг. находился в тюрьме за революционную деятельность. Симонов рассказывал: «По законам императорской Японии политические заключенные, уже отбывшие срок, но не подписавшие отказа от своих политических убеждений, уже без суда, автоматически оставлялись в тюрьме. Товарища Токуду, героя этого стихотворения, мне довелось видеть в Японии, в 1945—1946 годах. Я написал это стихотворение уже потом, в Советском Союзе, когда узнал о покушении, совершенном на товарища Токуду японскими реакционерами» (ВИД, с. 140). *Микадо* — титул японского императора.

135. Зн., 1949, № 1, с. 12. *Ява* — остров на территории Индонезии, народ которой в 1945—1949 гг. героически боролся за самоопределение.

136. ЛГ, 1954, 1 мая, с. 2; НМ, 1954, № 5. Печ. по СиП, 1955, с. 339. Б. *Шоу* (1856—1950) — английский писатель. Симонов поясняет: «В марте 1947 года, во время пребывания в Англии делегации нашего Верховного Совета Бернард Шоу прислал Александру Александровичу Фадееву и мне приглашение посетить его. Остальное рассказано в самом стихотворении» (ВИД, с. 140).

137. НМ, 1954, № 5, с. 78, с посвящ. А. Малышко; ТТ; СС-1. Печ. по СС-2, с. 249. В НМ после ст. 63 следовало:

Я верил, верил в эту точку,
толпой нетерпеливо сжатый!
И щеки вытирал платочком
американский провожатый.

После ст. 142:

И, распростившись с пароходом,
готов на всё, кроме измены,
как полураб, был тут же продан
за обговоренную цену.

После заключительной строфы следовало:

Пока остановлюсь на этом,
хотя вся песня не допета.
И рано ль, поздно ли, по-моему,
он допоет ее по-своему!

О лагере советских военнопленных, взятом под охрану американцами, который описан в стих., см. РДВ, 2, с. 754—756.

138. Окт., 1954, № 11, с. 45; Ст. 1954. Печ. по СС-2, с. 262. В Окт. после ст. 44 следовало:

И тот колхозный бригадир,
Что поднял из руин село,
И тот стахановец, что мир
Кует, американ назло.

139. Окт., 1954, № 7, с. 58. Печ. по ТТ, с. 421.

140. Из. 1948, с. 129, в разделе «Лирика», в цикле «Три примечания к путешествию», куда входили также стих. № 141 и 142. СиП, 1955 — в разделе «С тобой и без тебя».

141. Из. 1948, с. 130 (см. примеч. 140). Печ. по СС-1, с. 265. СиП, 1955 — в разделе «С тобой и без тебя». В 1-й публ. после заключительной строфы следовало:

И всё бы решалось запросто,
Всё б легко,
Когда бы ты, просто-напросто,
Была не так далеко.

142. Из. 1948, с. 132 (см. примеч. 140). Печ. по СиП, 1955, с. 255.

143. СПР, с. 209, в разделе «Лирика».

144. СПР, с. 205, в разделе «Лирика».

145. СПР, с. 206, в разделе «Лирика».

146. Окт., 1954, № 11, с. 46. Авториз. машинопись с датой: «VIII—IX.54 г.» — ЦГАЛИ.

147. Окт., 1954, № 11, с. 53. Печ. по СиП, 1955, с. 269. Поэт писал о стих. «Сын»: «... люблю и считаю важным для себя, потому что считаю важной тему его» (ЛА).

148. Окт., 1954, № 11, с. 47.

149—151. Цикл напечатан в НМ, 1954, № 11, под общей рубрикой «Три стихотворения», с посвящ. «Памяти Бориса Горбатова». В примеч. к ВИД Симонов поясняет: «Писатель Борис Леонтьевич Горбатов, умерший в 1954 году совсем еще молодым человеком, был мужественным солдатом и верным другом. Что это был за писатель — нетрудно понять, прочитав его книги «Донбасс», «Непокоренные», «Обыкновенная Арктика». А о том, какой это был человек, рассказано в вышедшей в 1959 году книжке — „Его звали Борис Горбатов"» (с. 140—141). Вариант (машинопись) с общ. загл. «На смерть друга» — ЦГАЛИ.

1. НМ, 1954, № 11, с. 185. Авторизованная машинопись с пометой: «28—30 января 1954 г. Кисловодск» — ЦГАЛИ.

2. НМ, 1954, № 11, с. 186. Печ. по СС-1, т. 1, с. 274. В НМ ст. 11 читалась: «Словно в год войны из окруженья».

3. НМ, 1954, № 11, с. 186. Автограф с датой: «25 апреля 1954 г.» — ЦГАЛИ.

152. Ст. 1954, с. 91, под загл. «Под зонтиком». Печ. по СС-1, с. 281. В 1-й публ. после заключительной строфы следовало:

Рассмотреть их несколько душ бы,
Оценить бы эту породу!
Вправду ль можно, не веруя в дружбу,
Честно службу служить народу?

Черновые автографы — ЦГАЛИ; варианты загл.: «О дружбе», «Стихи о дружбе», «Крыша»; есть помета: «17 января 1954 г. Кисловодск».

153. Окт., 1954, № 11, с. 48; Ст. 1954. Печ. по СС-1, с. 282. В Окт. после заключительной ст. следовало:

Осторожность —
дело хорошее,
Только надо с ней
осторожнее:

Ради дела ли?
Ради людей она?
Или,
может,
как в данном случае,
Эта изгородь
кем-то сделана
Ради собственного
благополучия?

Черновой автограф с датой: «4 августа 1954 г.» — ЦГАЛИ; вариант загл. «Изгородь. (Осторожный)».

154. П, 1954, 29 октября, с. 2. Набросок (автограф) — ЦГАЛИ; варианты загл.: «Без улыбок», «Золотая середина», «Воздерживающиеся». На другом черновике помета: «Москва. 13—14 февраля 1954 г.»

155. Окт., 1954, № 11, с. 50; ТТ. Печ. по СС-1, с. 284. В Окт. после ст. 96 следовало:

Да, мог бы он сказать и так,
Ничто не помешало бы,
И к истине в его устах
Прислушались, пожалуй бы.

После ст. 106 следовало:

Кто в дружбе обыватель,
Тот просто так... Приятель.

⟨Дополнения⟩

156. СПР, с. 260 — в тексте поэмы «Несколько дней» (см. примеч. 117).

157. НМ, 1948, № 11, с. 122. Печ. по СиП, 1955, с. 321. *«Партизанская», «Марсельеза», «Варшавянка», «Пролетарии всех стран!»* — Симонов имеет в виду революционные песни разных народов. *Чжу Дэ* (1886—1976) — в 1948 г. секретарь ЦК Коммунистической партии Китая и главнокомандующий Народно-освободительной армии Китая.

1956—1976

С середины 1950-х годов Симонов был всецело поглощен прозой, что не раз подчеркивал в письмах, статьях, беседах: «поотстал от поэзии», «бывший поэт», «давно не писал стихов», «сам себя ощущаю сейчас прозаиком» и т. д. В эти годы, как отмечала Л. А. Жадова (см. о ней примеч., с. 550), оставаясь «подпочвой всего его творчества», «стихи возникали как бы нечаянно» (ДН, 1980, № 2, с. 25). Действительно, в отличие от предыдущих периодов стих. 1956—

1976 гг. возникали подобно отрывочным дневниковым записям, в большие и цельные циклы (за исключением книги «Вьетнам, зима семидесятого...») не выстраиваясь.

Стих. № 185, 186, 191 при жизни Симонова не печатались.

158. «Нева», 1956, № 5, с. 78; СС-1. Печ. по СС-2, с. 294. В «Неве» иные число и порядок строф; в частности, после ст. 4 следовало:

Один находит быстро
Друзей на мелкий выкуп:
Где у него есть выступ,
Чтобы у них был выгиб.

В СС-1 после ст. 28 следовало:

Где вы не шли друг с другом
По вымеренной бровке,
А где тащили грубо
Друг друга на веревке.

Авторизованная машинопись с пометой: «4—5.I.1956 г. Кисловодск» — ЦГАЛИ. *Ужба* (Ушба) — двуглавая вершина в центре Большого Кавказа.

159. СС-2, с. 296.

160. СПВП, с. 187. Черновые автографы сохранились в ЛА; из них явствует, что вначале стих. мыслилось как песня со следующим припевом:

Сорок первый — нет — не повесть
Прошлых лет!
Сорок первый — наша совесть.
Сорок первый — наша совесть.
Разве нет?
Разве нет?

Там же автограф с другим вариантом припева:

А сердце солдата
стучит.
А сердце солдата
не спит.
Гляди, солдат.
Гляди вперед.
Но помни сорок первый год.

Ранний набросок с пометой: «Кисловодск, 24/XII.55» — ЦГАЛИ; вариант загл. «Друзья сорок первого года».

161. СС-1, с. 317, в разделе «Баллады и песни». Написана к спектаклю «Четвертый», поставленному в 1961 г. театрами «Современник» (Москва) и БДТ им. Горького (Ленинград).

162. Ог., 1961, № 44, с. 24, с датой: «15 октября 1961 года»; ТТ — с подзаг. «Баллада»; ВЛир. — в разделе «Еще о войне». Печ. по «36—71», с. 325. В Ог. после ст. 90 следовало:

Если вложена в наши души,
Если вложена в наше дело, —

а после заключительной ст. следовало:

Видно, был и в других он тоже,
Не скажу во всех, но во многих.
Наше счастье, что так и было,
Наше счастье, что так и есть!

Черновые автографы и машинопись с правкой — ЛА. В машинописи — рубрика: «(Из цикла «Коммунисты»)». *«Тигр»* — название немецкого тяжелого танка.

163. «Неделя», 1963, № 41, с. 7, в коллективной подборке «Двух правд на свете не бывает»; ДП — 1963; ВЛир. — в разделе «Еще о войне». Печ. по «36—71», с. 329. В 1-й публ. после ст. 6 следовало:

Пока его держат в руках,
Оно не умрет
От потери крови.

«Что касается стихотворения «Знамя», — вспоминал Симонов, — то вольный стих, которым оно написано, родился из строчки «От знамен не прикуривают». Строчка эта долго сидела у меня в голове, наверно, целый год, пока я не написал стихотворение. И именно из-за этой строчки оно оказалось написанным свободным стихом» (СиД, М., 1974, с. 355).

164. СО, 1972, № 8, с. 43, под рубрикой «Из цикла „Память“», с общим предисловием: «Спешу выполнить обещанное — посылаю Вам четыре маленьких стихотворения из цикла «Память», над которым продолжаю работать.

Считаю для себя за честь принять участие в юбилейном номере «Сибирских огней».

Ваш Константин Симонов».

Автограф с датой: «Март 1970» — ЛА.

165. СС-2, с. 318. Автограф — ЛА.

166. СС-2, с. 319. Машинопись с правкой — ЛА.

ВЬЕТНАМ, ЗИМА СЕМИДЕСЯТОГО

Стих. этой книги написаны под впечатлением поездки во Вьетнам, сражавшийся против американских захватчиков.

Очертания книги наметились в П, 1971, 24 января, где появилась публикация под общим заголовком «От вашего корреспондента...», с подзаг. «Лирическая поэма», с пометой: «Вьетнам — Москва. Декабрь 1970 — январь 1971». Публикация открывалась предисловием:

Примите, товарищ редактор,
Отчет, подготовленный мной.

В основу положены факты
Из книжки моей записной.

Я видел Вьетнам под угрозой,
В условиях, близких к войне,
И что-то не тянет на прозу —
Стихами хотелось бы мне...

Публикация объединила основные стих., которые затем составили ВЗС. В П они — без названия, как главы — располагались в следующем порядке: 1. «Не спрашиваю, не выпытываю...» 2. «Под крышей пальмовой рябою...» 3. «Вот здесь мою жену убили...» 4. «Моя сестра благополучно родила...» 5. «Под бомбами прочь...» 6. «С чего начинается память — с берез...» 7. «Сквозь облака сырые...» 8. «Война не вписана в билеты...» 9. «Даже не поверилось сначала...» (Матери Бориса Горбатова). 10. «Южанин рассказывает, как на Юге...» 11. «Летчики — как летчики...» 12. «Здесь отделенье самообороны...» 13. «Я знаю, здесь мои стихи живут...» (Товарищу То Хыу). 14. «Напоминает море — море...» В ВЗС цикл разгруппирован на главы собственно поэмы «Чужого горя не бывает...» и отдельные стих., теперь уже идущие под заголовками. В ноябре 1974 г. Симонов пояснял студентке, автору курсовой работы о его творчестве: «Окончательно книжка сформировалась в том виде, в каком она вышла в издательстве «Современник», и поэму «Чужого горя не бывает» нужно рассматривать именно в том виде, в каком она вошла в эту книгу. В «Правде» была первоначальная публикация, когда я еще не знал, как построить книгу, что в ней относится к поэме и что к отдельным стихотворениям» (ЛА). Об истории создания всей книги Симонов рассказывал: «А когда я вернулся из Вьетнама, я написал цикл стихов. Самым сильным чувством, которое у меня там возникло, было чувство связи между пережитым нами в самое тяжелое время войны и переживаемым вьетнамцами в самое тяжелое для них время. И мне казалось, что никакая иная форма, кроме лирических стихов, где бы эти две точки совмещались внутри человека и были одушевлены личной связью, здесь не годится, — все остальное было бы неестественно. Я не представляю, как это могло быть написано в прозе. В прозе это были бы просто голые мысли. И в публицистике тоже. А вот дать почувствовать, как это меня поразило, как попало в меня, — это я мог передать только при помощи стихов. Я давно не писал стихов, а здесь наткнулся на такую тему, на такую проблему, что ничего, кроме стихов, писать не хотелось...» (СиД, с. 572). На основе книги Симонов написал кинопоэму «Чужого горя не бывает...», по которой на Центральной студии документальных фильмов был создан одноименный фильм. В предисловии к кинопоэме писатель сказал о замысле книги вьетнамских стихов: «В основе этой книжки лежали чувства человека, в молодости прошедшего через войну у себя дома и вдруг столкнувшегося с ней снова через тридцать лет на другом конце планеты и попробовавшего представить себя на месте вьетнамцев, не под теми давними бомбами, а под этими — нынешними» (ИК, 1973, № 2, с. 180). Во всех изданиях Симонов давал именно общую дату ко всей «книге».

167. ВЗС, с. 4, с подзаг. «Лирическая поэма»; «36—71»; Из ТТ. Печ. по СС-2, с. 302. *Как в сорок первом, под Борисовом* — ср. стих. № 39. *«Шрайк»* — американская авиационная ракета.

168. П, 1971, 24 января, с. 3, без загл.; ВЗС. Печ. по СС-2, с. 308.

169. П, 1971, 24 января, с. 3, без загл.; ВЗС; «36—71»; Из ТТ. Печ. по СС-2, с. 309. *«Бэ — пятьдесят вторые»* — Б-52, американский стратегический бомбардировщик. *Арлингтон* — национальное военное кладбище в Вашингтоне.

170. П, 1971, 24 января, с. 3, без загл.; ВЗС; «36—71». Печ. по СС-2, с. 311. *МИГ* — советский самолет.

171. П, 1971, 24 января, с. 3, без загл.; ВЗС; «36—71»; Из ТТ. Печ. по СС-2, с. 312. *Тропа Хо Ши Мина* — так называется система партизанских дорог в джунглях, по которой осуществлялось снабжение повстанцев Южного Вьетнама. *Как у нашего Быкова.* Имеется в виду советский писатель Василь Быков (р. 1924), участник Великой Отечественной войны.

172. П, 1971, 24 января, с. 3, без загл., с подзаг. «Матери Бориса Горбатова»; ВЗС. Печ. по «36—71», с. 429. См. примеч. 149—151. В 1971 г. Симонов писал А. Леваде: «Если бы Вы знали, как у меня екнуло сердце, когда я увидел там, в Хайфоне, на пирсе пароход, на котором как раз в это время — это я не придумал, — после штормов поправляли моряки фамилию Бориса» (ЛА).

173. П, 1971, 24 января, с. 3; «36—71». Печ. по ПТС, с. 220. В кинопоэме «Чужого горя не бывает» раскрыта история этого стихотворения: «„Жди меня, и я вернусь. Только очень жди“. Я написал эти стихи давно, очень давно. А через тридцать лет — только подумайте — через тридцать лет! — услышал там, во Вьетнаме, во вьетнамском переводе на войне, которая все еще шла, все еще не кончалась, эти стихи, которым давно бы пора умереть вместе с войной. Именно так я и сказал во Вьетнаме тому, кто их перевел...» (ИК, 1973, № 2, с. 190). *То Хыу* (р. 1920) — вьетнамский поэт.

174. ВЗС, с. 1 — как автоэпиграф ко всей книге.

175. ЛГ, 1971, 7 июля, с. 3; Из ТТ — без загл. Печ. по СС-2, с. 320. Стих. посвящено памяти летчиков-космонавтов СССР, в июне 1971 г. погибших при завершении программы полета на орбитальной станции «Салют». Черновые автографы — ЛА.

176. «36—71», с. 333. Черновые автографы — ЛА; вариант загл. — «Письма». У Л. И. Лазарева хранится авторизованная машинопись варианта со следующей концовкой, которая заключена Симоновым в скобки и против которой на полях рукой автора поставлен вопросительный знак:

Взять — издать бы эту книгу писем,
Пристыдить бы ею белый свет.
Совестно, что мир людей зависим
Больше от подлодок и ракет,
Равновесий и соотношений
Сил, способных к атомной войне, —

Чем от подлинно людских решений,
Принятых над книгой в тишине...

177. «36—71», с. 335. Автограф варианта под загл. «22-е июня» — ЛА; ст. 2 читается: «Без паузы, без перехода».

178. СО, 1972, № 8, с. 42, под рубрикой «Из цикла „Память“». Черновые автографы, машинопись — ЛА; в черновиках — вариант начала:

Народ перед бедою не согнулся,
Хотя шагнула до Москвы война.
Как памятник свершившим всё сполна,
И тем, кто жив,
И тем, кто не вернулся, —
Стоит послевоенная Москва.

179. СО, 1972, № 8, с. 42, под рубрикой «Из цикла „Память“». Черновые автографы — ЛА.

180. СО, 1972, № 8, с. 43, под рубрикой «Из цикла „Память“». Черновые автографы — ЛА; помета: «9.IX.71. Югославия»; вариант загл.: «Срок давности».

181. СС-2, с. 329. В машинописи (ЛА) — зачеркнутое загл. «Осенние реминисценции». *Позднее киплингианство* — в юности Симонов испытал сильное влияние Р. Киплинга, чью поэзию высоко ценил и в дальнейшем; он является автором ряда переводов из Р. Киплинга. *Не за Запад и Восток* — намек на «Балладу о Западе и Востоке» Р. Киплинга.

182. СС-2, с. 328. Автограф с датой: «15/XII.73», с зачеркнутыми вариантами загл.: «Божьи пилюли», «О медицине и провидении» — ЛА.

183. СС-2, с. 330. Машинопись — ЛА.

184. СС-2, с. 331. Машинопись с датой: «13.10.74» — ЛА. *На том ли, знаменитом, тесном* — речь идет о Новодевичьем кладбище в Москве.

185. ДН, 1980, № 2, с. 25, в подборке «Стихи последних лет». Датируется на основании того, что стих. есть в самодельной машинописной книжке, переплетенной в 1975 г. (ЛА).

186. ДН, 1980, № 2, с. 27, в подборке «Стихи последних лет». Датируется по аналогии с предыдущим. *Вердикт* — здесь: приговор. *В. Г. Бенедиктов* (1807—1873) — русский поэт. Понятие «бенедиктовщины» предполагает шумный, но недолговечный и легковесный успех.

187. СС-2, с. 333. *В. В. Михайличенко* — капитан сухогруза, на котором Симонов с женой и дочерью в 1975 г. совершил путешествие по Севморпути.

188. СС-2, с. 332. Как и предыдущее, навеяно путешествием по Севморпути.

189. СС-2, с. 334. *Самед Вургун* (1906—1956) — азербайджанский советский писатель. Симонов перевел ряд его стихотворений. Ему же посвящены не вошедшие в это издание стих. Симонова «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне» (1948) и воспоминания «Сила и нежность» («Литературный Азербайджан», 1976, № 5, с. 11). Черновой автограф и машинопись варианта под загл. «Самеду Вургуну, в год его семидесятилетия», с датой: «14.XI.1976» — ЛА; на месте 2-й, заключительной, строфы было:

И хотя ушел ты так давно,
Что следы перемела метелица,
На живых и мертвых — всё равно
Те, кого мы помним, — нет, не делятся!

Те, кого поэтами зовут,
Те, кто нас в друзья когда-то выбрали, —
После смерти всё равно живут.
Их из нас и двадцать лет не вырвали.

И в Каспийской отражен волне,
Смелых душ и честных рук творение —
Твой родной Баку живет во мне,
Как твое, Самед, стихотворение...

190. ВЛ, 1977, № 1, с. 296, с подзаг. «Иронические стихи». Печ. по СС-2, с. 335. Автограф с датой: «IX.1976» — ЛА. *Адриан* (76—138) — римский император из династии Антонинов. *Ракия* — фруктовая водка.

191. ДН, 1980, № 2, с. 27, в подборке «Стихи последних лет». Машинопись — ЛА. Написано во время поездки в Турцию в 1976 г. *Эфес* — древнейший город в Карии, области на юго-западе Малой Азии (на территории современной Турции).

ПОЭМЫ

192. Окт., 1937, № 10, с. 19, с подзаг. «Поэма», с датой: «Июнь 1936 — июнь 1937»; НЛ — под рубрикой «Из цикла „Мужество“», с датой: «Июнь 1937»; «Победитель»; Соч. 1952; СиП, 1955. Печ. по ТТ, с. 46. В письме в школьный музей Николая Островского г. Каменец-Подольского Симонов в 1967 г. рассказывал: «Было мне тогда двадцать — двадцать один год, это была одна из первых написанных мною тогда поэм. Начал я ее писать взволнованный высоким духовным подвигом Островского.

Когда начал писать поэму, Островский был еще жив, а закончил ее писать уже вскоре после его смерти. Таким образом, поэма, начатая как поэма о живом человеке, впоследствии оказалась своего рода поэтическим памятником ему.

Конечно, памятником его назвать нельзя, так как поэма юношеская, во многом слабая, несовершенная, но написана она была от души, и я в ней, как мне и сейчас кажется, выразил чувства, важные

для моего поколения в ту предвоенную суровую пору» (ЛА). Интересно признание, сделанное Симоновым в одном из писем 1971 г.: «Поэма-то называется «Победитель», она посвящена памяти Островского, но я брал только за основу образ Островского и не собирался писать документальную поэму. Поэтому в этой поэме, которая, в общем, соответствует своим ходом — ходу жизни Островского, много чисто поэтического вымысла» (ЛА). При переизданиях журнальный текст был Симоновым сокращен.

⟨Глава⟩ 1. *Следом влетели польские кони* и т. д. В 1920 г. петлюровцы совместно с войсками белопанской Польши захватили Шепетовку, в которой жил Н. Островский. *Железная тыква системы Мильса* — английская ручная граната, изобретенная Г. Мильсом.

⟨Глава⟩ 8. *Отрывисто тявкал чужой пулемет.* Здесь и далее говорится о советско-китайском конфликте 1929 г.

⟨Глава⟩ 11. *Перья штампуют из той же стали* и т. д. Обыгрывается строка В. Маяковского: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо. . .» («Домой»).

193. Зн., 1938, № 1, с. 182; НЛ — с датой: «Август — декабрь 1937»; СиП, 1955; ТТ; СС-1. В ряде изд. — отдельно «Заключение» поэмы. Печ. по СС-2, с. 355. Автографы набросков и машинопись варианта с подзаг. «поэма-памфлет» — ЦГАЛИ. В Зн. поэму в целом предваряли два эпиграфа: «. . .и наѣхаша на полкъ Нѣмци и Чюдь, и прошибошася свинею. . .» (Новгородская Первая Летопись); «„А те, которые попытаются напасть на нашу страну, — получат сокрушительный отпор, чтобы впредь неповадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород" И. Сталин». Приведем также некоторые строфы из редакции Зн., затем опущенные. После ст. 332 следовало:

— Не хочет ехать? Врет, вернется!
Он может спорить, не хотеть, —
Душа военная проснется —
Заставит в Новгород лететь!

После ст. 599 следовало:

Наверное в таком же раже,
На речь и на руки быстры,
Засыпавшись по крупной краже,
Костят наводчика воры.

Да что воры! Сейчас в Берлине
Костит сам Геринг свысока
За упущенья в дисциплине
Потомков этого князька.

О замысле поэмы см. примеч. 194 и вступ. ст. наст. изд., с. 18. Эпиграфы ко второй, третьей и четвертой главам сверены по «Полному собранию русских летописей» (т. 3, 5, 16), эпиграф к пятой главе далек от источника. В летописях фигурируют все исторические персонажи поэмы.

Глава первая. В 1918 г. Псков был оккупирован германскими войсками и освобожден Красной Армией. Принц *Леопольд Баварский* (1846—1930) — генерал-фельдмаршал, главнокомандующий Восточным фронтом вооруженных сил Германии в период первой мировой войны. *Железный крест* — прусский военный орден.

Глава вторая. *Два дня, как Псков потерян нами.* В 1240 г. часть псковского боярства изменнически сдала город Ливонскому ордену — немецким рыцарям-феодалам. *В больших посадничьих палатах.* Посадник — старшина города, выборный воевода. *Переветчик* — изменник. *Комтур* (нем.) — в рыцарском Ордене глава округа.

Глава третья. *Меньшие люди* — низшие слои населения, чернь. *Вслед за посадником степенным.* Степенный посадник — правящий в настоящее время, не отставной.

Глава четвертая. *Ливонцы в глубь Руси прорвались* и т. д. Рыцари Ливонского ордена, стремясь захватить Псковскую и Новгородскую землю, заключили с датскими и шведскими рыцарями союз, который вдохновлялся папой римским, надеявшимся обратить русский народ в католичество. *Ливонский мейстер* — глава Ливонского ордена; подчинялся непосредственно папе римскому. *Орать* — пахать. *В Переяславль ушел к отцу.* Александр Невский (1220—1263), сын Ярослава II, поссорившись с новгородцами, ушел из города. ... *он шведа бил.* В Невской битве 1240 г. князь Александр малыми силами одержал победу над многочисленными шведскими войсками, за что и получил прозвание Невского. *Ушкуйник* — вольный человек, странник, разбойник. *Стихарь* — одеяние для богослужения. *Магистр* — глава Ордена, мейстер.

Глава пятая. *Копорье* — город (ныне — село) на побережье Финского залива, где в XIII в. была выстроена крепость. *Кнехт* (нем.) — рыцарь, солдат. *Великая* и *Пскова* — реки. *Ижоряне* — племена, населявшие земли по берегам Невы и побережье Финского залива; эти земли принадлежали Новгороду. *Емь* — прибалтийско-финское племя, жившее в XI—XVI вв. на берегу Финского залива; в XI—XII вв. емь платила дань Новгороду. *Весь* — одно из древнейших племен западно-финской языковой группы; в X—XII вв. ассимилировалось с русскими племенами. *Хлоп* — холоп. *Смерды* — наименование феодально зависимых крестьян-общинников в Древней Руси (IX—XIII вв.). *Житьи люди* — жители Новгорода, относившиеся к категории богатых землевладельцев. *Концы* — части города, имевшие особые кончанские веча. *Фряжский* — заморский.

Глава шестая. Ледовое побоище на Чудском озере произошло 5 апреля 1942 г. *Ошую* — слева. *Вороний Камень* — остров на Чудском озере. *Одесную* — справа. *Узмень* — самое узкое место Теплого озера, соединяющее Чудское и Псковское озера. *Уже смешались люди, кони... Бояре старые ворчали* — реминисценции стих. Лермонтова «Бородино».

Глава седьмая. *«Нах Дейтчлянд»* (нем.) — «В Германию». *Фатерлянд* (нем.) — отечество.

Заключение. *«Майн Кампф»* (нем.: «Моя борьба») — книга Гитлера, проповедующая расизм и антикоммунизм. *Великий Фридрих* — Фридрих II (1712—1786), прусский король. Вел многочисленные захватнические войны. Его армия считалась сильнейшей в Европе, однако в сражениях против русских войск неизменно терпела поражения. *Пруссаки, вместе с Бонапартом.* Во время Отечественной войны 1812 г. армия Наполеона Бонапарта, выступавшая в союзе с Австрией и Пруссией, потерпела поражение. *«И если гром великий грянет»* и т. д. — цитата из «Интернационала».

194. Фрагмент (ст. 782—942) — ЛГ, 1938, 15 октября, с. 1. Полностью — Зн., 1939, № 5-6, с. 81, с датой: «1938—1939». Отд. изд.: К. Симонов, Суворов. Поэма, М.—Л., 1940; СиП, 1945; СиП, 1955; ТТ. Печ. по СС-2, с. 382. Автографы черновых набросков и правленая машинопись — ЦГАЛИ; в одном из вариантов 3-я глава имеет загл. «Смерть». Приведем несколько фрагментов из редакции Зн., затем опущенных. После ст. 221 следовало:

И, отшвырнув, из-под руки
Глядит, не скачут ли навстречу,
И долго дует в кулаки,
По-стариковски сгорбив плечи.

После ст. 245 следовало:

Рассказчик смолк. Из-за угла
Донесся долгожданный топот.
Шел Павел. Зала замерла,
Остался только палок грохот.
Но было слышно на момент,
Как вдруг не в такт немецким маршам
Марш «Как ходили под Дербент»
Об стол выстукивал фельдмаршал.

После ст. 363 следовало:

Он вспоминает: в девяностом
Как раз второго декабря
На Измаильских аванпостах
Стояли эти егеря,
Когда, продрогнувши в дороге
И до смерти загнав коней,
Два всадника размяли ноги
У русских лагерных огней.
Вся свита по пути отстала,
Суворов прибыл налегке.
Казак пожитки генерала
Вез в трехфунтовом узелке.
Сто верст они по снегу гнали.
На аванпостах дан привал.
Суворова солдаты знали,
А кто не знал, тот узнавал
Его по маленькому росту
И по простому сюртуку,
А дальше по тому, как просто
Подсел он с ними к огоньку
И, завернув рукав, картошку
Брал из солдатского котла
И подбирал с коленей крошки, —
Он знал — еда скудна была.
Еще он наскоро обедал,
Еще не говорил с полком,

А все уж знали — к ним победа
Явилась с этим стариком.

После ст. 1149 следовало:

...Под крышей верещат скворцы,
Гремит ямская колымага,
И под колесами торцы
Потрескивают, как бумага.
Протяжно, как веретено,
Скулит в собашнике борзая...
Ну, ладно, хватит, замерзаю!
Не надышаться всё равно.

Большой интерес представляет изд. 1940 г. для детей с подробными постраничными примечаниями и эпиграфами к каждой из глав. Поэма посвящена *П. Г. Антокольскому* (1896—1978) — советскому поэту, одному из любимых учителей и наставников Симонова, руководителю семинара в Литинституте. Ему Симонов во многом обязан и замыслом поэмы и материалами из богатой библиотеки Антокольского по российской истории, которые тот щедро предоставил своему ученику. «Думая о предстоящей вооруженной схватке с фашизмом, некоторые из нас, — писал Симонов, — обращали взгляды в русскую историю, и прежде всего в военную историю нашего отечества. Размышлениям на эту тему были посвящены в предвоенные годы мои поэмы «Ледовое побоище» и «Суворов» 〈...〉 Работа над ними была тогда существенной частью моей нравственной жизни» (ВЛир., с. 4).

1. Опала. В 1797 г. Суворов, взгляды которого находились в резком противоречии с политикой Павла I, подвергся опале, был отчислен из армии и сослан в свое родовое имение, где провел около двух лет, пока вновь не понадобился царскому правительству, примкнувшему к коалиции, начавшей войну против Франции. 1. *Указы* императора *Павла* (1754—1801) насаждали в России жестокий полицейский режим. *«Впредь Машками под страхом палок Не сметь ни коз, ни кошек звать...»* Указ был введен в связи с тем, что императрицу звали Марией. ...*новый Холодный памятник Петру* — конный монумент Петра работы К. Растрелли, установленный перед Инженерным замком в Петербурге в 1800 г. ...*в пику Фальконету*, т. е. скульптору Фальконе — автору Медного всадника. *Пять лейбгвардейцев на пирушке* и т. д. Речь идет о заговоре против Павла I. *Возводят замок у Невы* — Михайловский (Инженерный) замок, выстроенный как резиденция Павла I. *Григорий Орлов* (1734—1783) — граф, фаворит Екатерины II, один из главных организаторов убийства Петра III. *Крикнул петухом* — известная причуда Суворова. 2. *Кончанское* — село в Новгородской губернии, место ссылки Суворова. *Шлафрок* — домашний халат. *Поставец* — шкафчик для посуды. *Рескрипт* — царское письмо с объявлением милости. *Вахтпарад* — смотр войск, на котором при Павле I все находившиеся в Петербурге офицеры обязаны были ежеутренне присутствовать. *Плутарх* (ок. 45—127) — древнегреческий писатель и историк. 3. *Измаил* — крепость, которая в ходе русско-турецкой войны под командованием Суворова была победоносно взята 11 (22) декабря 1790 г. *Цезарь* (102 или 100—44 до н. э.) — один из крупнейших государственных деятелей и полководцев Древнего Рима. *Контрэскарпы* — заградительные укрепления.

Ложементы — окопы. *Засека* — преграда из наваленных деревьев. *Флешь* — укрепление. *Картечь* — вид снарядов. *Егеря* — вид легкой пехоты. *Фанагорийцы, гренадеры, суворовцы.* Имеются в виду соответствующие полки. *Им гатчинцы даны в капралы.* Речь идет о гарнизоне в Гатчине, офицеры и унтер-офицеры которого еще до прихода Павла I к власти обучались им на прусский манер; впоследствии это название стало нарицательным вообще для павловских приспешников. *Но сквозь их косы, букли, пудру.* При Павле I волосы солдат посыпали мукой, сзади к голове привязывали прут для косы, к вискам прикрепляли войлочные букли. *Эфес* — рукоятка сабли. 4. *Хвостов Д. И.* (1757—1835) — граф, поэт, муж кн. Горчаковой, племянницы Суворова. *Камзол... канифасный* — короткая мужская одежда из полосатой бумажной ткани. *Геральдический лист* — здесь: документ о пожаловании высокого титула. *Клеврет* — приспешник, не брезгующий ничем, чтобы угодить своему повелителю. *Голштинские палки* — здесь в смысле: палочная дисциплина; выражение, связанное с голштинским происхождением Петра III, отца Павла I.

2. Последний поход. В главе описывается героический переход русских войск под командованием Суворова из Северной Италии через Альпы в Швейцарию 28 августа (8 сентября) — 28 сентября (9 октября) 1799 г. В изд. 1940 г. (Детиздат) главу — под загл. «Альпийский поход» — предварял эпиграф: «Переход русских через эти горы до сих пор еще живет в памяти местных жителей как предание полубаснословное... На картах Швейцарии эта тропинка обозначена простою подписью: „Путь Суворова в 1799 году“». 1. *Таверна* — городок у подножья Альп. *Сиеста* — в Италии: полуденный отдых. *Галун* — нашивка на форменной одежде. *Фуражир* — военнослужащий, ведающий кормом для армейских лошадей. 2. *«Георгий».* Речь идет об ордене «Георгиевский крест». *Когда он Вену посетил.* Суворов посетил Вену в марте 1799 г. с тем, чтобы принять командование над соединенной русско-австрийской армией. *Орден Подвязки* — высший английский орден, основным знаком которого была голубая матерчатая повязка с пряжкой над левым коленом. *За степи, За Черноморье, за Азов.* Речь идет о русско-турецкой войне 1768—1774 гг., в ходе которой был взят Азов. 3. *Сен-Готард* — горный хребет в Альпах; через него шел путь из Италии в Швейцарию. *При Нови жаркий приступ был.* Имеется в виду сражение в августе 1799 г. в ходе Итальянской кампании, выигранное Суворовым. *Петарда* — старинный разрывной снаряд. *«Се мой (гласит он) воевода!»* и т. д. — цитата из оды Державина «На победы в Италии» (май 1799). *Пиите бедному, Кострову* и т. д. Суворов был дружен с поэтом Е. И. Костровым (1751—1796), который написал «Оду его сиятельству графу Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому» и «Эпистолу, ему же на взятие Измаила». *Кобринский дом* — речь идет о пожалованном Суворову имении Кобрин. *Багратион* П. И. (1765—1812) — генерал от инфантерии, военачальник суворовской школы, участник Итальянского и Швейцарского походов Суворова. 4. *Капуцины* — монахи, принадлежащие к католическому ордену. *Шандал* — тяжелый подсвечник. *«Глагол времен — металла звон»* — цитата из оды Г. Державина «На смерть князя Мещерского». 5. *Муттен* (Муттенталь) — местечко в Швейцарии. *Римский-Корсаков* А. М. (1753—1840) — генерал от инфантерии, командовавший русским корпусом в Швейцарии и потерпевший поражение. *«Давать пардон»* — давать пощаду (простореч.). *«Просить пардону»* — просить пощады. *Он сто хлебов испечь не мо-*

жет! Здесь иронически обыгрывается евангельское предание о том, как Иисус насытил тысячи человек пятью (семью) хлебами. *Козлуджа* (ныне — Суворово) — село в Болгарии, где во время русско-турецкой войны 9 (20 июня) 1774 г. войсками Суворова была одержана победа. *Туртукай* — город в Болгарии; во время русско-турецкой войны в 1773 г. в боях под Туртукаем Суворов впервые применил необычный для того времени боевой порядок войск. *Ланцкорона, Прага, Краков... Брест.* Речь идет о победах Суворова в походах 1768 и 1771—1772 г. *Рымник* — река, на которой в 1789 г. Суворов, во главе русско-австрийского войска, разгромил вчетверо превосходящую турецкую армию, за что получил титул графа Рымникского. *Очаков* — турецкая крепость, взятая Суворовым в 1788 г. *Кинбурн* — речь идет о разгроме турецкого десанта на Кинбурнской косе в 1797 г. В. Х. *Дерфельден* (1735—1819) — генерал-аншеф, выученик и соратник Суворова. *И. П. Трубников* (1756—1799) — полковник, участник Швейцарского похода 1799 г. 6. *Рингенкопф* — горная вершина в Альпах.

3. Одиночество. Вернувшись в Россию, больной и изнуренный, встреченный новой опалой Павла I, Суворов скончался 6 (18) мая 1800 г. 1. *Гайдук* — выездной лакей, стоявший на запятках кареты. *Торговый мост* — через р. Мойку у Исаакиевской (бывшей Торговой) площади. 3. *Полков гвардейских не дал Павел.* При погребении Суворову были отданы воинские почести рангом ниже положенного: в церемонии участвовали только армейские части, а гвардия назначена не была под предлогом усталости от недавнего парада.

195. МГ, 1938, № 6, с. 140; «Победитель» — с пометой: «Мурманск. Февраль 1938 г.»; СиП, 1945; Соч. 1952; ТТ. Печ. по СС-1, с. 367. Авторизованная машинопись раннего варианта под загл. «Мурманские ночи (репортаж)», с пометой: «Мурманск. 6—11 февраля 38 г.» — ЦГАЛИ. При переизданиях журнальный текст был сокращен Симоновым. Так, например, после ст. 192 в МГ следовало:

Пусть мы разбились. Всё равно.
Пусть их спасет другой. Одно
Сказал я доктору: «Пока
Я не узнал наверняка,
Что их со льдины достают,
Пускай ко мне не пристают,
Чтоб я спокойнее лежал.
Мне медицину очень жаль,
Но мне лекарства не нужны,
Мне б вместо них газетный лист,
Где б нам надежный журналист
Сказал, что парни спасены».

В ряде изд. «Мурманские дневники» печатались в разделе стих., в других — в разделе «Поэмы». Однажды Симонов определил их жанр так: « В основу этой маленькой поэмы легли события тех тревожных дней, когда в 1938 году снимали со льдины «Северный полюс» папанинцев. Я поехал тогда в Мурманск, но мне, молодому поэту, студенту Литературного института, несмотря на все мои старания, так и не удалось попасть ни в одну из спасательных экспедиций» (ВИД, с. 141). Одному из своих читателей Симонов в письме от 23 января 1969 г. сообщал также: «В основу поэмы лег мой разговор в мурман-

ском госпитале с одним из лежавших там пострадавших при катастрофе воздухоплавателей» (ЛА). Симонов подчеркивал связь «Мурманских дневников» с «Дорожными стихами». Так, в предисловии к МН он писал: «Книга открывается поэмой «Мурманские дневники», написанной в 1938 году, за нею следует цикл «Дорожных стихов», написанных почти одновременно с этой поэмой и тоже навеянных поездкою в Мурманск» (с. 6). *Печенга* — незамерзающий порт на берегу Печенгской губы Баренцева моря. *Муксольма* (Муксалма) — один из Соловецких островов в Онежском заливе Белого моря. *Ял-Майнен* — полуостров на берегу Ледовитого океана.

196. Зн., 1938, № 12, с. 64, с подзаг. «Лирическая поэма»; ДС; СиП, 1955. Печ. по СС-1, с. 373. Подступом к поэме было стих. «Дом» 1935 г. (см. о нем вступ. ст. к наст. изд., с. 13), посвященное А. Т⟨ипот⟩ — девичья фамилия Н. В. Соколовой, писательницы, первой жены Симонова; ей же посвящена книга «Настоящие люди». Тетрадь с автографом одного из вариантов поэмы (первоначальное загл. — «Трудное счастье») — ЦГАЛИ. В Зн. вступление и заключение выделены курсивом; вместо «Пятая страница» — «Последняя страница». В главе «Третья страница» после ст. 306 следовало:

Это вовсе невесело —
всё понимать с полуслова,
Всё во взглядах читать.
Узнавать по дрожанию рук.
Быть всё ближе и дальше
и слышать, как снова и снова
Незаметно «мой милый»
менялось на «милый мой друг».

После ст. 330:

Может, если б детей
мы с тобою в то время имели,
Мы про многие беды
сказали б с тобой — не беда!
Может, с нашей тоской
мы иначе бы сладить сумели...
Впрочем, что тут гадать.
Я не знаю, что было б тогда.

В главе «Четвертая страница» после ст. 450:

А на самом краю,
одинокую жизнь заключая,
Первый снимок, который
я вместе с тобою делю:
Оба сняты при лампочке,
после вечернего чаю,
Под огромной афишей
комедии «Я вас люблю».
Нам казалось тогда
это шуткой хорошего тона.
Нам осталось сегодня,
себе же в печальный упрек,

Снова сняться вдвоем
под огромным щитом из картона,
«Я тебя не люблю»
написавши на нем поперек.

Вторая страница. *Со строгими фресками Грека.* Имеется в виду церковь Спаса Преображения в Новгороде, расписанная в 1378 г. великим живописцем Феофаном Греком.

197. Ст. 1942, с. 91, под загл. «Главы из поэмы „Первая любовь“», с датой: «1936—1941»; СиП, 1945; Из. 1948; СиП, 1955; СС-1; ПТС. Печ. по СС-2, с. 432. Черновой автограф и машинопись с авторской правкой — ЦГАЛИ. Там же — тетрадь со стихотворными набросками поэмы, перемежающимися прозаическими «заметками». Приведем некоторые из них: «А все-таки любовь для него всегда была вторым делом — и это его вывозило в жизни. Правда, что в то же время без любви работа обессмысливается, человек превращается в спокойную, сильную и грустную в своем одиночестве машину ⟨...⟩»

«Побольше людей, проходных, случайных, не относящихся к делу персонажей — они должны быть как бы вторым рядом отступлений...»

«Мать как вечная, но самая верная тень, подруга сына, отступающая в сторону, когда у него жена, но навсегда не уходящая...»

«Его характер двойственен для себя и для других. Он сам для себя увлекающийся, горячий, экспансивный, очень тонкокожий и легко уязвимый человек, таким он себя ощущает и внутренне и внешне ⟨...⟩ Но как только я перехожу к тому, как воспринимают его другие люди, тотчас же все меняется — внешне ничто не выдает его внутренней горячности, романтичности и т. д. и т. п. Внешне он спокойный, всегда ровный, сдержанный, чуть холодноватый человек...»

Подступом к поэме «Первая любовь», в частности к ее 3-й главе, была ранняя поэма «Возвращение» (Окт., 1937, № 7) — некоторые строфы совпадают почти дословно. Сама «Первая любовь» создавалась, что нехарактерно для Симонова, мучительно. «Когда-то, — писал он в 1965 г. одному из своих корреспондентов, — когда у меня долго никак не выходила поэма «Первая любовь», в которой было что-то около 6000 строк и чего только не было, я в конце концов набрался решимости и, плюнув на последовательность событий, на разные сюжетные ходы, взял и вычеркнул все, что мне казалось слабым, скучным, не вышедшим, и оставил то, что, на мой взгляд, удалось. В итоге из 6000 строк вышло 1300 строк, и эти 1300 строк с той поры всегда и печатаются...» (ЛА). При переизданиях текст поэмы подвергался авторским сокращениям. Так, в Ст. 1942 после ст. 76 следовало:

Как страшно, если после пошлой фразы
Привычным жестом кто-то привлечет
Ту девочку, которой мы ни разу
Руки пожать не смели целый год.

После ст. 192 следовало:

Он с грустью вспомнит всё, что слишком скоро
Начнет сбываться на твоем веку:
И первых встреч ревнивые укоры,
И лживых писем первую строку.

После ст. 540 следовало:

Знай, что себе поможешь только ты,
Пускай земля тебе не будет пухом,
Ты должен уставать до глухоты,
Чтоб слышать жизнь своим оглохшим ухом.

После ст. 564 следовало:

Он в первый день не заходил в музеи.
Весь день ушел на главное — на то,
Чтоб просто так, толкаясь и глазея,
Подняв от снега воротник пальто,
Все улицы обегать, привыкая.
«Как вас зовут?» — «Москва». — «Слыхал не раз,
Но я хочу узнать, кто вы такая,
Без клеветы и дружеских прикрас.
Вам надо прямо?» — «Да». — «Мне тоже прямо».
Весь день он шел, с Москвою говоря,
Названья улиц, вывески, рекламы
Читая, как страницы словаря.

После ст. 802 следовало:

Нет, мне не стыдно их. Пусть в них хула,
Пусть грязь. Плевок из горечи и желчи.
Но если бы она сейчас вошла,
Я, всё забыв, за ней пополз бы молча.

Известен внутрииздательский отзыв на поэму «Первая любовь» А. Фадеева: «Поэма написана рукой вполне квалифицированной. Есть очень неплохие строфы и целые главы — там, где поэту удается воскресить бытовую обстановку недавних лет, и там, где он изображает интимную сторону любви (очень целомудренно и в то же время с живою кровью). Но в целом поэма меня, как читателя, не удовлетворяет. Любовные переживания юноши, показанные на таком длинном полотне, точно вынуты из окружающей жизни, из всего многообразия дум и чувствований героя. Основной замысел не нов, все это было уже не раз в классической поэзии. Только включение нашей, очень своеобразной, неповторимой эпохи во все клеточки поэмы заставило бы ее ожить, как новое и свое. А так — это общо, для всех и ни для кого» (А. Фадеев, За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве, М., 1957, с. 806). Симонов, однако, был убежден в органичности своего замысла. «...Насчет оценки Фадеевым поэмы «Первая любовь» не был согласен с ней ни тогда, ни сейчас, — писал он 15 июля 1962 г. одному из своих корреспондентов. — Не исправил в поэме ни одной строчки и напечатал ее, как была, во время войны. Это не значит, что я считаю поэму столь хорошей, — в ней есть и много юношеского, слабого, но оценка Фадеева была для меня неприемлема по существу. Да, в данном случае, мне кажется, она случайна и для него. Он гораздо шире и по-другому смотрел на вещи о любви, чем это можно подумать по его рецензии на „Первую любовь“» (СиД, с. 643). В письме к другому читателю Симонов в 1971 г. заметил: «Поэма эта не автобиографическая, и в то же время — автобиографическая, как и всякие стихи о любви» (ЛА). См. также примеч. 201.

Третья глава. *Прошла, как мимолетное виденье.* Реминисценция стих. А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье...».

198. Окт., 1942, № 11, с. 10, под загл. «Родина», с подзаг. «Главы из поэмы»; Ст. 1942; «Война»; Из. 1948; СиП, 1955; СС-1. Печ. по СС-2, с. 466. В Окт. главы под иными загл. следовали в ином порядке: 1. Марш через степи (соответствует главе «О миражах»). 2. Сражение (соответствует главе «О том, как танки идут в атаку»). 3. Вечер после боя (соответствует главе «О вечере после боя»). 4. Братское кладбище (соответствует главе «О погибших»). Порядок и количество глав установились в Из. 1948. Поэма создана на материале халхин-гольской поездки 1939 г. (см. примеч. 22—36). О реальных событиях и судьбах, легших в основу поэмы, см.: СС-1, т. 6, с. 494—495. «Эта лирическая поэма, — писал Симонов, — связанная с военными событиями в далекой Монголии ⟨...⟩ примыкает к циклу стихов «Соседям по юрте» и как бы завершает его» (ВЛир., с. 4). 19 марта 1965 г. в письме в редакцию журнала «Смена» Симонов вспоминал: «Я был на Халхин-Голе ⟨...⟩ и впервые увидел там своими глазами войну — жестокую и кровопролитную.

Вернувшись оттуда, я написал о событиях на Халхин-Голе небольшую книгу стихов и поэму «Далеко на Востоке». Я закончил ее в апреле 1941 года ⟨...⟩ Но напечатать ее не удалось.

Я, как и многие другие писатели моего поколения, учился тогда на курсах военных корреспондентов, и едва я поставил точку на поэме, как мы выехали в военные лагеря под Москву ⟨...⟩ В те дни было не до поэмы, и только в 1942 году, когда готовилась к печати книга моих стихов, я включил туда и поэму «Далеко на Востоке».

Не скрою, я был рад, что могу в разгар войны напечатать ее, не исправляя в ней ни слова. Это значило, что перед войной, когда я писал поэму, я был далек от шапкозакидательства и от веры в легкие победы, добытые малой кровью» (ЛА). Обращаясь к исследователю своего творчества С. Фрадкиной, Симонов в 1965 г. писал также: «В военные годы замысла поэмы о солдате и о народе на войне у меня не было, были отдельные стихи по ходу войны. Но что понимать под военными годами? Если брать военные годы начиная с тридцать девятого, с первого, так сказать, боевого крещения в Монголии, то я написал поэму о людях на войне. Она называется «Далеко на Востоке». Написана она в сороковом — в сорок первом году, закончена где-то в марте сорок первого — в преддверии Великой Отечественной войны. Если перечесть эту поэму, то нетрудно убедиться, что она была не только о минувшей, небольшой войне в Монголии, но и о будущей войне. Она говорила о необходимости самым серьезным образом отнестись, с точки зрения собственной душевной закалки, к этой надвигавшейся на нас возможности» (ЛА). *Хинган* — Большой Хинган, горная система на востоке МНР. *Триплекс* — пуленепробиваемое стекло, которое применяется для закрытия смотровых щелей в танке. *«Если завтра война».* Имеется в виду популярная песня бр. Покрассов из одноименного фильма (1938 г.). *Ундурхан* — правильно: Ундер-Хан, река в Монголии. *Порт-Артур* — см. примеч. 5.

199. КЗ, 1941, 7 декабря, с. 3, с подзаг. «(Фронтовая поэма)» и с пометой: «Северный фронт»; отд. изд.: К. Симонов, Сын артиллериста. Фронтовая поэма, М., Воениздат, 1941 (Б-ка красноармейца); Лир. 1942 — в разделе «Фронтовые баллады». Печ. по СиП, 1955, с. 101.

В КЗ после ст. 252 следовало:

И при свече в землянке
В ту ночь мы подняли тост
За тех, кто в бою не дрогнул,
Кто мужественен и прост.
За то, чтоб у этой истории
Был счастливый конец,
За то, чтобы выжил Ленька,
Чтоб им гордился отец,
За бойцов, защищавших
Границы страны своей,
За отцов, воспитавших
Достойных их сыновей!

Поэма написана по свежим впечатлениям поездки в качестве военного корреспондента на Северный фронт осенью 1941 г.

Майор Е. С. Рыклис, ставший в поэме прототипом Деева, «второго отца» Леньки, рассказал Симонову историю, которая легла в основу поэмы. «Уже не помню, — писал Симонов в 1971 г., — называл ли мне тогда, во время нашей встречи на Севере, майор Рыклис фамилию этого лейтенанта-артиллериста, но если даже называл, должно быть, я не записал, а потом забыл.

Долгие годы на письма школьников, спрашивавших меня о дальнейшей судьбе «сына артиллериста» — Леньки, мне приходилось отвечать, что я не знаю его судьбы, но мне хочется надеяться, что Ленька, пройдя всю войну до конца, остался жив и здоров.

И только где-то уже в 1964 году 〈...〉 я вдруг узнал, что «сын артиллериста» жив и здоров и по-прежнему служит в артиллерии, но только теперь уже не на Крайнем Севере, а на Дальнем Востоке.

А вскоре после этого мы списались и встретились с «Ленькой» — с подполковником береговой артиллерии Иваном Алексеевичем Лоскутовым» (МН, с. 338—339). Отвечая на вопросы интервью ВЛ, Симонов сказал: «Если говорить о стихах, то со временем одни мне нравятся меньше, другие больше, но не могу сказать, чтобы резко менял к ним отношение. Меня трудно убедить в том, что, например, «Сын артиллериста» — это хорошие стихи. Я с самого начала знал, что это написано слабенько, лучше не получилось, что поделаешь. Но что-то в них, вероятно, было, если они вдруг взволновали людей. Я не каюсь, что написал их, они свое дело сделали, но когда я вижу их в школьной хрестоматии, мне хочется предупредить, что это не образец литературы, что это просто военный сюжет, волнующий ребят...» (СиД, с. 577).

200. Ог., 1954, № 44, с. 10; Ст. 1954. Печ. по СиП, 1955, с. 545. Симонов писал о поэме: «Я покочевал по такого рода гарнизонам — жизнь далеко не сахар; очень легко опуститься, омещаниться, потерять себя. Поэтому проблема достойного существования в качестве жены-общественницы тоже очень важная проблема, и она не снята и еще долго не будет снята с повестки дня в армии...» (СиД, с. 644). Переводчице своих произведений на немецкий язык Симонов в августе 1978 г. объяснял: «Разговорность поэтического языка определяется жанром, в котором ты работаешь. Ну, скажем, есть у меня такая поэма «Иван да Марья», она написана в форме обращения к уже пожилой женщине, которую я знал с детства и к которой обращаюсь на «вы» на всем протяжении повествования. Обращаюсь, и в то же время как бы вместе с нею вспоминаю ее жизнь» (ЛР, 1979, 30 ноября, с. 9),

⟨Глава⟩ 1. *По сожженным Махно уездам.* Н. И. Махно (1889—1934) был одним из главарей мелкобуржуазной контрреволюции на Южной Украине в гражданскую войну.

⟨Глава⟩ 7. *Мама, сколько лет было Зое?* Зоя Космодемьянская (1923—1941) — казненная фашистами партизанка; посмертно — Герой Советского Союза. *Спели, Как умрем мы за власть Советов.* Имеется в виду песня «Смело мы в бой пойдем...».

⟨Глава⟩ 11. *ППС* — полевая почтовая станция.

201. КП, 1958, 10 августа, с. 4; ВИД; ТТ; СС-1. Печ. по СС-2, с. 526. В КП после ст. 168 следовало:

Пять раз простреленный в бою,
Отдавший всё Отчизне...
И я с тревогой жизнь свою
С его сверяю жизнью.

ВИД — дата: «1955—1958». Как свидетельствует личный секретарь Симонова Н. П. Гордон, он начал диктовать ей поэму в январе 1956 г., до этого (то есть в конце 1955 г.), по своему обыкновению, выносив ее «в уме». Поэма посвящена А. Г. Иванишеву (1883—1961) — отчиму Симонова, кадровому военному. О влиянии отчима на свою жизнь и творчество Симонов говорил в Автобиографии (см. с. 60 наст. изд.). 3 сентября 1962 г. Симонов писал читательнице: «Сам я люблю эту свою поэму, и не столько за то, что она мне поэтически удалась, — ее, наверное, можно было бы написать гораздо лучше, — сколько потому что за ней стоит очень дорогой для меня и теперь, к сожалению, ушедший из жизни человек» (ЛА). В январе 1968 г., отвечая на письмо литературоведа Л. Заманского, Симонов размышлял: «Не задумывался над вопросом о единстве или душевной близости героев «Первой любви» и «Отца». Но сейчас, когда Вы поставили передо мной этот вопрос, думаю, что, пожалуй, Вы правы. В обеих поэмах есть возвращение к детству и юности, только в первой поэме — это возвращение в недавнее прошлое, а в «Отце» — это уже возвращение в далекое прошлое. Однако здесь есть некоторое сходство мотивов, а отсюда и душевная общность обоих лирических героев.

Кстати сказать, определение «лирический герой», пожалуй, закономернее для поэмы «Отец». В «Первой любви» многое придумано, и даже большая часть всего рассказанного придумана, хотя за этим и стоят собственные душевные переживания. «Отец» — это просто-напросто написано о себе, о своем детстве и о моем отношении к моему отчиму. Написана точная правда о живом еще тогда человеке, которому я читал и показывал эту поэму. И знаете, что интересно: человек этот был такого характера, что ему нельзя было бы показать эту поэму, если бы в ней что-нибудь было бы неточно, просто у меня не хватило бы решимости на это» (ЛА). А. Г. Иванишев послужил прототипом майора Васина в пьесе Симонова «Русские люди». *В бой на Антонова* — имеется в виду антисоветский кулацко-эсеровский мятеж под руководством А. С. Антонова в 1921 г., ликвидированный Красной Армией. «...Во мне, — писал Симонов, — среди многих иных воспоминаний живут и далекие детские воспоминания начала двадцатых годов. Я помню, как идут по улицам Рязани поредевшие роты красных курсантов, вернувшихся после ликвидации антоновщины» (ВЛир, с. 6).

ВОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Впервые раздел «Вольные переводы» появился в Соч. 1952, и в дальнейшем Симонов неизменно печатал свои поэтические переводы именно под такой рубрикой. Однажды он расшифровал это определение: «Я назвал эти переводы «вольными» не для того, чтобы подчеркнуть свое право далеко отходить от подлинника. Считаю, что всякий поэтический перевод, то есть попытка воссоздать на русском языке, исходя из законов русского стиха, произведение, написанное на другом, очень далеком языке, это именно вольный перевод, далекий от буквального. Иным он и не может быть, если стремиться перевести стихи стихами. Так и надо говорить читателю, не вводя его в заблуждение» (Голоса друзей. Стихи поэтов Узбекистана в вольных переводах Константина Симонова, М., 1960, с. 2).

ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ

С азербайджанской поэзией Симонов как переводчик был связан с самой ранней творческой юности. Он вспоминал: «Владимир Александрович Луговской ⟨...⟩в 1937 году, работая над созданием на русском языке антологии азербайджанской поэзии — классической и современной, — привез нас, нескольких тогдашних студентов Литературного института, в Баку для того, чтобы мы с его помощью и под его руководством занялись переводами для антологии. Это была смелая и добрая мысль — привлечь нас, полных задора и жизненных сил юнцов, к этой, очень серьезной и почетной для нас работе ⟨...⟩ Мы переводили классиков и современников, но даже при дистанции в несколько веков в истинной поэзии есть нечто связующее предков и потомков, и наше знакомство, наши завязавшиеся тогда молодые дружбы с современными азербайджанскими поэтами много дали нам не только для работы над переводами их собственных стихов, но и для работы над переводами азербайджанской классики. Через своих современников мы чувствовали историю народа и традиции его поэзии» («Литературный Азербайджан», 1976, № 5, с. 11).

Вагиф

Вагиф Молла Панах (ок. 1717—1797) — азербайджанский поэт и государственный деятель.

202. ААП, с. 95, под загл. «Мухаммес», с подзаг. «(Пятистишия)». Печ. по СПВП, с. 267. *Мулла* — у мусульман: служитель религиозного культа. *Шейх* — глава мусульманской секты.

Насими

Насими (Несими; ок. 1369—1417) — азербайджанский поэт.

203. ААП, с. 52; СПВП. Печ. по СС-1, с. 530. *Ангел Откровенья* — Джибрил, или Джибраил; в мусульманской мифологии один из четы-

рех приближенных к Аллаху ангелов, передает приказания и раскрывает пророкам волю Аллаха. *Хашимит и курейшит.* В ряде изд. примеч. Симонова: «то есть из рода хашим арабского племени курейш. По преданию, из рода хашим происходил Муххамед, считающийся основателем ислама».

Видади

Видади Молла Вели (1709—1809) — азербайджанский поэт.

204. ААП, с. 105; СПВП. Печ. по СС-1, с. 532.

205. ААП, с. 106, под загл. «Мусседес», с подзаг. «(Шестистишия)». Печ. по СПВП, с. 278. *Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства, согласно библейской традиции, славился необычайной мудростью.

Самед Вургун

Вургун Самед — см. примеч. 189.

206. ЛГ, 1956, 19 января, с. 2, в подборке «Три стихотворения». Печ. по СПВП, с. 280.

ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Галактион Табидзе

Табидзе Галактион Васильевич (1892—1959) — народный поэт Грузинской ССР.

207. ЛГ, 1973, 31 октября, с. 6, в подборке «Новые переводы».

208. Г. Табидзе, Лирика. Перевод с грузинского, Тбилиси, 1973, с. 93.

209. Г. Табидзе, Лирика. Перевод с грузинского, Тбилиси, 1973, с. 93.

ИЗ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ

Алишер Навои

Навои Низамаддин Мир Алишер (1441—1501) — узбекский поэт, мыслитель, государственный деятель.

210. «Правда Востока», 1968, 2 июня, с. 3.

ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

Валентин Тавлай

Тавлай Валентин Павлович (1914—1947) — белорусский советский поэт, участник революционно-освободительного движения в Западной Белоруссии.

211. ДиВ, с. 63, с подзаг. «Из Валентина Тавлая», с пометой: «Вольный перевод с белорусского»; Соч. 1952. Печ. по СПВП, с. 344. Перевод поэмы «Таварыш». Поэма носит автобиографический характер — Тавлай около семи лет провел в польских тюрьмах. *Франко* Баамонде Франсиско (1892—1975) с 1939 г. — глава испанского государства; в 1936—1939 гг. возглавлял военно-фашистский мятеж, направленный против Испанской республики. *Грабовский* Витольд (р. 1898) — польский политический деятель, в 1936—1939 гг. — министр юстиции Польши; деятель правого крыла, приверженец пилсудчиков. *Фалангисты* — члены фашистской партии, которая в 1936—1939 гг. активно участвовала в вооруженной борьбе против Испанской республики. *Интербригада* — имеются в виду боевые формирования добровольцев всего мира, сражавшихся на стороне Испанской республики в период национально-революционной войны 1936—1939 гг. *Камрадос* (исп.) — товарищи. *Долóрес* — Д. Ибаррури (р. 1895), деятельница испанского и международного коммунистического движения, во время испанской национально-революционной войны — одна из организаторов Народного фронта.

ИЗ ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

Назым Хикмет

Назым Хикмет Ран (1902—1963) — турецкий писатель, поэт, общественный деятель. Подвергался репрессиям со стороны турецкого правительства, много лет провел в тюрьмах. С 1951 г. жил в Москве. См. очерк Симонова «Назым Хикмет» (СС-1, т. 6, с. 784).

212—215. ЛГ, 1951, 24 июня, с. 1, с пометой: «Авторизованный перевод Константина Симонова». *Рука Макартура.* Макартур Дуглас (1880—1964) — американский генерал армии, в 1950—1951 гг. руководивший вооруженными силами интервентов в Корее. *Анатолия* — в древности название Малой Азии, позднее — азиатской части Турции.

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

Юлиан Тувим

Тувим Юлиан (1894—1953) — польский поэт.

216. «Поэты-лауреаты Народной Польши», в двух томах, т. 1, М., 1954, с. 212, под загл. «С крохами юности». Печ. по СПВП, с. 370. Перевод стих. «Z okruszynami młodości — co robić? Rozrzucić płakom? . .».

217. «Поэты-лауреаты Народной Польши», в двух томах, т. 1, М., 1954, с. 213. Перевод стих. «Erratum».

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ

Витезслав Незвал

Незвал Витезслав (1900—1958) — чешский поэт. Симонов вспоминал: «Я впервые увидел Незвала в 1945 году 〈...〉

В то лето я перевел три стихотворения Незвала ⟨...⟩ Когда я прочел Незвалу свои переводы, он обрадовался, обнял меня и долго хлопал по плечам и спине своими большими, толстыми, добрыми руками. Это не имело отношения к качеству переводов; да и Незвал, по правде говоря, в то время недостаточно хорошо владел тонкостями русского языка, чтобы судить, хороши или плохи эти переводы; его просто радовал сам факт. А кроме того, тогда, летом 1945 года, ему, кажется, было приятно, что эти, первые после войны, переводы его стихов сделал человек, одетый в советскую военную форму» (ИЛ, 1960, № 5, с. 168).

218. НМ, 1946, № 10-11, с. 123, с датой: «1943 г.». Перевод стих. «Venkovský katafalk».

219. НМ, 1946, № 10-11, с. 123, с датой: «1945 г.». Печ. по ИЛ, 1960, № 5, с. 174. Перевод стих. «Prapory devátého května».

220. НМ, 1946, № 10-11, с. 124, без загл., с датой: «1945 г.». Печ. по ИЛ, 1960, № 5, с. 172. Перевод стих. «Sbohem a šáteček».

221. ИЛ, 1960, № 5, с. 170, с датой: «1935—1936». Перевод стих. «Balada šestnáctá o naději v lidské zmoudření».

222. ИЛ, 1960, № 5, с. 171, с датой: «1935—1936». Перевод стих. «Balada třicátá čtvrtá o nezaměstnaných tovaryších».

223—225. Перевод цикла «Návrat domů».
⟨1⟩ ИЛ, 1960, № 5, с. 173. Перевод стих. «V překrásném měsíci máji...».
⟨2⟩ ИЛ, 1960, № 5, с. 173. Перевод стих. «Sbohem mé modravé dálky...».
⟨3⟩ ИЛ, 1960, № 5, с. 174. Перевод стих. «Projízdím kvetoucí Hanou...».

226. ИЛ, 1960, № 5, с. 177. Перевод стих. «Až».

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Редьярд Киплинг

Киплинг Джозеф Редьярд (1865—1936) — английский писатель; см. примеч. 181.

227. МГ, 1939, № 5, с. 100, под загл. «Департаментские песни», с подзаг. «Общий итог»; СПВП. Печ. по СС-1, с. 622. Перевод стих. «General Summary». *Хеопс* — древнеегипетский фараон; широко известна гробница-пирамида Хеопса. *Иосиф.* В Ветхом завете — один из двенадцати сыновей Иакова. *Зря, что ль, провиантом ведал он?* Здесь иронически обыгрывается сюжет из «Бытия»: старшие братья Иосифа приходят в Египет за хлебом, а не узнанный ими Иосиф, продававший хлеб, посылает их обратно.

228. МГ, 1939, № 5, с. 105, под загл. «Молодой британский солдат», с подзаг. «(Английский новобранец)». Печ. по СПВП, с. 408. Перевод стих. «The Young British Soldier».

229. МГ, 1939, № 5, с. 104. Печ. по СПВП, с. 406. Перевод стих. «Wilful-Missing».

230. МГ, 1939, № 5, с. 108. Печ. по СПВП, с. 411. Перевод стих. «The Hyenas».

231. МГ, 1939, № 5, с. 113; СПВП. Печ. по СС-2, с. 640. Перевод стих. «The Vampire».

232. СПВП, с. 413. Перевод стих. «The Lovers' Litany».

233—242. Цикл переводов напечатан в ЛР, 1966, 12 августа, с. 24, с предисловием Симонова: «В разное время в течение тридцати лет я понемногу переводил стихи Киплинга. Недавно я познакомился с его стихами, которых раньше не знал, — с его военными эпитафиями, написанными в эпоху первой мировой войны 1914—1918 годов, и мне захотелось перевести эти мужественные, правдивые, а порой и беспощадные стихи о войне.

По своей форме эти строфы Киплинга представляют собой как бы вырезанные на камнях надгробные надписи.

Форма — предельно лаконичная, делающая особенно трудной работу переводчика. Сумел ли я справиться с этой работой — пусть судит читатель». Общее название цикла в оригинале — «Epitaphs of the War».

⟨1⟩ Перевод стих. «A Dead Statesman».
⟨2⟩ Перевод стих. «The Refined Man».
⟨3⟩ Перевод стих. «Convoy Escort».
⟨4⟩ Перевод стих. «To Canadians».
⟨5⟩ Перевод стих. «Ex-Clerk».
⟨6⟩ Перевод стих. «The Beginner».
⟨7⟩ Перевод стих. «The Wonder».
⟨8⟩ Перевод стих. «The Coward».
⟨9⟩ Перевод стих. «A Servant».
⟨10⟩ Перевод стих. «Equality of Sacrifice».

243. СС-2, с. 644. Перевод стих. «The Appeal».

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* К. Симонов. 1977 г. Фотография газеты «Юманите».

2. *Между с. 80 и 81.* К. Симонов. Фотография 1922 г.

3. *На обороте.* К. Симонов — ученик фабзавуча. Фотография 1931 или 1932 г.

4. *Между с. 112 и 113.* А. Сурков и К. Симонов. Погорелое Городище. 1942 г. Фотография Виктора Темина.

5. *На обороте.* Слева направо: командир 75-й гвардейской дивизии генерал-майор Горишный, К. Симонов, замполит 75-й гвардейской дивизии полковник Власенко. Курская дуга. Июль 1943 г. Фотография Я. Халиба.

6. *С. 121.* Автограф стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...».

7. *С. 177.* Газета «Правда» от 14 января 1942 г., где впервые было опубликовано стихотворение «Жди меня, и я вернусь...».

8. *Между с. 272 и 273.* К. Симонов. Фотография 1950-х годов.

9. *На обороте.* Слева направо: А. Твардовский, К. Симонов, Б. Шинкуба. Абхазия. Фотография 1969 г.

10. *С. 279.* Автограф стихотворения «Зима сорок первого года...».

11. *С. 285.* Автограф стихотворения «Умирают друзья, умирают...».

12. *С. 299.* Автограф стихотворения «Сколько б ни придумывал фамилий...».

13. *С. 301.* Автограф стихотворения «Тот самый длинный день в году...».

14. *Между с. 304 и 305.* К. Симонов. Красная Пахра. Фотография 1970-х годов.

15. *На обороте.* Буйническое поле под Могилевом.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1936—1939

СОСЕДЯМ ПО ЮРТЕ

⟨Дополнение⟩

1941—1954

ИЗ ДНЕВНИКА

⟨Дополнения⟩

С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ

(Дополнения)

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

(Дополнения)

1956—1976

ВЬЕТНАМ, ЗИМА СЕМИДЕСЯТОГО

ПОЭМЫ

ВОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Вагиф

Насими

Видади

Самед Вургун

ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Галактион Табидзе

ИЗ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ

Алишер Навои

ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

Валентин Тавлай

ИЗ ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

Назым Хикмет

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

Юлиан Тувим

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ

Витезслав Незвал

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Редьярд Киплинг

Константин Михайлович Симонов

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1982, 624 стр.
План выпуска 1982 г. № 422
Художник И. С. Серов
Редактор Л. С. Гейро
Худож. редактор А. С. Орлов
Техн. редактор Л. П. Полякова
Корректор Е. А. Омельяненко

ИБ № 3172.

Сдано в набор 05.11.81. Подписано к печати 02.02.82. М 33608. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 33,26. Уч.-изд. л. 32,76. Тираж 40 000 экз. Заказ № 879. Цена 3 р. 10 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

